

ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ

СТАВКА — ЖИЗНЬ



**Б Е Н Г Т
ЯНГФЕЛЬДТ
СТАВКА**

**ЖИЗНЬ
ВЛАДИМИР
МАЯКОВСКИЙ
И ЕГО КРУГ**

B E N G T J A N G F E L D T

MED LIVET SOM INSATS

B E R Ä T T E L S E N O M
V L A D I M I R M A J A K O V S K I J
O C H H A N S K R E T S

Б Е Н Г Т Я Н Г Ф Е Л Ь Д Т

СТАВКА-ЖИЗНЬ

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

И ЕГО КРУГ

Перевод со шведского
Аси Лавруши и Бенгта Янгфельдта



Москва, 2009

УДК 821.161.1.0(092)Маяковский
ББК 83.3(2Рос=Рус)–8
Я49

Художественное оформление Андрея Бондаренко
Макет Эльсы Вольфарт-Ларссон

Янгфельдт Б.

Я49 Ставка — жизнь / Бенгт Янгфельдт ; пер. со швед. Аси Лавруши и Бенгта Янгфельдта. — М.: КоЛибри, 2009. — 640 с.
ISBN 978-5-389-00417-7

Ни один писатель не был столь неразрывно связан с русской революцией, как Владимир Маяковский. В борьбе за новое общество принимало участие целое поколение людей, выросших на всепоглощающей идее революции. К этому поколению принадлежали Лили и Осип Брик. Невозможно говорить о Маяковском, не говоря о них, и наоборот. В 20-е годы союз Брики — Маяковский стал воплощением политического и эстетического авангарда — и новой авангардистской морали. Маяковский был первым поэтом революции, Осип — одним из ведущих идеологов в сфере культуры, а Лили с ее эмансипированными взглядами на любовь — символом современной женщины.

Книга Б. Янгфельдта рассказывает не только об этом овеянном легендами любовном и дружеском союзе, но и о других людях, окружавших Маяковского, чьи судьбы были неразрывно связаны с той героической и трагической эпохой. Она рассказывает о водовороте политических, литературных и личных страстей, который для многих из них оказался гибельным. В книге, проиллюстрированной большим количеством редких фотографий, использованы не известные до сих пор документы из личного архива Л.Ю. Брик и архива британской госбезопасности.

ISBN 978-5-389-00417-7

© Bengt Jangfeldt, 2007

First published by Wahlström & Widstrand, Stockholm, Sweden

This edition is published by Agreement with Bengt Jangfeldt / OKNO Literary Agency

© Elsa Wohlfahrt Larsson, 2007

© Ася Лавруша, Б. Янгфельдт, перевод на русский язык, 2009

© Государственный музей В.В. Маяковского, Москва, изобразительные материалы, 2009

© А. Бондаренко, оформление, 2009

© ООО "Издательская Группа Атиккус", 2009
КоЛибри[®]

ОГЛАВЛЕНИЕ

9	РАДОСТНЕЙШАЯ ДАТА ■ 1915
13	ВОЛОДЯ ■ 1893–1915
39	ЛИЛИ ■ 1891–1915
73	ОБЛАКО В ШТАНАХ ■ 1915–1916
109	ПЕРВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ТРЕТЬЯ ■ 1917–1918
151	КОМФУТ ■ 1918–1920
175	НЭП И ЗАКРУЧИВАНИЕ ГАЕК ■ 1921
205	ТОСКА ПО ЗАПАДУ ■ 1922
251	ПРО ЭТО ■ 1923
283	СВОБОДЕН ОТ ЛЮБВИ И ОТ ПЛАКАТОВ ■ 1923–1924
319	АМЕРИКА ■ 1925
363	НОВЫЕ ПРАВИЛА ■ 1926–1927
415	ТАТЬЯНА ■ 1928–1929
465	ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА ■ 1929
505	ВО ВЕСЬ ГОЛОС ■ 1929–1930
539	ПЕРВАЯ БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ВЕСНА ■ 1930
585	СТАВКА — ЖИЗНЬ
597	ВТОРАЯ СМЕРТЬ МАЯКОВСКОГО
612	ПРИЛОЖЕНИЯ

Многих из ближайшего окружения Маяковского я имел честь знать лично, некоторых из них близко — Лили Брик, Василия Катаняна, Романа Якобсона, Льва Гринкруга, Луэллу Краснощекову, Галину Катанян, Татьяну Яковлеву и Веронику Полонскую. Памяти тех, кто дал мне так много, посвящается эта книга.

Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут;
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.

У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огрómив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.

Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!

■ В. Маяковский. Пролог к поэме "Облако в штанах"

“Между двумя комнатами для экономии места была вынута дверь. Маяковский стоял, прислонившись спиной к дверной раме. Из внутреннего кармана пиджака он извлек небольшую тетрадку, заглянул в нее и сунул в тот же карман. Он задумался. Потом обвел глазами комнату, как огромную аудиторию, прочел пролог и спросил — не стихами, а прозой — негромким, с тех пор незабываемым, голосом:

Вы думаете, это бредит малярия?
Это было,
было в Одессе.

Мы подняли головы и до конца не спускали глаз с невиданного чуда”⁸.

Владимир Маяковский писал стихи уже несколько лет, однако читкой “Облака в штанах”, состоявшейся у Лили и Осипа Брик в Петрограде в июле 1915 года, начинался новый этап его литературной и личной биографии. “Брики отнеслись к стихам восторженно”, а Маяковский “безвозвратно полюбил Лилю”, — вспоминает младшая сестра Лили Эльза, присутствовавшая при чтении.

⁸

Здесь и далее в цитатах сохранена орфография оригинала.

Для Маяковского встреча с супругами Брик стала «роковой точкой его жизни» — «радостнейшей датой», как он пишет.

Летом 1915 года мировая война шла уже год, и понимали, что за ней последуют серьезные политические и социальные преобразования. В сфере эстетики, в литературе, живописи и музыке революция была свершившимся фактом, и Россия была в этом процессе передовую позицию. Композитор Игорь Стравинский и Русский балет Дягилева взяли Париж штурмом. В художественной сфере русские шли в первом эшелоне, увлеченные такими именами, как Василий Кандинский, Михаил Матис, Владимир Татлин, Казимир Малевич... Каждый из них своим содействовал тому небывалому развитию, которого эти годы переживала русская живопись.

Стартовый выстрел для «модернистского ява» дал итальянец Филиппо Томмазо Маринетти: в 1909 году провозгласил появление нового эстетического течения — футуризма, охватившего литературу, живопись и музыку и приведшего к разрыву с культурным наследием. И в России футуризм возымел колоссальное значение, особенно в литературном. Из лидеров этого движения стал, несмотря на свою юность (на момент встречи с Лили и Осипом ему было всего двадцать два), Владимир Маяковский.

По меткому определению Бориса Пастернака с детства был избалован будущим, которое далось ему довольно рано и, видимо, без большого труда. Когда, спустя два года, будущее наступило, оно носило имя Русская Революция — ту с двумя мировыми войнами наиболее эмблематичное историческое событие XX века. Революции, огромному социально-политическому эксперименту, целью которого являлось создание бесклассового коммунистического общества, Маяковский вложил весь свой талант и все свои силы; ни один писатель не был неразрывно связан с ней, как Маяковский.

В этой борьбе он был не один. В ней принял участие целое поколение единомышленников, воспитанное всепоглощающей идеей революции. К тому же поколению принадлежали Лили и Осип Брик, которые были так же неразрывно связаны с Маяковским, как тот с революцией. Невозможно говорить

о Маяковском, не говоря о них, и наоборот. В двадцатые годы союз Брики—Маяковский стал воплощением политического и эстетического авангарда — и новой авангардистской морали. Маяковский был первым поэтом революции, Осип — одним из ведущих идеологов в культуре, а Лили с ее эмансипированными взглядами на любовь и секс — символом современной женщины, свободной от оков буржуазной морали.

Начиная с ошеломляющего июльского вечера 1915 года Маяковский, Лили и Осип стали неразделимы. Пятнадцать лет существовал этот оваянный легендами любовный и дружеский союз — пятнадцать лет, до момента, пока солнечным апрельским утром пистолетная пуля не разбила его вдребезги. И не только его — пуля, пронзившая в 1930 году сердце Маяковского, убила и мечту о коммунизме, предвестив наступление коммунистического кошмара тридцатых годов.

Об этом водовороте политических, литературных и личных страстей рассказывает эта книга, посвященная Маяковскому и его ближайшему окружению.



Рог времени трубит нами в словесном искусстве.
 Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее гиероглифов.
 Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч.
 с Парохода современности.
 Только мы — л и ц о нашего Времени.

■ Пощечина общественному вкусу

Маяковский родился 19 июля 1893 года* в селении Багдады на западе Грузии, неподалеку от губернского города Кутаиси. Его отец, Владимир Константинович, был лесничим и, согласно семейной легенде, происходил из запорожских казаков; считалось также, что фамилию семья получила благодаря тому, что большинство родственников со стороны отца отличались высоким ростом и недюжинной силой. Мать, Александра Алексеевна, была родом с Украины. У Владимира было две сестры: Людмила старше на девять лет и Ольга старше на три года. (Брат Константин умер от скарлатины в трехлетнем возрасте.) Семья принадлежала к дворянскому сословию, но жила исключительно на жалованье отца, что предполагало достойное существование без изобилия.

Высокий и широкоплечий, как и его предки, Владимир Константинович был веселым, приветливым, общительным и гостеприимным человеком с темными волосами и бородой. Он был очень энергичным и легко вступал в контакт с другими людьми.

* Даты в книге приводятся по григорианскому календарю. В XIX в. различие между ним и юлианским, который использовался в России до 1918 г., составляло двенадцать дней, в XX в. — тринадцать. По старому стилю Маяковский родился 7 июля. (Здесь и далее — прим. автора)

■ Маяковский в двадцатилетнем возрасте, 1913 г.

Говорил грудным басом, его речь, по словам старшей дочери, была наполнена “пословицами, прибаутками, остротами”, и он знал “бесчисленное множество случаев и анекдотов и передавал их на русском, грузинском, армянском, татарском языках, которые знал в совершенстве”. Вместе с тем он был человеком весьма чувствительным и восприимчивым, обладал горячим темпераментом, а его настроение менялось “часто и резко”.

Мать была полной противоположностью отцу: сдержанная, худощавая, хрупкая, но с сильной волей. “Своим характером и внутренним тактом мама нейтрализовала вспыльчивость, горячность отца, — рассказывала Людмила. — За всю жизнь мы, дети, не слыхали не только ругани, но даже резкого, повышенного тона”. У матери были каштановые волосы, высокий лоб и несколько выступающая челюсть. Внешностью Володя походил на мать, сложением и характером — на Владимира Константиновича, который передал сыну и свой темперамент, и чувствительность; от отца же Володя унаследовал глубокий бас.

В небольшом горном селении, где Володя провел первые годы жизни, насчитывалось порядка двухсот дворов и менее тысячи жителей. Расположенное в глубокой долине селение обступали высокие и крутые горы, покрытые лесами, где было полно медведей, косуль, кабанов, лис, зайцев, белок и всевозможных птиц. Володя рано научился любить животных. Дома были окружены огромными виноградниками и разными фруктовыми деревьями: яблонями, грушами, абрикосами, гранатами, инжиром. В резком контрасте со щедростью природы находилась скудость административных ресурсов селения, где была почта, но не было школы и врача. Расстояние до Кутаиси, ближайшего города, составляло 27 километров, и единственным средством сообщения служили почтовые дилижансы. Когда Ольга и Константин заболели скарлатиной, врач ехал так долго, что спасти мальчика уже не удалось.

Их дом стоял чуть в стороне от центра селения, на правом берегу реки Ханис-Цхали. По словам Володиных сестер, он был похож на дом золотоискателей в Калифорнии или

■ Володя Маяковский с родителями и сестрами Людмилой (стоит) и Ольгой (сидит), 1905 г.



Клондайке. В нем было три комнаты, одна из которых служила конторой лесничего. Неподалеку от дома протекал бурный горный поток с каменистым руслом. Дети проводили много времени на улице, и Володя рано научился плавать и ездить верхом. Он очень любил опасные игры и занятия — чем опаснее, тем лучше. Вместе с Ольгой лазал по деревьям, карабкался по горам, бегал по узким горным тропинкам, змеившимся среди отвесных обрывов.

Безудержное воображение и изобретательность, которые Володя демонстрировал в играх, предрекали будущую мощь его творческого потенциала. То же самое можно сказать и о другом качестве, проявившемся у Маяковского уже в пятилетнем возрасте: его способности декламировать стихи. Не получивший высшего образования отец был, однако, влюблен в литературу и часто читал домочадцам классиков: Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Селение Багдады располагалось в стороне от главных дорог, но, несмотря на это, к ним часто приезжали родственники, особенно летом, и тогда Владимир Константинович просил Володю декламировать стихи гостям. Не умевший еще ни читать, ни писать, мальчик обладал феноменальной памятью и декламировал хорошо и выразительно. А чтобы тренировать голос, он залезал в опрокинутые на земле большие кувшины для вина и читал стихи Ольге, которая изображала находившуюся снаружи публику.

Как в играх, так и в заучивании стихов присутствовал сильный элемент состязательности. Володя стремился любой ценой стать первым и охотно принимал участие в забавах старших. В одной из игр один участник начинал читать наизусть стихотворение, но прерывал чтение в середине и бросал носовой платок следующему, который должен был его закончить. “Володя часто проявлял настойчивость и умел заставить взрослых подчиниться его желанию продолжать игру, — вспоминает мать. — Причем в таких случаях всю организацию игры брал на себя, склоняя на свою сторону даже тех, кто уже устал и не хотел больше играть”. С той же самозабвенностью и нетерпением Володя увлекался другими играми: картами, домино, крокетом и так далее. В октябре 1904 года Ольга сообщала Людмиле, что Володя “страшно увлекся игрой в шашки” и каждый день играет с товарищем. Они играли на марки, и Володе уже удалось выиграть целый альбом иност-

ранных марок... Здесь явно проступает та доминирующая черта характера Маяковского, возвращаться к которой мы будем неоднократно, — его страсть к игре.

Поскольку возможность получить образование в Багдадах отсутствовала, старшую сестру Людмилу рано отправили в тбилисский интернат, а в 1900 году мать и сын переехали в Кутаиси для того, чтобы семилетний Володя смог поступить в школу. После двух лет подготовки его зачислили в гимназию. Учеба протекала успешно, а особенно легко ему давалось рисование. Людмила брала уроки у одного кутаисского художника, который считал Володю настолько способным, что даже учил его бесплатно. “Володя быстро почти догнал меня в рисовании, — вспоминала Людмила. — Мы стали привыкать к мысли, что Володя будет художником”.

Столь же разительным, как талант к рисованию и декламации, было полное отсутствие у него музыкальности. Он не мог взять чистую ноту, музыкой совершенно не интересовался, ни разу не прикоснулся к пианино и не любил танцевать. “Когда у нас собиралась молодежь и начинались танцы, звали танцевать и Володю, — вспоминает мать. — Он всегда отказывался, уходил к товарищам в соседний двор и играл в городки”.

■ В МОСКВУ

Зимой 1906 года, когда Володе было двенадцать, его сорокадвухлетний отец умер от заражения крови: укололся булавкой, сшивая бумаги. Хотя Володя оказался самым младшим в семье, он был очень развитым для своего возраста и активно принимал участие в приготовлении похорон; “он обо всем хлопотал, не растерялся”, — вспоминает Людмила.

Смерть отца потрясла семью, и особенно сына, который, по словам Людмилы, с этого момента “стал серьезней” и “сразу почувствовал себя мужчиной”. Причина смерти оставила глубокий след в психике мальчика: отныне он сделался очень мнительным, панически боялся любой инфекции — в более взрослом возрасте всегда носил с собой собственное мыло, резиновый стакан, в путешествие неизменно брал раскладную резиновую таз-

ванну; он избегал общественного транспорта, неохотно пожимал руки, а к дверной ручке прикасался только через пиджачный карман или носовой платок. Пивную кружку всегда держал в левой руке, чтобы пить с той стороны, к которой не прикасались чужие губы, — упражнение упрощалось тем, что Маяковский одинаково свободно владел обеими руками.

Смерть отца в одночасье изменила материальное положение семьи. Людмила уже два года училась в московском Строгановском художественно-промышленном училище, и, чтобы справиться с нуждой, Александра Алексеевна вместе с младшими детьми тоже переехала в столицу. Здесь они влачили скромное существование на пенсию вдовы и доходы от сдачи внаем комнат студентам. Володя и Ольга вносили свой вклад в бюджет семьи: они раскрашивали шкатулки, пасхальные яйца и так далее.

Революционную литературу Маяковский читал еще во время учебы в кутаисской гимназии, однако более близкое знакомство с убежденными социалистами состоялось благодаря квартирантам. В четвертом классе гимназии он вступил в студенческий социал-демократический кружок, а спустя примерно год стал членом большевистской фракции РСДРП. Одновременно его исключили из гимназии по причине невзноса платы.

Последующие два года, 1908–1909, Маяковский практически полностью посвятил политической деятельности. Он читал и распространял нелегальную литературу среди булочников, сапожников и типографских рабочих. Полиция вела за ним слежку, и, несмотря на то что ему было всего пятнадцать-шестнадцать лет, его несколько раз арестовывали; во время одной облавы он съел вместе с переплетом записную книжку, где содержались адреса, которые не должны были попасть в руки полиции. Два первых ареста длились недолго, каждый по месяцу, однако в третий раз Маяковскому пришлось просидеть в тюрьме полгода, причем пять месяцев — в камере-одиночке.

Время, проведенное в Бутырках, стало поворотным моментом в биографии Маяковского: если раньше он читал главным образом политическую литературу, то теперь чтение приобретает новое направление. «Важнейшее для меня время, — напишет он позднее. — После трех лет теории и практики — бросился на бел-



■ Учетная карточка Московского охранного отделения, 1908 г.

летристику”. Он читает классиков — Байрона, Шекспира, Толстого, — но без особого энтузиазма. Ценит формальную новизну Андрея Белого и Константина Бальмонта, однако тематика и метафорика символизма ему чужды. Реальность того времени нужно описывать иначе! Он пытается, но у него не получается. В январе 1910 года, когда Маяковский вышел на свободу, надзиратели отобрали у него тетрадку со стихами, за что, как он признавался впоследствии, он был им благодарен.

Между арестами Маяковский, как и его сестра, учился в Строгановском училище. Однако оттуда его исключили за политическую деятельность; гимназию он также не закончил. И теперь

Маяковский почувствовал, что должен получить образование, но эта задача казалась ему несовместимой с партийной работой. “Перспектива — всю жизнь писать летучки, выкладывать мысли, взятые из правильных, но не мной придуманных книг. Если из меня вытряхнуть прочитанное, что останется? Марксистский метод. Но не в детские ли руки попало это оружие? Легко орудовать им, если имеешь дело только с мыслью своих. А что при встрече с врагами?” Цитата датируется 1922 годом, но намеченная Маяковским проблема не была сформулирована задним числом. Ощущение конфликта между искусством и политикой было свойственно Маяковскому изначально, оно будет накладывать отпечаток на всю его творческую деятельность и ускорит его смерть.

Маяковский бросил политическую работу, но поскольку в своем литературном таланте он сомневался, то вскоре после освобождения снова вернулся к живописи. После четырех месяцев учебы в художественной школе Жуковского, слишком традиционной, на его взгляд, он начал брать уроки у другого художника, Петра Келина, который готовил Маяковского к поступлению в Училище живописи, ваяния и зодчества — единственное место, куда принимали без свидетельства о политической благонадежности. После второй попытки в августе 1911 года он был принят в фигурный класс.

■ ПРЕКРАСНЫЙ БУРЛЮК

Маяковскому исполнилось восемнадцать лет, когда он поступил в училище, где быстро стал знаменитым благодаря своей самоуверенности и дерзости. Он был громким, постоянно шутил и острил, его речь была такая же нетерпеливая и порывистая, как и его движения: он не мог спокойно сидеть на стуле, а все время двигался по помещению, закусив папиросу в углу рта. Впечатление усиливал рост — почти метр девяносто. Из-за этой назойливости многие считали его довольно несносным — нравился он только тем, кто предполагал или уже видел в нем, по словам Маруси Бурлюк,

■ Маяковский осенью 1912 г. — ученик Училища живописи, ваяния и зодчества.



“громаднейшую, выпирающую из берегов личность”. Вызывающее поведение подчеркивалось нарочито богемным стилем в одежде: длинные нечесанные волосы, надвинутая на глаза широкополая черная шляпа, черная блуза и черный галстук — байронический герой в поисках художественной индивидуальности.

Однако нахальство и склонность к провокациям отражали только одну сторону характера Маяковского. По сути же он был, как объяснял его друг по художественному училищу, очень чувствительным человеком, что всячески пытался скрыть за грубостью поведения и под маской надменности. О том, что агрессивность была защитным механизмом, свидетельствуют все, знавшие Маяковского близко; Борис Пастернак, к примеру, метко объяснил его “беззастенчивость” результатом “дикой застенчивости”, а “притворную волю” — следствием “феноменально мнительного и склонного к беспричинной угрюмости безволия”.

Однако эту сторону своего характера Маяковский тщательно скрывал, и поэтому его первое столкновение с Давидом Бурлюком — старшим, но столь же самоуверенным коллегой-художником — не могло не закончиться конфликтом. “Какой-то нечесаный, немытый, с эффектным красивым лицом апаша, верзила преследовал меня своими шутками и остротами “как кубиста”, — вспоминает Бурлюк. — Дошло даже до того, что я готов был перейти к кулачному бою, тем более что тогда я, увлекаясь атлетикой и системой Мюллера, имел некоторые шансы во встрече с големастом, огромным юношей в пыльной бархатной блузе с пылающими, насмешливыми черными глазами”. Однако дело закончилось примирением, Бурлюк и Маяковский стали лучшими друзьями и соратниками в борьбе, которая, по словам Бурлюка, “закипала тогда не на живот, а на смерть между старым и новым в искусстве”.

Именно Бурлюк открыл поэтический талант Маяковского. Когда во время прогулки осенью 1912 года Маяковский прочитал Бурлюку стихотворение, он был настолько не уверен в собственных способностях, что утверждал, будто стихотворение написал знакомый. Но Бурлюк не дал себя обмануть и сразу объявил Маяковского гениальным поэтом. Открытие было одинаково ошеломляющим для обоих. Согласно Бурлюку, Маяковский, который



- В верхнем ряду: Николай Бурлюк, его брат Давид, “отец русского футуризма”, и Маяковский. Сидят: Велимир Хлебников и два “мецената”: авиатор Георгий Кузьмин и музыкант Сергей Долинский, издавшие футуристический альманах “Пощечина общественному вкусу” и первый сборник стихов Маяковского “Я!”. Снимок 1913 г.

никогда не занимался серьезно писанием стихов, вдруг, “подобно Афине Палладе, явился законченным поэтом”. Эта ночная прогулка по Страстному бульвару в Москве определила направление творческого пути Маяковского. “Я весь ушел в поэзию, — вспоминал он впоследствии. — В этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом”.

■ АЗАРТ

Бурлюк стал тем авторитетом, в котором нуждался не выкристализовавшийся еще талант Маяковского. Он читал Маяковскому французскую и немецкую поэзию, снабжал его книгами — и деньгами. Маяковский был настолько беден, что у него не было средств даже на зубного врача, и контраст между молодостью и гнилыми зубами был разителен. “При разговоре и улыбке виднелись лишь коричневые изъеденные остатки кривеньких гвоздеобразных корешков”. Бурлюк же, напротив, происходил из состоятельной семьи, его отец был управляющим украинским имением графа Мордвинова, что позволяло Бурлюку выдавать Маяковскому 50 копеек в день на еду.

Когда средств не хватало, он голодал, спал на садовых скамейках; чтобы зарабатывать на пропитание, играл в карты и на бильярде, в котором был настоящим мастером. Азарт был у Маяковского в крови; страстный игрок, он проводил каждую свободную минуту за карточным или бильярдным столом. Так будет всю жизнь, даже тогда, когда исчезнет необходимость играть ради денег: где бы он ни оказался, первым делом он находил бильярдную и узнавал имена местных картежников. Маяковский был тем, что называется азартным игроком, он не мог не играть.

С Маяковским страшно было играть в карты, — вспоминал другой такой же одержимый игрок, молодой поэт Николай Асеев, познакомившийся с Маяковским весной 1913 года. — Дело в том, что он не представлял себе возможности проигрыша как естественного, равного возможности выигрыша, результата игры. Нет, проигрыш он воспринимал как личную обиду, как нечто непоправимое.



■ Улыбающийся Маяковский в Киеве в 1913 г. Имя дамы, вызвавшей его беззубую улыбку, с точностью установить не удалось.

Это было действительно похоже на какой-то бокс, где отдельные схватки были лишь подготовкой к главному удару. А драться физически он не мог. “Я драться не смею”, — отвечал он на вопрос, дрался ли он с кем-нибудь. Почему? “Если начну, то убью”. Так коротко определял он и свой темперамент, и свою массивную силу. Значит, драться было можно только в крайнем случае. Ну а в картах темперамент и сила уравнивались с темпераментом и терпеливостью партнера. Но он же чувствовал, насколько он сильнее. И поэтому проигрыш для него был обидой, несчастьем, несправедливостью слепой судьбы.

Маяковский доводил соперников до иступления, ставил на кон все, блефовал и не вставал из-за стола, пока не одерживал победу или не вынужден был признать поражение. Он играл крайне напряженно, а когда напряжение отпускало, как вспоминает другой его близкий друг, “ходил из угла в угол и плакал, от разрядки нервов”.

Маяковский играл всегда и во все. Если рядом не было ломберного стола, он заключал пари. Сколько шагов до следующего квартала? Какой номер трамвая первым покажется из-за угла? Однажды, как вспоминает Асеев, они вышли из поезда на одну остановку раньше только для того, чтобы выяснить, кто первым придет к следующему семафору, не переходя на бег. Достигнув цели одновременно, спорщики бросили монету, чтобы определить победителя. Для Маяковского важна была победа, а не поставленный на кон рубль.

С азартом была сравнима лишь маниакальная чистоплотность Маяковского. Начинаящий поэт был, таким образом, весьма невротическим молодым человеком, и впечатление это усиливалось огромным количеством потребляемых им папирос — до ста штук в день. Но курение не обуславливалось никотиновой зависимостью, а тоже имело невротическую основу: хотя в зубах у него постоянно был закушен окурочек — спичками он не пользовался, а зажигал одну папиросу от другой, — он при этом никогда не затягивался.



■ Во время турне по российской провинции зимой 1913–1914 гг. Маяковский, Бурлюк и Каменский часто выступали во фраках и цилиндрах, что резко контрастировало с революционным содержанием их эстетики. Для того чтобы еще сильнее оскорбить "общественный вкус", они использовали "боевую раскраску", как у Каменского на этой фотографии.

■ ОПАСНЫЕ ФУТУРИСТЫ

Давид Бурлюк был на одиннадцать лет старше Маяковского и к моменту их встречи уже состоялся как художник. Его работы выставлялись и в России, и за рубежом (например, он участвовал в выставках “Голубого всадника” в Мюнхене). Он был центральной фигурой русского художественного авангарда и одним из основателей объединения “Бубновый валет”, на протяжении 1912–1916 годов организовавшего ряд громких выставок в Москве и Петербурге.

Бурлюк быстро ввел Маяковского в эти круги. Они начали выступать вместе, и в ноябре 1912-го Маяковский впервые предстал перед публикой в качестве поэта, художника и пропагандиста новых течений в живописи и поэзии. Еще через месяц вышел первый альманах футуристов “Пощечина общественному вкусу”, где Маяковский дебютировал двумя стихотворениями которые он читал Бурлюку: это были “Ночь” и “Утро” — экспериментальные стихи, написанные под сильным влиянием эстетики современной живописи. В “Пощечине” впервые попали под одну обложку четверо самых выдающихся представителей русского литературного авангарда — Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, Велимир Хлебников и Алексей Крученых. Если формальные эксперименты казались читателям непонятными то из манифеста “Пощечина общественному вкусу” они узнали почему: бросив “Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности”, футуристы провозгласили: “Только мы — лицо *нашего* Времени”. Старое искусство умерло, а его место заняли кубофутуристы: кубизм в изобразительном искусстве и футуризм в словесном. Поскольку многие русские футуристы были и художниками и поэтами, определение звучало особенно точно.

Критика, которой футуристы подвергали господствовавшие нормы, имела прежде всего эстетическую мотивировку, но была и социальным протестом. В то время как предыдущие поколения художников и писателей рекрутировались в основном из высших классов больших городов, русский авангард составляли выходцы из более низких общественных слоев, к тому же из провинции. Эстетический бунт, таким образом, нес в себе опреде-

Мы солнца приколем любимым
на платьях

Из звезд накуем серебрищихся
брошек

О бросьте квартиры

Идите и гладьте

И гладьте **сухих** и черных
кошек

Человек без ула

Это правда **А**

Над городом где **Ф**люгеров
древки

Женщина с черными пещерами
век

Мечется и кидает на тротуары
плевки

А плевки вырастают в огром-
ных калек

— 14 —



Книжное издание трагедии «Владимир Маяковский» (1914) было выполнено в типично футуристическом оформлении, предполагавшем — в соответствии с манифестом Хлебникова и Крученых «Буква как таковая» (1913) — свободное использование различных шрифтов, прописных и строчных букв. «А ведь спросите любого из речарей, и он скажет, что слово, написанное одним почерком или набранное одной свинцовой, совсем не похоже на то же слово в другом начертании. Ведь не оденете же вы ваших красавиц в одинаковые казенные армяки!» На представленном развороте — рисунок брата Давида Бурлюка Владимира, изображающий Маяковского в желто-черной полосатой кофте.

ленное социальное содержание, придававшее ему особую силу и легитимность.

Поэтому решение Маяковского и Бурлюка предпринять лекционное турне по российской провинции было вполне естественным. Это был их ответ на нависшую над ними угрозу отчисления из училища. Однако здесь присутствовал еще один, более важный мотив: футуризм являлся столичным феноменом — турне же давало возможность познакомиться с новой эстетикой

и провинцию, где это движение чаще всего воспринималось как нелепость и подвергалось насмешкам как нечто абсолютно непонятное и бессмысленное — в той мере, в какой оно вообще было известно. Так как футуристы с трудом находили издателей, они были вынуждены публиковать свои произведения сами, зачастую мизерными тиражами (300–500 экземпляров), — следовательно, за пределами Москвы и Петербурга с их творчеством мало кто был знаком.

Турне длилось три с половиной месяца, с середины декабря 1913 года до конца марта 1914-го. Участниками турне были также Василий Каменский и — в течение непродолжительного времени — эгофутурист Игорь Северянин. Они читали стихи, выступали с лекциями о последних направлениях в искусстве и демонстрировали диапозитивные снимки своих работ и произведений других художников, например Пикассо. Футуристические лозунги подкреплялись внешним видом выступающих: из петлиц у них торчали редиски, на лицах были нарисованы самолеты, собаки и каббалистические знаки; Маяковский чаще всего появлялся в желтой кофте, сшитой “из трех аршин заката” (как он описал ее в стихотворении “Кофта фата”). “У футуристов лица самых обыкновенных вырожденцев, — полагал один из журналистов, — и клейма на лицах заимствованы у типов уголовных”.

Интерес к участникам турне был огромен, часто случались и скандалы. Выпады футуристов вызывали у публики не только свист и неодобрительные крики, но и аплодисменты и смех; однажды выступление было запрещено после того, как начальнику местной полиции стали известны политические прегрешения Маяковского. В другом случае, в Киеве, выступление разрешили, но исключительно в присутствии генерал-губернатора, обер-полицеймейстера, восьми приставов, шестнадцати помощников приставов, пятнадцати околоточных надзирателей, шестидесяти городских внутри театра и пятидесяти конных возле театра. Так это выглядело, во всяком случае, согласно Василию Каменскому, который вспоминал: “Маяковский восхищался. Ну, какие поэты, кроме нас, удостоились такой воинственной обстановки? <...> на каждый прочитанный стих приходится по десяти городских. Вот это поэзия!”

Цель турне была, иными словами, достигнута: движение приобрело известность, а борьба за новое искусство переместилась на новый уровень. Интерес возрос и благодаря тому, что в разгар турне Петербург и Москву посетил основоположник футуризма Филиппо Томмазо Маринетти. И хотя отстаивавшие независимость русского движения русские футуристы сделали все возможное, чтобы сорвать выступления Маринетти или хотя бы помешать ему, они ничего не имели против рекламы, сделанной им этими скандалами...

Однако турне возымело и иные последствия. Из-за нападок, которым Маяковский и Бурлюк подвергали классиков, стало невозможным дальнейшее пребывание футуристов в стенах училища, и руководство в конце концов было вынуждено их отчислить. Для Маяковского это решение оказалось благоприятным в том смысле, что отныне он мог посвящать все свое время той художественной области, в которой его дарование было наиболее сильным, — поэзии.

■ ЭТО БЫЛО В ОДЕССЕ

Несмотря на поэтический дар, Маяковский пока был известен главным образом как скандалист и эпатажная личность. Поэт Бенедикт Лившиц, в этот период примкнувший к футуристам, красочно описал случай, когда Маяковский дал себе волю — на ужине у известной петроградской галерейщицы Н.Е. Добычиной: “За столом он осыпал колкостями хозяйку, издевался над ее мужем, молчаливым человеком, безропотно сносившим его оскорбления, красными от холода руками вызываясь отламывать себе кекс, а когда Д., выведенная из терпения, отпустила какое-то замечание по поводу его грязных когтей, он ответил ей чудовищной дерзостью, за которую, я думал, нас всех попросят немедленно удалиться”.

Вопреки — или благодаря — своему нахальству Маяковский вызывал сильнейшие чувства у противоположного пола и переживал множество более или менее серьезных романов. Уже при первой встрече Бурлюка поразило хвастовство, с которым тот рассказывал о своих многочисленных победах. По словам



■ На протяжении зимы и весны 1913 г. Маяковский тесно общался с художником-вундеркиндом Василием Чекрыгиным, а также с Львом и Верой Шехтель. На снимке Маяковский с Верой и пятнадцатилетним Чекрыгиным.

Бурлюка, Маяковский был “мало разборчив касательно предметов для удовлетворения своих страстей”, он довольствовался либо “любовью мещанок, на дачах изменявших своим мужьям — в гамаках, на скамейках качелей, или же ранней невзнузданной страстью курсисток”.

Расщепленность характера Маяковского проявилась и в его отношениях с женщинами: за провокационным и наглым поведением скрывалась неуверенность, стеснительность и страх остаться неоцененным и непонятым. Сексуальная ненасытность была, по-видимому, в равной степени результатом потребности в признании и следствием его, судя по всему, весьма развитого либидо. Молодые женщины, которые общались с Маяковским в этот период, единодушны в своих свидетельствах: он любил провоци-

Солнце
Отец мой съелся хд хопьтн и мнута
Это тобою проидат крок моя
Абаса хорониди
Этот же душа моя и члочья и паривей пуга
Вь выхрениль чей в рикавомъ крок
Хорокхрнн
Время
Хоть ты хромой боломаз
Аляк на морю мой
Вь бохнуц урода вика
Яль одинсь как последний едз
У идущаго къ слепым
Уеловка



■ Соня Шамардина.

“Мои родители были шокированы [его] поведением”, — вспоминает Вера Шехтель, весной и летом 1913 года пережившая бурный роман с Маяковским. Отец Веры предпринимал все меры, чтобы запретить Маяковскому встречаться с дочерью, но напрасно, и во время одного из таких нежелательных визитов она стала его любовницей. Вера забеременела, и ее отправили за границу делать аборт.

Это первый известный случай, когда женщина забеременела от Маяковского, но не последний. Зимой 1913–1914 годов он пережил два романа, из которых один закончился еще одной незапланированной беременностью. Восемнадцатилетняя студентка Соня Шамардина (за которой, кстати, ухаживал и Игорь Северя-



Мария Денисова, чью красоту Маяковский сравнивал с красотой Джиоконды:

Вы говорили:
 “Джек Лондон,
 деньги,
 любовь,
 страсть”, —
 а я одно видел:
 вы — Джиоконда,
 которую надо украсть!



Как-то вечером Маяковский, Бурлюк и Каменский нарисовали каждый по портрету Марии. Здесь представлены портреты Маяковского (сверху) и Бурлюка. На обороте рисунка Бурлюка криптограмма, текст которой расшифровывается так: “Я вас люблю... дорогая милая обожаемая поцелуйте меня вы любите меня?” — след ухаживания Маяковского.



нин), познакомившаяся с Маяковским осенью 1913 года, дала тонкий и точный портрет своего двадцатилетнего кавалера:

Высокий, сильный, уверенный, красивый. Еще по-юношески немного угловатые плечи, а в плечах косая сажень. Характерное движение плеч с перекосом — одно плечо вдруг подымается выше и тогда правда — косая сажень.

Большой, мужественный рот с почти постоянной папиросой, передвигаемой то в один, то в другой уголок рта. Редко — короткий смех его.

Мне не мешали в его облике его гнилые зубы. Наоборот — казалось, что это особенно подчеркивает его внутренний образ, его “свою” красоту.

Особенно когда он — нагловатый, со спокойным презрением к ждущей скандалов уличной буржуазной аудитории — читал свои стихи: “А все-таки”, “А вы могли бы?”, “Любовь”, “Я сошью себе черные штаны из бархата голоса моего”...

Красивый был. Иногда спрашивал: “Красивый я, правда?” <... >

Его желтая, такого теплого цвета кофта. И другая — черные и желтые полосы. Блестящие сзади брюки, с бахромой.

Забеременевшая Соня зимой 1914 года сделала аборт, но скрыла это от Маяковского, как, впрочем, и сам факт беременности. Когда летом того же года они снова встретились, Маяковский работал над произведением, идея которого пришла к нему во время турне футуристов. Соня вспоминает, что он шагал по комнате вперед-назад, бормоча стихотворные строки, — именно так, выбивая ритм шагами, он “писал”.

Хотя любимую поэта в поэме зовут Мария, автор, видимо, наделил ее некоторыми чертами Сони. Однако главным прообразом стала шестнадцатилетняя девушка, действительно носившая это имя, — Мария Денисова, — в которую Маяковский безоглядно влюбился во время выступления в Одессе в январе 1914 года. По словам Василия Каменского, из-за Марии он совсем

потерял голову. “Вернувшись домой, в гостиницу, мы долго не могли успокоиться от огромного впечатления, которое произвела на нас Мария Александровна, — вспоминал он. — Бурлюк глубоко-комысленно молчал, наблюдая за Володей, который нервно шагал по комнате, не зная, как быть, что предпринять дальше, куда деться с этой вдруг нахлынувшей любовью. <...> он метался из угла в угол и вопрошающе твердил вполголоса: Что делать? Как быть? Написать письмо? <...> Но это не глупо? Сказать все сразу? Она испугается...” Мария пришла на два следующих выступления Маяковского, и от ее присутствия Маяковский “совершенно потерял покой, не спал по ночам и не давал спать нам”. В день, когда футуристы должны были продолжить турне, объяснение наконец состоялось — и принесло горькое разочарование: Мария уже пообещала свое сердце другому (и действительно вскоре вышла замуж).

Каким бы кратким знакомство с Марией ни было, именно оно вдохновило Маяковского на создание своей первой поэмы — и одного из его лучших поэтических произведений вообще. Страстью к ней были продиктованы строки “Вы думаете, это бредит малярия? / Это было, / было в Одессе” из “Облака в штанах”.



Мне становилось ясным
даже после самой короткой встречи,
что я никого не люблю кроме Оси.

■ Лили Брик

Как и Маяковский, Лили и Осип Брик были увлечены волной революции 1905 года. Они были детьми одной эпохи и одной страны — но разных социальных классов, и поэтому их столкновение с жестокой российской действительностью оказалось менее драматичным: в то время как Маяковскому пришлось трижды отбывать тюремный срок, наказание, полученное Осипом, заключалось в кратковременном отчислении из учебного заведения; Маяковский провел пять месяцев в одиночной камере, а представления Осипа об этой стороне действительности ограничивались фактами, собранными им для университетского сочинения по теме “Одиночное заключение”. С другой стороны, супруги Брик испытывали на себе своеволие властей по причине, которая не имела отношения к их политическим убеждениям, — они были евреями.

Лили Юрьевна Каган родилась в Москве 11 ноября 1891 года. Выбрать столь необычное для России имя отцу помогла книга о Гёте, которую он читал в то время, когда дочь появилась на свет, — одну из возлюбленных немецкого поэта звали Лили Шенеман; чаще всего, однако, пользовались русской именной формой Лиля.

■ Лили, сфотографированная 11 ноября 1914 г., в день, когда ей исполнилось 23 года.

Отец Лили Юрий (еврейское имя Урий) Александрович Каган (1861–1915) родился в еврейской семье в Либаве, столице Курляндии (современная Лиепая в Латвии), которая была частью Российской империи. Семья была бедной, без средств на образование. Поэтому он отправился — пешком! — в Москву, где выучился на юриста. Поскольку карьерные возможности евреев в царской России были крайне ограничены, вести адвокатскую практику Юрий Александрович не смог, и в суде его представляли коллеги-неевреи. Возмущенный этой несправедливостью, он стал специализироваться на “еврейском праве”, в частности, вопросах поселения: в Российском государстве евреи вынуждены были селиться в особых местах, в крупных городах жили только те, кто принимал крещение или становился купцом первой гильдии. Он также был консультантом Общества распространения правильных сведений о евреях. Из-за положения еврейского населения в России отношение Лили к еврейскому вопросу было, по ее же словам, “напряженное с самого начала”. Однако Юрий Александрович занимался не только еврейскими вопросами, но также работал юридическим советником при австрийском посольстве.

Мать Елена Юльевна (в девичестве Берман, 1872–1942), родом также из Курляндии, из Риги, выросла в еврейской семье, в которой говорили на немецком и русском языках. Обладая выдающимися музыкальными способностями, она обучалась игре на фортепиано в Московской консерватории. То, что Елена Юльевна не сделала профессиональную карьеру, к которой была предрасположена, объясняется, однако, не ее происхождением, а тем, что во время учебы она вышла замуж и диплом так и не получила. “Все свое детство я вспоминаю под музыку, — рассказывала Лили. — Не было вечера, когда я без нее заснула. Мама, прекрасная музыкантша, играла каждую свободную минуту. В гостиной у нас стояло два рояля, на которых играли в восемь рук, и долгие периоды времени почти ежедневно устраивались квартеты”. Елена Юльевна обожала Вагнера и часто ездила на фестиваль в Байрейт. Среди прочих любимых композиторов были Шуман, Чайковский и Дебюсси.

Музыкальные способности передались и дочери. “Когда мне не было еще и года, меня считали музыкальным вундеркиндом”, — вспоминает Лили. С шести лет мать начала давать ей

уроки, в результате чего Лили возненавидела музыку — эффект нередкий, когда ребенка обучают родители; но реакция Лили была также следствием чувства самостоятельности, весьма развитого для ее возраста: она не выносила никакого внешнего принуждения. Даже профессиональному педагогу не удалось изменить ее настрой. В конце концов она призналась, что проблема была не в учителе, а в инструменте, — и потребовала, чтобы ей разрешили играть на скрипке. Занимаясь как одержимая,

она достигла значительных успехов благодаря преподавателю Григорию Крейну — и несмотря на сопротивление отца (“Сегодня скрипка, завтра барабан!”). Но едва Юрий Александрович в виде жеста примирения подарил ей на день рождения скрипичный футляр, пыл погас, а скрипка ей “зверски надоела”. Здесь просматривается другая характерная для Лили черта: она легко вдохновлялась и так же легко теряла интерес, ей все “надоедало”. Она постоянно нуждалась в новых стимулах.

В октябре 1896 года, когда Лили было пять, родилась сестра Эльза. Девочки вместе с родителями ежегодно выезжали в западноевропейские города и на курорты: в Париж и Венецию, Спа и Тюрингию, Нодендаль и Хангё. О раннем детстве Лили известно мало, но письмо, которое десятилетняя Лили написала тетушке Иде и дяде Акибе Данцигу, дает представление о строптивости ее характера: “Извините, что я вам так давно не писала, но если б вы знали, как это скучно, вы сами не требовали бы так много от меня”.



Лили с младшей сестрой Эльзой, приблизительно 1900 г.

■ ОСИП

“1905 год начинался для меня с того, что я произвела переворот в своей гимназии в четвертом классе, — вспоминает Лили. — Нас заставляли закладывать косы вокруг головы, косы у меня были тяжелые, и каждый день голова болела. В это утро я уговорила девочек прийти с распущенными волосами, и в таком виде мы вышли в залу на молитву”. Выдумка вызвала негодование не только у руководства школы, но и у отца, который кричал, что она выйдет из дома с распущенными волосами только через его труп, — не потому что не понимал дочь, а потому что боялся за нее; Лили ушла тайком через черный ход.

Протест был ребяческим, но бунтарские настроения витали тогда в воздухе. Зимой 1905 года вспыхнула первая русская революция, и протесты против царского режима распространились и среди школьников. Лили и ее товарищи устраивали дома и в



Отец Осипа Максим Павлович Брик, сфотографированный во время одной из деловых поездок в Иркутск.



гимназии встречи, требовали свободы Польше и организовывали курсы политэкономии. Кружком политэкономии руководил брат подруги Лили Осип Брик, гимназист восьмого класса 3-й гимназии, откуда его только что отчислили за революционную пропаганду. Все гимназистки были влюблены в него и вырезали имя “Ося” на школьных партах. Но Лили едва исполнилось тринадцать, и о мальчиках она пока не думала.

Курсы продлились недолго: вскоре в Москве ввели чрезвычайное положение, в семье Каган занавешивали окна одеялами и старались не выходить на улицу. Юрий Александрович спал, положив на тум-



■ Осип Брик — мечта гимназисток.

бочку пистолет. Как и все евреи, они оказались в особо уязвимом положении, и когда однажды до них дошли слухи о предстоящем погроме, семья переехала в гостинцу, где провела две ночи.

Осип Максимович Брик родился в Москве 16 января 1888 года. Его отец, Максим Павлович, был купцом первой гильдии и, соответственно, имел право жить в Москве. Фирма “Павел Брик. Вдова и Сын” торговала драгоценными камнями, но главным образом кораллами. Мать Осипа, Полина Юрьевна, была образованна, как и отец, говорила на нескольких иностранных

языках и отличалась “прогрессивными” взглядами — по словам Лили, она “знала наизусть” труды Александра Герцена.

По сведениям двоюродного брата Осипа Юрия Румера, то, что продавалось как кораллы, на самом деле представляло собой особый сорт песка, который добывался в небольшом заливе близ Неаполя. Открытие сделало семью Бриков миллионерами. Основная торговля осуществлялась не в Москве, а в Сибири и Центральной Азии, куда Максим Павлович ездил несколько раз в год.

Осип был способным молодым человеком и учился в 3-й московской гимназии, в которую по действующей процентной норме принимали только двух еврейских мальчиков в год. Отчисление, судя по всему, было краткосрочным, поскольку летом 1906 года он окончил гимназию, получив “отлично” по поведению.

Вторым принятым в 1898 году еврейским гимназистом был Олег Фрелих. Вместе с тремя другими однокашниками они создали тайное общество друзей, которое существовало все годы учебы. Их эмблемой стала пятиконечная звезда, и они все делали вместе: кутили, ухаживали за девушками, дразнили преподавателей. “Товарищи никогда не расставались, это была не группа и не компания, а шайка, — вспоминала Лили. — У них был свой жаргон. Они разговаривали стройным хором и иногда просто пугали неподготовленных окружающих”.

Но “шайка пятерых” занималась не только подростковыми шалостями — будучи радикалами и идеалистами, они однажды купили в складчину швейную машинку для проститутки. Они также интересовались литературой. Идеалом служил русский символизм, и Осип даже сочинял стихи в духе символистов. Вместе с двумя товарищами он также написал роман “Король борцов”, который продавался в газетных киосках.

Как бы ни был Осип предан товарищам, но юная госпожа Каган произвела на него глубокое впечатление. “Ося стал мне звонить по телефону, — рассказывала Лили. — Я была у них на елке. Ося провожал меня домой и по дороге, на извозчике, вдруг спросил: А не кажется вам, Лилия, что между нами что-то больше, чем дружба? Мне не казалось, я просто об этом не думала, но мне



■ Лили с семьей на курорте. Мужчина слева — ее отец Юрий Александрович Каган, рядом с ним (справа) Елена Юльевна, Лили склонилась над плетеным креслом. Эльза сидит на песке в светлом платье.

очень понравилась формулировка, и от неожиданности я ответила: «Да, кажется». Они начали встречаться, но спустя какое-то время Осип вдруг сообщил, что ошибся и не любит ее так сильно, как ему казалось. Лили было тринадцать, Осипу — шестнадцать, ему больше нравилось говорить о политике с ее отцом, чем общаться с ней, и она ревновала. Но спустя еще какое-то время отношения возобновились, и они снова стали встречаться. «Я хотела быть с ним ежеминутно», — писала Лили и делала «все то, что 17-летнему мальчику должно было казаться пошлым и сентиментальным: когда Ося садился на окно, я немедленно оказывалась в кресле у его ног, на диване я садилась рядом и брала его за руку. Он вскакивал, шагал по комнате и только один раз за все время, за 1/2 года, должно быть, Ося поцеловал меня как-то смешно, в шею, шиворот навыворот».

Лето 1906 года Лили провела на курорте Фридрихрода в Тюрингии вместе с матерью и младшей сестрой Эльзой. Осип обещал писать каждый день, но, несмотря на ее многочисленные и отчаянные напоминания, знать о себе не давал. Когда же долгожданное письмо наконец пришло, в нем содержалось нечто такое, что заставило Лили разорвать его в клочья и прекратить писать самой. Именно на это Осип и надеялся, Лили же его холодные фразы повергли в шок: у нее стали выпадать волосы и начался лицевой тик, от которого она никогда не избавилась. Спустя несколько дней после возвращения в Москву они случайно встретились на улице. Осип обзавелся пенсне, ей показалось, что он постарел и подурнел. Они говорили о пустяках, Лили старалась казаться безразличной, но вдруг она услышала собственные слова: “А я вас люблю, Ося”. Несмотря на то что он ее бросил, она понимала, что любит только его и никогда не полюбит другого. В последующие годы у нее будет много романов, несколько раз она едва не выйдет замуж, но стоило ей снова встретить Осипа — и она немедленно расставалась с поклонником: “Мне становилось ясным даже после самой короткой встречи, что я никого не люблю кроме Оси”.

■ АБОРТ В АРМАВИРЕ

Лили легко давалась математика, и в 1908 году она окончила гимназию с наивысшей отметкой пять с плюсом. “По окончании гимназии я собралась на курсы Герье, на математический факультет. Я так блистательно сдала математику на выпускном экзамене, что директор вызвал папу и просил его не губить мой математический талант”.

Поскольку евреек не принимали на курсы Герье без аттестата зрелости, Лили поступила в Лазаревский институт, где на сто мальчиков приходилось всего две девочки, из которых одна, по отзывам Лили, была “совсем некрасивая”.

Когда я переводила Цезаря, инспектор подсказывал мне, переводя шепотом с латыни на французский, а я уже с французского на русский жарила вслух. По естественной истории спросили, какого цвета у меня кровь, где нахо-



■ Лили во время отдыха в Германии летом 1906 г.

дится сердце и бывают ли случаи когда оно бьется особенно сильно. <... > Учитель истории, увидев меня, вскочил и принес мне стул. Я ни на один вопрос не ответила, и он все-таки поставил мне тройку. Мальчики ужасно завидовали.

Отец Лили был знаком с ректором Лазаревского института, но своим успехом у преподавателей-мужчин Лили была обязана вовсе не отцу. Несмотря на то что Лили не была в строгом смысле красавицей — у нее, к примеру, была непропорционально большая по отношению к телу голова, — уже в юные годы она обладала магической притягательностью для мужчин всех возрастов, они влюблялись в ее огромные темные глаза и ослепительную улыбку. Пожалуй, никто не описал внешность и склад ума Лили лучше, чем ее родная сестра. У Лили были “темно-рыжие волосы и круглые карие глаза”, — пишет Эльза и далее продолжает:

У нее был большой рот с идеальными зубами и блестящая кожа, словно светящаяся изнутри. У нее была изящная грудь, округлые бедра, длинные ноги и очень маленькие кисти и стопы. Ей нечего было скрывать, она могла бы ходить голой, каждая частичка ее тела была достойна восхищения. Впрочем, ходить совсем голой она любила, она была лишена стеснения. Позднее, когда она собиралась на бал, мы с мамой любили смотреть, как она одевается, надевает нижнее белье, пристегивает шелковые чулки, обувает серебряные туфельки и облачается в лиловое платье с четырехугольным вырезом. Я немела от восторга, глядя на нее.

Всерьез стали ухаживать за ней летом 1906 года, вспоминала Лили. Во время поездки в Бельгию к ней посватался молодой студент. “Я отказала ему, не оставив тени надежды, и в Москве получила от него открытку с изображением плюща и с подписью: “Je meurs où je m’attache” (“Я умру там, где привязался”). Если со стороны студента флирт был серьезным, то вряд ли можно сказать то же самое о Лили, которой было всего четырнадцать. Но ее неверо-

ятная притягательная сила стала источником постоянного беспокойства для родителей, и ей приходилось одно за другим сочинять письма с отказами страдающему поклоннику, зачастую под диктовку матери.

Через два года, когда Лили готовилась к экзамену на аттестат зрелости, в ее жизни снова появился учитель музыки Григорий Крейн, и они стали общаться. Они играли вместе на скрипке, говорили о музыке — на Лили производила впечатление вольность, с которой он относился к классикам: Бетховен отвратителен, Чайковский вульгарен, а Шуберту следовало бы провести жизнь в пивной. Однажды Крейн лишил Лили невинности — пока другая его подруга мыла посуду в соседней комнате. “Мне не хотелось этого, — вспоминала впоследствии Лили, — но мне было 17 лет и я боялась мещанства”.

Лили забеременела. Первый, кому она доверилась, был Осип, который немедленно предложил ей выйти за него замуж. Проведя бессонную ночь, она решила, однако, что предложение скорее всего было продиктовано сочувствием, — и ответила отказом. Зато она попросила мать уехать с ней, не рассказав, что ждет ребенка. Поскольку Елена Юльевна не испытывала особых симпатий к Крейну, она обрадовалась возможности увезти от него дочь и предложила поехать в Ниццу или Италию. Но Лили попросила, чтобы они поехали в Армавир, где, как она надеялась, тетушка Ида, “человек спокойный, благотворно действует на маму”, когда та узнает правду.

Эффект оказался противоположным: когда Лили рассказала о своей беременности и намерении сохранить ребенка, мать и тетушка в отчаянии потребовали, чтобы она сделала аборт. Настроение едва ли поправила телеграмма, полученная из Москвы от отца: “ЗНАЮ ВСЕ. НЕГОДЯЙ ПРИСЛАЛ ПИСЬМА”. Уверенный в том, что Лили увезли против ее воли, Крейн отправил ее отцу письма, в которых рассказывал, как сильно они любят друг друга...

В России аборты были запрещены, но делалось довольно много нелегальных операций, и их стало еще больше в начале XX века. От беременности Лили избавил врач, знакомый Лилиного дяди, в железнодорожной больнице неподалеку от Армавира,

которая, по словам Лили, была грязным “клоповником”. Когда врач предложил потом восстановить девственность, Лили наотрез отказалась. Однако мать умоляла, уверяя, что когда-нибудь Лили влюбится и захочет скрыть свой позор от будущего супруга. Несмотря на протесты дочери — “все равно не стану же я обманывать того, кого люблю”, — операцию сделали. Лили отреагировала с привычной независимостью: после того как врач через два дня снял швы, она сразу бросилась в туалет, где снова лишила себя девственности, на этот раз пальцем.

После пережитого Лили не хотелось возвращаться в Москву, и она отправилась ко второй тетушке в Тбилиси. В поезде Лили познакомилась с офицером, с которым кокетничала всю ночь напролет, сидя в коридоре на ящике с копчеными гусями. Узнав, что Лили еврейка, офицер утешил ее тем, что она женщина — и, если повезет, сможет выйти замуж за православного. “Ухаживал он очень бурно, — вспоминает Лили, — и даже вынимал револьвер, грозил застрелить, если не поцелуюсь, но я не поцеловалась и осталась жива”. В Тбилиси число поклонников лишь возросло: к Лили посватался состоятельный еврей, пообещав ей 2 тысячи рублей в месяц только на наряды, а получивший образование в Париже татарский князь настойчиво звал ее с собой в горы; Лили, возможно, была бы не прочь, но тетушка резко запротестовала...

После Грузии Лили направилась в прусский город Катовичи (в современной Польше), где воссоединилась с матерью и Эльзой. Здесь жил брат Елены Юльевны. Даже дядя Лео не смог противостоять скороспелому обаянию Лили, он вдруг кинулся ее целовать и требовать, чтобы она вышла за него замуж. Лили горько жаловалась матери, что “ни с кем нельзя слово сказать, сейчас же предложение”: “Вот видишь, ты меня всегда винишь, что я сама подаю повод, а сейчас твой собственный брат, какой же тут повод?” Елена Юльевна была справедливо возмущена поведением брата, но не знала, плакать ей или смеяться. Может быть, она наконец поняла, что дочь права, утверждая, что все эти неконтролируемые всплески эмоций происходят не по ее вине...

Реабилитационное турне продолжилось в санатории под Дрезденом. Пациентами здесь были “молодые люди, лечащиеся

от отравления никотином, старые девы, хорошенькая худосочная румынка с прыщами на лице и фамилией на *еско и я*”, — вспоминала Лили, которая немедленно привлекла к себе пылкие взгляды всех пациентов-мужчин. Женатый господин Беккер пытался напоить ее, но она вылила вино в ведро со льдом, а молодой лейтенант, ненавидевший евреев, объявил, что ради нее готов обвенчаться в синагоге. Когда же “старые девы” начали судачить, будто бы Лили видели в туалете с двумя мужчинами, ее допросила хозяйка санатория, но Лили категорически опровергла сплетни.

По возвращении в Москву Лили возобновила учебу у профессора Герье, однако воспоминания о событиях в Армавире не оставляли ее. То, что с ней там сделали — причем с согласия матери, — было для нее глубоким оскорблением. В ящике письменного стола она теперь хранила пузырек с цианистым калием. Однажды утром она целиком проглотила его содержимое, подождала минуту и начала истерически рыдать. Целый день провела в постели, а следующим утром отправилась на занятия.

Она не понимала, почему не умерла. Позднее ей станет известно, что в поисках писем от Крейна мать открыла ее письменный стол и нашла яд, вымыла пузырек и наполнила его содовым порошком. После этой находки Елена Юльевна следила за Лили, опасаясь, что та бросится под трамвай.

Пузырек с изображением черепа и двух скрещенных костей Лили получила от Осипа Волка. Сын богатого шорно-седельного фабриканта, он был так сильно влюблен в Лили, что хотел, чтобы она умерла, — а он после этого и сам покончил бы с собой.

■ ЖЕНЩИНА В КОРСЕТЕ

Бурные события последних лет вынуждали Лили покинуть Москву; кроме того, ей хотелось продолжить изучение скульптуры. В круг золотой молодежи, где вращалась Лили, входил восемнадцатилетний Генрих Блуменфельд, молодой художник, изучавший живопись в Париже. Гарри, как его называли, поскольку он родился в США, был на два года моложе Лили, но уже прославился как яркая личность. Когда этот юноша с нервным лицом рассуждал о старых мастерах, о рисунке, о форме, о Сезанне,



Поклонник Лили Гарри Блуменфельд: “Очень смуглый, волосы черные — лакированные; брови — крылья; глаза светло-серые, мягкие и умные; выдающаяся нижняя челюсть и, как будто не свой — огромный, развратный, опущенный по углам — рот”.

о новом искусстве, его слушали затаив дыхание. По словам Лили, “всё, начиная с внешности, в нем было необычно. Очень смуглый, волосы черные — лакированные; брови — крылья; глаза светло-серые, мягкие и умные; выдающаяся нижняя челюсть и, как будто не свой — огромный, развратный, опущенный по углам — рот”.

Решив отправиться для изучения скульптуры за границу, Лили обратилась за советом к Гарри, и тот порекомендовал ей Мюнхен, поскольку для Парижа, по его словам, она была еще слишком молода. Лили оказалась целиком в его власти: ей нравились его работы, а от его вдохновенных речей у нее розовели щеки. Как-то, намереваясь напудриться, Лили взяла его пудреницу, а он вскрикнул: “Что вы делаете, у меня сифилис!” Этим восклицанием

Гарри завоевал ее сердце, и две недели, которые оставались до отъезда, они были любовниками, не вспоминая о его заболевании. Нанося перед отбытием за границу прощальный визит семейству Брик, Лили впервые думала не об Осипе. Ее мысли занял другой человек, ее переполняли новые чувства и новые мечты. Осип же умолял ее остаться, но поздней весной 1911 года она уехала в Мюнхен в обществе матери и Эльзы. Через несколько месяцев за ней последовал Гарри.

В Мюнхене Лили сняла небольшую меблированную комнату и начала заниматься в студии Швегерле, одной из лучших художественных мастерских в городе. Каждый день с половины девятого до шести она занималась скульптурой, один раз в неделю рисовала. Рядом с ней в мастерской работала Катя — девушка из

Одессы, всего на год старше Лили, но весьма умудренная опытом для своего возраста. Когда она оставалась ночевать у Лили, дело иногда доходило до ласк, вследствие чего Лили оказывалась все более посвященной в тайны и технику любви.

Катя познакомила Лили с Алексеем Грановским, ровесником Лили, студентом, изучавшим в Мюнхене режиссуру у Макса Рейнхарда. Они стали встречаться, ходили в кафе, ели кофейное мороженое в огромных количествах, посещали музеи и букинистические магазины, Грановский показывал ей свои театральные эскизы и делился режиссерскими планами. Ночи они проводили вдвоем в его квартирке, и каждое утро Лили уезжала на такси домой. Порядок нарушился, когда Гарри (которого ждали) и Осип Волк (чей визит был неожиданным) одновременно появились в Мюнхене. “Я совсем замоталась, — вспоминала Лили. — Никто из трех не должен был знать друг о друге. Ося жил в гостинице, с Гарри я бегала искать ателье, а Грановский остался Грановским”. Спустя какое-то время Лили удалось отправить Волка в Москву; выбор между Грановским и Блуменфельдом был сделан в пользу последнего, которого она не любила, но восхищалась им и жалела. В конце концов Грановский тоже уехал, и Лили осталась с Гарри.

Гарри приехал в Мюнхен, чтобы написать Лили — в образе “Венеры” и “Женщины в корсете”. Для полотна с Венерой она позировала обнаженной, лежа на диване, покрытом белоснежной накрахмаленной простыней. “Женщина в корсете” создавалась по образцу рубенсовских мадонн — с той разницей, что на Лили был розовый корсет и тонкие черные чулки. Картины, похоже, остались незаконченными, а сеансы прекратились сами по себе из-за сильных головных болей, которыми страдал Гарри вследствие сифилиса. Только ближе к вечеру боль отпускала, и они занимались любовью. По словам Лили, Гарри “в своей эротомании был чудовищен” и принуждал ее к действиям, которые она никогда прежде не совершала и о которых даже не слышала. Врач предупреждал Лили о том, что болезнь Гарри опасна и что ей следует быть предельно осторожной, чтобы не заразиться. Несмотря на это они продолжали жить вместе. “Ужасно мне было его жалко”, — объясняла Лили.

■ Я ЕЕ ЛЮБЛЮ БЕЗУМНО

В середине декабря 1911 года Лили вернулась в Москву. В день возвращения они столкнулись с Осипом Бриком в Художественном театре и условились встретиться на следующий день на еврейском благотворительном балу. После нескольких минут разговора Лили снова призналась, что любит его, и во время прогулки по городу она рассказывала Осипу про Мюнхен и про Гарри: “Зашли в ресторан, в кабинет, спросили кофейничек и, без всяких переходов, Ося попросил меня выйти за него замуж. Я согласилась”.

Родители Лили, уставшие от выходок старшей дочери, были весьма довольны этим решением. Отец и мать Осипа находились за границей, и их нужно было оповестить письменно. 19 декабря Осип писал:

Я больше не в силах скрывать от Вас того, чем полна моя душа, не в силах не сообщить Вам моего безграничного счастья, хотя я и знаю, что это известие Вас взволнует, и поэтому я до сих пор Вам не писал... Я стал женихом. Моя невеста, как Вы уже догадываетесь, Лили Каган. Я ее люблю безумно, всегда любил. А она меня любит так, как, кажется, еще никогда ни одна женщина на свете не любила. Вы не можете себе вообразить, дорогие папа — мама, в каком удивительном счастливом состоянии я сейчас нахожусь. Умоляю вас только, отнеситесь к этому известию так, как я об этом мечтаю. Я знаю, Вы меня любите и желаете мне самого великого счастья. Так знайте, это счастье для меня наступило... Когда получите это письмо, ради Бога, телеграфируйте мне немедленно Ваше благословение, только получив его, я буду совершенно счастлив.

Однако полученная от Максима Павловича и Полины Юрьевны телеграмма содержала отнюдь не благословение. Авантюрная биография Лили не была для них тайной, и отец просил Осипа тщательно подумать, прежде чем сделать столь важный шаг: Лили-де артистическая натура, а он нуждается в спокойном, мирном доме; мать, которой были известны все подробности прошлой жизни Лили, пребывала в состоянии шока.

Чтобы успокоить родителей, Осип написал им еще одно письмо, начав его фразой: “Как и следовало ожидать, известие о моей помолвке с Лили Вас очень удивило и взволновало”. И далее:

Лили, моя невеста, молодая, красивая, образована, из хорошей семьи, еврейка, меня страшно любит, что же еще? Ее прошлое? Но что было в ее прошлом? Детские увлечения, игра пылкого темперамента. Но у какой современной барышни этого не было? А я? Мало я увлекался, однако же мне ничего не стоит бросить всякую память о прошлом и будущих увлечениях, так как я люблю Лилию. Для нее же это еще легче, так как она всегда любила только меня <... > В заключение я хочу Вам высказать мою уверенность, что если даже, как я предполагаю, у Вас есть какое-нибудь предубеждение против Лили, то оно немедленно рассеется, как только Вы узнаете ее поближе, увидите, как она меня любит, а главное, как я ее люблю, и как мы оба с ней — счастливы.

Осип всерьез решил жениться, и родители были вынуждены признать этот факт. “Купила я их тем, что просила свадебный подарок в виде брильянтового кольца заменить Стенвеем, — вспоминала Лили. — Из этого они вывели заключение, что я бескорыстна и культурна”.

После помолвки Лили и Осип виделись каждый день, а ночи проводили в философских беседах. Окончательным подтверждением тому, что они были созданы друг для друга, служили их разговоры на сверхъестественные темы: “Выслушав меня, он, в совершенном волнении, подошел к письменному столу, вынул из ящика исписанную тетрадь и стал читать вслух, почти слово в слово, то, что я ему только что рассказала”. В январе Осип уехал в Сибирь по делам семейной фирмы, а Лили занималась обустройством квартиры, которую родители сняли для них в Б. Чернышевском переулке.

Свадьба состоялась 11 марта 1912 года. Будучи неверующими, Лили и Осип отказались идти в синагогу, и обряд брако-

сочетания провел в доме Каганов московский раввин Яков Мазе, однако тот должен был обещать, что не будет речей, а то Лили прервет церемонию. Но отец уже предупредил своего друга раввина о том, что дочь “с придурью”, и все прошло без инцидентов. Осип пробубнил выученную накануне молитву, а раввин завершил торжество кислой репликой: “Я, кажется, не задержал молодых”.

Все говорит о том, что Лили и Осип были горячо влюблены друг в друга: в письмах друзьям Осип пишет, что не может пробыть без нее ни минуты и что он “безмерно счастлив” оттого, что она согласилась стать его женой. При этом Осипу была известна почти вся ее пестрая биография, он ведь даже предлагал ей руку, когда она забеременела от другого. Лилина потребность в сексуальной свободе заставила бы большинство мужчин задуматься, но Осипа, видимо, не отпугнула.

Скорее всего, свободное отношение Лили к сексу не беспокоило Осипа по той простой причине, что сам он не связывал любовь с эротикой. И если, по словам ее знакомой А. Азарх-Грановской, Лили было свойственно “обостренное половое любопытство”, то Осип таковым не страдал — его, по-видимому, не возмущало даже то, что это любопытство не ослабело и после свадьбы. “Мы никогда с ним не спали в одной постели, он этого не умел, не любил. Он говорил, что тогда он не отдыхает”, — рассказывала Лили. Кроме того, у Осипа была еще одна черта характера, которая с возрастом станет все более очевидной: его моральный релятивизм. “Не вполне улавливаю его нравственную физиономию”, — писал один член “шайки пятерых”, Петр Мжедлов, другому — Олегу Фрелиху — в том же году, когда Лили и Осип поженились.

■ КАРАВАН-САРАИ И БОРДЕЛИ

Осип изучал право в Московском университете четыре года и получил диплом весной 1911-го. В его экзаменационной работе раскрывалась тема заключения в одиночной камере; для своего времени вывод был радикальным: “Общество бессильно перед уже совершившимся преступлением, и никакие воздействия на преступника не приведут к желаемому результату, только широкие



■ Молодожены Лили и Осип с Эльзой.



■ Лили и Осип в Туркестане с поэтом Константином Липскеровым и туркменским мальчиком.

социальные реформы, в корне покрывающие самую возможность преступных явлений, в состоянии обеспечить человечеству победу над этим злом”. В кандидатской диссертации Осип предполагал рассмотреть вопросы социального и юридического статуса проституток — широко распространенная проституция в эти годы была предметом бесконечных дискуссий и публикаций. Собирая материал, он гулял по московским бульварам, знакомился с проститутками и помогал им в конфликтах с полицией и клиентами. “Возмещения” он не требовал, что вызывало уважение у девушек, лестно именовавших его “блядским папашей”. Однако диссертация осталась незавершенной.

По окончании обязательной военной службы, на которую его призвали летом 1911 года, Осип, по-видимому, одно время работал юристом, но, женившись, оставил юриспруденцию и занялся семейным делом. Главная контора фирмы располагалась в Москве, но торговля велась главным образом в других городах, что предполагало частые и продолжительные поездки в удаленные уголки Российской империи.



■ Типичная чайхана в Коканде, Туркестан.

Несколько раз Осип брал с собой Лили. Летом после свадьбы они поехали в Нижний Новгород, где фирме “Павел Брик, Вдова и Сын” принадлежала лавка №15 в караван-сарае. Номера располагались этажом выше. Каждый день, спускаясь в лавку, Осип запирал дверь их комнаты снаружи. Строгие мусульманские нормы не позволяли женщине появляться без сопровождения, и даже в уборную Лили провожал коридорный. По вечерам они тем не менее посещали увеселительные заведения: “Купцы гуляют и на молоденькой, удивительно красивой еврейке в испанском костюме [выступавшей на сцене] количество брильянтов растёт с каждой ночью”, — вспоминала Лили. Зимой того же года они побывали в Чите и Верхнеудинске, на границе с Китаем и Монголией, где фирма также имела представительство. Клиентами были буряты, покупавшие, помимо кораллов, часы без механизма, которые использовались как коробочки.

Два осенних сезона 1912–1913 годов Осип и Лили путешествовали по Туркестану. В одну из поездок они пригласили с собой

молодого поэта Константина Липскерова. “Тогда уже в нас были признаки меценатства”, — прокомментировала Лили позднее. Осип бывал там раньше, а для Лили это был новый, неведомый мир. По восточной традиции, их засыпали подарками, они бесконечно пили зеленый чай, ели лаваш и плов. Как и в караван-сараях Нижнего Новгорода, женщины и мужчины обязаны были жить отдельно. Однажды Лили и Осип пришли с визитом к богатому купцу, который, прежде чем сесть за стол, отправился на женскую половину, чтобы сообщить о том, что в гостях у них женщина. “Он вернулся к нам веселый, с грудным ребенком на руках, — вспоминает Лили. — Вот, говорит, ездил в Москву, вернулся, всё дела были, к женам никак не мог зайти и не знал даже, что должно было что-то родиться, а сыну, оказывается, два месяца”.

Жизнь в Туркестане была экзотичной, а Лили — любопытной и дерзкой. Как-то один знакомый позвал ее к своей сестре, чтобы она посмотрела, как живет туркменская женщина. Лили согласилась и пошла с ним в старую часть Самарканда. Они спокойно разговаривали и пили чай со сладостями, когда в дверь отчаянно постучали, и в дом ворвался еще один ее испуганный знакомый: кто-то заметил Лили в обществе постороннего и сделал вывод, что ее похитили, чтобы продать...

В другой раз, теперь вместе с Осипом, Лили посетила самаркандский бордель. Трудно сказать, что стояло за этой идеей — сексуальное любопытство Лили или социологическая пытливость Осипа, но к подобным вещам они проявляли интерес не впервые: будучи в Париже зимой 1912–1913 годов, они побывали в доме свиданий, где смотрели “представление” двух лесбиянок. В Самарканде бордели появились относительно недавно, до этого мужчины удовлетворяли свои потребности, прибегая к услугам длинноволосых подростков, так называемых *бачей*, которые танцевали и развлекали клиентов в чайханах. Бордели располагались на отведенной для них улице за чертой города — это было единственное место, где встречались женщины без чадры. Впечатления Лили от борделя достойны того, чтобы их процитировать целиком:

Улица эта вся освещена разноцветными фонариками, на террасах сидят женщины, большей частью татарки, и

играют на инструментах вроде мандолин и гитар. Тихо и нет пьяных. Мы зашли к самой знаменитой и богатой. Она живет со старухой матерью. В спальне под низким потолком протянуты веревки, и на веревках висят все ее шелковые платья. Все по-восточному, только посередине комнаты двуспальная никелированная кровать.

Принимала она нас по-сартски. Низкий стол, весь установлен фруктами и разнообразными сладостями на бесчисленных тарелочках, чай — зеленый. Пришли музыканты, сели на корточки и заиграли, а хозяйка наша затанцевала. Платье у нее серое до пят, рукава такие длинные, что не видно даже кистей рук, и закрытый ворот, но когда она начала двигаться, оказалось, что застегнут один воротник, платье разрезано почти до колен, а застежки никакой. Под платьем ничего не надето, и при малейшем движении мелькает голое тело.

■ ДЕЗЕРТИР

Лили и Осип искренне интересовались литературой, живописью, музыкой, театром и балетом и часто вслух читали друг другу классиков — русских, немецких и французских: Ницше “Так говорил Заратустра”, Киркегора “In vino veritas”. Их также увлекала итальянская литература, и одно время они изучали итальянский язык. Экслибрис Осипа изображает Паоло в объятиях Франчески с соответствующей цитатой из “Божественной комедии” Данте: “И в этот день мы больше не читали”. Иными словами, супруги Брик были представителями так называемой “образованной буржуазии”. Однако интересовались они не только культурой. Они вели беспечную жизнь, в которой находилось место и менее серьезным развлечениям, таким как варьете или столь модные в начале XX века автомобильные прогулки. И любовь к бегам заставляла их просиживать на трибунах ипподрома не меньше времени, чем в театральных креслах. В деньгах недостатка не было. Осип был из богатой семьи, за Лили дали приданое в 30 тысяч рублей, что на сегодняшний день соответствует приблизительно 10 с половиной миллионам рублей. Треть суммы использовали на мебели-



■
Иронический экслибрис Осипа с цитатой из "Божественной комедии" Данте: "И в этот день мы больше не читали".

мужчинами за деньги, и та ответила с искренним удивлением: "А что, Лили Юрьевна, разве даром лучше?"

Туркестан, его обитатели и среднеазиатская культура произвели на Осипа и Лили настолько сильное впечатление, что они всерьез вознамерились переехать туда на несколько лет. Но эти планы нарушила разразившаяся летом 1914 года мировая война. За день до объявления войны Лили и Осип сели на борт волжского парохода и не возвращались в Москву, пока не получили от отца

ровку квартиры, для оставшейся части применение тоже нашлось без труда.

Люди, с которыми они общались, происходили из такой же благополучной и часто декадентской среды, многие из них слыли большими эксцентриками. К таковым принадлежала семья Альбрехт — у них был один из первых в Москве автомобилей, огромный английский бульдог, змея и названная в честь одной из любовниц Дон Жуана обезьяна, которой, как положено даме, делали маникюр. Их дочь-лесбиянка обманывала свою любовницу Соню и с мужчинами и с женщинами, боготворила Казанову и мечтала встретиться с ним в аду. Еще одним оригинальным знакомством была Зинаида Штильман — она, вопреки невысокому росту, тучности и родимому пятну во всю щеку, пять раз выходила замуж, за ней ухаживал великий князь Дмитрий Павлович. Однажды Лили спросила у нее, правда ли, что она живет с

телеграмму о том, что первый призыв уже отправился на фронт и они снова могут приехать домой. Позднее Лили объясняла их бегство “пораженчеством” и недостатком “подъема патриотического”.

Пока Брики ждали решения дальнейшей судьбы Осипа, в Москву начали прибывать первые эшелоны с ранеными. Как и многие другие, Лили и Вера, сестра Осипа, пошли на срочные курсы сестер милосердия. Больницы были переполнены солдатами с ампутированными ногами, и Лили впоследствии с ужасом вспоминала о том, как ей приходилось сдирать бинты с гнойных ран.

Благодаря знакомству со знаменитым тенором Леонидом Собиновым Осипа направили на службу в автомобильную роту в Петрограде. Осенью 1914 года Брики переехали из Москвы в столицу, где сначала поселились в двухкомнатной квартире с полным пансионом на Загородном проспекте, а позднее, в январе 1915 года, перебрались на улицу Жуковского.

Однако служба в автомобильной роте не исключала отправки на фронт. По совету своего друга Миши Гринкруга Осип связался с писарем роты Игнатьевым — взяточником, которого все ценили за умеренный прейскурант и обязательность. Игнатьев намекнул, что может повлиять на то, останется Осип в Петрограде или нет. “Что ж, и на фронте люди живут”, — произнес Осип вызывающе, с тем чтобы Игнатьев не набивал цену. “Живут, только недолго”, — ответил Игнатьев.



■ Осип в военной форме, которую он вскоре снимет.

Осипу ответ понравился, и он тотчас же дал ему двадцать пять рублей.

Чтобы поддерживать хорошие отношения с Игнатьевым, Лили и Осип иногда приглашали его на ужин. Инвестиция оказалась удачной, поскольку вскоре военное начальство приняло решение выслать всех евреев в село Медведь Новгородской губернии — “незачем [евреям] портить красивый пейзаж авточасти”, по формулировке Лили. В Медведе находилось военное поселение, основанное сто лет назад Аракчеевым. Характерный для эпохи Николая I казарменный дух пронизывал все здесь происходившее; не случайно во время русско-японской войны 1904–1905 годов именно в Медведе устроили концентрационный лагерь для японцев.

В селе располагалась 22-я дивизия и один из пяти имевшихся в России дисциплинарных батальонов, куда и должны были отправить Осипа для последующей переправки на фронт. Дисциплинарный батальон в Медведе был широко известен, и Лили объявила, что если Осип допустит, чтобы его увели под конвоем, как вора или отцеубийцу, она откажется быть его женой и другом и никогда его не простит. Эта перспектива Осипа не устраивала, и он немедленно пошел к Игнатьеву, который, получив еще двадцать пять рублей, сразу устроил его в госпиталь. Когда опасность миновала, выяснилось, что имя Брика исчезло из списков, и о его существовании забыли. Так как сам он никакой инициативы не проявлял, он стал дезертиром и вынужден был скрываться. Он не ходил в театр, не навещал родителей в Москве и вообще старался как можно реже выходить из дома. Время проводил, сооружая из игральных карт домики и прочие объекты, которыми украшал рояль: театр, трамвай, автомобиль, — хобби, доведенное многосторонним талантом Осипа до совершенства.

Первое время в Петрограде они общались главным образом “с дальними родственниками осиных родственников”, по словам Лили, некоторые были необразованны и богаты в равной степени. Одна из них однажды предложила Лили поехать в Царское Село. В купе напротив сидел странный человек, время от времени бросавший взгляды в сторону Лили. Грязная борода и чер-

ные ногти контрастировали с богатой одеждой — на нем были длинный, подбитый пестрым шелком кафтан, высокие сапоги и красивая бобровая шапка, в руках он держал палку с дорогим набалдашником. “Я долго и беззастенчиво его рассматривала, а он совсем скосил глаза в мою сторону, причем глаза оказались ослепительно синие и веселые, и вдруг прикрыл лицо бородашкой и фыркнул”.

Это был Григорий Распутин. Возвращаясь в Петроград, они снова оказались в одном купе, и Распутин пригласил Лили к себе в гости на квартиру, которую осаждали толпы доверчивых женщин, надеявшихся получить помощь от малограмотного целителя; пусть возьмет с собой мужа, добавил он. Лили, как всегда, была готова к приключениям, но у Осипа приглашение Распутина вызвало резкий протест; он просто не понимал ее любопытства: “Известно, что это за банда”.

Пока Осип нес службу в автомобильной роте, Лили проводила дни в одиночестве. Обычно она шла пешком по набережным до Эрмитажа, по залам которого гуляла часами; под конец зрители знали ее так же хорошо, как она — музейные экспонаты. Часто она продолжала прогулку до Гвардейского экономического общества, где пила кофе с бутербродами. Иногда, даже не поинтересовавшись репертуаром, заходила в кинематограф. “Вы себе представить не можете, — писала Лили Олегу Фрелиху в январе 1915 года, — до чего я здесь одна! Весь день не с кем слова сказать”.

В конце концов бездельность и скука повергли ее в отчаяние. Однажды во время прогулки она столкнулась с двумя молодыми людьми из московского бомонда и отправилась вместе с ними в оперетту. Потом они продолжили вечер в ресторане, где выпили много вина, Лили опьянела и рассказала об их с Осипом приключениях в парижском борделе. Спутники предложили показать ей подобное заведение в Петрограде, и следующим утром она проснулась в комнате с огромной кроватью, зеркалом на потолке, коврами и задернутыми шторами — она провела ночь в знаменитом доме свиданий в Аптекарском переулке. Спешно вернувшись домой, она рассказала обо всем Осипу, который спокойно сказал, что ей нужно принять ванну и обо всем забыть.

■ ЧТО ДЕЛАТЬ?

Не пытаясь скрыть, как большинство других жен, свой позор от мужа, Лили немедленно призналась Осипу во всем, что пережила, — точно так же, как она поступила, узнав о беременности. Осип со своей стороны реагировал холодно и рационально в ситуации, при которой другой мужчина был бы вне себя от ревности. Когда же Лили узнала, что один из этих офицеров бахвалится своей победой перед знакомыми, она его публично отчитала. Она никогда не скрывала свои романы и никогда их не стыдилась, а Осип относился к ним с почти непостижимым спокойствием, очевидно не чувствуя себя оскорбленным. Описывая первые прожитые с Осипом годы как “самые счастливые”, Лили наверняка имела в виду не только их любовь, но и предоставленную ей Осипом и неприемлемую для большинства мужчин свободу, без которой жизнь для нее была невыносима.

Свободолюбие Лили отражало независимый нрав женщины, которая не дала себя поработить предрассудкам и авторитетам. Но ее вольное отношение к сексу было не только чертой характера — его нужно рассматривать в более широком социальном контексте. Период после революции 1905 года отличался большим интересом к вопросам сексуальности, брака, свободной любви, проституции, а также регулирования рождаемости. Эти же темы обсуждались и в других странах Европы, и множество соответствующих книг было переведено на русский. При этом российские дебаты не нуждались в импульсах извне — домашняя реальность давала достаточную пищу для размышлений.

В основе русского радикализма лежали два влиятельных романа 1860-х годов: “Отцы и дети” Тургенева, чей герой нигилист Базаров отвергает принятую в обществе систему ценностей, и “Что делать?” Чернышевского — произведение, сыгравшее важнейшую роль в дискуссиях об эмансипации женщин в России. Чернышевский говорит об освобождении женщины от различных форм угнетения — со стороны родителей, мужчин, общественных институтов, а также о ее праве на образование, труд и любовь. Брак должен быть равноправным, что, в частности, означает, что женщина должна иметь право жить не только с мужем, но и с дру-

гими мужчинами и иметь собственную спальню. “Кто смеет обладать человеком? Обладают халатом, туфлями”. Ревность, по утверждению Чернышевского, — “это искаженное чувство, это фальшивое чувство, это гнусное чувство”. Секрет прочных отношений заключается в том, что оба партнера осознают право другого уйти, если любви больше нет. По-настоящему радикальным здесь является то, что эти условия признает не только героиня, Вера Павловна, но и ее партнер.

Роман “Что делать?” служил источником вдохновения для поколений русских женщин и мужчин. В последнее десятилетие XIX века социальные конфликты крайне обострились, и хотя общественные устои в России были весьма прочными, в 1905 году вспыхнула революция. Восстание удалось подавить, а последующие годы — несмотря на ряд реформ — характеризовались жесткой политической реакцией. Многих радикально настроенных деятелей, в частности Максима Горького, отправили в ссылку, другие политические активисты ушли в подполье. Многолетняя общественная и политическая работа сменилась пассивностью и чувством отчаяния, особенно у молодежи, которая теперь увлеклась вопросами личного характера. Эти настроения усилило распространившееся в Европе эстетическое и общественное течение — декадентство, которое в России нашло более благодатную почву, чем где бы то ни было. В области культуры и идеологии оно выражалось в поклонении “чистому искусству” и в различных формах оккультизма, в “жизни” — в свободе нравов, граничившей с безнравственностью.

Теме свободной любви посвящались роман за романом; наиболее известным стал “Санин” М. Арцыбашева (1907), в котором воспевался гедонизм и полное сексуальное раскрепощение. “Молодежь, — пишет Ричард Стайтс, специалист по женскому движению в России, — высвобождала сдерживавшуюся энергию в сексуальных приключениях и плотских эксцессах, оправдывая безудержное поведение вульгарным санинским лозунгом “удовольствие ради удовольствия”.

В начале XX века отношение к сексу было таким свободным, что, по словам одного писателя, образованные женщины могли вспоминать о любовном приключении так же пренебрежи-

тельно, как “о случайном знакомстве или о меню в ресторане, где они ужинали”.

В этом общественном климате формировались взгляды Лили — и Осипа — на сексуальность, брак и семейную жизнь, и на этом фоне следует рассматривать их поведение и систему ценностей.

■ ЭЛЬЗА

Маяковский вращался в кругах, близких к обществу “Бубновым валет”, к этим же кругам принадлежала сестра Лили Эльза — одно время она даже брала уроки у Ильи Машкова, и тот одобрительно отзывался о ее рисунках. Здесь она влюбилась в старого поклонника Лили Гарри Блуменфельда, который по возвращении из Мюнхена стал учеником в мастерской Машкова и которого Эльза в своем дневнике называет “сладострастным”, но с “замечательными глазами”. Ее чувства, однако, остались безответными — Гарри любил другую. Кроме того, Эльза знала, что мать никогда не позволит ему ухаживать за ней. Осведомленность о сифилисе также помогла ей выкинуть его из головы.

Дневник Эльзы 1912–1913 годов свидетельствует о большой эгоцентричности и развитом комплексе неполноценности младшей сестры. Ей шестнадцать, и она во всем сравнивает себя с Лили, которая вызывает у нее восхищение и на которую ей хочется быть похожей. “Я должна была родиться красивой. Тогда бы мне не нужны были бы столько денег, то есть, не то, чтобы не нужны были бы, но подобно Лили это бы не снилось мне”. Отношения между сестрами при этом весьма сложны. Жалуясь на старшую сестру за то, что та, “как обычно”, не обращает на нее внимания и не слышит, что она говорит, Эльза одновременно дает себе следующую убийственную характеристику: “Я бессовестная, невыносимая, и я никогда не бываю довольной. Точно как Лили”.

Пока Лили и Осип путешествуют по Туркестану, Эльза живет в их квартире, где ее вдохновляют “своего рода мысли”, которые здесь “витают в воздухе”: и у нее, как она пишет, случаются “чувственные сны”, она “не то что развращенная”, но “жаждет непристойностей, лишь бы они не были противными”. Она часто



■ По-детски пухлая Эльза жаловалась в дневнике на свою внешность: "Бог дал мне желание любить, создал мою душу для любви, но не дал мне тело, сделанное для любви".

влюбляется, но без взаимности, и страдает, потому что кажется себе непривлекательной: “Бог дал мне желание любить, создал мою душу для любви, но не дал мне тело, созданное для любви”.

С этим пухлым подростком с “не созданным для любви” телом знакомится осенью 1913 года Маяковский. Встреча состоялась дома у пианистки Иды Хвас, студентки Московской консерватории и близкого друга бубнововалетчиков. Семьи Каган и Хвас хорошо знали друг друга, Эльза и Лили дружили с Идой и ее сестрой Алей с детства.

Дата первой встречи устанавливается по воспоминаниям Эльзы, но датировка неточна; в любом случае регулярно встречаться они начали летом 1914-го. Теперь, после футуристического турне, Маяковский больше не носит потрепанные, лоснящиеся брюки, теперь на нем цилиндр и черное пальто, и, фланируя по московским бульварам, он машет элегантной тростью. Но он по-прежнему ведет себя нахально, его неотесанные манеры глубоко шокируют Юрия Александровича и Елену Юльевну. Вот как описывает Эльза ужин у них дома:

Володя вежливо молчит, изредка обращаясь к моей матери с фразами вроде: “Простите, Елена Юльевна, я у вас все котлеты сжевал...” — и категорически избегая вступать в разговоры с моим отцом. Под конец вечера, когда родители шли спать, мы с Володей переезжали в отцовский кабинет, с большим письменным столом, с ковровым диваном и креслами на персидском ковре, книжным шкафом... Но мать не спала, ждала, когда же Володя наконец уйдет, и по нескольку раз, уже в халате, приходила его выгонять: “Владимир Владимирович, вам пора уходить!” Но Володя, нисколько не обижаясь, упирался и не уходил.

Можно было бы думать, что Елену Юльевну закалила бурная молодость старшей дочери, но это было не так: мать была в отчаянии от того, что Эльза общается с Маяковским, и плакала.

Летом 1914 года Эльза с родителями поехала в Германию, где отцу удалили раковую опухоль. Война застала их в санатории под Берлином, и они спешно вернулись в Россию через Швецию.

В Москве поправившийся после операции отец возобновил свою юридическую практику. Но вскоре его состояние снова ухудшилось, и ровно через год, в июне 1915 года, он скончался.

Во время болезни Юрия Александровича Эльза представила Лили Маяковского, который однажды решил зайти к ним в гости в квартиру на улице Жуковского. Он вернулся из Куоккалы в Финляндии, где провел лето. С порога он начал хвастаться, что никто не пишет стихи лучше него, добавив, что их не понимают и не умеют читать так, как надо. Когда Лили сказала, что готова попытаться, он дал ей “Мама и убитый немцами вечер”. Она прочитала стихотворение так, как Маяковский хотел, но когда он спросил о ее мнении, она ответила: “Не особенно”. “Я знала, что авторов надо хвалить, — вспоминала Лили, — но меня так возмутило Володино нахальство...” Страдавший от бронхита Осип, который лежал на диване и читал газету, повернулся к стене и накрылся одеялом, намекая, что Маяковскому пора уходить.

С демонстративным равнодушием Лили и Осипа контррастировал безграничный энтузиазм Эльзы. Стихами Маяковского она была одержима, знала их наизусть и рьяно защищала его ото всех, кто подвергал сомнению его талант. После смерти отца Эльза одно время жила у Лили и Осипа, которые уговаривали ее порвать с Маяковским. Поскольку он приходил к ней на улицу Жуковского довольно часто, вопрос в конце концов стал ребром — “проблему” Маяковского надо было решить. Эльза могла спасти свои отношения с ним, только убедив сестру и зятя в том, что он великий поэт, для чего он должен был почитать им свои стихи. Лили и Осип упорствовали и умоляли Эльзу не просить его читать. Но она не послушала — “и мы услышали”, вспоминала Лили, “в первый раз Облако в штанах”.

Конфликт разрешился, но не так, как предполагала Эльза.



Сердце обокравшая,
всего его лишив,
вымучившая душу в бреду мою,
прими мой дар, дорогая,
больше я, может быть, ничего не придумаю.

■ Владимир Маяковский. *Флейта-позвоночник*

“**М**аяковский ни разу не переменял позы, — вспоминала Лили. — Ни на кого не взглянул. Он жаловался, негодовал, издевался, требовал, впадал в истерику, делал паузы между частями.

Вот он уже сидит за столом и с деланной развязностью требует чаю. Я торопливо наливаю из самовара, я молчу, а Эльза торжествует — так я и знала!”

Эльза добилась своего. “Это было то, о чем так давно мечтали, чего ждали, — вспоминала Лили. — Последнее время ничего не хотелось читать”.

Первым пришел в себя Осип, объявивший, что Маяковский великий поэт, даже если он не напишет больше ни строчки. “Он отнял у него тетрадь, — вспоминает Лили, — и не отдавал весь вечер”. Когда Маяковский снова взял тетрадь в руки, он написал посвящение: “Лиле Юрьевне Брик”. В этот день ее имя появилось над поэмой Маяковского в первый, но не в последний раз: до самого конца его жизни все его произведения будут посвящены Лили.

Судя по всему, Лили и Осип были первыми слушателями окончательной версии “Облака”. До этого Маяковский читал

■ На картине Бориса Григорьева с нейтральным названием “Незнакомец” изображен Маяковский. Работа впервые демонстрировалась на выставке “Мира искусства” в 1916 г.

фрагменты поэмы многим, в частности Максиму Горькому, Корнею Чуковскому и Илье Репину — с одинаково ошеломляющим эффектом. Горького, например, Маяковский “испугал и взволновал” так, что тот “разрыдался, как женщина”. Услышав от Горького, что “у него большое, хотя, наверное, очень тяжелое будущее”, Маяковский мрачно ответил, что хотел бы “будущего сегодня”, и добавил: “Без радости — не надо мне будущего, а радости я не чувствую!” Разговаривал он, как впоследствии вспоминал Горький, “как-то в два голоса, то — как чистейший лирик, то резко сатирически <...> Чувствуется, что он не знает себя и чего-то боится... Но — было ясно: человек своеобразно чувствующий, очень талантливый и — несчастный”.

■ ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ

Что же заставило Горького зарыдать, а Лили — приветствовать “Облако в штанах” как нечто новое и долгожданное? Для читателя, знакомого с ранними стихами Маяковского, “Облако” звучало не особенно “по-футуристически”. Поэма изобиловала дерзкими образами и неологизмами, но формально не являлась сложным произведением вроде его прежних кубофутуристических стихов, создавших ему скандальную репутацию. Нет, новизна заключалась прежде всего в посыле и в интонации — скорее экспрессионистской, нежели футуристической.

Наблюдение Горького о “двух голосах” Маяковского было на редкость точным. Через несколько недель после читки у Бриков Маяковский публикует статью “О разных Маяковских”, в которой представляется так, как, ему кажется, его воспринимает публика: нахалом, циником, извозчиком и рекламистом, “для которого высшее удовольствие ввалиться, напялив желтую кофту, в сборище людей, благородно берегущих под чинными сюртуками, фраками и пиджаками скромность и приличие”. Но за двадцатидвухлетним нахалом, циником, извозчиком и рекламистом скрывается, объявляет он, другой человек, “совершенно незнакомый поэт Вл. Маяковский”, написавший “Облако в штанах”, — после чего приводится ряд цитат из поэмы, раскрывающих эту сторону его личности.

Спустя три года, после революции Маяковский опишет “идеологию” поэмы следующими лозунгами: “Долой вашу любовь”, “Долой ваше искусство”. “Долой ваш строй”, “Долой вашу религию”. Подобной систематики или симметрии в поэме нет, но если идеологическое “ваш” заменить местоимением первого лица единственного числа, описание можно считать правильным: “Облако в штанах” рассказывает об этих вещах, но не о “ваших” — то есть капиталистического общества, — а о *моей*, Маяковского, мучительной и безответной любви, *моем* эстетическом пути на Голгофу, *моем* бунте против несправедливостей, *моей* борьбе с жестоким и отсутствующим богом.

“Облако” — один сплошной монолог, в котором поэт протестует против внешнего мира, против всего того, что является “не-я”. Начинается поэма дерзким самовосхвалением в духе Уитмена:

У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир оgrößив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.

Уже здесь, в прологе, читателя готовят к резким перепадам чувств, которыми пронизана вся поэма:

Хотите —
буду от мяса бешеный
— и, как небо, меняя тона —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а — облако в штанах!

В первой части поэмы рассказывается о любви к молодой женщине, Марии, одним из прообразов которой послужила Мария Денисова. Ожидая ее в условленном месте, Маяковский чувствует, что “тихо, как больной с кровати, прыгнул нерв”, вот уже “и новые два мечутся отчаянной чечеткой”, такой свирепой, что

в гостиничном номере этажом ниже, где они должны встретиться, падает штукатурка.

Нервы —
большие,
маленькие,
многие! —
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!

Когда Мария наконец появляется и объявляет, что выходит замуж за другого, поэт спокоен, “как пульс покойника”. Но это спокойствие вынужденное — кто-то другой внутри него стремится вырваться из тесного “я”. Он “прекрасно болен”, то есть влюблен — у него “пожар сердца”. Подоспевших пожарных поэт предупреждает, что “на сердце горящее лезут в ласках”, и пытается сам тушить огонь “наслезнёнными бочками”. Когда у него не получается, он пытается вырваться из себя, опираясь о ребра, — “не выскочишь из сердца!” и не избавишься от вечной тоски по любимой: “Крик последний, — ты хоть — / о том, что горю, в столетия выстони!”

В следующей части настроение резко меняется: отчаявшийся поэт с горящим сердцем теперь выступает в роли футуристического бунтаря, который “над всем, что сделано”, ставит “nihil”:

Никогда
ничего не хочу читать.
Книги?
Что книги!

Поэты, которые “выкипачивают из любовей и соловьев какое-то варево”, принадлежат прошлому, теперь “улица корчится безъязыкая — ей нечем кричать и разговаривать”. Только новые поэты, которые “сами творцы в горящем гимне — шуме фабрики и лаборатории”, способны воспевать современную жизнь, современный

город. Но путь Маяковского тернист. Турне футуристов представлено как путь на Голгофу:

...и не было ни одного,
который
не кричал бы:
“Распни,
распни его!”

Поэтический дар Маяковского отвергается и обсмеивается современниками, как “длинный скабресный анекдот”. Но будущее принадлежит ему, и в мессианском пророчестве он видит “идущего через горы времени, которого не видит никто”. Он видит, как приближается, “в терновом венце революций”, “который-то год”:^{*}

И когда,
приход его
мятежом оглашая,
выйдете к спасителю —
вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая! —
и окровавленную дам, как знамя.

В третьей части развиваются все предыдущие темы, но мотив бунта становится более четким. Облака — “белые рабочие”, которые “расходятся”, “небу объявив озлобленную стачку”, и поэт призывает всех “голодненьких, потненьких, покорненьких” к восстанию. Однако его чувства противоречивы: хотя он видит “идущего через горы времени, которого не видит никто”, он знает, что “ничего не будет”: “Видите — небо опять иудит / пригоршню

*

Эти строки первоначально были вычеркнуты цензурой. В неподцензурном издании 1918 г. Маяковский заменил “который-то” на “шестнадцатый”. Он хотел показать, что предсказывал революцию, но не хотел, чтобы пророчество выглядело подозрительно точным.

обрызганных предательством звезд?” Он ежится, “зашвырнувшись в трактирные углы”, где “вином обливает душу и скатерть”. С иконы на стене “трактирную ораву” “одаривает сиянием” другая Мария, Богоматерь: история повторяется, Варавву снова предпочитают “голгофнику оплеванному”, то есть Маяковскому:

Может быть, нарочно я в человеческом месиве
лицом никого не новей.

Я,
может быть,
самый красивый
из всех твоих сыновей.

<... >

Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто,
в самом обыкновенном евангелии
тринадцатый апостол.

Несмотря на то что протест Маяковского не лишен социальных черт, на самом деле речь идет о более глубоком, экзистенциальном бунте, направленном против времени и миропорядка, превращающего человеческую жизнь в трагедию. Это становится еще яснее в заключительной части поэмы, где молитва о любви опять отвергается, в строках, пророческий смысл которых автору, к счастью, пока неведом: “...я с сердцем ни разу до мая не дожили, / а в прожитой жизни / лишь сотый апрель есть”.

Виноват в несчастной, невозможной любви Маяковского не кто иной, как сам Господь, который “выдумал пару рук, / сделал, / что у каждого есть голова”, но “не выдумал, / чтоб было без мук / целовать, целовать, целовать”:

Я думал — ты всеильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.
Крылатые прохвосты!

Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски!

Любовь доводит человека до грани безумия и самоубийства, но Вселенная безмолвствует, и не у кого требовать ответа. Миропорядок поколебать невозможно, мятеж напрасен, все растворяется в тишине: “Вселенная спит, / положив на лапу / с клещами звезд огромное ухо”.

“Облако в штанах” — молодой, мятежный монолог, заставивший Пастернака вспомнить о юных бунтарях Достоевского, а Гюрького воскликнуть, что “такого разговора с богом он никогда не читал, кроме как в книге Иова”. Несмотря на некоторые композиционно-структурные слабости, поэма представляет собой значительное достижение, особенно учитывая возраст автора. Благодаря эмоциональному заряду и новаторской метафорике она занимает центральное место в творчестве Маяковского; к тому же поэма является концентратом всех главных тем поэта. Многие из них — безумие, самоубийство, богоборчество, экзистенциальная уязвимость человека — сформулированы еще в написанной двумя годами ранее пьесе “Владимир Маяковский” — экспрессионистическом, нищепанском произведении с жанровым определением “трагедия”. “Владимир Маяковский” — не имя автора, а название пьесы. “Трагедия называлась “Владимир Маяковский”, — прокомментировал Пастернак. — Заглавье скрывало гениально простое открытие, что поэт не автор, но — предмет лирики, от первого лица обращающейся к миру”. Когда Маяковского спросили, почему пьеса названа его именем, он ответил: “Так будет называть себя тот поэт в пьесе, который обречен страдать за всех”. Поэт — козел отпущения и искупитель; одинокий, отверженный толпой, он принимает на себя эту ношу именно в силу того, что он поэт.

Когда в феврале 1915 года отрывок из поэмы “Облако в штанах” был опубликован в альманахе “Стрелец”, она носила жанровое определение “трагедия”, а в статье “О разных Маяковских” поэт называет ее своей “второй трагедией”, тем самым

устанавливая прямую связь между поэмой и пьесой. Эта связь становится еще более очевидной, поскольку изначально “Облако” называлось “Тринадцатый апостол” — которым был не кто иной, как Маяковский. Будучи вынужденным по требованию цензуры изменить название, Маяковский выбрал “Облако в штанах” — еще одну свою ипостась. Все три названия: “Владимир Маяковский”, “Тринадцатый апостол”, “Облако в штанах” синонимичны авторскому “я” — естественный прием поэта, чье творчество глубоко автобиографично.

■ СТРАШНЫЙ ХУЛИГАН

Несмотря на то что “Облако” получило одобрение таких авторитетов, как Максим Горький и Корней Чуковский, Маяковскому было трудно найти издателя. Услышав об этом, Брик предложил профинансировать издание и попросил Маяковского узнать стоимость. Поэты-футуристы были бедны и находились в постоянных поисках денег на свои дела, так что поначалу Маяковский рассматривал Осипа как потенциального мецената. Поэтому он указал завышенную сумму, положив часть денег в собственный карман. Когда много лет спустя он понял, что Лили и Осип знали об этом, ему было очень стыдно.

Однако Маяковскому скоро стало ясно, что Осип не обычный богач, а искренне увлекается футуризмом. Но это было новым увлечением. Помимо единственной до чтения “Облака” личной встречи, Лили и Осип видели Маяковского лишь однажды, на публичном выступлении. Когда в мае 1913 года в Россию после многих лет эмиграции вернулся поэт-символист Константин Бальмонт, в его честь был устроен вечер, на котором выступал Маяковский, приветствовавший Бальмонта “от имени его врагов”. Маяковского ошарашивали, и среди шикающих были Лили и Осип.

Теперь, в 1915 году, Маяковский считался обещающим поэтом, но широкая слава к нему еще не пришла. Его немногочисленные стихи печатались в газетах и малоизвестных футуристических изданиях, а когда осенью 1913 года в Петербурге поставили пьесу “Владимир Маяковский”, Лили и Осип жили в Москве. На

самом деле пока он был известен главным образом как устроитель футуристических скандалов.

Чтение “Облака в штанах” мгновенно развеяло скепсис Лили и Осипа. В сентябре 1915-го поэма вышла с окончательным посвящением “Тебе, Лиля” на титульном листе, издательским именем ОМБ — инициалы Осипа — на обложке и новым жанровым определением: не “трагедия”, а “тетраптих” — композиция из четырех частей, ассоциативно уводящая к “триптиху”, трехчастной иконе. Тираж 1050 экземпляров. Строки, в которых цензура разглядела богохульство или политическую крамолу, были заменены точками. “Мы знали “Облако” наизусть, — вспоминала Лили, — корректуры ждали как свидания, запрещенные места вписывали от руки. Я была влюблена в оранжевую обложку, в шрифт, в посвящение и переплела свой экземпляр у самого лучшего переплетчика в самый дорогой кожаный переплет с золотым тиснением, на ослепительно белой муаровой подкладке. Такого с Маяковским еще не бывало, и он радовался безмерно”. Продажи, однако, шли вяло, согласно Маяковскому, потому что “главные потребители стихов были барышни и барыни, а они не могли покупать из-за заглавия”.

“Очень жалко, что книга Маяковского тебе не понравилась, — писал Осип Олегу Фрелиху в сентябре, — но думаю, что ты просто в нее не вчитался. А может быть, тебя отпугнула своеобразная грубость и лапидарность формы. — Я лично вот уже четвертый месяц только и делаю, что читаю эту книгу; знаю его наизусть и считаю, что это одно из гениальнейших произведений всемирной литературы <...> Маяковский у нас днюет и ночует; он оказался исключительно громадной личностью, еще, конечно, совершенно не сформировавшейся: ему всего 22 года и хулиган он страшный”.

“Брики отнеслись к стихам восторженно”, а Маяковский “безвозвратно полюбил Лилу” — так подвела итог Эльза после чтения “Облака”. Будучи младшей сестрой, она всегда пребывала в тени Лили, а порой, например в случае с Гарри Блуменфельдом, даже наследовала ее увлечения. Тем не менее в этот раз вышло наоборот: отныне Маяковский не видел никого, кроме Лили.

■ МЕТАМОРФОЗА

До чтения поэмы дома у Бриков Маяковский провел лето в Финляндии на Карельском перешейке, где у многих петербуржцев были дачи. Горький жил в Мустаяки, в Куоккале — Репин и Чуковский. Сразу после знакомства с Лили Маяковский объявил Чуковскому, что начинает новую жизнь, поскольку встретил женщину, которую полюбил навсегда, — “единственную”. “Сказал это так торжественно, что я тогда же поверил ему, — вспоминал Чуковский, — хотя ему было 23 года, хотя на поверхностный взгляд он казался переменчивым и беспутным”.

После Петрограда Маяковский должен был вернуться в Куоккалу. Но встреча с Лили изменила его планы, и вместо этого он снял меблированную комнату в гостинице “Пале-Рояль” на Пушкинской улице у Невского проспекта, недалеко от квартиры Лили и Осипа. Приезжая в Петербург, он и раньше часто останавливался здесь. На Пушкинской он прожил до начала ноября, после чего перебрался на Надеждинскую улицу, которая была еще ближе, в пяти минутах ходьбы от них.

Маяковский и Лили начали встречаться, в его квартире или в каком-нибудь доме свиданий, где, по словам Лили, Маяковскому нравилась необычная обстановка, красный бархат и позолоченные зеркала.. Они были неразлучны, ездили на острова, гуляли по Невскому, Маяковский в цилиндре, Лили в большой черной шляпе с перьями. По ночам они часто бродили вдоль набережных. По сравнению с Лили все женщины казались Маяковскому неинтересными, любовь к ней одним махом изменила всю его жизнь.

После сурового и скудного богемного быта Маяковский нашел у Лили и Осипа Брик то пристанище, которое искал с тех пор, как девять лет назад умер отец, — мир взрослых, признававших его и внушавших ему чувство уверенности. И все же они были такими разными. Брики богаты — Маяковский беден; они выросли в центре Москвы — он в далекой провинции; они получили высшее образование, были светскими и эрудированными — он даже не кончил школу, его начитанность оставалась рудиментарной и бессистемной, он испытывал трудности с правописанием; они объездили Европу еще



- Разителен контраст между “апашем” на картине Бориса Григорьева и поэтом, как он выглядел через несколько месяцев после знакомства с Лили.

в детстве и говорили на нескольких иностранных языках — он никогда не был за границей и, кроме русского, говорил только по-грузински.

Лили и Осип сразу увидели в Маяковском великого поэта, но с трудом принимали его неотесанность, так резко контрастировавшую с их манерами — пусть свободными, но по сути буржуазными. Так же скептически, как мать Лили и Эльзы, к Маяковскому относилась и мать Осипа. Однажды, навещая сына, Полина Юрьевна принесла от Елисеева большую корзину с икрой, конфетами, фруктами и большой дыней. “Стали разворачивать, — вспоминает Лили, — входит Володя и, увидав дыню, с победным криком “Вот хорошо-то, ну и дыня!”, в один присест единолично ее слопал. Полина Юрьевна смотрела на Володю не отводя глаз, как кролик от удава, и глаза ее горели от негодования”.

Маяковский не умел притворяться и не знал меры, чем бы он ни занимался. На самом деле он, по выражению друга, был

“совершенно не для [Лили] человек”, но она “его очень переделала”. Позаботилась, чтобы он остриг длинные волосы и снял свою желтую блузу, послала его к дантису Доброму, который вставил ему новые зубы. На первой общей фотографии Лили и Маяковского метаморфоза явственна — Маяковский в галстуке и английском пальто. Но если Лили эти изменения нравились, то другие считали их нарушением его индивидуальности. “Увидела его ровные зубы, пиджак, галстук и хорошо помню, как подумала — это для Лили, — прокомментировала Соня Шамардина. — Почему-то меня это задевало очень. Не могла не помнить его рот с плохими зубами — вот так этот рот был для меня прочно связан с образом поэта...”

В то время как Лили усиленно старалась переделать Маяковского, происходило движение и в другую сторону — Маяковский начал знакомить Бриков со своим кругом. Василий

- Лили увлекалась балетом и в конце 1915 г. стала брать уроки у Александры Доринской, до войны выступавшей в Русском балете Дягилева в Париже.



Каменский, Давид Бурлюк, Велимир Хлебников, Борис Пастернак, Николай Асеев и другие молодые поэты, а также художники Павел Филонов и Николай Кульбин стали гостями квартиры на улице Жуковского. Пастернак, который вскоре покинет круг футуристов, в эти годы находился под почти гипнотическим влиянием Маяковского, по сравнению с кем он, по собственному признанию, терял “всякий смысл и цену”.

Но не только футуристы посещали небольшую двухкомнатную квартиру, вскоре превратившуюся в своего рода литературный салон. Еще одним желанным гостем был поэт Михаил Кузмин, часто исполнявший на рояле Бриков свои песни. Лили и Осип были также дружны с танцовщицей Екатериной Гельцер — балет был их давней страстью. Осип интересовался теорией балета, а Лили в конце 1915 года начала брать уроки у Александры Доринской, которая до войны танцевала с Нижинским в Русском балете в Париже.

Их небольшая квартира казалась еще меньше из-за огромного рояля, увенчанного карточными конструкциями Осипа. На стене висел рулон бумаги, где гости оставляли визитки в форме шуточных стихов или рисунков. Очарование и самобытная красота сделали Лили естественным центром салона. Она была “дамой” — хорошо воспитанной, начитанной, элегантной — и одновременно абсолютно свободной от предрассудков, непредсказуемой в реакциях и репликах; она никого не оставляла равнодушным. Николай Асеев так описывает первое впечатление о ней:

И вот я введен [Маяковским] в непохожую на другие квартиру, цветистую от материи ручной раскраски, звонкую от стихов, только что написанных или только что прочитанных, с яркими жаркими глазами хозяйки, умеющей убедить и озадачить никогда не слышанным мнением, собственным, не с улицы пришедшим, не занятым у авторитетов. Мы — я, Шкловский, кажется, Каменский — были взяты в плен этими глазами, этими высказываниями, впрочем, никогда не навязываемыми, сказанными как бы мимоходом, но в самую гущу, в самую точку обсуждаемого.

■ ХЛЕБА!

В начале сентября 1915 года, незадолго до выхода из печати “Облака”, в жизни Маяковского произошло еще одно важное событие: его призвали в армию. Волна патриотизма, поднявшаяся в августе 1914 года, увлекла и писателей, в том числе Маяковского. По словам Бунина, в день, когда началась война, он забрался на памятник генералу Скобелеву и читал оттуда патриотические стихи, а Владислав Ходасевич рассказывал, как Маяковский призывал исполненную ненависти толпу громить немецкие магазины в Москве. Но когда он вызвался добровольцем на фронт, ему отказали по причине политической неблагонадежности. Свои патриотические чувства он удовлетворял сочинением стихов, агитплакатов и агитлубков. Эльза вспоминала, как он шагал по комнате, бормоча стихи, пока она играла на рояле, а Ида Хвас рассказывала о том, что они ходили по Москве, собирая деньги для раненых солдат.

Для Маяковского война была не просто полем боя, но и эстетическим вызовом — и шансом. Кроме военных стихотворений, в течение нескольких недель осенью 1914 года он написал порядка десяти статей и в них воспевал войну как чистилище, из которого должен родиться новый человек. “Война не бессмысленное убийство, а поэма об освобожденной и возвышенной душе, — писал он. — Изменилась человечья основа России. Родились мощные люди будущего. Вырисовываются силачи будетляне”. “Сейчас в мир приходит абсолютно новый цикл идей”, и то, что раньше считалось поэзией, “надо в военное время запрещать, как шантан и продажу спиртных напитков”. Война показала, что “силачи будетляне”, они же футуристы, правы: старый язык непригоден для описания новой реальности. Иллюзия думать, что для того, чтобы войти в историю в качестве современного поэта, достаточно найти рифму к таким словам, как “пулемет” или “пушка”. “Для поэта важно не что, а как”, — объяснял Маяковский, добавляя характерную формулировку: “Слово — самоцель”.

Неясно, повлиял ли горячий патриотизм Маяковского на отношение властей к его политической благонадежности, но осенью 1915 года его призвали в армию. Благодаря своим новым друзьям он устроился в ту же автомобильную роту, где служил Осип;

по некоторым сведениям, ему помог Горький, но можно предположить, что к этому приложил руку и писарь Игнатьев. Поскольку у Маяковского было художественное образование, он получил работу чертежника. Средств, как и прежде, не хватало, и деньги на зимнюю одежду и форму ему пришлось просить у матери.

Несмотря на то что служба накладывала некоторые ограничения, Маяковский смог остаться в “Пале-Рояль” и общаться с Лили, Осипом и другими друзьями почти так же, как и раньше. На протяжении осени они с Осипом собирали материал для футуристического альманаха “Взял”, который вышел в декабре. Название отсылает к фразе из альманаха: “Футуризм взял Россию мертвой хваткой”. “Володя давно уже жаждал что-нибудь назвать этим именем: сына или собаку, — вспоминала Лили, — назвал журнал”. Кроме Маяковского в альманахе принимали участие Пастернак, Хлебников и Виктор Шкловский — молодой студент Петроградского университета, переполненный новаторскими идеями о литературе. Во “Взял” также состоялся дебют Осипа как критика. В статье “Хлеба!” он окрестил современную русскую поэзию — которой еще недавно поклонялся! — приторными пирожными (“снежные буше Блока”, “вкуснейшие эклеры Бальмонта”), к тому же выпеченными за границей. Теперь все иначе!

Радуйтесь, кричите громче: у нас опять есть хлеб! Не доверяйте прислуге, пойдите сами, встаньте в очередь и купите книгу Маяковского “Облако в штанах”. Бережней разрезайте страницы, чтобы как голодный не теряет ни одной крошки, вы ни одной буквы не потеряли бы из этой книги-хлеба.

Если же вы так отравлены, что лекарство здоровой пищи вам помочь не может, умрите, — умрите от своей сахарной болезни.

■ ФЛЕЙТА

“Облако” посвящалось Лили, однако не она вдохновила Маяковского на создание этой поэмы. Отныне же единственной геро-

иней поэзии Маяковского станет она. Осенью 1915 года Маяковский работает над новой поэмой, “Флейта-позвоночник”. “Писалась “Флейта” медленно, каждое стихотворение сопровождалось торжественным чтением вслух, — вспоминает Лили, — сначала стихотворение читалось мне, потом мне и Осе и наконец всем остальным”. Именно в умении слушать заключался один из самых выраженных талантов Лили — она обладала изысканным поэтическим слухом и была очень щедрой ко всем творчески одаренным людям. Книга вышла в феврале 1916 года под издательской маркой ОМБ и с напечатанным посвящением “Лиле Юриевне Б.”.

О том, как Маяковский боготворил Лили, свидетельствуют произведения этих лет: “Флейта-позвоночник”, “Лиличка!” и стихотворение под непоэтическим названием “Ко всему”. Общим для этих вещей являются резкие перепады от эйфории до глубочайшего отчаяния, от радости, которую дарует любовь, до горя, неизбежного при безответных чувствах. Без Лили, пишет он в стихотворении “Лиличка!”, нет “ни моря, ни солнца”, и только “звон” ее “любимого имени” может подарить ему радость. В “Флейте-позвоночнике” он воспеваает “накрашенную, рыжую”, кладет “Сахарой горящую щеку” к ее ногам и дарит ей корону, в которой “слова радугой судорог”:

Быть царем назначено мне —
твое личико
на солнечном золоте моих монет
велю народу:
вычекань!
А там,
где тундрой мир вылинял,
где с северным ветром ведет река торги, —
на цепь нацарапаю имя Лилино
и цепь сцелую во мраке каторги.

Но поэт богохульствовал, кричал, что Бога нет, и любимая женщина на самом деле окажется карой Господней, ибо она замужем и не любит его:

Сегодня, только вошел к вам,
почувствовал —
в доме неладно.
Ты что-то таила в шелковом платье,
и ширился в воздухе запах ладана.
Рада?
Холодное
“очень”.
Смятением разбита разума ограда.
Я в отчаянье громозжу, горящ и лихорадочен.

Послушай,
все равно
не спрячешь трупа.
Страшное слово на голову лавь!
Все равно
твой каждый мускул
как в рупор
трубит:
умерла, умерла, умерла!
Нет,
ответь.
Не лги!

Финал — торжественно патетичен:

Сердце обокравшая,
всего его лишив,
вымучившая душу в бреду мою,
прими мой дар, дорогая,
больше я, может быть, ничего не придумаю.

Хотя нельзя уподоблять поэтическую реальность жизненной, нет сомнений, что эти строки в высшей степени автобиографичны: именно так Маяковский воспринимал отношения с Лили. “Любовь, ревность, дружба были в Маяковском гиперболически сильны, но он не любил разговоров об этом, — писала она. —



- В поэме "Флейта-позвоночник" Маяковский писал:
"Быть царем назначено мне — / твое личико / на солнечном
золоте моих монет / велю народу: / вычекань!"
Сам он "вычеканил" Лили в рисунке 1916 г.; тогда же сдела-
на фотография (справа).



Он всегда, непрерывно сочинял стихи, и в них нерастраченно вошли его переживания”.

А что Лили? Как она относилась к эмоциональным порывам Маяковского? Завершив “Флейту-позвоночник”, Маяковский пригласил ее в квартирку на Надеждинской. На деньги от игорного выигрыша и газетного гонорара купил ростбиф у Елисеева, миндальные пирожные от Гурмэ, три фунта пьяной вишни и шоколад у Краффта, цветы у Эйлера. Почистил туфли и надел самый красивый галстук. Когда после читки Лили сказала, что он ей нравится, Маяковский взорвался: “Нравится? И только? Почему не любишь?” Лили ответила, что, конечно, любит его — но в глубине души думала: “Люблю Осю”.

Описание заимствовано из воспоминаний, в которых Лили говорит о себе в третьем лице. Текст обладает чертами беллетристики, но основан на ее дневниках и весьма правдоподобен. Далее Лили описывает, что, провожая ее домой, Маяковский был таким мрачным и подавленным, что Осип спросил, в чем дело.

Маяковский всхлипнул, почти вскрикнул и со всего роста бросился на диван. Его огромное тело лежало на полу, а лицом он зарылся в подушки и обхватил руками голову. Он рыдал. Лиля растерянно нагнулась над ним. — Володя, брось, не плачь. Ты устал от таких стихов. Писал день и ночь. — Ося побежал на кухню за водой. Он присел на диван и попытался силой приподнять Володину голову. Володя поднял лицо, залитое слезами, и прижался к Осипным коленям. Сквозь всхлипывающий вой выкрикнул — “Лиля меня не любит!” — вырвался, выскочил и убежал в кухню. Он стонал и плакал там так громко, что Лиля и Ося забились в спальне в самый дальний угол.

Первые годы общей жизни Лили и Маяковского оказались, таким образом, сложными для обоих. Маяковский “короновал” Лили в своих стихах, но чрезмерность его чувств утомляла и раздражала ее. Ухаживания были такими настойчивыми, что она воспринимала их как “нападение”: “Два с половиной года у меня не было

спокойной минуты”. Когда Маяковский написал еще одну поэму о любовных муках, “Дон Жуан”, терпение Лили лопнуло: “Я не знала о том, что она пишется. Володя неожиданно прочел мне ее на ходу, на улице, наизусть, всю. Я рассердилась, что опять про любовь — как не надоело! Володя вырвал рукопись из кармана, разорвал в клочья и пустил по Жуковской улице по ветру”.

Хотя рукопись была уничтожена, фрагменты текста, по-видимому, использовались в других стихотворениях, возможно в этом:

В грубом убийстве не пачкала рук ты.
Ты
уронила только:
“В мягкой постели
он,
фрукты,
вино на ладони ночного столика”.

Любовь!
Только в моем
воспаленном
мозгу была ты!

Это цитата из стихотворения “Ко всему”, которое служит лирическим прологом к первому сборнику стихов Маяковского “Простое как мычание”, его название в свою очередь заимствовано из трагедии “Владимир Маяковский”. Выбор стихотворения “Ко всему” в качестве введения к поэтическому сборнику примечателен, поскольку стихотворение (и своим названием вся книга) посвящены Лили. Цитируемые строки основаны на конкретном биографическом факте — свадебной ночи Лили и Осипа, как ее описала Лили Маяковскому. Книга вышла в октябре 1916 года. Какими бы платоническими ни были на данный момент отношения между Лили и Осипом, Маяковский все равно воспринимал Осипа как соперника в борьбе за ее благосклонность и помеху в установлении стабильных отношений; вероятно, Лили также использовала факт замужества в собственных целях для того, чтобы держать Маяковского на расстоянии.

Я сразу поняла, что Володя гениальный поэт, но он мне не нравился, — писала Лили в мемуарных фрагментах, ставших известными только после ее смерти. — Я не любила звонких людей — внешне звонких. Мне не нравилось, что он такого большого роста, что на него оборачиваются на улице, не нравилось, что он слушает свой собственный голос, не нравилось даже, что фамилия его — Маяковский — такая звучная и похожая на псевдоним, причем на пошлый псевдоним.

Один разговор с ним показался ей особенно отталкивающим. Речь шла об изнасилованной женщине. Лили считала, что мужчину надо застрелить, но Маяковский сказал, что “он понимает его, что сам мог бы изнасиловать женщину, что понимает, как можно не удержаться, что если бы он оказался с женщиной на необитаемом острове и т. п.”. У Лили это вызвало отвращение: “Слов я, конечно, не помню, но вижу, вижу выражение лица, глаза, рот, помню свое чувство омерзения. Если б Володя не был таким поэтом, то на этом закончилось бы наше знакомство”.

Как бы мы ни оценивали чувства Лили к Маяковскому, не стоило ожидать, что с его появлением она изменит свое отношение к любви и сексу. Поклонников у нее, как и раньше, было несколько, и она не скрывала ни это, ни свою неугасимую любовь к Осипу. Одним из ее многолетних кавалеров был Лев Гринкруг, которого она знала еще по Москве и который каждые выходные приезжал к ним в Петроград. Гринкруг принадлежал к одной из немногочисленных потомственных дворянских еврейских семей России — его отец был врачом и получил дворянство за заслуги в русско-турецкой войне 1877–1878 годов. Лев Александрович по образованию был юристом и работал в банке. Хотя он слыл скромным поклонником и отнюдь не донжуаном, его близость к Лили вызывала у Маяковского сильную ревность.

С Осипом все было иначе. Он никогда не ревновал, а физические отношения между ним и Лили прервались до того, как она встретила Маяковского. “Это случилось само собою, — признавалась Лили, добавляя: — Мы слишком сильно и глубоко любили друг друга для того, чтобы обращать на это внимание”. Объяснение чересчур рационалистическое; можно предполо-

жить, что за прекращением физических отношений скрывались и другие, более глубокие мотивы. Возможно, они просто не подходили друг другу в сексуальном плане. Но она любила его очень сильно, так же сильно, как Маяковский ее, и не могла представить себе жизнь без него — может быть, именно из-за эмоциональной сдержанности, которую он проявлял.

■ У НЕРВОВ ПОДКАШИВАЮТСЯ НОГИ

Маяковский и Эльза встречались около года, прежде чем он полюбил Лили. И хотя в воспоминаниях Эльзы их отношения представлены как глубокие и близкие, это была связь иного рода — совсем не такая, как между Маяковским и старшей сестрой.

А. Азарх-Грановская, знавшая обеих сестер, утверждает, что Эльза “раздувала” отношения: когда, вскоре после того как Маяковский полюбил Лили, она его спросила, был ли он так же влюблен в Эльзу, он ответил: “Ну, нет”. Роман Якобсон, знавший Эльзу лучше всех, говорил, что их отношения с Маяковским отличались “братской нежностью”.

Успешная попытка Эльзы убедить Лили и Осипа в поэтическом величии своего друга возымела немедленный и парадоксальный эффект — Эльза с Маяковским практически прекратили встречаться. “Как то даже не верится, но так уж водится, что у нас с Лилей общих знакомых не бывает, — писала ему Эльза в сентябре 1915 года и продолжала: — Если б вы знали как жалко! Так я к вам привязалась и вдруг — чужой...” Маяковский в ответ прислал ей “Облако в штанах” с надписью “Милой и хорошей Эличке любящий ее В.В.”. Эльза поблагодарила, но была уверена, что идея послать ей книгу принадлежала Лили: “Вам бы ни за что не догадаться”, — добавила она обиженно.

Сестры соперничали не только из-за Маяковского, а почти во всем и виделись нечасто. Лили жила с мужем в Петрограде, Эльза с матерью — в Москве, где изучала архитектуру, к тому же контакты затруднялись войной. Но 31 декабря 1915 года они встретились на “футуристической елке” дома у Лили и Осипа. Елку украшали вырезанные из бумаги “Облако в штанах” и желтая блуза Маяковского. Поскольку квартира была небольшой, елку

подвесили к потолку. Гости сидели вдоль стен вплотную друг к другу, а еду подавали через головы, из дверного проема. Все были в костюмах, на Лили был килт с красными открывавшими колени чулками и парик маркизы. Маяковский был “хулиганом” с красным галстуком и с кастетом, Виктор Шкловский — матросом, Василий Каменский нарисовал над губой один ус, а на щеке птичку и расшил пиджак клочками цветной ткани. Волосы Эльзы были уложены в виде башни, на вершине которой помещалось перо, достававшее до самого потолка. Вечер или ночь закончились тем, что Каменский посватался к Эльзе, а та хоть и была приятно удивлена, но ответила отказом.

По словам Лили, это был первый случай, когда Эльзе сделали предложение; она не обладала привлекательностью старшей сестры и часто влюблялась безответно и отчаянно. “Кто мне мил, тому я не мила, и наоборот”, — писала она Маяковскому в октябре 1916 года. Летом она собиралась принять яд, но теперь просто чувствовала отвращение к жизни вообще. Письмо было Эльзиным ответом на сборник “Простое как мычание”, который он ей прислал. “Кроме того, что вообще хорошо, она так много мне напоминает, — пишет она. — Почти на каждой странице встречаю старого милого мне знакомого. Все помню, где, когда от тебя слышала”. Ей очень хочется снова увидеть Маяковского, и она спрашивает, не собирается ли он в Москву. “Невольно пишу, будто ты ответишь. Это для тебя совершенно невыносимо? Я была бы так рада!”

К ее удивлению, Маяковский ответил: “Очень жалею, что не могу в ближайшем будущем приехать в Москву, приходится на время отложить свое непреклонное желание повесить тебя за твою мрачность. Единственное, что тебя может спасти, это скорее всего приехать самой и лично вымолить у меня прощение. Элик, правда, приезжай скорее! Я КУРЮ. Этим истощается моя общественная и частная деятельность”. (Очевидно, Маяковский пытался бросить курить — наверное, по настоянию Лили.)

За последующие два с половиной месяца они обменялись не меньше чем одиннадцатью письмами, в которых Маяковский ни разу не упомянул о своих чувствах. Однажды благодарная за любое известие Эльза поинтересовалась, почему он не пишет о

себе. “Не умеешь?” — спрашивает она, затрагивая тем самым важную черту характера этого внешне “звонкого” человека: его “удивительную замкнутость”, по словам Лили. “Маяковский никогда не любил о себе рассказывать, — комментировал Давид Бурлюк фразой, которую повторила Ида Хвас, добавив: — Даже о матери и сестрах редко говорил”. Следовательно, нет ничего удивительного в том, что Маяковский в письмах и разговорах никогда не упоминал о своих чувствах или любовных делах.

Хотя Эльза жила в Москве, она догадывалась, что отношения между Маяковским и сестрой далеко не безоблачны: она знала Лили и знала Маяковского, она читала его стихи и понимала, как он страдает. И ей казалось, что она может вернуть его. Прекрасно представляя себе, насколько болезненно Маяковский реагирует на других мужчин Лили, Эльза разжигала его ревность. Лев Гринкруг, рассказывала она ему, “что-то в меланхолии”, наверное, это вызвано тем, что Лили “его обижает”. Письма Эльзы длинные и очень личные, письма Маяковского — короткие и бессодержательные. Но 19 декабря 1916 года она получает письмо, которое ее пугает:

Милый хороший Элик!

Приезжай скорее!

Прости что не писал. Это ерунда. Ты сейчас единственный, кажется, человек, о котором думаю с любовью и нежностью



■ Лев Гринкруг, который одно время был кавалером Лили и всю жизнь оставался ее верным другом. Умер в Москве 1987 г. в возрасте 98 лет.

Целую тебя крепко крепко

Володя

“Уже у нервов подкашиваются ноги”

Ответь *сейчас же*
прошу очень

Последняя фраза выписана большими буквами поперек первой страницы письма. “Ты так меня растревожил своим письмом, что я немедленно решила ехать, — 21 декабря ответила Эльза обратной почтой. — Я что-то чувствую в воздухе, что не должно быть, и все, все время мысль о тебе у меня связана с каким-то беспокойством”. Тревога была вызвана строкой “у нервов подкашиваются ноги” из “Облака в штанах”. “Мне было девятнадцать лет, — вспоминала Эльза, — и без разрешения матери я еще никогда никуда не ехала, но на этот раз я просто, без объяснения причин, сказала ей, что уезжаю в Петроград”. На следующий день Эльза уже сидела в поезде.

Они встретились в комнате Маяковского на Надеждинской. Эльза вспоминала: диван, стул, стол, на столе бутылка вина. Маяковский сидит за столом, ходит по комнате, молчит. Сидя в углу на диване, она ждет, чтобы он хоть что-нибудь сказал, но он не произносит ни слова, он что-то ест, шагает вперед и назад, и так час за часом. Эльза не понимает, зачем она приехала. Внизу ждет знакомый.

— Куда ты?

— Ухожу.

— Не смей!

— Не смей говорить мне “не смей!”

Мы поссорились. Володя в бешенстве не отпускал меня силой. Я вырвалась, умру, но не останусь. Кинулась к двери, выскочила, схватив в охапку шубу. Я спускалась по лестнице, когда Володя прогремел мимо меня: “Пардон, мадам...” и он приподнял шляпу.

Когда я вышла на улицу, Володя уже сидел в санях рядом с поджидавшим меня Владимиром Ивановичем

[Козлинским]. Бесцеремонный и наглый, Маяковский заявил, что проведет вечер с нами, и тут же, с места, начал меня смешить и измываться над Владимиром Ивановичем. А тому, конечно, не под силу было отшутиться, кто же мог в этом деле состязаться с Маяковским? Мы действительно провели вечер втроем, ужинали, смотрели какую-то программу... и смех и слезы! Но каким Маяковский был трудным и тяжелым человеком.

В своих воспоминаниях Эльза молчит о том, что после ее недельного пребывания в Петрограде их отношения возобновились. Вернувшись домой, она немедленно пишет ему письмо, в котором рассказывает, что безутешно плакала в поезде и что “мама и не знала, что ей со мной делать”. “А все ты — гадость эдакая!” Маяковский пообещал приехать в Москву, и она ждет его с нетерпением: “...люблю тебя очень. А ты меня разлюбил?” Не получив ответа, 4 января 1917 года она пишет ему снова: “Не приедешь ты, я знаю! <...> Напиши хоть, что любишь меня по-прежнему крепко”. Но Маяковский приехал: в день, когда Эльза отправила письмо, он получил трехнедельный отпуск в автомобильной роте и уехал в Москву, где встречался с матерью, сестрами и, конечно, с Эльзой. Нетрудно представить чувство победы, переполнявшее Эльзу, — ведь ей удалось пусть на время, но отвлечь Маяковского от Лили...

Прочитав, что “у нервов подкашиваются ноги”, Эльза испугалась, как бы Маяковский не покончил с собой. Именно в этот период, весной 1917 года, он переживал “очень <...> драматический момент” и был “в очень тяжелом состоянии”, — вспоминал Роман Jakobson. К этому времени относятся несколько угроз и попыток самоубийства. “Всегдашние разговоры Маяковского о самоубийстве, — вспоминала Лили. — Это был террор”. Однажды ранним утром ее разбудил телефонный звонок: “Я стреляюсь. Прощай, Лилик”. Она мчится на Надеждинскую улицу. Маяковский открывает дверь. На столе револьвер. “Стрелялся, осечка, — говорит он. — Второй раз не решился, ждал тебя”. Она лихорадочно уводит Маяковского к себе домой. Там он заставляет ее играть в преферанс. Они играют как одержи-

мые, и он изводит ее строчками Анны Ахматовой “Что сделал с тобой любимый, что сделал любимый твой!”. Лили проигрывает первую партию, а затем, к его радости, и все остальные...^{*}

“При таких истериках я или успокаивала его или сердилась на него и умоляла не мучить и не пугать меня”. Лили не преувеличивала, мысль о самоубийстве проходит через всю его жизнь и творчество. Он был, по словам Корнея Чуковского, “трагичен, безумный, самоубийца по призванию”.

■ РОЖДАЕТСЯ НОВАЯ КРАСОТА

Отношения Эльзы с Маяковским были сложными, но она могла утешиться ухаживаниями друга детства — того самого Романа Якобсона, который свидетельствовал о “тяжелом состоянии” Маяковского в этот период. Семьи Каган и Якобсон жили в Москве всего в нескольких кварталах друг от друга, на Мясницкой, и тесно общались. Подобно Каганам Якобсоны принадлежали к московской еврейской элите, отец был крупным оптовиком по прозвищу Рисовый Король. Эльза и Роман были ровесниками, и во время беременности их матери шутили, что если родятся мальчик и девочка, они поженятся. Роман никогда не общался тесно с Лили — слишком велика была разница в возрасте, а с Эльзой он проводил много времени, в том числе и потому, что у них была одна учительница французского — мадемуазель Даш. Потом их пути разошлись, а когда в конце 1916 года они снова встретились, их связала, по определению Якобсона, “большая, горячая дружба”.

Однажды в январе 1917 года Роман и Эльза собирались в театр. Ожидая, пока она переоденется, он листал книги, которые она ему дала, — “Флейту-позвоночник” и сборник статей о поэтическом языке, обе изданные Осипом Бриксом. Роман Якобсон изучал филологию, диалектологию и фольклористику

*

По воспоминаниям Лили, этот эпизод имел место в 1916 г., но скорее всего он относится к следующему году; в записных книжках Маяковского 1917 г. можно прочесть: “18 июля 8.45 Сразу стало как-то совершенно не для чего жить. 11 октября 4 ч. 30 <15> м Конец”. И в письме 1930 г. Лили говорит о попытке самоубийства Маяковского “тринадцать лет назад”.

в Московском университете, ему было только двадцать лет, но уже тогда за ним закрепилась репутация гениального юноши. Еще в 1913-м, впечатленный самыми радикальными футуристами, Крученых и Хлебниковым, он написал первые скороспелые литературные манифесты, а в том же году к нему зашел сам Казимир Малевич, прослышавший о теориях Якобсона (хотя они нигде не публиковались) и пожелавший обсудить их с автором, который был на семнадцать лет моложе художника. Еще через два года восемнадцатилетний Якобсон принял участие в основании Московского лингвистического кружка и стал его первым председателем.

Прочитав статьи из изданного Бриком сборника, Якобсон поразился их схожести с его собственными рассуждениями о поэтическом языке. “Вскоре после того, как мне попали в руки эти две книжки, я уехал в Петроград, в середине января семнадцатого года. Эльза мне дала письмо к Лиле. Улица Жуковского, где они жили, была недалеко от вокзала, и я, приехав, пошел прямо к ним и остался там, кажется, пять дней. Меня не отпускали, — вспоминал он. — Все было необычайно богемно. Весь день был накрыт стол, где была колбаса, хлеб, кажется, сыр, и все время чай”. Когда он вернулся в Москву, Эльза записала в своем дневнике: “Вернулся Рома из Петербурга, и, к сожалению, тоже уже бриковский”.

В середине февраля Якобсон снова поехал в Петроград. Шла масленица, и Лили угощала блинами. Среди гостей были молодые литературоведы Борис Эйхенбаум, Евгений Поливанов, Лев Якубинский и Виктор Шкловский. Между закусками и тостами был основан ОПОЯЗ (Общество изучения [теории] поэтического языка). О последствиях этой масленицы для развития русского литературоведения тогда никто не догадывался.

Движущей силой нового общества был Виктор Шкловский, часто навещавший Бриков. Ровесник Маяковского, он учился в Петербургском университете и считался вундеркиндом. Уже в 1914 году он привлек к себе внимание брошюрой “Воскрешение слова”, в которой подвергал нападкам устаревающие теории о том, что литература может отражать либо жизнь (реализм), либо высшую реальность (символизм). Шкловский же утверждал, что



- Матери Эльзы и Романа во время беременности шутили, что если родятся мальчик и девочка, они поженятся. Но как бы ни желал этого Роман, так не случилось. На фотографии 1903 г.: семилетние Роман (слева) и Эльза (с кудрявыми волосами), Лили, кузены Романа из семьи Вольперт.

объектом литературного исследования должна быть “литература как таковая”, то есть то, что делает литературу литературой: рифма и звуки в поэзии, композиция в прозе и так далее. “Искусство всегда вольно от жизни, и на цвете его никогда не отражался цвет флага над крепостью города”, — сформулирует он позднее несколько заостренное свое кредо.

В теоретических рассуждениях Шкловского ощущается влияние идей футуристической поэтики о “самовитом слове”, “слове — самоцели”. Старые, “изношенные” формы утратили смысл и больше не ощущаются. Требуются новые формы, “произвольные” и “производные” слова. Футуристы создают новые слова из старых корней (Хлебников), “раскалывают его рифмой” (Маяковский) или меняют ударение с помощью стихотворного ритма (Крученых). “Созидаются новые, живые слова, — пишет Шкловский в “Воскрешении слова”. — Древним бриллиантам слов возвращается их былое сверкание. Этот новый язык непонятен, труден, его нельзя читать, как “Биржевку”. Он не похож даже на русский, но мы слишком привыкли ставить понятность неперменным требованием поэтическому языку”. Теперь, когда различимы новые эстетические течения, путь должны указывать не теоретики, а художники.



■ Летом 1914 г. Корней Чуковский завел гостевую книгу, “Чукоккалу”, где гости оставляли приветствия в виде стихов, рисунков и пр. Слово, образованное из фамилии и географического названия, придумал Илья Репин, у которого в Куоккале была мастерская. Частый гость Чуковского, Репин оставил в “Чукоккале” множество следов, в частности этот портрет молодого Виктора Шкловского, навестившего Куоккалу в июне 1914 г.

Таким художником был Маяковский, и когда вышло “Облако в штанах”, Шкловский стал одним из его первых рецензентов. У Маяковского, как пишет он в альманахе “Взял”, “улица, прежде лишенная искусства, нашла свое слово, свою форму”. Представленный Маяковским новый человек “не сгибается”, а “кричит... Родается новая красота, родится новая драма, на площадях будут играть ее, и трамваи обогнут ее двойным разноидущим поясом цветных огней”.

Автором второй рецензии на “Облако” был, как мы видели, Осип, который после встречи с Маяковским стал серьезно увлекаться футуристической поэзией. “Мы любили тогда только стихи, — вспоминала Лили. — Мы были как пьяницы. Я знала все Володины стихи наизусть, а Ося совсем влип в них”. Благодаря знакомству со Шкловским Осип вошел в круг молодых филологов и литературоведов, столь же революционно настроенных в своих областях, как футуристы в поэзии, и в августе 1916-го он издал сборник, так поразивший Романа Jakobсона, пока он ждал Эльзу, переодевавшуюся для театра.

Не имея ни литературного, ни лингвистического образования, Осип с невероятной легкостью и быстротой овладел научными вопросами. Уже во втором томе статей о поэтическом языке, вышедшем в декабре 1916 года под той же издательской маркой ОМБ, он представил эпохальную теорию о “звуковых повторях”. “Способность у него была исключительная”, — вспоминал Роман Jakobсон. Для него “все было как крестословец”. Несмотря на то что по-древнегречески он знал всего несколько слов, он быстро пришел к выводам о древнегреческом стихосложении, которые, по определению специалиста, были “поразительными”.

Столь же поразительной, как его блистательный ум, была другая черта Осипа — “у него не было амбиций”, выражаясь словами Романа Jakobсона, или “воли к совершению”, по утверждению Шкловского. Осип был конвейером идей, но его никогда особенно не заботила их реализация. Зато он щедро делился ими с друзьями и коллегами в беседах и дискуссиях. Однако только ли в отсутствии амбиций было дело? “Меня он вообще любил, — вспоминал Jakobсон, — но когда я пришел к нему и сказал, что

мне грозит попасть в дезертиры, он ответил: “Не вы первый, не вы последний”. И ничего не делал”. Может быть, отсутствие амбиций было выражением чего-то иного? Чрезмерной осторожности? Условным рефлексом русского еврея лишний раз не высовывать голову? Безразличием? Виктор Шкловский утверждал, что Брик — “уклоняющийся и отсутствующий”. Примером тому было его нежелание идти на военную службу. Кроме того, он был крайне рационален: “Если отрезать Брику ноги, то он станет доказывать, что так удобней”.

■ ВОЙНА И МИР

Пока в двухкомнатной квартире Бриков кипели споры о современной поэзии, улица бурлила другими страстями. Летом 1916 года Россия была близка к поражению, однако ей все же удалось изменить ход войны, и следующим летом русская армия смогла пойти в наступление. Но одновременно в тылу росли недовольство и пессимизм. Наблюдалась острая нехватка продовольствия и прочих товаров, инфляция в три раза опережала рост заработной платы. Инфляция объяснялась, с одной стороны, бедностью страны (доход на душу населения составлял лишь шестую часть показателя в Англии), с другой — снизившимися поступлениями в казну, что частично было вызвано введенным в начале войны запретом на производство водки — налоги от продажи алкоголя покрывали четвертую часть налоговых поступлений. При этом не имевшие золотого обеспечения рубли печатались во все большем количестве.

От инфляции и нужды страдало главным образом городское население — прежде всего жители Санкт-Петербурга и Москвы, находившихся далеко от сельскохозяйственных областей. Крестьянам, напротив, были на руку растущие цены на зерно, скот и лошадей, которых власть реквизировала для нужд армии; для них война была выгодна. Осенью 1916 года министерство внутренних дел предупредило, что ситуация начала напоминать 1905-й и что возможен новый мятеж. Причинами были, с одной стороны, неспособность царского режима решить экономические проблемы, а с другой — напряженность между городом и дерев-

ней. Одновременно начало расти недовольство в армии: дезертирство стало массовым, и в конце 1916-го — начале 1917 года более миллиона солдат сбросили с себя военную форму и отправились домой.

Демонстрации в Петрограде, поначалу экономически мотивированные, к концу 1916 года приобрели откровенно политический характер. О срочной необходимости политических реформ говорили и в Думе, но Николай II был против. Считалось, что императрица, немка по рождению, негативно влияет на супруга, а за кулисами действует Григорий Распутин. Поскольку свести счеты с императрицей было невозможно, группа заговорщиков, в которую входил член царской семьи (великий князь Дмитрий Павлович) решила убрать Распутина. В ночь с 16 на 17 декабря он был убит во дворце Юсуповых в Петрограде.

Через два дня после этого события Маяковский написал Эльзе “нервное” письмо. Ни в нем, ни в других письмах этого периода нет ни одной отсылки к тому, что происходит вне его собственной жизни. Как будто он жил в мире, в котором не существовало ничего, кроме его самого и его собственных чувств. Вполне возможно, что не все письма сохранились, но корреспонденция других периодов позволяет увидеть здесь четкую закономерность: политическая и социальная реальность не комментируется почти никогда.

Однако общественные события не проходили бесследно, страдания войны — как и любви — отражались в поэзии. Помимо сатирических и агитационных стихотворений, Маяковский пишет в 1916–1917 годах еще одно крупное произведение — поэму “Война и мир”. В этой поэме прежний, несколько примитивный взгляд на войну сменился экзистенциальным раздумьем о ее безумии и ужасах. Вина коллективна, и поэт, Владимир Маяковский, не только козел отпущения, но и сопричастный. Поэтому он лично просит прощения у человечества — может быть, раскаиваясь в тех пропагандистских преувеличениях, которые допускал в начале войны: “Люди! / Дорогие! / Христа ради, / ради Христа / простите меня!”

Одновременно он видит зарю нового времени. В эти годы представление об обреченности старого мира было широко рас-

пространено, особенно среди писателей. Так же, как и в “Облаке”, осознание универсальной уязвимости человека уравнивается мессианским убеждением в рождении нового, более гармоничного миропорядка:

И он, свободный,
ору о ком я,
человек —
придет он,
верьте мне,
верьте!

ЗАКОВАННАЯ ФИЛЬМОМ.

ФИЛИ
ТАЯКО
БРИК
ВСКИЙ.



Да здравствует политическая жизнь России
и да здравствует свободное от политики искусство!

■ Владимир Маяковский, март 1917 г.

“Вернулся я в Москву в совершенной уверенности, что мы перед революцией, — вспоминал Роман Якобсон, — это было совершенно ясно по университетским настроениям”. Бунтовали не только студенты. По случаю Международного женского дня 23 февраля 1917 года в Петрограде прошла мирная демонстрация, участницы которой требовали хлеба и мира. В последующие дни состоялись новые демонстрации, разогнанные полицией. 27 февраля Павловский полк проголосовал за отказ от выполнения приказа стрелять в гражданских, и в тот же день бо́льшая часть Петрограда оказалась в руках полка. 28 февраля волнения начались в Москве. Двумя днями позже, 2 марта, Николай II отрекся от престола.

Монархия была свержена, создано Временное правительство — свершилась Февральская революция. 8 марта Эльза написала Маяковскому письмо, в котором в виде исключения комментировала события, разыгрывающиеся за стенами ее квартиры: “Милый дядя Володя, что творится-то, великолепия прямо!” Роман, так четко все предчувствовавший, вступил, сообщает она, в милицию, носит оружие и арестовал шесть городских — его как студента Московского университета попросили помочь навести порядок на улицах.

■ Афиша “Закованной фильмой” играла очень важную роль в самом фильме. Рисунок Маяковского.

Революция вызывала огромный энтузиазм у широких слоев населения, люди искренне поверили в возможность глубоких преобразований. Наступила политическая весна, воздух был наполнен свободой. Эти настроения отражаются в письме философа Льва Шестова, написанном родственникам в Швейцарию через неделю после переворота:

Все мы здесь думаем и разговариваем исключительно о грандиозных событиях, происшедших в России. Трудно себе представить тому, кто сам не видел, что здесь было. Особенно в Москве. Словно по приказанию свыше, все, как один человек, решили, что нужно изменить старый порядок. Решили и в одну неделю все сделали. Еще в Петрограде были кой-какие трения — в Москве же был один сплошной праздник. <... > меньше, чем в одну неделю, вся огромная страна со спокойствием, какое бывает только в торжественные и большие праздники, покинула старое и перешла к новому.

Новому правительству были предъявлены конкретные требования: нормализовать продовольственное положение и довести войну до победы или хотя бы до достойного конца. Однако как именно должно выглядеть политическое будущее России после свержения самодержавия, мало кто знал. Доминировало ощущение освобождения, эйфории.

Маяковскому и другим писателям и художникам революция дала надежду, что они смогут творить без вмешательства цензурных органов и академий. В марте 1917 года был образован Союз деятелей искусств, куда вошли представители всех политических и художественных направлений, от консерваторов до анархистов, от эстетических ретроградов до самых радикальных футуристических группировок. Маяковского избрали в президиум в качестве представителя писателей, что вызвало удивление и протест: почему скандальный футурист, а не Горький, который известен во всем мире? Избрание Маяковского было вызвано тем, что Горький согласился войти в правительственную комиссию, предав таким образом интересы деятелей культуры. Новообразованный Союз боролся за независимость искусства и художников от государст-

ва, а те, кто сотрудничал с правительством, считались коллаборационистами. “Мой девиз и всех вообще — да здравствует политическая жизнь России и да здравствует свободное от политики искусство! — провозгласил Маяковский через две недели после Февральской революции, уточнив: — Я не отказываюсь от политики, только в области искусства не должно быть политики”.

В том, что искусство должно быть независимо от государства, и левый и правый фланги Союза были едины. Такое же единодушие наблюдалось и в их отношении к войне: “левый блок”, куда входил Маяковский, был таким же оборонческим, как и большинство других. Маяковский, которого в январе наградили медалью “За усердие”, гордо объяснял, что “у нас не только первое в мире искусство, но и первая в мире армия”. Вполне можно было сочетать патриотизм с эстетическим авангардизмом и политическим радикализмом: надежды, что с новым правительством изменится и ход войны, были велики.

В стихотворении “Революция”, опубликованном в мае 1917 года в основанной Горьким газете социал-демократических интернационалистов “Новая жизнь”, Маяковский приветствует революцию как триумф “социалистов великой ереси”. Однако он не являлся членом какой-либо партии — его политическим идеалом был социализм с сильным анархистским уклоном. Более определенных политических убеждений он в это время не придерживался. Приняв однажды участие в сборе денег для семей жертв революции, он передал их редакции газеты “Речь”, издаваемой либеральной партией кадетов.

Головокружительная радость от свержения царского режима вселяла нереальные надежды на будущее. О том, что вера Маяковского в возможности революции была несколько наивной, свидетельствует эпизод, рассказанный Николаем Асеевым. Впервые в российской истории любой человек получил возможность выдвигать свою кандидатуру на выборах, и вся Москва была заклеена плакатами и предвыборными листовками. Рядом с афишами крупных партий на стенах домов висели призывы менее известных политических объединений, таких как различные анархистские группы и маленькие организации вроде “профсоюза поваров”. Однажды, когда Асеев и Маяковский гуляли по городу, рассмат-

ривая плакаты, Маяковский вдруг предложил составить собственный избирательный список, состоящий из футуристов. На первом месте должен быть он, на втором — Каменский и так далее. “На мое недоуменное возражение о том, что кто же за нас голосовать будет, Владимир Владимирович ответил задумчиво: Черт его знает! Теперь время такое: а вдруг президентом выберут...”

Если мировоззрение Маяковского было романтическим и оторванным от действительности, то Осип обладал весьма развитым политическим чутьем. Судя по всему, в это время его отношение к большевизму было более положительным, чем у Маяковского. Когда в апреле 1917 года в Россию после более чем десятилетней эмиграции вернулся Ленин, его встречала в Петрограде на Финляндском вокзале ликующая толпа. В толпе находился и Осип, отправившийся туда из любопытства. “Кажется сумасшедший, но страшно убедительный”, — вынес он суждение, сохраненное для потомства Романом Якобсоном, который провел эту судьбоносную для России ночь за коньяком и игрой на бильярде в компании Маяковского и других друзей.

■ БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ВАНДАЛИЗМ

Стихотворение “Революция” было посвящено Лили; то, что Маяковский поклонялся “любимой”, явствует и из других произведений. Однако об их отношениях в революционный год известно крайне мало. 26 июля (8 августа) Маяковскому предоставили отпуск в автомобильной роте, так как у него были проблемы с зубами, и в конце сентября он уехал в Москву. Оттуда он написал Лили и Осипу. Письмо обращено к обоим и не свидетельствует об особой близости между Маяковским и Лили.

Письмо отправлялось на адрес: ул. Жуковского, д. 7, квартира 42. Следующее письмо было адресовано туда же, но в другую квартиру. Оно датировано декабрем 1917 года. Письма разделяло не только календарное расстояние в четыре месяца, но и историческая пропасть — большевистский захват власти в октябре.

Летом и осенью 1917-го стало очевидно, что Временное правительство — на протяжении весны и лета неоднократно менявшее состав и форму — не способно решить роковые для стра-

ны вопросы. Положение на фронте было настолько угрожающим, что планировалась эвакуация Петрограда, а требование большевиков провести земельную реформу находило все больший отклик у населения. В ночь на 7 ноября (25 октября) 1917 года большевики захватили власть, положив таким образом конец восьмимесячному демократическому эксперименту.

Одним махом были отменены законы старого общества. Воцарился хаос, и многие состоятельные люди быстро покинули страну. Этими двумя обстоятельствами и объясняется переезд Лили и Осипа в шестикомнатную квартиру в том же доме осенью 1917 года: поскольку армия находилась в состоянии распада, дезертиру Осипу больше не нужно было скрываться, и после того как прежний жилец уехал (бежал? был расстрелян?), освободилась другая, большая квартира. Через несколько дней после октябрьского переворота и Маяковский был освобожден от военной службы.

Через две недели после прихода к власти большевики созвали деятелей культуры в надежде наладить с ними сотрудничество. Помимо Маяковского среди немногих откликнувшихся на приглашение были Александр Блок и Всеволод Мейерхольд. Планы комиссара народного просвещения Анатолия Луначарского учредить государственный совет по делам искусства встретили такое же сопротивление, как и подобная идея, выдвигавшаяся Временным правительством. При обсуждении этого вопроса в Союзе деятелей искусств Маяковский высказался без особого энтузиазма: “Приходится обратиться к власти, приветствовать новую власть”.

Брики и Маяковский придерживались левых взглядов, хоть и не являлись членами какой-либо партии. Идеологически они были близки к меньшевикам и сотрудничали в газете Горького “Новая жизнь”; в мае Осипа назначили главным редактором социалистического сатирического журнала “Тачка”, который, однако, так и не увидел света. Четкую грань между социалистическими партиями еще не провели, и люди переходили из одной партии в другую. Объединяющим признаком было скорее презрение к буржуазии, а не идейное единодушие относительно строительства нового общества. И деятели искусства по-прежнему требовали полной свободы от государства. Попытка большевиков установить контроль над культурой встретила мощное и дружное сопротив-

ление. К тому же для многих свержение большевиков было делом времени, а коль так, зачем вступать с ними в переговоры.

Если Маяковский занимал выжидательную позицию, то роль Осипа в культурно-политической игре была более сложной. Именно ему Луначарский поручил передать его предложение о сотрудничестве Союзу деятелей искусств. Несмотря на то что Осип познакомился с комиссаром народного просвещения только в мае, он уже выполнял функцию посредника между большевистским правительством и деятелями культуры.

Поскольку не было очевидно, что большевики останутся у власти, решение Осипа выступить в такой роли означало серьезный политический риск. Но его можно рассматривать и как проявление развитой политической интуиции. Большевики считали Осипа своим — это подтверждается следующим фактом: 26 ноября его избрали в Петроградскую думу по списку большевиков, который возглавлял Луначарский. Об участии Брика в работе Думы сведений, однако, нет.

Был ли Осип большевиком? На этот вопрос ответить однозначно нельзя. В статье “Моя позиция”, опубликованной в “Новой жизни” 5 декабря, он утверждал, что не является членом большевистской партии и избрание в Думу для него полная неожиданность, поскольку его согласия никто не спросил. Он “культурный деятель” и не знает, проводят большевики хорошую или плохую политику. “Аресты инакомыслящих, насилие над словом, над печатью и прочие проявления физической силы не являются отличительным признаком большевиков”, — пишет он, помня о том, как жестоко расправлялся со своими противниками царский режим. Его задевает другое — он против культурной программы большевиков, которую характеризует как “невозможную”.

За этой характеристикой крылся намек на поддержку большевиками Пролеткульта, чьи принципы шли вразрез с идеями футуризма. Идеологи Пролеткульта считали, что современное искусство и литература непонятны рабочим, которым надо преподносить революционные идеи в более доступных — читай классических — формах. “Единственно верный путь, — заявлял Осип, — неуклонно вести свою культурную линию, быть везде, где культуре грозит опасность, стойко защищая ее от всякого,

в том числе и большевистского, вандализма”. Поэтому, несмотря на то что он не является членом партии и не намерен подчиняться какой-либо партийной дисциплине или принимать участие в политических митингах, он не должен отказываться от своего “неожиданного избрания”.

Письмо отражает двойственность позиции Брика по отношению к новой власти. Не будучи членом большевистской партии, он готов представлять большевиков в городской Думе, если это будет содействовать подрыву их культурной политики. Таким образом, он принимает избрание не из политических убеждений, а по тактическим соображениям. Не видим ли мы здесь еще одно проявление его “морального релятивизма”?

Даже если между Бриком и Луначарским и были разногласия, то в целом они говорили на одном языке. С Маяковским все обстояло иначе. На самом деле его конфликт с Луначарским был настолько серьезным, что в конце ноября — начале декабря он покинул Петроград и уехал в Москву, “не сговорившись с наркомом”, по словам Осипа.

В чем, собственно, заключался конфликт, ясно из реакции Маяковского на статью Осипа. “Прочел в Новой жизни дышащее благородством Оськино письмо, — пишет он Осипу и Лили в первом сохранившемся письме из Москвы. — Хотел бы получить такое же”. Энтузиазм Маяковского, вызванный “дышащим благородством” письмом, был на самом деле первым после октября 1917-го выражением убеждения, лежавшего в основе эстетики его и его коллег по авангарду: нет революционного содержания без революционной формы. Поняв, что Луначарский не будет поддерживать футуристов в эстетической борьбе, Маяковский предпочел покинуть поле боя.

■ РОССИИ

Из стихотворения “Революция” ясно, что Маяковский воспринимал Февральскую революцию как свою: “Мы победили! / Слава нам! / Сла-а-ав-в-ва нам!” Октябрьскую революцию он подобными дифирамбами не приветствовал. На самом деле за последовавшие два года, до осени 1919-го, Маяковский напишет лишь

дюжину стихотворений, что, по замечанию советского исследователя А.А. Смородина, говорит о его “потрясенности происходящим”. Сдержанное отношение к большевистской культурной идеологии, таким образом, повлекло за собой частичный творческий паралич.

Два написанных осенью 1917 года революционных стихотворения, “Наш марш” и “Ода революции”, отражают общий подъем, не выказывая поддержки какой-либо конкретной политической линии. Но в то же время Маяковский пишет еще одно стихотворение, с качественно другим содержанием, — “России”.

“Я” в стихотворении — “заморский страус, в перьях строф, размеров и рифм” — прячется в “оперенье звенящее”, то есть занимается поэзией. В “снеговой уродине” он чужой, он зарывается глубже в перья и видит воображаемый южный “остров зноя”. Но и на родине страуса фантазию топчут ногами, к нему относятся как к чужаку — то недоуменно, то с восхищением. Утопия оказывается фикцией, и в конце стихотворения он возвращается в зимний пейзаж первых строк. Ничего не изменилось, и он сдается:

Что ж, бери меня хваткой мёрзкой!
Бритвой ветра перья обрей.
Пусть исчезну,
чужой и заморский,
под неистовства всех декаблей.

Стихотворение “России”, которое ошибочно датируют 1915-м или 1916 годами⁴, на одном уровне рассказывает о положении

* Впервые стихотворение было опубликовано в 1919 г. в сборнике “Все сочиненное Владимиром Маяковским. 1909–1919”, где оно датируется 1915 г. Однако в этой подборке только пятнадцать из восьмидесяти стихотворений датированы правильно. Чтобы издать книгу в 1919-м, когда был большой дефицит бумаги, Маяковский придумал якобы десятилетний юбилей творчества и соответствующим образом подтасовал даты: в 1909 г. он еще не начал писать стихи, тем более ничего не опубликовал. Однако неправильная датировка именно этого стихотворения вряд ли объясняется легкомысленным отношением автора к хронологии — здесь скрыты другие, политические причины: в 1919 г. “политическая корректность” уже не позволяла объявить такое стихотворение написанным в 1917-м. По сообщению О. Брика (в беседе с Н. Харджиевым в 30-е гг.), “России” написано в декабре 1917 г.

поэта в обществе и отношении общества к поэту. Прочитанное так, оно может рассматриваться как поэтический комментарий к критике Осипом утилитарного подхода большевиков к культуре и как защита формы и фантазии. (То, что Маяковский смог одновременно написать такие разные стихотворения, как “Наш марш” и “Ода революции”, с одной стороны, и “России” — с другой, удивлять не должно — это выражение амбивалентности, отличавшей его отношение к революции.) На более глубоком уровне стихотворение “России” является вариацией центральной темы в творчестве Маяковского: поэт с его фантазией и “звонящим опереньем” всегда “заморский”, всегда чужой, где бы он ни находился.

■ КАФЕ ПОЭТОВ

Переехав в Москву, Маяковский получил возможность демонстрировать свои “перья строф, размеров и рифм”. Осенью 1917 года Василий Каменский с финансовой помощью московского богача Филиппова основал “Кафе поэтов” в здании бывшей прачечной в Настасьинском переулке на Тверской. Внутри имелась эстрада и стояла грубоструганая мебель. На разрисованных Маяковским, Бурлюком и другими художниками стенах можно было прочесть цитаты из произведений футуристов. “Кафе поэтов” сознательно отсылало к довоенным традициям артистического подвала “Бродячая собака” в Петербурге, и публику завлекали теми же скандальными приемами, что и в дореволюционное время. Символом преемственности стала желтая блуза, которую снова, впервые после встречи с Лили, надел Маяковский.

Публика приходила поздно, после театра. Кафе было открыто для всех. Кроме ядра, состоявшего из футуристов, выступали и гости из числа зрителей: певцы, поэты, танцоры, актеры. Владимир Гольцшмидт, “футурист жизни”, веселил публику, разбивая доски о голову. В середине декабря Маяковский докладывал Лили и Осипу: “Кафэ пока очень милое и веселое учреждение. <...> Народу битком. На полу опилки. На эстраде мы <...>. Публику шлем к чертовой матери. <...> Футуризм в большом фаворе”.



■ Бурлюк и Маяковский (стоит справа) в “Кафе поэтов” (из фильма “Не для денег родившийся”).

Возникновение “кафе-футуризма” совпало по времени с наиболее воинственной и одновременно плюралистической фазой революции, центральную роль в которой играли различные анархистские группы. В кафе часто появлялись анархисты, захватившие дома поблизости, бывали здесь и чекисты. Лев Гринкруг, посещавший кафе ежедневно, вспоминает, что анархисты часто устраивали драки с пальбой.

Анархисты навещали в “Кафе поэтов” не случайно. Футуристическая идеология была антиавторитарным, анархистским социализмом, и анархисты часто использовали кафе как место встречи. В вышедшей 15 марта 1918 года “Газете футуристов” Маяковский, Бурлюк и Каменский заявили, что футуризм является эстетическим соответствием “анархистскому социализму”, что искусство должно выйти на улицы, что Академию художеств надо закрыть, а искусство отделить от государства. Только Революция Духа способна освободить человека от оков старого искусства!

Духовная революция была *третьей революцией*, которая должна была последовать за экономической и политической, — без духовного преобразования революция оставалась бы незавершенной. Первые две революции были успешными, но в области культуры еще царило “старое искусство”, и футуристы призывали “пролетариев фабрик и земель к третьей, бескровной, но жестокой революции, революции духа”. Идея духовной революции витала в воздухе. Лидер символистов Андрей Белый еще годом ранее писал, что “революция производственных отношений есть отражение революции, а не сама революция”, — эта же мысль развивалась в газете левых эсеров “Знамя труда”.

Анархизм “Кафе поэтов” выражался не только в лозунгах, но и в практических действиях. В марте 1918 года, в период, когда анархисты ежедневно захватывали жилые дома в Москве, Маяковский, Каменский и Бурлюк оккупировали ресторан, в котором собирались устроить клуб “индивидуаль-анархизма творчества”. Однако уже через неделю их оттуда выставили, и проект реализовать не удалось.

“Кафе-футуризм” прекратило свое существование 14 апреля 1918 года, когда закрыли “Кафе поэтов”. Конец анархистского футуризма почти день в день совпал с ликвидацией анархизма политического, осуществленной ЧК 12 апреля. Эти события, которые, по всей вероятности, были взаимосвязанными, знаменовали собой окончание анархистского периода русской революции как в политике, так и в культуре.

■ ЧЕЛОВЕК

В период наиболее интенсивной деятельности “кафе-футуризма”, в феврале 1918 года, Маяковский издал новую поэму “Человек” в издательстве АСИС (Ассоциация социалистического искусства) на деньги друзей, в частности Льва Гринкруга. Одновременно в том же издательстве вышло второе бесцензурное издание “Облака в штанах”.

Когда в конце января Маяковский читал “Человека” в частной компании, реакция была ошеломляющей. На вечере, устроенном в квартире поэта А. Амари, присутствовала боль-

шая часть русского поэтического парнаса: символисты Андрей Белый, Константин Бальмонт, Вячеслав Иванов, Юргис Балтрушайтис, футуристы Давид Бурлюк и Василий Каменский, а также поэты, творчество которых не относилось к определенному течению, — Марина Цветаева, Борис Пастернак и Владислав Ходасевич.

“Читали по старшинству, без сколько-нибудь чувствительного успеха, — вспоминал позднее Пастернак. — Когда очередь дошла до Маяковского, он поднялся и, обняв рукою край пустой полки, которою кончалась диванная спинка, принялся читать “Человека”. Он барельефом <...> высился среди сидевших и стоявших и, то подпирая рукой красивую голову, то упирая колено в диванный валик, читал вещь необыкновенной глубины и приподнятой вдохновенности”. Напротив Маяковского сидел Андрей Белый и слушал как завороченный. Когда чтение закончилось, он, потрясенный и бледный, встал и сказал, что не представлял, что можно создавать поэзию такой силы в нынешнее время. Публичное чтение, состоявшееся через несколько дней в Политехническом музее, прошло так же успешно. “Никогда я такого чтения от Маяковского не слышал, — вспоминал Роман Якобсон, присутствовавший там вместе с Эльзой. — Он очень волновался, хотел передать все и читал совершенно изумительно <...>”. Посетивший и этот вечер Андрей Белый повторил хвалебные слова, назвав Маяковского самым выдающимся русским поэтом после символистов. Это было наконец долгожданное признание.

“Человек” создавался на протяжении 1917-го, Маяковский приступил к работе весной и завершил поэму в конце года, уже после Октябрьской революции. Поэма длиной почти в тысячу строк занимает, таким образом, центральное место в творчестве Маяковского чисто хронологически, на рубеже старого и нового времени. Однако и тематически она занимает центральное положение: нигде тема экзистенциальной отчужденности Маяковского не звучит так отчаянно, как здесь.

Поэма структурирована как Евангелие и разделена на части: “Рождество Маяковского”, “Жизнь Маяковского”, “Страсти Маяковского”, “Вознесение Маяковского”, “Маяковский в небе”,

“Возвращение Маяковского”, “Маяковский векам”. Религиозный подтекст подчеркивается оформлением обложки, на которой имя автора и название поэмы образуют крест.

День, когда родился Маяковский, — “день моего сошествия к вам” — был “одинаков”, и никто не догадался намекнуть “недалекой неделикатной звезде”, что этот день достоин праздника. И все же это событие такого же масштаба, как рождение Христа, потому что каждое совершаемое Маяковским движение — огромное, необъяснимое чудо, его руки могут обнять любую шею, его язык способен произвести любой звук, его “драгоценнейший ум” сверкает, он умеет превращать зиму в лето, воду — в вино. А еще он все превращает в поэзию — прачки становятся “дочерьми неба и зари”, у булок “загибаются грифы скрипок”, а голенища сапог “распускаются в арфы”. Все сущее есть результат рождения Маяковского: “Это я / сердце флагом поднял. / Небывалое чудо двадцатого века!” Перед этим чудом “отхлынули паломники от гроба господня, / опустела правоторными древняя Мекка”.

Однако далеко не все ценят умение поэта превращать. Реальный мир, “логово банкиров, вельможей и дождей”, чувствует угрозу и идет в наступление: “Если сердце всё”, то зачем грести деньги? “Кто дням велел июлиться?” Нет! Небо надо “запереть в провода”, а землю — “скрутить в улицы”. А “загнанный в земной загон” человек/поэт, язык которого оплеван сплетнями, влачит “дневное иго”, с “законом” на мозгах и “религией” на сердце. Он “заклучен в бессмысленную повесть”, фантазия изгнана, правят только деньги, в “золотороте” тонет все, великое и малое: “тении, курицы, лошади, скрипки”. А посередине всего этого, на “острове расцветочного ковра” живет Повелитель Всего, соперник поэта и его “неодолимый враг”, в тонких чулках с нежнейшими горошинками, франтовских штанах и в “галстукe, выпестренном ахово”.

Хотя враг Маяковского наделен стереотипными чертами буржуа, свести Повелителя Всего к социальному или экономическому феномену было бы слишком просто. В поэтическом мире Маяковского понятие “буржуй” прежде всего символ застоя, консерватизма, пресыщенности: “Быть буржуем / это не то что капитал / иметь, / золотые транжира. / Это у молодых / на горле



- На обложке поэмы "Человек" фамилия автора и название оформлены в виде креста — уместный символ для аллегорического текста, кончающегося тем, что Маяковский стоит "огнем обвит / на несгорающем костре / немыслимой любви".

/ мертвецов пята / это рот зажатый комьями жира” — так через пару лет Маяковский определит смысл “буржуйства” в поэме “150 000 000”. Повелитель Всего — это “всемирный буржуй”, чей дешевый и вульгарный вкус властвует и губит мир. Вывод, который Маяковский формулирует в поэме “Человек”, может служить эпиграфом ко всему его творчеству:

Встрясывают революции царств тѣльца,
меняет погонщиков человечесий табун,
но тебя,
некоронованного сердец владельца,
ни один не трогает бунт!

Притягательная сила Повелителя так велика, что даже любимая поэта противостоять ей не может. Он пытается удержать ее, но поздно, она уже у Него. Его череп блестит, Он безволосый, “только / у пальца безымянного / на последней фаланге / три / из-под бриллианта / выщетились волосики”. Она склоняется к Его руке, и губы шепчут имена волосиков: один называют “флейточкой”, другой “облачком”, третий — “сияньем неведомым” только что написанного произведения. Так “некоронованный сердец владелец” опошляет не только любовь Маяковского, но и его поэзию.

Женщина в Его власти, тоска и отчаяние вызывают мысли о самоубийстве у поэта, чье “сердце рвется к выстрелу, / а горло бредит бритвою”. Он идет по набережной Невы, и его душа “замерзшим изумрудом” падает на лед. Он заходит в аптеку, но, получив от аптекаря склянку с ядом, вспоминает, что бессмертен, и “потолок отверзается сам” — он поднимается на небо. Там он скидывает “на тучу / вещей / и тела усталого / кладь”. Поначалу он разочарован. Он понимает, что “неодолимый враг” живет и в нем самом, и жалуется, что нет ему “ни угла ни одного, / ни чаю, / ни к чаю газет”. Но он привыкает, небесная жизнь оказывается отражением земной, здесь существование тоже с утра и до вечера подчинено строгому режиму. Кто чинит тучи, кто “жар надбавляет солнцу в печи”. Но что делать ему, поэту, он ведь “для сердца, / а где у бестелесных сердца?!”/ Когда он предлагает развалиться

“по облаку / телом”, чтобы всех созерцать, ему отвечают, что это невозможно — и в небе нет места для поэта.

“Кузни времен вздыхают меха”, года похожи друг на друга, в конце концов в груди у Маяковского снова начинает стучать сердце, и он хочет вернуться на землю. Может быть, теперь там все по-новому, спустя “1, 2, 4, 8, 16, тысячи, миллионы” лет? Но, сваливаясь с неба, как “красильщик с крыши”, он быстро обнаруживает, что все осталось по-прежнему, люди заняты прежними делами, “тот же лысый / невидимый водит, / главный танцмейстер земного канкана” — то “в виде идеи, / то чёрта вроде, / то богом сияет, за облако канув”. У врага воплощений прорва!

Оказавшись у Троицкого моста, Маяковский вспоминает, что когда-то стоял здесь, смотрел вниз на Неву и собирался броситься в воду. Словно во сне, он вдруг видит любимую, чувствует почти “запах кожи, / почти что дыханье, / почти что голос”, ожившее сердце шарахается, он опять “земными мученьями узнан”: “Да здравствует / — снова, — / мое сумасшествие!” — восклицает он, вторя теме сумасшествия в “Облаке в штанах”. Спросив у прохожего об улице Жуковского, он узнает, что эта улица — “Маяковского уже тысячи лет: / он здесь застрелился у двери любимой”. Он осторожно пробирается в дом, узнает квартиру, “все то же, / спальня та ж”. Замечает в темноте “голую лысину”, стискивает кинжал и идет дальше, снова “в любви и в жалости”. Но когда зажигается электричество, он видит, что в квартире живут чужие люди, инженер Николаев с женой. Он бросается вниз по лестнице и находит швейцара. На вопрос “Из сорок второго / куда ее дели?” получает ответ: согласно легенде, она бросилась к нему из окна: “Вот так и валялись / тело на теле”.

Маяковский прервал земное существование из-за неразделенной любви, теперь он вернулся, но любимой больше нет. Куда ему деваться? На какое небо? К какой звезде? Ответа нет. Все погибнет, говорит он, ибо “тот, / кто жизнью движет, / последний луч / над тьмой планет / из солнц последних выжжет”. Сам же он стоит, “огнем обвит, / на несгорающем костре / немыслимой любви” — вариация финальных строк первой части “Облака в штанах”: “Крик последний, — / хоть ты / о том, что горю, в столетия выстони!”

Экзистенциальная тематика, пронизывающая с самого начала творчество Маяковского, в поэме “Человек” достигает кульминации: одинокое “я”, борющееся с врагом поэзии и любви, имя которому легион: необходимость, мещанство, тривиальность быта — “мой неодолимый враг”, Повелитель Всего. Лев Шестов говорит о “людях трагедии”, которые должны постоянно воевать на двух фронтах: “и с “необходимостью”, и со своими ближними, которые еще могут приспособляться и поэтому, не ведая, что творят, держат сторону самого страшного врага человечества”. Шестов имел в виду Достоевского и Ницше, но определение в равной степени применимо и к Маяковскому с его трагическим мировоззрением.

Как явствует из названия, “Человек” повествует не о Маяковском в России, а о Человеке во Вселенной; проблематика общая, экзистенциальная, не частная. Тем не менее произведение, как и вся поэзия Маяковского, глубоко автобиографично. Если упоминаний о политических событиях в поэме нет, то присутствие Лили ощущается явственно. Намеки на нее многочисленны, от конкретного адреса — даже номера квартиры! — до перечисления произведений Маяковского; в набросках намеки еще очевидней.

■ КИНЕМО

Энтузиазм Маяковского по поводу “Кафе поэтов” иссяк быстро. Уже в начале января он сообщает Лили и Осипу, что ему надоело место, превратившееся в “мелкий клоповничек”. Лили тоже устала от Петрограда, но ее настроение поднялось после того, как они с Осипом решили отправиться в Японию вместе с Александрой Доринской. По пути они намеревались заехать в Москву навестить Маяковского, но поездка не состоялась — ни в Японию, ни в Москву.

“Ты мне сегодня всю ночь снился, — писала ему Лили через два месяца, — что ты живешь с какой-то женщиной, что она тебя ужасно ревнует и ты боишься ей про меня рассказать. Как тебе не стыдно, Володенька?” Маяковский оправдывался: “От женщин отсаживаюсь стула на три на четыре — не надышали-б чего вредного”.



■ В письме к Лили от марта 1918 г. Маяковский с характерным преувеличением выражает разочарование по поводу того, что получил от Лили только пол-письма, в то время как Лева — тысячу, а мама и Эльза — сотню. Отсюда радостная мина Левы и печальная Маяковского.

от 18 марта 1918 года Лили впервые называет Маяковского своим «щененком» и признается, что скучает по нему.

И все же активной стороной был Маяковский. В марте—апреле он пишет Лили три письма, на которые не получает ответа: «Отчего ты не пишешь мне ни слова? Я послал тебе три письма и в ответ ни строчки. <...> Неужели шестьсот верст такая сильная штука? Не надо этого детанька. Тебе не к лицу! Напиши, пожалуйста, я каждый день встаю с тоской: «Что Лили?» Не забывай что кроме тебя мне ничего не нужно и не интересно».

Женщина, от которой Маяковский отсаживался, была художницей. Ее звали Евгения Ланг; они познакомились еще в 1911 году и теперь в Москве снова начали встречаться. Впоследствии Евгений расскажет о том, как сильно ее любил Маяковский, однако подтверждений тому, что его чувства к ней были более глубокими, чем к многочисленным другим женщинам, с которыми он встречался, нет. Любил он Лили. Первое сохранившееся письмо, где он обращается только к ней — а не к ней и Осипу, — написано в середине марта 1918 года и заканчивается словами: «В этом [письме] больше никого не целую и никому не кланяюсь» — это из цикла «Тебе, Лили», (посвящение, украсившее титульный лист «Человека»). Начиная с этого момента тон в письмах Маяковского меняется — это уже не сухие отчеты о его жизни в Москве. В письме



- Сцена из фильма "Барышня и хулиган". В главной женской роли — Александра Ребикова. Как и во многих стихах Маяковского, герой в конце погибает: защищая честь учительницы, он получает смертельный удар ножом.

Лили отвечает, что ужасно скучает по нему и что он может приехать и пожить у них в Петрограде. “Ужасно люблю получать от тебя письма и ужасно люблю тебя”. Она не снимает подаренное им кольцо, на котором по кругу выгравированы ее инициалы Л.Ю.Б. — образовывая бесконечное люблюлюблюлюблю... На



Маяковский в роли Ивана Нова в фильме “Не для денег родившийся”.



внутренней стороне выгравировано “Володя”. Кольцо, подаренное Лили Маяковскому, украшали латинские буквы WM — Władimir Majakovskij — и внутренняя гравировка “Лили”.

От тоски по Лиле его спасает, сообщает он, только “кинемо”. В марте—апреле Маяковский спешно пишет два киносценария по заказу частной кинокомпании “Нептун”, владельцы которой, супруги Антик, были завсегдатаями “Кафе поэтов” и почитателями эстрадного таланта Маяковского.

Первый киносценарий, “Не для денег родившийся”, был создан по мотивам романа Джека Лондона “Мартин Иден”. Главную роль сыграл сам Маяковский, а часть действия разворачивалась в “Кафе поэтов”, интерьеры которого воссоздали в павильонах киностудии. Фильм демонстрировался в Москве и многих провинциальных городах в течение нескольких лет, но, к сожалению, не сохранился.

Зато сохранился другой фильм, “Барышня и хулиган”, сделанный по мотивам повести итальянского писателя Эдмондо Де Амичиса “Учительница рабочих”. Премьерные показы состоялись практически одновременно; и в этом фильме Маяковский играл главную роль.

Маяковский оценил свою работу для студии “Нептун” как “сентиментальную заказную ерунду”. Но это было сказано много лет спустя. На самом деле он давно интересовался художественными возможностями кинематографа. Еще в 1913 году он написал сценарий “Погоня за славою” и несколько кинематографических статей и, по некоторым сведениям, исполнил маленькую роль в фильме “Драма в кафе футуристов № 13”.

Пренебрежительный отзыв о “заказной ерунде” объясняется тем, что Маяковский был недоволен конечным результатом, — его первоначальные идеи искажались из-за многочисленных компромиссов, на которые ему пришлось согласиться. В действительности же фильм “Не для денег родившийся” был отчетливо автобиографичным, варьирующим темы поэзии Маяковского. Судьба Мартина Идена изначально похожа на судьбу Маяковского, а после того, как он превратил главного героя в поэта, параллель стала еще очевиднее. Иван Нов, который вышел из низов, влюбляется в девушку из богатой семьи. Когда она его отвергает, он пытается завоевать ее любовь сочинением стихов. Примыкает к футуристам, становится известным, а вскоре и богатым; и так же, как Маяковский, он меняет свои богемные одеяния на пальто и цилиндр.

Но счастья Иван Нов не находит, любимая по-прежнему холодна с ним. Когда она наконец признается ему в любви, он начинает подозревать, что ее интересуют только его деньги, и отказывается от нее. Собирается лишиться себя жизни, но вместо этого решает в корне изменить ее. Поджигает скелет, инсценируя самоубийство, сбрасывает с пьедестала бюст Пушкина, сжигает свою элегантную одежду, надевает старую рабочую блузу и в финальной сцене удаляется, подобно чаплинскому герою, в неведомую даль.

Маяковского хвалили за актерское мастерство — в критике говорилось, что он произвел “очень хорошее впечатление и

обещает быть хорошим характерным киноактером”. Сам он писал Лили: “Кинематографщики говорят, что я для них небывалый артист. Соблазняют речами славой и деньгами”.

■ ЛЮБЛЯНДИЯ

Маяковский поддался соблазну: помимо того, что кинематограф представлял собой творческий вызов, он давал Маяковскому возможность сформулировать то, что он не мог выразить привычным способом из-за мучившей его творческой засухи. В апреле он пишет Лили: “Стихов не пишу <... >. На лето хотелось бы сняться с тобой в кино. Сделал бы для тебя сценарий”. Лили ответила,



- Актриса в “Законной фильмой” в исполнении Лили сходит с киноэкрана, но хочет обратно. Не найдя экрана, Маяковский вешает на стену скатерть (см. стр. 132).





что она очень хочет, чтобы он написал сценарий для них обоих и чтобы, если это возможно, они начали сниматься “через неделю или две”: “Ужасно хочется сняться с тобой в одной картине”.

19 мая в газете “Мир экрана” сообщалось, что “поэт В.В. Маяковский написал легенду кино “Закованная фильмой”, приобретенную кинокомпанией “Нептун”. “Ознакомившись с техникой кино, я сделал сценарий, стоявший наряду с нашей литературной новаторской работой”, — так определил Маяковский свой третий сценарий — и первый, выполненный им самим от начала и до конца. Он писал его “серьезно, с большим увлечением, как лучшие свои стихи”, вспоминала Лили.

“Закованная фильмой” — действительно оригинальное и новаторское произведение, на уровне лучших литературных экспериментов футуризма. О том, что Маяковский серьезно относился к этой работе, свидетельствует тот факт, что в 1926 году он написал вариацию на ту же тему, “Сердце экрана”; фильм, однако, снят не был.

Главный герой — художник. Ему скучно, он бродит по городу. Заговаривает с женщиной, которая внезапно становится прозрачной. Вместо сердца у нее — шляпа, шляпные булавки и ожерелье. Когда он приходит домой, жена тоже становится прозрачной: у нее вместо сердца кастрюли. Встретив друга, он выясняет, что у того вместо сердца бутылки и карты.

На бульваре художника останавливает цыганка и хочет ему погадать. Он ведет ее к себе в мастерскую, начинает рисовать ее портрет, и она тоже становится прозрачной — у нее вместо сердца монеты.

По всему городу висят афиши нового фильма “Сердце экрана”. На них изображена балерина, которая держит в руках сердце. Фильм идет с полным аншлагом. Смотрит его и художник. Когда показ заканчивается и публика покидает зал, художник приближается к экрану и продолжает аплодировать. Балерина сходит к нему с экрана*. Он ведет ее на улицу, там дождь, шумно.

* Тот же прием позднее использовал Вуди Аллен в фильме “Пурпурная роза Каира”, в котором киногерой внезапно заговаривает с женщиной из публики и сходит с экрана. Она столько раз смотрела фильм, что он в нее влюбился. Пара покидает кинотеатр, актеры и продюсеры в полном недоумении.

Балерина дрожит, она снова исчезает, скрывшись за закрытой дверью. Художник отчаянно стучит, но ему не открывают.

Он заболевает, служанка отправляется за лекарством в аптеку. На обратном пути она роняет пакет, пакет рвется, и она заворачивает лекарство в упавшую на тротуар киноафишу. Когда художник разглаживает мятую афишу, балерина оживает и снова оказывается рядом. Он счастлив и мгновенно выздоравливает. Но в эту же секунду она исчезает со всех афиш и экранов города. В кинокомпании паника — фильм давал очень хорошие сборы.

Художник приглашает балерину к себе на дачу, кладет ее на диван, сворачивает в трубочку, как афишу, и осторожно помещает в машину. Они приезжают в загородный дом. Балерина начинает тосковать по кино и бросается на все, что напоминает экран. В конце концов художник срывает со стола скатерть, круша посуду, и вешает ее на стену. Балерина становится в позу и просит достать ей настоящий экран; попрощавшись, он идет ночью в пустой кинотеатр, где вырезает экран ножом.

В то время на дачу приезжает влюбленная в художника и ревнующая цыганка. Когда балерина гуляет в саду, цыганка набрасывается на нее с ножом. Прислонившаяся к дереву балерина снова превращается в афишу. Цыганка в ужасе, она спешно едет на киностудию и сообщает, где находится балерина. Однако сразу после того, как цыганка уходит, балерина опять оживает.

Она ждет художника. Вместо него появляется “человек с бородой” — тот самый, что однажды предложил кинокомпании снять “Сердце экрана”, — его окружают кинозвезды; их всех привела цыганка. Балерина рада, она скучала по ним. Человек с бородой окутывает ее кинопленкой, и она растворяется в ней. Все уходят, кроме цыганки, которая падает в обморок.

Когда художник приносит экран, балерины уже нет. Он возвращается к жизни цыганку, она рассказывает обо всем, что без него случилось. Он бросается к афише и вдруг видит название киностраны, напечатанное внизу мелким шрифтом. В финальной сцене герой стоит у окна поезда, отправляясь на поиски этой страны. По воспоминаниям Лили, страна называлась что-то вроде “Любляндии”.

Тема фильма, так же как и многих стихотворений Маяковского, — неразделенная любовь. Тот факт, что героиня — бале-

рина, подчеркивает его автобиографический характер и ставит в один ряд с другими произведениями из цикла “Тебе, Лили”.

■ ЛЕВАШОВО

В начале июня работа над “Закованной фильмой” была закончена. Фильм стал символическим началом нового этапа в отношениях между Лили и Маяковским: 17 июня Маяковский покинул Москву, а через неделю прописался по петроградскому адресу Бриков — ул. Жуковского, 7, где в той же парадной снял однокомнатную квартиру, такую крохотную, что ванна помещалась только в прихожей.

Реальная Люблиндия называлась Левашово, это был поселок под Петроградом, где Лили, Осип и Маяковский втроем проводили отпуск. Мечта Маяковского сбылась, он наконец обладал женщиной, которую три года любил и которая не любила его — или, если любила, не допускала проявлений своих чувств. “Ведь она долго держала его на расстоянии, — вспоминал Роман Якобсон. — Но у него была железная выдержка”.

В Левашове они сняли три комнаты с полным пансионом. Маяковский рисовал пейзажи, они собирали грибы, а по вечерам играли в карты, но не на деньги: определенное количество очков значило, что нужно помыть бритву Маяковского, бóльшее — обязывало выгнать комаров из комнаты вечером; самым тяжелым наказанием был поход на станцию за газетой в дождливую погоду. В перерывах между рисованием, собиранием грибов и игрой в карты Маяковский работал над пьесой “Мистерия-буфф” — революционной феерией, которая была поставлена к первой годовщине Октябрьской революции.

Что побудило Лили открыто стать женщиной Маяковского и почему именно сейчас? То, что Маяковский гениальный поэт, она признавала и раньше, но его назойливое ухаживание ее по большей части мучило. “Только в 1918 году я могла с уверенностью сказать О.М. о нашей любви”, — объясняла она, добавляя, что немедленно бросила бы Володю, если бы Осипу это пришлось не по душе. Осип отвечал, что ей не нужно бросать Володю, но она должна обещать, что они никогда не будут жить по отдельности.

Лили сказала, что не допускает даже мысли об этом: “Так оно и получилось: мы всегда жили вместе с Осей”.

Таковыми были правила игры в этом союзе. “Возможно, что если б не Ося, я любила бы Володю не так сильно, — вспоминала Лили. — Я не могла не любить Володю, если его так сильно любил Ося. Ося говорил, что для него Володя не человек, а событие. Володя во многом перестроил Осино мышление <... > и я не знаю более верных друг к другу, более любящих друзей и товарищей”.

Каким бы искренним взгляд Лили на Маяковского ни был, он преломлялся в пенсне Осипа. Жить без Осипа она не могла, он был стержнем ее жизни — но не мог удовлетворить ее эмоциональные потребности. Если он и любил ее, то не горячеей, самозабвенной любовью Маяковского. Что побудило Лили ввести в их семью Маяковского? Тщеславие? Ведь он написал для нее столько замечательных стихотворений! Но он продолжал бы посвящать ей стихи в любом случае, тем более что страдание и боль были важнейшим горючим для его вдохновения. Ей нужна была его слава? Но в эту пору Маяковский еще не стал знаменит, и денег у него тоже не было. Может быть, все же именно любовь заставила Лили после двух с половиной лет сомнений отдать себя мужчине, которого до съемок в мае она не видела полгода. Эльза, навещавшая сестру в Левашове, тоже удивилась: “Подсознательное убеждение, что чужая личная жизнь нечто неприкосновенное, не позволяло мне не только спросить, что же будет дальше, как сложится жизнь самых мне близких, любимых людей, но даже показать, что я замечаю новое положение вещей”.

■ ЗЕМЛЯНИЧКА, ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ ЗАМУЖ!

Летом 1915 года, после смерти отца, Эльза с матерью переехали в квартиру в Замоскворечье. Одновременно Эльза начала изучать архитектуру на Московских женских строительных курсах. Свидетельство об окончании обучения датировано 27 июня 1918 года. Через неделю она должна была уехать в Париж, где собиралась выйти замуж за французского офицера. Приезд Эльзы в Левашово был, таким образом, не просто визитом вежливости — она заехала к сестре попрощаться.

Эльза уезжала вместе с матерью. В Париж они ехали через Стокгольм, а по пути туда одну ночь ночевали в Петрограде у Лили. “В квартире никого не было, — вспоминала Эльза, — именно тогда началась совместная жизнь Лили и Володи, и они уехали вдвоем в Левашово, под Петроградом. Для матери такая перемена в Лилиной жизни, к которой она совсем не была подготовлена, оказалась сильным ударом. Она не хотела видеть Маяковского и готова была уехать, не попрощавшись с Лилей. Я отправилась в Левашово одна”.

На следующий день Лили приехала в город попрощаться, “будто внезапно поняв, — вспоминала Эльза, — что я действительно уезжаю, что выхожу замуж за какого-то чужого француза”. Маяковский с ней не приехал, так как Елена Юльевна по-прежнему относилась к нему отрицательно. Стояла невыносимая жара, в городе бушевала холера, на улицах гнили фрукты, которые никто не решался есть. “С невыносимой тоской смотрю с палубы на Лиличку, которая тянется к нам, хочет передать нам сверток с котлетами, драгоценным мясом. Вижу ее удивительно маленькие ноги в тоненьких туфлях рядом с вонючей, может быть, холерной, лужей, ее тонкую фигурку, глаза...”

На самом деле Лили и мать предпочли бы видеть Эльзу женой Романа Яacobсона, который несколько лет ухаживал за ней так настойчиво, что

■ Роман Яacobсон, безуспешно ухаживавший за Эльзой, приблизительно 1920 г.



Забыл фольклор, забыл санскрит,
и ночь, и день — все у тебя сидит.
В грустях, за неимением рома,
огромную бутылку он выпил брома, —

как писал он в шуточном послании Эльзе.

Но как бы Эльзе ни льстило внимание Романа, на его предложение выйти за него замуж она ответила отказом. Впоследствии она опишет его сватовство в повести “Земляничка” (Москва, 1926), в главе “Земляничка, выходи за меня замуж”, где Роман выведен под именем Ника:

Ника и Земляничка сидели друг против друга за самоваром и пили чай. С вареньем и сушками. Они только что бурно спорили о новой литературе и теперь с удовольствием прихлебывали чай и молчали.

Отодвинув пустой стакан, Ника, наконец, заговорил:

— Отчего ты не хочешь за меня замуж выйти?

Земляничка долила чайник и поставила его на самовар.

— Ну что ты, Ника, как я за тебя замуж выйду.

— Да очень обыкновенно и просто. Ты за меня замуж выйти должна, это же ясно.

Земляничка молчала.

— Тебе будет очень хорошо. Я тебе буду все книжки носить, которые захочешь, поедем вместе куда угодно...

Земляничка молчала.

— Послушай Земляничка, ведь это же глупо с твоей стороны! Но как ты не понимаешь? Еще когда мне шесть лет было, и я тебя ждал в Вешняках на полянке в лесу, и ты не пришла, я так плакал, словно сломал самый любимый паровоз! Уже тогда все было ясно. Не будь такой глупой и упрямой, выходи за меня замуж.

■ МСЬЕ ТРИОЛЕ

Выбор Эльзы пал не на Романа, а на французского офицера-кавалериста Андре Триоле, приехавшего в Россию в мае 1917 года в составе военной миссии союзнической Франции. Обстоятельства их знакомства неизвестны, но есть предположение, что оно произошло у кузенов Осипа братьев Румер, которые жили в одной парадной с родителями Эльзы. Андре Триоле происходил из бога-



- Последняя из известных семейных фотографии, сделанных до отъезда Эльзы с матерью из России летом 1918 г.
На снимке: Лев Гринкруг, Эльза, ее подруга Тамара Беглярова, Елена Юльевна и Лили

той семьи (производство фарфора в Лиможе) и интересовался главным образом женщинами, лошадьми и яхтами. Он одевался очень элегантно. Вполне вероятно, что этот денди смог пленить Эльзу, но любила ли она его — это более сомнительно; близкие Эльзы тоже не испытывали особого энтузиазма по поводу этого союза. Когда в конце 1917 года она в обществе Триоле приехала

в Петроград навестить Бриков, Маяковский и Лили, игравшие в соседней комнате в карты, вышли “посмотреть... без комментариев”.

Отъезд и брак Эльзы окружены множеством вопросительных знаков. Почему Эльза так скупо упоминает об этих жизненно важных событиях в своих воспоминаниях? Почему отсутствуют свидетельства других людей, например Лили? Почему Эльза не вышла замуж в Москве, а уехала для этого в Париж? Отсутствие точных фактов прямо пропорционально количеству вопросов, которые неизбежно возникли бы при более подробном изложении дела.

Прежде чем покинуть Москву, Эльза с матерью избавились от мебели, в том числе и от рояля, в результате чего “семья рабочего”, которая, согласно закону об “уплотнении”, уже проживала в их квартире, получила дополнительную площадь. При этом в своих воспоминаниях Эльза утверждает, что через три-четыре месяца они намеревались вернуться. Куда? В квартиру без мебели и музыкального инструмента, с которым была неразрывно связана жизнь Елены Юльевны? И с кем — с французским офицером?

Эти мысли Эльза явно приписала себе позднее. Когда она работала над воспоминаниями, она была видным членом французской компартии и не хотела выглядеть предательницей в пору, когда будущее Советской России было в опасности.

В действительности Эльза с матерью бежали из большевистской России, в чем она впоследствии призналась в частной беседе: она “ненавидела революцию”, которую называла “крайне неприятной”. Под этим она имела в виду не только жестокость и насилие, но и внезапно обрушившиеся на них бедность, голод, отсутствие комфорта, бытовую нужду. Для избалованной девушки из буржуазной семьи все это было малопривлекательно. Вполне вероятно, что она искала контакты с иностранцами в Москве, надеясь, что кто-нибудь поможет ей покинуть страну.

Но кто выступал главным инициатором отъезда? Эльза? Или мать, которая, как и младшая дочь, была от большевиков в ужасе? Весной и летом 1918 года резко ухудшилось снабжение

в стране: “<...> в дни торжества материализма материя превратилась в понятие, пищу и дрова заменил продовольственный и топливный вопросы”, — сформулировал этот парадокс Борис Пастернак в романе “Доктор Живаго”. Вскоре стало понятно, что страна движется к диктатуре: буржуазную прессу запретили сразу после революции, а летом 1918 года были запрещены и социалистические газеты. Одновременно вспыхнула Гражданская война, вследствие которой территория молодой Советской Республики сократилась до размеров Московского княжества в XV веке.

В этой ситуации многие представители высших классов предпочитали покинуть страну. К ним принадлежали близкие друзья Елены Юльевны — семья Якобсон, которая уехала из России летом 1918-го, взяв с собой Сергея, младшего брата Романа. Сам же Роман в это время скрывался в деревне из-за членства в кадетской партии. Чаша терпения Елены Юльевны и Эльзы переполнилась, когда их “уплотнили”, подселив новых соседей — не “семью рабочего”, как писала в воспоминаниях Эльза, а пятерых красногвардейцев, которые терроризировали обеих женщин до такой степени, что им приходилось каждую ночь баррикадировать двери.

Помимо этих практических соображений, была еще одна причина, повлиявшая на решение матери и дочери эмигрировать: Владимир Маяковский. Эльза проиграла Маяковского своей главной сопернице Лили, предложение Романа Якобсона она отклонила, а к другим кавалерам, в числе которых значился, к примеру, Виктор Шкловский, была равнодушна; и, таким образом, и в романтическом плане не оставалось ничего, что удерживало бы ее в России.

Что же касается Елены Юльевны, то она недолюбливала Маяковского не только потому, что он был невоспитан и груб, но и потому, что его связь с замужней Лили была в ее глазах глубоко аморальной; после того как Маяковский официально сошелся с Лили, противоречие между вольным поведением дочери и — в понимании Лили — мещанством матери крайне обострилось. Так что Елену Юльевну тоже ничто не держало в России. Ее муж умер в 1915 году, а за полгода большевистской

власти весь ее мир разрушился, и материально и идеологически. Решение об эмиграции облегчалось тем, что в Лондоне жил ее родной брат, служивший управляющим отделением Ллойдовского банка. Если у Эльзы желание уехать из Советской России действительно могло быть продиктовано чувствами к будущему мужу, то в случае Елены Юльевны нет сомнений: записанные в ее паспорте слова о “сопровождении дочери” были всего лишь удобным предлогом, а на самом деле она ехала в Лондон, чтобы там остаться.

■ ТУПИК

Шведский пароход “Онгерманландия”, на котором Эльза с матерью покидали Россию, уходил из Петрограда 10 июля 1918 года.



Фото Эльзы сделано в Стокгольме летом 1918 г., когда произошло удручающее знакомство со шведскими кондитерскими изделиями.



По прибытии в Стокгольм судно немедленно посадили в карантин, поскольку среди пассажиров обнаружили больные холерой.

“Незабываемо отвращение, которое во мне вызвали шведские еды, особенно пирожные...” — вынесла Эльза приговор шведской кухне. Пожив несколько недель в Стокгольме, Эльза с матерью уехали в Берген, откуда намеревались продолжить свое путешествие морем до Лондона, где их ждал брат Елены Юльевны. (Ехать через Германию нельзя было из-за войны.) Однако вскоре они поняли, что оказались в тупике: чтобы получить разрешение на въезд во Францию, им нужно было прожить определенное время в Англии, но для того, чтобы им открыли въезд в Англию, следо-



■ Эльза и Андре в своем доме на Таити.

вало документально подтвердить, что их впустят во Францию: “Разрешение ехать через Англию недостаточно. Нужно разрешение въехать в Англию и остаться там в ожидании разрешения из Франции”, — телеграфировала Елена Юльевна из Бергена брату в Лондон 12 августа.

В течение лета Лео Берман связывается с самыми различными инстанциями, чтобы попытаться решить эту неприятную проблему, но без результата. В конце концов 14 октября он пишет письмо заместителю министра иностранных дел, в котором выражает надежду, что тот примет во внимание “исключительные обстоятельства данного дела, причиняющие тяжелые страдания бедной вдове и ее молодой дочери, а также оказывают вредное

воздействие на доблестного французского офицера, жениха мисс Каган”.

В данное время, как сообщалось в его письме, Андре Триоле находился в рядах французских экспедиционных войск, высадившихся в Архангельске с целью освобождения России от большевиков, а это означало, что нужда в выдаче французской визы отпала. Однако сестра и племянница Лео Бермана не могут вернуться в Москву, поскольку их дом конфискован большевиками и они лишились средств к существованию. Оставаться в Бергене они тоже не могли, в связи с чем Берман просил для них разрешения поселиться в Англии; как служащий банка Берман ручался, что его родственницы располагают “существенными средствами”, и обещал взять на себя заботу об их обустройстве в Англии.

Письмо принесло результат: Елена Юльевна и Эльза получили английские визы, и спустя почти четыре месяца после отъезда из Петрограда, 11 ноября 1918 года, они ступили на английскую землю. В начале 1919 года в Париж вернулся Андре Триоле, но Эльза все еще оставалась в Лондоне, и свадьба состоялась только в августе. Промедление объяснялось, по-видимому, тем, что Эльза колебалась; похоже, что чувства Андре не нашли полной взаимности. Елена Юльевна, со своей стороны, думала, что сомневается Андре и что причина его колебаний — антисемитизм: “Андре недостаточно любит тебя, чтобы жениться на русской еврейке”. Однако здесь она ошибалась — противился браку не Андре, а его отец. Когда же Андре, сославшись на сопротивление отца, предложил жить en concubinage, как любовники, Эльза отказалась, объяснив, что “по сути она очень буржуазна”.

В конце концов Андре и его матери удалось уговорить отца, и бракосочетание состоялось в Париже 20 августа 1919 года. По финансовой договоренности Андре получал 1500 франков в месяц. Прочие пункты договора касались запланированного путешествия: 50 тысяч франков помещались на счет в Banque d'Indochine на Таити, а 10 тысяч выделялось на поездку. В октябре того же года молодожены отправились во французскую колонию, где Андре собирался купить плантацию.

■ ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ И ПЛОХОЕ К ГОРЬКОМУ

Среди поклонников Лили значился Яков (Жак) Израилевич, вращавшийся в их с Осипом кругах еще до революции. “Настоящий брестер, очень неглупый, очень по-своему культурный, прожигатель денег и жизни”, по определению Романа Яacobсона, рассказывавшего о том, как однажды Жак дразнил его за то, что он флиртовал с его молодой тетушкой. Когда Яacobсон в шутку спросил, мол, неужели он думает, что честная женщина может позволить себе что-либо подобное, Жак ответил: “Кто смел назвать мою тетку честной женщиной?”

Во время съемок “Закованной фильмой” Жак забрасывал Лили любовными письмами, такими длинными, что она не дочитывала их до конца и оставляла без ответа. Маяковскому она ничего не говорила об эпистолярных атаках Жака, но однажды в Левашово пришло письмо, в котором Жак требовал немедленного свидания. Маяковский пришел в ярость от ревности и отправился в Петроград вместе с Лили и Осипом. “Мы были дома, когда пришел Володя и сказал нам, что встретил И[зраилевича] на улице (надо же!), что бросился на него и произошла драка, — рассказывала Лили. — Подроспела милиция, обоих отвели в отделение. И. сказал, чтобы оттуда позвонили Горькому, у которого И. часто бывал, и обоих отпустили. Володя был очень мрачен, рассказывая все это, и показал свои кулаки, все в синяках, так сильно он бил И.”. После этого “Горький страшно возненавидел Маяковского”, вспоминал Яacobсон.

Эпизод свидетельствует о силе ревности Маяковского, но и о чувствах, которые двадцатисемилетняя Лили по-прежнему вызывала у мужчин. То, что ее связь с Маяковским теперь стала “официальной”, порождало еще больше сплетен, тем более что Маяковский тоже не славился особой добродетельностью. Слухи о “любовном треугольнике” давали повод для злобной клеветы. Если в истории с Жаком Израилевичем Горький был второстепенным персонажем, то в другой драме, разыгравшейся примерно в это же время, он стал главным действующим лицом.

Отношения между Маяковским и Луначарским поначалу были очень хорошими. Однако Маяковский, как мы видели, не

разделял взгляды большевиков на искусство, и поэтому, по словам Луначарского, их связь со временем “несколько охладилась ввиду разницы взглядов на многое”. Но до разрыва дело не доходило, а с Осипом конфликтов не было вообще. С Луначарским Маяковского связывали еще и интересы менее формального характера — при каждом удобном случае они играли вместе на бильярде. Поэтому Лили растерялась, заметив однажды, что при встрече с ними Луначарский едва поздоровался. Она рассказала об этом Шкловскому, который с удивлением отозвался: неужели она не слышала, что Горький рассказывает “всем” о том, как Маяковский “заразил сифилисом девушку и шантажировал ее родителей”? Девушкой была не кто иная, как Соня Шамардина, а источником слухов — ее самоназначенный опекун Корней Чуковский, бдительно охранявший ее добродетель зимой 1914 года, когда она близко общалась с Маяковским.

В сопровождении Виктора Шкловского Лили немедленно отправилась к Горькому, который был неприятно задет разговором. Барабанив пальцами по столу, он повторял: “Не знаю, не знаю, мне сказал очень серьезный товарищ”, но при этом отказывался называть имя “товарища” — то есть Чуковского, — который в свою очередь утверждал, что получил информацию от одного московского врача. Горький пообещал узнать его адрес. Через две недели, так и не получив от Горького никаких сведений, Лили отправила ему письмо: “Алексей Максимович, очень прошу сообщить мне адрес того человека в Москве, у которого вы хотели узнать адрес доктора. Я сегодня еду в Москву с тем, чтобы окончательно выяснить все обстоятельства дела. Откладывать считаю невозможным”. Горький вернул Лили ее письмо. На обороте листа он крупными буквами написал, что, к сожалению, ему не удалось узнать “ни имени, ни адреса доктора, ибо лицо, которое могло бы сообщить мне это, выехало на Украину”. Лили рассказала обо всем Луначарскому, попросив его передать Горькому, что Маяковский не избил его только потому, что тот стар и болен.

Слух был беспочвенным, сифилисом Маяковский не болел и поэтому заразить никого не мог. Но даже если допустить, что в слухе имелась доля истины, зачем Горький распространял его,



■ Максим Горький. Рисунок Юрия Анненкова, 1920 г.

причем довел до самого комиссара народного просвещения? Ведь на протяжении ряда лет Маяковский и Горький занимали близкие позиции как в литературных, так и в политических вопро-

сах. Горький рано разглядел в Маяковском обещающего поэта, его издательство “Парус” опубликовало сборник “Простое как мычание” (1916) и поэму “Война и мир” (1917), Маяковский, как и Осип, сотрудничал в его газете “Новая жизнь”. Горький часто бывал у них на улице Жуковского. “Не помню, сколько раз он был у нас, не помню, о чем разговаривали, — вспоминала Лили. — Помню только, что мне он не очень понравился. Не нравилась его скромность, которой он кокетничал и которая показалась мне противной, не нравилось, как он пил чай, прислонясь к уголку стола, как посматривал на меня. Помню, что без особого азарта играли с ним в тетку”.

Описание отношений с Горьким касается более позднего периода и, возможно, не отражает в точности того, какими они были в 1918 году, однако причина, по которой Горький изменил свой взгляд на Маяковского, определена с психологической достоверностью: “Горький не мог простить Маяковскому, что тот улетел из-под его крыла, а И[зраилевич] и Ч[уковский] с восторгом помогли этой ссоре”.

Девятого июня 1918 года “Новая жизнь” опубликовала стихотворение Маяковского “Хорошее отношение к лошадям” — о кляче, которая падает на улице и умирает, — обычная картина в то голодное лето. Публикация стихотворения — последний пример сотрудничества между Горьким и Маяковским; после того как Горький участвовал в распространении слухов о сифилисе, отношения между ними испортились навсегда. “Я не знаю ни одного человека, о котором он бы говорил более враждебно, чем о Горьком”, — вспоминал Роман Jakobson, весной 1919 года ставший свидетелем проявления этой враждебности. Маяковский выиграл в карты и пригласил Jakobsona в частное полулегальное кафе в Камергерском переулке. За соседним столиком сидел Яков Блюмкин, который летом 1918 года убил немецкого посла фон Мирбаха, но уже вышел из тюрьмы. Блюмкин был левым эсером, чекистом и настоящим революционным романтиком, его часто видели размахивающим револьвером — так, он угрожал, в частности, Осипу Мандельштаму, осуждавшему его за работу в ЧК. При этом Блюмкин был образован, изучал древнеиранские языки и в тот вечер обсуждал с Jakobsonом эпос “Авеста”, святые

писания иранских народов. Но вскоре, как вспоминает Якобсон, разговор принял другой оборот, “и Володя предлагал Блюмкину вместе устроить вечер и выступить против Горького. Вдруг вошли чекисты проверять бумаги. Подошли к Блюмкину, а он отказался показать документы. Когда начали на него насаждать, он сказал: “Оставьте меня, а то буду стрелять!” — “Как стрелять?” — “Ну, вот как Мирбаха стрелял”. Когда они отказались отпустить его, он пригрозил чекисту, стоявшему у двери, и вышел из кафе. По словам Якобсона, Маяковский в тот раз “очень зло острил по поводу Горького”.



**1. ТОВАРИЩИ! ПОЧЕМУ В ЕВРОПЕ
ДО СИХ ПОР НЕТ СОВЕТОВ,
А БУРЖУИ У ВЛАСТИ?**



**2. ПОТОМУ, ЧТО ТАМ ПРИМАЗАЛИСЬ
К РАБОЧИМ МЕНЬШЕВИКИ-
РЕФОРМИСТЫ**



**3. ТРИ КОРОБА НАОБЕЩАЕТ ТАКОЙ РАБОЧЕМУ
А ГЛЯДИШЬ НА ДЕЛЕ - БУРЖУЮ
ДРУГ ИСТЫЙ**



**4. ЗАПОМНИТЕ ЭТО ТОВАРИЩИ!
ЕДИНСТВЕННАЯ ВАША
РАБОЧАЯ ПАРТИЯ -
- КОММУНИСТЫ!**

**Бесшабашная демагогия большевизма
возбуждает темные инстинкты масс.**

■ Максим Горький, апрель 1918 г.

В период расцвета основанного Маяковским, Бурлюком и Каменским анархистского “кафе-футуризма” было создано государственное учреждение, которое в корне изменит правила игры для русского авангарда, — ИЗО (Отдел изобразительных искусств) Наркомпроса. Инициатива была прямым следствием враждебной реакции деятелей культуры на призыв большевиков в ноябре 1917 года. В ответ Луначарский в условиях строгой секретности учредил лояльный по отношению к новой политической власти орган, главной задачей которого являлось реформирование художественного образования.

Возникший в Петрограде в январе 1918 года ИЗО поначалу насчитывал семь членов, среди которых были такие известные художники, как Натан Альтман и Давид Штеренберг. Показательно, что на данный момент только семь человек захотели, или рискнули, сотрудничать с большевиками; но любопытно и то, что на эту “семерку” — так их называли в печати — нападали и консервативно и радикально настроенные коллеги, обвиняя в “предательстве” искусства. Тем не менее появление ИЗО возымело два важных последствия: во-первых, созданный после Февральской революции демократический Союз деятелей культуры в одночасье лишился влияния, во-вторых, была упразднена Академия художеств.

■ Типичное “окно” РОСТА. Ноябрь 1920 г.

■ КРАСНЫЙ ТЕРРОР

“Хмеля революции все меньше, — написал критик Евгений Лундберг в июне 1918 года, — строгости — так много, что, кажется, стареешь от недели к неделе”. Это было на редкость точное наблюдение. Летом 1918-го произошел ряд событий, приведших к серьезным внутривластным изменениям. Вспыхнула Гражданская война, началась иностранная интервенция; в июне из рабочих советов вывели всех правых и центристских эсеров, так же как и меньшевиков, — следовательно, помимо большевиков, осталась только одна легальная партия, левые эсеры; после попытки свергнуть большевистское правительство во время V съезда Советов в начале июля были исключены и они; в течение лета почти все небольшевистские издания оказались под запретом, царскую семью убили, были убиты большевистские лидеры Володарский и Урицкий, а 30 августа эсерка Фанни Каплан совершила покушение на Ленина; как следствие этих событий в начале сентября ЧК обнародовала декрет о красном терроре.

Таким образом, осенью 1918 года большевики получили монополию на власть, а населению пришлось сделать окончательный выбор: за или против. Весной еще существовала более или менее свободная межпартийная миграция, но теперь это ушло в прошлое. Осталось только два лагеря — красные и белые. Кроме того, большевики сейчас крайне нуждались в поддержке, им нужно было вести политику, которая была бы более привлекательной для других социалистов; они также понимали, что невозможно провоцировать интеллигенцию, как прежде.

Политически это означало более толерантное отношение к другим социалистическим партиям. Меньшевики в ответ признали Октябрьскую революцию как историческую необходимость и выразили поддержку вооруженным силам советского правительства в борьбе с иностранной интервенцией. Большевики в свою очередь позволили меньшевикам возобновить политическую деятельность и выпустили из тюрем некоторых политзаключенных. Вскоре примеру меньшевиков последовали эсеры. Таким образом, на некоторое время было установлено перемирие, хотя все знали, кто определяет правила игры.

В связи с политической консолидацией осенью 1918 года большевики призвали творческую интеллигенцию сделать выбор, и немалое число прежних скептиков и критиков сдали позиции. Это отнюдь не означало, что все стали большевиками, но большевизм представлялся многим более приемлемым, чем то, что предлагала “белая” сторона.

Особенно интересна реакция Максима Горького, до этого выступавшего в “Новой жизни” с непримиримой критикой политики большевиков в статьях под общим названием “Несвоевременные мысли”. В апреле 1918 года он даже отказался от участия в дискуссии с Григорием Зиновьевым, председателем Петроградского совета, аргументируя, что “рабочих развращают рабочие, подобные Зиновьеву”, что “бесшабашная демагогия большевизма возбужда[ет] темные инстинкты масс” и что “советская политика — предательская политика по отношению к рабочему классу”.

Но в сентябре Горький изменил свою позицию, объяснив, что “террористические акты против вождей Советской Республики побуждают [его] окончательно вступить на путь тесного с ней сотрудничества”. Еще через месяц он председательствовал на митинге, на котором представители большевиков призывали творческую интеллигенцию оказать поддержку режиму. Одним из ораторов был не кто иной, как Зиновьев, описавший политическую ситуацию следующим образом:

Тем, кто желает работать вместе с нами, мы открываем дорогу. <...> Но в такое время, какое мы сейчас переживаем, нейтральность невозможна. <...> Если кто-нибудь из представителей интеллигенции думает, что можно быть нейтральным, он глубоко ошибается. <...> Школа не может быть нейтральной, искусство не может быть нейтральным, литература не может быть нейтральной. <...> Товарищи, выбора нет. <...> И я бы советовал вам, вместо того, чтобы спастись под дырявым зонтиком нейтральности, идти под родную Российскую кровлю, идти к рабочему классу.

Так же, как политические лидеры обращались к социалистическим партиям, ИЗО теперь обратился к “рабочим и художникам”,

приветствуя тех, кто через год после революции был готов “служить социалистическому отечеству”. Однако призыв касался только тех художников, которые “ломают и разрушают старые формы, чтобы создать новое”. Иными словами, эстетический курс был задан: реалисты и представители других традиционных школ могли не беспокоиться!

На призыв откликнулись многие, и в течение осени членами московской и петроградской коллегий стали такие выдающиеся художники, как Казимир Малевич, Павел Кузнецов, Илья Машков, Роберт Фальк, Алексей Моргунов, Ольга Розанова, Василий Кандинский и другие. ИЗО стал бастионом художников-авангардистов — или “футуристов”, как их часто называли. К этому времени термин “футуризм” приобрел более широкое значение, чем до революции и особенно до войны, когда название использовали главным образом кубо-футуристы и другие группы, сами провозгласившие себя футуристами. Начиная с осени 1918 года “авангард”, “левое искусство” и “футуризм” стали более или менее синонимичными понятиями.

И Маяковский и Осип придерживались социалистических взглядов, но их позиция была ближе к меньшевизму и Горькому, нежели к коммунизму. Тем не менее осенью 1918 года они тоже вступили в ИЗО. Это означало не только новую политическую ориентацию, но и нарушение принципа свободы искусства от государства — одного из главных пунктов футуристических манифестов, напечатанных в “Газете футуристов” в марте того же года.

Одним из первых вопросов, обсуждавшихся на петроградской коллегии ИЗО, была необходимость создания органа, где можно будет пропагандировать свои идеи. В декабре 1918 года вышел первый номер еженедельной газеты “Искусство коммуны”. В январе 1919-го его дополнило московское издание подобного типа под названием “Искусство”. Редакторами “Искусства коммуны” были Брик, Натан Альтман и историк искусства Николай Пунин, среди сотрудников числились Малевич, Шагал и Шкловский. Стихи Маяковского публиковались в виде передовиц.

Важнейшим пунктом программы коллегии была борьба против влияния культурного наследия на искусство и культуру



■ Анатолий Луначарский. Рисунок Юрия Анненкова.

нового общества. Все, что воспринималось как устаревшая эстетика, подвергалось жестоким атакам. “Новым” или “молодым” искусством, пришедшим на смену старому, был, разумеется, футуризм, представлявший собой наиболее передовую эстетику и единственную форму искусства, достойную пролетариата —

исторически наиболее передового класса. Таким образом, футуризм отождествлялся с пролетарской культурой. Эти позитивно окрашенные термины не уточнялись, а использовались по большей части как лозунги. Все “новаторское” объявлялось футуристическим и, следовательно, пролетарским. Как и война, революция представляла собой реальность, которую нельзя описать традиционными средствами, и теории футуристов прямо отсылали к эстетическим идеям, изложенным Маяковским в статьях 1914 года (см. главу “Облако в штанах”).

В эстетике футуристов присутствовал еще один важный компонент. Они ратовали за профессионализм, талант и качество и критиковали тенденцию оценивать положительно любое выражение “пролетарского искусства”, если только автор придерживался правильной пролетарской идеологии и/или происходил из соответствующей классовой среды. Для футуристов, которые всегда подчеркивали значение формы, подобный подход был неприемлемым. Так, например, Маяковский объявил, что “отношение поэта к своему материалу должно быть таким же добросовестным, как отношение слесаря к стали”, — а этот принцип шел вразрез с любительским отношением к вопросам формы, характерным, как правило, для большинства пролетарских писателей.

За несколько месяцев ИЗО стал серьезным фактором власти в области культуры. Отдел отвечал за художественное образование на территории всей Советской Республики и за покупку новых произведений искусства для музеев; члены ИЗО могли пропагандировать собственные идеи в изданиях, которые финансировались Комиссариатом народного просвещения. Несмотря на это, футуристы были недовольны темпами развития. С весны 1918 года действительно изменилось немного, и поэтому в декабре, одновременно с выходом первых номеров “Искусства коммуны”, Маяковский, Брик и другие члены ИЗО устроили серию лекций и поэтических вечеров в рабочих районах Петрограда. Они нуждались в социальной базе; им нужно было доказать критикам — и рабочим! — что они так же близки к пролетариату, как сами утверждали.

Результатом таких контактов с рабочими стало создание в январе 1919 года коммунистически-футуристического коллек-

тива (Комфут), в состав которого вошли два члена ИЗО — Брик и поэт Борис Кушнер — и несколько рабочих. Маяковский с энтузиазмом поддерживал Комфут, но не мог принимать официальное участие в его деятельности, так как не был членом партии — в отличие от Осипа, по-видимому вступившего в ее ряды, когда он начал работать в ИЗО. Комфуты утверждали: культурная политика большевиков революционной не является, культурная революция отстает от политических и экономических преобразований и назрела необходимость в “новой коммунистической культурной идеологии” — что, по сути, было лишь новой формулировкой призыва к Революции Духа.

Комфут задумывался как коллектив при одной из петроградских партийных ячеек, но в регистрации им отказали, сославшись на то, что подобное объединение может “создать нежелательный прецедент в будущем”. Отказ был подтверждением растущей враждебности к футуристам в партийных и правительственных кругах. Критика в их адрес началась после того, как в годовщину Октябрьской революции художникам-авангардистам предоставили возможность украсить несколько петроградских улиц кубистическими формами. Для противников эти декорации явились типичным примером “непонятности” футуристов. Кроме того, их критиковали за “засилье” в ИЗО — с целью добиться признания футуризма в качестве “государственного искусства”.

В начале 1919 года атаки участились и стали более ожесточенными. Так, например, было принято решение “ни в коем случае” не поручать им изготовление декораций для празднования 1 Мая в 1919 году. Последний гвоздь в гроб футуризма забил сам Ленин, заявивший, что “сплошь и рядом самое нелепейшее кривляние выдавалось за нечто новое, и под видом чисто пролетарского искусства и пролетарской культуры преподносилось нечто сверхъестественное и несуразное”. В результате футуристы лишились своих газет и утратили почти все влияние в Наркомпросе: в декабре Луначарский с удовольствием констатировал, что интеллигенция сделала свой выбор и что теперь возможна “уравновешенная” коллегия ИЗО. Завершился короткий период в истории русского авангарда, когда он являлся государственной культурной идеологией.

■ СОБАЧЬЯ КОШАЧЬЯ СЕМЬЯ

Зимой 1918–1919 годов немецкие войска вплотную приблизились к Петрограду, и в марте правительство из соображений безопасности переехало в Москву, которая после 106-летнего прерыва снова стала столицей. В начале марта 1919 года Маяковский и Брики тоже перебрались в Москву, поскольку культурно-политические баталии теперь шли там.

Первое время они жили в Полуэктовом переулке в одной квартире с художником Давидом Штеренбергом и его женой. Не считая лета в Левашове, Маяковский теперь впервые съехался с Бриками. В квартире было много комнат, но, чтобы сохранить тепло, они теснились в самой маленькой, где стояли две кровати и раскладушка. “Закрыли стены и пол коврами, чтобы ниоткуда не дуло, — вспоминала Лили. — В углу печь и камин. Печь топили редко, а камин — и утром и вечером — старыми газетами, сломанными ящиками, чем попало”. Время было голодное, и однажды положение стало настолько тяжелым, что Лили пришлось поменять жемчужное ожерелье на мешок картошки.

Вместе с ними в этой квартире жил сеттер Щеник, которого Маяковский нашел в поселке Пушкино под Москвой, где они провели лето 1919 года. Еще весной 1918-го Лили в одном из писем называла Маяковского своим “Щенком”, но теперь он стал отождествляться с конкретной собакой. “Они были очень похожи друг на друга, — вспоминала Лили. — Оба — большелопатые, большеголовые. Оба носились, задрал хвост. Оба скулили жалобно, когда просили о чем-нибудь, и не отставали до тех пор, пока не добьются своего. Иногда лаяли на первого встречного просто так, для красного словца. Мы стали звать Владимира Владимировича Щенком”.

С тех пор Маяковский начал подписывать письма и телеграммы этим прозвищем, часто рисуя себя в виде щенка. “В нашей совместной жизни постоянной темой разговора были животные, — признавалась Лили. — Когда я приходила откуда-нибудь домой, Володя всегда спрашивал, не видела ли я “каких-нибудь интересных собак и кошек”. Щен был первой из нескольких собак “семьи”, которая окружила себя животной символикой. Маяковский был щенком, Лили — кошечкой, кисой, а Осип —



■
Лили, Лев Гринкруг и сеттер Щеник
у дома в Полуэктовом переулке,
1920 г.

котом. Как и Маяковский, Лили и Осип подписывались рисунками, а позднее Лили даже закажет специальную “кошачью печать”.

Дачу в Пушкине снимали вместе с Романом Якобсоном, и тот вспоминал, как они проводили время в спорах о литературе. В это время Якобсон занимался рифмами Маяковского, который в свою очередь очень интересовался вопросами структуры стиха. Обсуждения были настолько бурными, что Лев Гринкруг однажды не удержался от ироничного комментария: “Все мы увлекаемся Маяковским, но для чего его рифмы выписывать?” Осипа тогда занимали

социологические аспекты искусства и вопросы, касающиеся производства и потребления, предложения и спроса. Когда они не говорили об искусстве и литературе, то играли в крокет или загорали. Атмосфера была расслабленной, и Лили часто ходила полуодетой — однажды, обнаружив возле забора разглядывавшего ее мужчину, она крикнула: “Что, голую бабу не видали?”

Животная символика намекала на сердечность отношений между Лили и Маяковским, однако не отражала ситуацию во всей полноте. Маяковский по-прежнему ревновал и постоянно чувствовал себя обиженным и оскорбленным — ссоры вспыхивали так часто, что была даже заведена “Желтая книга боевых действий между Лилей и Володей”: маленький блокнот на шнурке, карандаш, которым Лили сочиняла мирные договоры, и ластик, чтобы Маяковский смог стереть обиды, ею причиненные. Летом 1919 года конфликты возникали то и дело — и Лили не хотела больше оста-

ваться под одной крышей с Маяковским. Якобсон сообщал Эльзе в Париж: “Лиле Володя давно надоел, он превратился в такого истового мещанского мужа, который жену кормит — откармливает. Разумеется, было не по Лиле”. В итоге осенью 1919 года Маяковский съехал с квартиры в Полуэктовом переулке, а через несколько месяцев, зимой 1920-го, они расстались.

Найти жилье Маяковскому помог Роман, чей сосед, благодушный буржуа Юлий Бальшин, опасался, что его квартиру “уплотнят” незнакомыми людьми. Он спросил Романа, не знает ли тот какого-нибудь смирного человека, который мог бы у него жить, и Роман порекомендовал Маяковского, на всякий случай не сообщив, что он поэт.

Таким образом, эксперимент совместного проживания с Лили быстро провалился. Почему? Действительно ли Маяковский превратился в “мещанского мужа”, как утверждал Якобсон? Возможно, в этом есть доля правды. Маяковский годами боролся за любовь Лили, и когда его в конце концов приняли, он словно обрел семью — впервые в жизни. Может быть, оберегая свое новое счастье, он действительно стал вести себя так, что Лили воспринимала его как “мещанского мужа”? “Он невероятно боялся Лили, — вспоминал Якобсон. — Она могла ему выговор сделать, и он был кончен”.

Однако, вероятнее всего, Лили просто устала от его ревности — чувства, которое она глубоко презирала. До того как они съехались, она могла удовлетворять свои романтические потребности, скрывая лишние подробности от Маяковского, теперь же они всегда были рядом, и он знал о ней все. Когда много лет спустя Лили спросили, знал ли Маяковский о ее романах, она ответила: “Всегда”. На вопрос, как он реагировал, последовал ответ: “Молчал”. Чтобы совладать со своими чувствами, Маяковский их вытеснял.

Если он не молчал, то реагировал порой с показным цинизмом — как в случае, когда летом 1919 года Осип завел речь об Антонине Гумилиной, художнице, с которой Маяковский встречался до знакомства с Лили. По словам Якобсона, Гумилина была одним из прообразов Марии в поэме “Облако в штанах”, а в ее картинах раскрывалась одна-единственная тема: она и Маяков-

ский. Вернувшись как-то домой, Осип рассказал, что только что видел серию эротических эскизов, изображавших Маяковского и Гумилину. Эскизы показал ему муж Гумилиной, художник Эдуард Шиман. Ее картины не сохранились, но Jakobson, побывавший на выставке художницы, вспоминал одну из них: утро, комната, она сидит на кровати, поправляя волосы, Маяковский стоит у окна в рубашке и брюках, у него дьявольские копыта... Эльза описывала другую картину — “Тайную вечерю”, на которой Маяковский сидит за столом на месте Христа. Гумилина сочиняла и лирическую прозу, в частности написала произведение под названием “Двое в одном сердце” — о ней и Маяковском, но оно также не сохранилось.

На вопрос Лили о судьбе Гумилиной Осип ответил, что та покончила с собой. “Ну, как от такого мужа не броситься в окно”, — прокомментировал Маяковский с наигранным равнодушием. Для Маяковского — вечного кандидата в самоубийцы — тема разговора была особенно болезненной, в частности потому, что были основания полагать, что Гумилина наложила на себя руки из-за любви к нему. “Ее жизнь принадлежала Володе, — заключила Эльза, — какова бы ни была причина <...> ее самоубийства”.

■ ТАЙНЫЕ РОМАНЫ

Как бы Маяковский ни хотел, он не мог разделять взгляды Лили на любовь и верность — и тем более не мог им следовать. Хотя у него самого случалось множество романов, он был по натуре стыдливым человеком и гордился тем, что никогда не написал ничего непристойного. Jakobson рассказывал автору этих строк о том, как в 1919 году он в компании Лили, Осипа и Маяковского посещал выставку эротической гравюры. Маяковскому было неловко, он смущался, в то время как Лили и Осип комментировали гравюры со светской легкостью, а одну, на которой изображался “молодой Пушкин” в разных эротических ситуациях, купили и подарили Роману. Под надписью “Ромику” на обратной стороне гравюры, преодолевая свое смущение, подписался и Маяковский.

Помимо трудностей, которыми чревата любая супружеская жизнь, в случае Лили имелось одно осложнение более глубокого рода. Оно касалось сексуальной несовместимости между Лили и двумя мужчинами, с которыми она жила: Осип не испытывал к ней физического влечения, у Маяковского это влечение было, но он, по-видимому, страдал некоей формой сексуальной слабости. По словам Лили, он был просто “мукой в постели”^{*}. Учитывая его многочисленные любовные связи, речь вряд ли шла об импотенции. И хотя Эльза тоже жаловалась, что он ей “не нравился в постели”, потому что “не был достаточно похабен” (“il n’était pas assez indecent”), похоже, это проявлялось главным образом в отношениях с Лили. Согласно Виктору Шкловскому, Маяковский страдал преждевременным семяизвержением;^{**} на то же намекает и запись в дневнике Лили (впоследствии уничтоженном) о том, что его сексуальные проблемы, “возможно, <...> от большого чувства ко мне”.

Лили испытывала потребность менять мужчин, и сложности в отношениях с Маяковским вряд ли улучшили ситуацию. Она искала новые контакты. По воспоминаниям Яковсона, одно время в 1919 году Лили была “так против Володи, что не могла слышать про искусство, говорить без “зверской” злобы о художниках, поэтах, фантазировала о “людях дела”. Ее “новым стилем” стали не нарушавшие порядок “romans discrets”.

Одним из таких “тайных увлечений” стал Николай Пунин, искусствовед, директор Русского музея, коллега Осипа и Маяковского по ИЗО и один из главных пропагандистов авангарда. Пунин был женат, но брак находился на грани распада. Какие-то отношения между ним и Лили существовали еще в Петрограде, но, судя по его дневнику, они стали серьезными только весной 1920 года. Недолгая встреча, состоявшаяся 20 мая, породила следующее длинное размышление в дневнике Пунина:

* Слова Лили о том, что Маяковский был “мукой в постели”, были переданы мне близкой ее подругой.

** Информация о сексуальных проблемах Маяковского была мне доверена в 1982 г. Н. Берберовой, в свою очередь услышавшей о них от В. Шкловского в Берлине в 1922 г.

Зрачки ее переходят в ресницы и темнеют от волнения; у нее торжественные глаза; есть наглость и сладкое в ее лице с накрашенными губами и темными веками, она молчит и никогда не кончает... Муж оставил на ней сухую самоуверенность, Маяковский — забитость, но эта “самая обаятельная женщина” много знает о человеческой любви и любви чувственной. Ее спасает способность любить, сила любви, определенность требований. Не представляю себе женщины, которой я мог бы обладать с большей полнотой. Физически она создана для меня, но она разговаривает об искусстве — я не мог...

Наша короткая встреча оставила на мне сладкую, крепкую и спокойную грусть, как если бы я подарил любимую вещь за то, чтобы сохранить нелюбимую жизнь. Не сожалею, не плачу, но Лиля Б. осталась живым куском в моей жизни, и мне долго будет памятен ее взгляд и ценно ее мнение обо мне. Если бы мы встретились лет десять назад — это был бы напряженный, долгий и тяжелый роман, но как будто полюбить я уже не могу так нежно, так до конца, так человечески, по-родному, как люблю жену.

Когда через две недели они снова встретились, Лили рассказала о чувствах, которые охватили ее после предыдущего свидания, и Пунин записал: “... когда так любит женщина, беспомощная и прижавшаяся к жизни — тяжело и страшно. Но когда Лиля Б., которая много знает о любви, крепкая и вымеренная, балованная, гордая и выдержанная, так любит — хорошо”. Их влекло друг к другу по разным причинам, и поэтому они по-разному воспринимали характер этой связи. Лили хотелось говорить об искусстве, в то время как Пунин испытывал к ней примитивный мужской интерес: “Я сказал ей, что для меня она интересна только физически и что, если она согласна так понимать меня, будем видеться, другого я не хочу и не могу; если же не согласна, прошу ее сделать так, чтобы не видеться. “Не будем видеться”, — она попрощалась и повесила трубку”.

Отношения прервал Пунин, а не Лили. К такому она не привыкла и реагировала истерически. Записи Пунина свидетельствуют о том, что в отношениях с мужчинами секс не был для Лили главным.



■
Николай Пунин. Фото 1920 г.

По-настоящему ее интересовало подтверждение собственной привлекательности и власть над мужчинами, и в этом плане сексуальность можно считать всего лишь одним орудием из многих. Лили была начитанной, остроумной, вызывающей и вдохновляющей, но ее образование осталось фрагментарным и несистематическим. Вследствие некоторого комплекса интеллектуальной неполноценности ее влекло к мужчинам, которые были интеллектуально выше, чем она, и откровенное признание Пунина в том, что тело Лили волнует его больше, чем ее мысли, нанесло мощный удар по ее самолюбию. Слова о том, что они больше не будут видаться, не

отражали истинные чувства Лили, и она продолжала бороться за его любовь. “Л.Б. говорила о своем еще живом чувстве, о том, как много “ревела” из-за меня, — пишет Пунин в дневнике в марте 1923 года. — Главное, — говорила она, — совсем не знала, как с вами быть; если активнее, — вы сжимаетесь и уходите, а когда я становлюсь пассивной, вы тоже никак не реагируете”. Но она одного не знает, что я разлюбился, что вообще ничего не могло быть без влюбленности, какая бы она, Лили, ни была; <...> Л.Б. думает, что не равнодушен, что я не как камень сейчас по отношению к ней. Она гладила мою руку и хотела, чтобы я ее поцеловал, я ее не поцеловал, помня Ан.”. “Ан.” — Анна Ахматова, с которой Пунин вступил в связь предыдущей осенью и с которой проживет до 1938 года.

■ ПРАЖСКИЙ РОМАН

Несмотря на территориальные перемещения, имевшие место осенью 1919 года, Маяковский продолжал навещать Лили и Осипа

ежедневно, так же как в Петрограде. Однако отчаянные попытки Лили продолжить роман с Пуниным свидетельствуют о том, что изменились не только условия проживания. А в начале 1920 года произошло нечто, заставившее Лили задуматься над тем, чтобы навсегда покинуть Советскую Россию. Поскольку страна оказалась в блокаде, Лили рассматривала возможность фиктивного брака с Романом Якобсоном, который в мае 1920 года уезжал в Прагу.

Получив университетский диплом в 1918 году, Якобсон остался при университете для подготовки к профессорскому званию. Это, в частности, освобождало его от воинской повинности, которая в условиях Гражданской войны грозила отправкой на фронт. Но так как зимой 1919 года он заболел сыпным тифом, эпидемия которого тогда свирепствовала в России, он не успел своевременно подать документы, и его могли объявить дезертиром. В течение короткого периода он служил в экономико-информационном отделе Главтопа (Главного топливного комитета), после чего его спас ректор университета, устроивший все нужные бумаги.

Вместо отправки на фронт Роману неожиданно предложили работу в отделе печати первой дипломатической миссии Советской Республики в Ревеле (Таллин), которая должна была открыться зимой 1920 года. На вопрос, почему предложение сделали именно ему, сотрудник Наркомата иностранных дел ответил, что желающих на это место не нашлось, поскольку есть риск, что белогвардейцы взорвут поезд после пересечения границы. “Мы долго ехали, — вспоминает Якобсон. — Большую часть дороги <...> пришлось ехать в санях, потому что дороги были разрушены Гражданской войной. С нами ехал весь состав представительства, машинистки и другие”. Вместо бомб на границе в Нарве делегацию ожидал военный министр Эстонии и бутерброды с колбасой и ветчиной... “Верхи держались, но девчонки набросились, как будто они вообще не ели в течение двух лет — как бы их ни остерегали, чтобы они себя вели прилично”.

Проведя несколько месяцев в Ревеле, Роман вернулся в Москву, где один польский ученый предложил ему поехать в Прагу с миссией Красного Креста. Целью была репатриация

русских военнопленных и попытка наладить дипломатические отношения с Чехословакией. Поскольку в план подготовки входил чешский язык, Якобсон условился с руководителем делегации, доктором Гиллерсоном, что, если позволит служба, тот разрешит ему учиться в Карловом университете. В конце мая Якобсон вернулся в Ревель, где ждал миссию Красного Креста, а 10 июля 1920 года он прибыл в Прагу.

Именно в связи с пражской поездкой Лили и предложила Роману вступить с ней в фиктивный брак, что позволило бы ей уехать из Советской России. “Случайно не получилось”, — сообщал он Эльзе в Париж. Роман покинул Москву в мае 1920 года, однако есть свидетельства, что желание эмигрировать возникло у Лили еще раньше. В октябре 1919 года, то есть в период, когда они с Маяковским разъехались, Борис Пастернак написал Лили следующее посвящение на рукописи сборника “Сестра моя — жизнь”:

Пусть ритм безделицы октябрьской
Послужит ритмом
Полета из головоотяпской
В страну, где Уитман.
И в час, как здесь заблещут каски
Цветногвардейцев,
Желаю Вам зарей чикагской
Зардеться.

Мысль об эмиграции, таким образом, не была капризом, спровоцированным отъездом Романа; Лили помышляла об этом уже по крайней мере месяцев семь-восемь, с осени 1919 года. Из посвящения Пастернака понятно, что она стремилась в страну Уитмена, а не в Западную Европу, где жили мать и сестра. Почему в Соединенные Штаты, где, насколько известно, у нее не было ни родственников, ни связей? И говорила она на немецком и французском. На этот вопрос ответа нет.

И почему она вообще хотела эмигрировать, бросив Осипа и Маяковского? Серьезной причиной были, разумеется, сложные отношения с Маяковским. Как поэта она его боготворила,

но как мужчина и муж он был далек от ее идеала. Вдохновения, столь необходимого Лили для ощущения полноты жизни, она в своем ближайшем окружении больше не находила. Личные разочарования, несомненно, усугубляла общая неудовлетворенность положением в стране, особенно на культурно-политическом фронте. В течение года, с зимы 1918-го и до зимы 1919-го, футуристы — а значит, и Лили — находились в эпицентре культурной политики и занимали важные позиции. Осенью 1919 года всему этому пришел конец. К тому же Гражданская война не утихала, а продовольственная ситуация была катастрофической. Недостаток комфорта тоже мог подтолкнуть к отъезду женщину, которая, подобно Лили, привыкла к определенному уровню жизни.

А может, было что-то другое, заставившее ее сделать вывод, что лучше уехать? Всю жизнь Лили хранила тайну, и в эту тайну был посвящен только один человек — Роман Jakobson, ставший однажды, “совершенно случайно”, свидетелем эпизода, который — будь он известен — “сильно изменил бы ее биографию”. Он так и не раскрыл тайны, а на вопрос, как бы она изменила биографию Лили, ответил: “Как изменения изменяют”^{*}. Сыграл ли эпизод, случившийся при Jakobсоне, какую-либо роль в планах Лили эмигрировать?

Какими бы соображениями ни объяснялось желание Лили покинуть Россию, сходные мысли возникали не у нее одной. Эльза и мать уже уехали за границу, так же как родители Jakobсона и другие знакомые, — и в ближайшие годы так поступит еще множество людей. Гражданская война, политическая нестабильность, экономический хаос — никто не представлял, каким будет будущее. Почему бы не переждать этот период за границей — не обязательно эмигрируя навсегда — и не возвратиться на родину, если события примут нужный оборот. Подобной акробатикой выживания в те годы занимались многие.

^{*} Об этом эпизоде, который изменил бы биграфию Л.Ю. Брик, рассказывал мне Р.О. Jakobсон во время своего посещения Швеции в 1977 г. Подробнее см. в моей статье “Три заметки о В.В. Маяковском и Л.Ю. Брик” (Lazar Fleishman/Hugh Maclean (ed.), *A Century’s Perspective. Essays om Russian Literature...* Stanford, 2006).

■ ТЕМНЫЕ СИЛЫ...

Лили не эмигрировала. Спустя всего неделю после отъезда Якобсона в жизни Бриков и Маяковского произошла перемена, значение которой трудно преувеличить. 8 июня 1920 года Брик поступил на работу следователем в “спекулятивный” отдел МЧК.

После стольких лет интенсивного увлечения новой литературой и теорией стихосложения Осип неожиданно становится сотрудником ЧК. Как это произошло? На такие должности не набирали людей по объявлению. Местом, куда можно устроиться по собственной инициативе, Лубянка тоже не была: подобные энтузиасты автоматически получали отказ. Значит, кто-то Осипа завербовал. Кто и как — неизвестно, но факт налицо: весной 1920 года Осип считался достаточно благонадежным для того, чтобы поручить ему работу в органах безопасности. Он занял должность “уполномоченного 7-го отделения секретного отдела”, в обязанности которого, судя по всему, входило, между прочим, наблюдение за бывшими “буржуями” — а о них у большевиков, с их социальным опытом, знания были весьма поверхностные. В чем бы ни заключалась работа Осипа, но, по словам Пастернака, часто навещавшего Бриков в эти годы, было “страшно” слышать, как Лили говорит: “Подождите, скоро будем ужинать, как только Ося [придет] из Чека”. В скором времени кто-то — по некоторым догадкам Сергей Есенин — сочинил эпиграмму, появившуюся на их входной двери: “Вы думаете, здесь живет Брик, исследователь языка? / Здесь живет шпик и следователь Чека”.

За короткое время жизнь Осипа — а заодно Маяковского и Лили — изменилась в корне — ни о какой эмиграции уже не могло быть и речи. Теперь Осип был не просто членом все более могущественной партии, но и солдатом армии, главная задача которой состояла в защите государства и партии от врагов — реальных и столь же часто вымышленных. Был сделан бесповоротный шаг — отныне жить предстояло исключительно в первом пролетарском государстве мира.

■ ...И СВЕТЛЫЕ

Неизвестно, новые ли жизненные условия стали причиной упрочения отношений между Маяковским и Лили, но таковое про-

изошло. С весны 1919 года Маяковский работал над крупным революционным эпосом, поэмой “150 000 000”, которую завершил в марте 1920-го. Позднее, в апреле, он написал стихотворение к пятидесятилетию Ленина, а летом 1920 года — его снова провели в Пушкине — стихотворчество обрело лирическое направление, свидетельствующее о новой гармоничной фазе его жизни. Он пишет несколько небольших стихотворений о любви и природе, стилистически отсылающих к его дореволюционной поэзии; главным же произведением этого периода является “Необычайное происшествие, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче”.

Стихотворение построено в форме разговора с солнцем, которое поэт приглашает на чай в Пушкино. Извечный бег светила его раздражает, напоминая о собственном ежедневном труде: с осени 1919 года Маяковский сочинял тексты и рисунки к сотням плакатов для телеграфного агентства РОСТА, и эта поденщина его “заела”. Переходя на “ты”, поэт и солнце делают вывод, что они выполняют одну и ту же работу — поют “у мира в сером хламе”.

Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и солнца!

“Необычайное приключение” было первым за два года произведением, написанным не на злобу дня. Выражая веру в поэзию и собственные возможности Маяковского, оно явилось передышкой в поэтической гражданской службе, которой он посвящал себя со времен начала мировой войны.

Из Пушкина в сентябре 1920 года Брики переехали в Водопьяный переулок на углу Мясницкой улицы в центре Москвы. Большую квартиру, в которой жил адвокат Николай Гринберг с женой и двумя детьми, должны были “уплотнить”, и Лили,

Осип и Маяковский получили три из восьми комнат. Так как их принадлежность к пролетариату была весьма сомнительна, все произошло, по-видимому, так же, как в случае с комнатой Маяковского в Лубянском проезде: несмотря на правило, гласившее, что комнаты должны в первую очередь даваться представителям рабочего класса, владельцу квартиры иногда удавалось самому выбрать новых соседей. (Посредником здесь мог выступить тот же Якобсон, учившийся в университете вместе с сыном адвоката, своим тезкой Романом Гринбергом.) Отец Гринберг был эсером и одно время находился под стражей вместе с другими членами семьи.

Справа от длинного коридора располагалась самая просторная комната, бывшая столовая, почти всю площадь в ней занимали огромный стол с самоваром и десять стульев. Это была комната Лили. Здесь же стоял рояль и на нем телефон. За ширмой находилась кровать Лили, над ней висела большая табличка: “На кровать никому садиться нельзя”. Дверь из столовой вела в бывший будуар, где теперь разместился Осип. В этой комнате имелись диван, стол и книжные полки. “[В кабинете] старинная резная мебель, книги, — описывал навещавший их итальянский журналист. — Огромное количество книг. Они повсюду. Валяются кучами на полу. Стоят на стеллажах, некоторые — вверх ногами. <...> Обычно от библиотек веет холодом <...> здесь же по мебели, по стеллажам, по заваленным бумагами диванам, по пыльным стульям, по кубистическим картинам, висящим, точно связки луковиц, по стенам, пронесся разрушительный шквал. Бумажный вихрь революции”.

Третья комната, напротив столовой с другой стороны коридора, формально принадлежала Маяковскому. Там жила домработница Аннушка, единственная из семьи, кого можно было

■ Когда Маяковский в 1923 г. издал “Необычайное приключение...” отдельной книгой под названием “Солнце”, иллюстрации к ней выполнил Михаил Ларионов. Подарив много лет спустя один из подлинников Роману Якобсону, он объяснил в посвящении, что рисунок был сделан в 1912 г. и что на нем изображен Маяковский.

1. 1.



причислить к рабочему классу. В бывшей комнате для прислуги за кухней она держала поросенка, который осенью 1921 года выпал из окна и был съеден.

Квартира быстро превратилась в место, куда приходили спорить, играть в карты, пить чай, завтракать, обедать и ужинать. Сутки напролет здесь находились люди. “По сравнению с тем, что там делалось, публичный дом — прямо церковь, — сетовал Маяковский. — Туда хоть днем не ходят. А к нам — целый день; и все бесплатно”. Когда карточные страсти накалялись — а происходило это постоянно, — на двери появлялась табличка “Сегодня Брики не принимают”.

Маяковский оставил за собой комнату в Лубянском проезде, но ежедневно бывал у Бриков, иногда оставаясь на ночь. То, что отношения с Лили восстановились, явствует из дневника Корнея Чуковского, который осенью 1920 года пригласил Маяковского в Петроград выступить в Доме Искусств. Памятуя о роли Чуковского в истории с сифилисом, Маяковский относился к нему холодно и поначалу уклонялся от приглашения. Однако, узнав, что там есть бильярдная, не устоял. 5 декабря Чуковский записал в дневнике: “Прибыл он с женою Брика, Лили Юрьевной, которая держится с ним чудесно: дружески, весело и непутано. Видно, что связаны они крепко — и сколько уже лет: с 1915. Никогда я не мог подумать, что такой ч[елове]к, как Маяковский, мог столько лет остаться в браке с одной. Но теперь бросается в глаза именно то, что прежде никто не замечал: основательность, прочность, солидность всего, что он делает. Он — верный и надежный ч[елове]к: все его связи со старыми товарищами, с Пуниным, Шкловским и проч. остались добрыми и задушевными”.

В “задушевности” связей Маяковского с Пуниным можно по естественным причинам усомниться. Записи Чуковского вообще производят несколько странное впечатление. Неужели он был так наивен? Или Маяковский действительно вдруг стал столь гармоничным человеком? Другая запись, сделанная Чуковским через два дня, свидетельствует, что на самом деле все было немного сложнее. В ответ на слова Лили о том, что Маяковский теперь “обо всех говорит хорошо, всех хвалит, все ему нравится”, Чуковский сказал, что тоже это заметил и сделал вывод, что теперь

он “уверен в себе”. “Нет, напротив, — ответила Лили, — он каждую минуту сомневается в себе”.

Лили была права: Маяковский был так же неуверен в себе, как раньше, — и в своем творчестве, и в отношениях с ней или, точнее, в ее чувствах к нему. В других ситуациях он скрывал растерянность за внешней дерзостью и агрессивностью, в отношениях же с Лили она трансформировалась в нежность и почти рабскую зависимость. Виктор Шкловский рассказывал, как Лили однажды забыла в кафе сумку, и Маяковский за ней вернулся. “Теперь вы будете таскать эту сумочку всю жизнь”, — с иронией прокомментировала Лариса Рейснер. “Я, Лариса, эту сумочку могу в зубах носить, — ответил Маяковский. — В любви обиды нет”.

Гармония, которую осенью 1920 года Лили и Маяковский демонстрировали на публике, отражала новый этап в развитии их взаимоотношений. Именно к этому времени относится начало самого светлого и бесконфликтного периода их совместной жизни.

КОММУНАЛЬНЫЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМЫ

7.8 НОЯБРЯ %.

МЫ ПОЭТЫ, ХУДОЖНИКИ, РЕЖИССЕРЫ И АКТЕРЫ
ПРАЗДНУЕМ ДЕНЬ ГОДОВЩИНЫ

ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Революционным спектаклем.

нами будет дана:

I КАРТ

БЕЛЫЕ И
ЧЕРНЫЕ БЕ-
ГУТ ОТ КРАС-
НОГО ПОТОПА.

II КАРТ КОВЧЕГ.
ЧИСТЫЕ ПОДСО-
ВЫВАЮТ НЕЧИ-
СТЫМ ЦАРЯ И РЕС-
ПУБЛИКУ. САМИ
УВИДИТЕ ЧТО
ИЗ ЭТОГО ПОЛУ-
ЧАЕТСЯ.

III КАРТ АД
В КОТОРОМ
РАБОЧИЕ СА-
МОГО ВЕЛЬЗЕ-
ВУЛА К ЧЕРТЯМ
ПОСЛАЛИ

IV КАРТ

РАЙ. КРУП-
НЫЙ РАЗГО-
ВОР БАТРАКА
С МАФУСАИЛОМ

V КАРТИНА КОМ-
МУНА! СОЛНЕЧ-
НЫЙ ПРАЗД-
НИК ВЕЩЕЙ
И РАБОЧИХ

РАСКРАШЕНО
МАЛЕВИЧЕМ
ПОСТАВЛЕНО
МЕИЕРХОЛЬДОМ
И МАЯКОВСКИМ
РАЗЫГРАНО ВОЛЬ-
НЫМИ АКТЕРАМИ



„!МИСТЕРИЯ БУФФ!“

ГЕРОИЧЕСКОЕ, ЭПИЧЕСКОЕ И САТИРИЧЕСКОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ НАШЕЙ ЭПОХИ, СДЕЛАННОЕ

В. МАЯКОВСКИМ.

Билеты на 7-е и 8-е ноября в распоряжении ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО.

9-го ноября „МИСТЕРИЯ БУФФ“ открытый спектакль.
НАЧАЛО В 6 ЧАС ВЕЧЕРА.

Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока мы не излечимся от какого-то нового католицизма, который не меньше старого опасается всякого еретического слова. А если неизлечима эта болезнь — я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое.

■ Евгений Замятин. *Я боюсь*, 1921

Только после годичного выжидания, осенью 1918 года, Маяковский окончательно принял сторону большевиков. К первой годовщине Октябрьской революции Театр музыкальной драмы в Петербурге поставил его пьесу “Мистерия-буфф”. Режиссером был Всеволод Мейерхольд, декорации и костюмы сделал Казимир Малевич. Пьеса была написана по образцу средневековой мистерии с элементами фарса, буффонады. Сюжет прост. После Всемирного потопа в ковчеге остаются семь пар “чистых” и семь пар “нечистых”. “Чистые” — всякого рода “буржуи”, в их числе английский премьер-министр Ллойд Джордж и русский спекулянт, “нечистые” — пролетарии различных профессий. “Чистые” обманывают “нечистых”, и те бросают их за борт ковчега. В конце пролетарии оказываются на земле обетованной, где “обвитые радугами стоят поезда, трамваи и автомобили, а посередине сад звезд и лун, увенчанный сияющей кроной солнца”.

Маяковский сыграл роль “самого обыкновенного человека”: “Я в воде не тону, / не горю в огне — / бунта вечного дух непреклонный”. Он проповедует о “настоящих земных небесах”, где “сладкий труд не мозолит руки” и где “шесть раз в году росли

■ Афиша “Мистерии-буфф”, поставленной к первой годовщине Октябрьской революции 7 ноября 1918 г.

б ананасы”. Как часть творчества Маяковского “Мистерия-буфф” представляет определенный интерес, но не является крупным произведением. Ее концепция близка к наивным представлениям пролетарских поэтов, ведь для них не существовало лучшей метафоры Коммуны будущего, чем старый библейский рай. Примером авангардной эстетики, пылким приверженцем которой был Маяковский, это произведение назвать нельзя.

Во время постановки Маяковский столкнулся с активным противодействием со стороны как артистов, так и администрации театра, и пьеса прошла всего три раза. Каким бы традиционным действие ни было, критики утверждали, что оно непонятно ни им, ни “массам”.

Таким образом, попытка сблизиться с революцией, внося свой вклад в празднование ее первой годовщины, Маяковскому не удалась, следствием чего стала та борьба за эстетические идеалы футуризма, которую он и его коллеги вели в газете “Искусство коммуны” (см. предыдущую главу). По мере того как на протяжении 1919 года слабели позиции авангарда, Маяковский осознавал тщетность этой борьбы. Победили противники Революции Духа. По мнению Андрея Белого, надеявшегося, что свержение царского режима приведет к духовному возрождению, именно 1919 год принес “явное разочарование в близости революции Духа”. Для Маяковского 1919-й тоже стал годом разочарований: как он убедился, Революция Духа не просто далека, но и неутодна.

Что Маяковский мог сделать? Осенью 1919 года он начал работать в телеграфном агентстве РОСТА. Сочинял тексты и делал рисунки для агитационных плакатов, которые вывешивались в окнах агентства в центре Москвы. Некоторые из них тиражировались. Большинство плакатов служило идеологическим оружием в Гражданской войне, которая шла полным ходом. На два с лишним года плакаты стали основным делом Маяковского. В их создании активное участие принимала и Лили: он рисовал контуры, а она раскрашивала.

Служба в этом государственном учреждении обеспечила их деньгами и пропитанием. Работа, несомненно, имела идеологическую мотивировку, однако в голодной Москве материальные преимущества тоже играли существенную роль. Еще одной

важной причиной, побудившей Маяковского сотрудничать с РОСТА, наверняка было осознание им бесплодности борьбы за новое искусство в той форме, в какой она велась на страницах “Искусства коммуны”. Поэтому он решил заняться практической работой.

То, что его “заела Роста”, однако, не означало, что Маяковский отказался от своих идей. Футуризм был для него не просто поэтической школой, а отношением к жизни и искусству. Футуристы всегда боролись с консерватизмом и косностью. Борьба за новое против старого была составной частью жизни и творчества Маяковского. В одном из последних номеров “Искусства коммуны” Николай Пунин писал, что футуристы были близки с революцией, “именно с революцией, — подчеркивал он, — а не с существующим советским бытом”. Эти слова могли бы быть написаны Маяковским.

■ ХУЛИГАНСКИЙ КОММУНИЗМ

Маяковский колебался целый год, прежде чем решил безоговорочно поддержать большевистский режим. Однако энтузиазм не был взаимным: свои произведения он издавал с трудом, а сопротивление со стороны чиновников от культуры повергало его в отчаяние. Якобсон вспоминал, как Маяковский в перерыве между плакатами РОСТА нарисовал карикатуру: Красной армии удается взять крепость, защищенную тремя рядами солдат, в то время как Маяковский тщетно пытается пробиться к Луначарскому, которого охраняют три ряда секретарш.

В истории советской культуры 1921 год был поворотным. В этом году большевистская партия впервые показала, что стремится к полному контролю над культурной жизнью страны и не намерена допускать отступлений от реалистических норм. И именно в 1921 году Маяковскому стало ясно, что высшее партийное руководство относится к нему не просто отрицательно, а враждебно. Понимание этого во многом определило его дальнейшее поведение.

Одновременно с работой в РОСТА Маяковский писал поэму “150 000 000”, которая была опубликована без указания

имени автора и начиналась словами: “150 000 000 мастера этой поэмы имя”. Иными словами, автором эпоса выступало 150-миллионное население России; имя Маяковского не упоминалось нигде. Разумеется, это был риторический трюк — никто не сомневался в авторстве Маяковского, тем более что он часто читал поэму на публике.

Первый раз Маяковский читал ее дома у Лили и Осипа в Полуэктовом переулке. Присутствовали около двадцати человек, в том числе Луначарский, которого пригласили в надежде, что он поможет с публикацией. Выразив радость по поводу того, что Маяковский воспекает революцию, нарком тем не менее заявил, что не уверен, искренне ли это или только риторика. Маяковский подчеркивал, что революцию нельзя описать натуралистическими средствами, тут годится только эпос, и Осип возражал, что подобное разграничение в искусстве невозможно. По воспоминаниям Луначарского, Брик “думал, что это равно — спросить, из настоящего камня колонна, которая изображена на декорации, или нарисована масляными красками? Или искренен ли поэт, когда он пишет, или лжет, притворяется?”. Трудно найти более наглядную иллюстрацию разницы между эстетикой реализма и формалистическим подходом к произведению искусства как артефакту.

Неоднозначная реакция Луначарского повлияла на издательскую судьбу поэмы. В апреле 1920 года Маяковский передал рукопись в ЛИТО, литературный отдел Наркомпроса, цензурный орган, через который проходила вся литература, публиковавшаяся в недавно учрежденном Госиздате. Из ЛИТО рукопись послали в издательство с пометкой: печатать “в самом срочном порядке”, поскольку поэма имеет “исключительное агитационное значение”, однако сделали это лишь 31 августа, то есть с четырехмесячной задержкой. Далее дело снова замерло, и 20 октября Маяковский отправил в Госиздат письмо с жалобой на противодействие со стороны чиновников и просьбой вернуть рукопись, если ее не будут издавать. Рукопись не возвращали и не печатали, и Маяковскому пришлось еще раз письменно обращаться в издательство. Наконец 22 ноября ее сдали в набор. Потом снова наступает затишье, и в апреле 1921 года, через год после сдачи рукописи, Маяковский

направляет в Отдел печати ЦК партии длинное письмо, в котором еще раз жалуется на сопротивление со стороны руководства издательства. Когда в конце этого же месяца книга все-таки вышла, тираж составил всего 5 тысяч экземпляров — несмотря на то что по рекомендации ЛИТО печатать следовало максимальным тиражом (то есть не менее 25 тысяч экземпляров).

Случай с постановкой “Мистерии-буфф” оказался еще более сложным. В конце 1920 года Маяковский закончил новую редакцию пьесы, которая была поставлена Мейерхольдом 1 мая 1921 года. Госиздат не хотел публиковать пьесу, но Маяковскому удалось поместить ее в двойном номере журнала “Вестник театра”. Журнал издавался Госиздатом, и там отказались выплачивать Маяковскому гонорар, в связи с чем автор обратился в суд. В августе суд обязал ответчика выплатить деньги, но издательство упорствовало — и гонорар Маяковский получил только после двух судов.

В день, когда суд вынес окончательное решение, на первой странице “Правды” была опубликована статья под заголовком “Довольно “маяковщины”!”. Ее автором был видный партийный работник Лев Сосновский (член президиума партии и заведующий “Агитпропом”); статья заканчивалась словами: “Надеемся, что скоро на скамье подсудимых будет сидеть “маяковщина”.

Этим призывом партия открыто высказалась против конкретного эстетического направления. Однако процесс развивался уже давно. Как мы знаем, критика футуризма началась в период, когда Гражданская война близилась к концу, и политическое руководство смогло посвятить больше времени и внимания культурной политике. Самым ярким выражением отрицательного отношения к футуризму была реакция Ленина на “150 000 000”. Как только поэма вышла из печати, Маяковский послал ее вождю “с комфутским приветом”. Помимо Маяковского, посвящение подписали Лили, Осип и еще несколько футуристов. Ленин пришел в ярость, направив ее на Луначарского:

Как не стыдно голосовать за издание “150.000.000” Маяковского в 5.000 экз.

Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность.

Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Товарищу Владимиру Ильичу
с Комфутским приветом
Владимир Маяковский

150.000.000

Л. Брик
Вал. Брик
Борис Кузнецов.
Талкин
Дмитрий Серг.
Нест. Лившиц



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1921

■ Книга "150 000 000": "Товарищу Владимиру Ильичу с комфутским приветом" от Маяковского и его соратников.

По-моему, печатать такие вещи лишь 1 из 10 и не более 1500 экз. для библиотек и чудаков.

А Луначарского сечь за футуризм.

Ответ Луначарского отражал противоречивость его позиции: “Мне эта вещь не очень-то нравится, но <...> при чтении самим автором вещь имела явный успех, притом и у рабочих”. Ленина это не удовлетворило, и, чтобы удостовериться, что ошибка не повторится, он написал заведующему Госиздатом, что “это надо пресечь”: “Условимся, что не больше 2-х раз в год печатать этих футуристов и не более 1500 экз. <...> Нельзя ли найти надежных *анти-футуристов*”.

Высказывание Ленина было обнародовано лишь в 1957 году, но для современников оно не было тайной. Во время судебного разбирательства по поводу “Мистерии-буфф” один из свидетелей обвинения настаивал на том, что именно отзыв Ленина о поэме “150 000 000” стал причиной отказа печатать пьесу; отрицательное отношение Ленина, так же как и статья о “маяковщине”, упоминались и в берлинской русской газете осенью 1921 года. К этому времени мнение Ленина стало уже мнением партии. “Партия, как таковая, коммунистическая партия, — писал Луначарский, — относится враждебно не только к прежним произведениям Маяковского, но и к тем, в которых он выступает трубачом коммунизма”. Последняя фраза отражала устную реакцию Ленина на “150 000 000”: “Это очень интересная литература, это особый вид коммунизма. Это хулиганский коммунизм”.

■ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФУТУРИЗМ

Маяковский испытывал и возмущение и отчаяние. Отдавая свой талант революции, он наталкивался на активное сопротивление со стороны высшего партийного руководства. По идеологическим соображениям он хотел печататься в Госиздате, но приходилось искать другие возможности. Когда в мае 1920 года Якобсон уезжал в Прагу, Маяковский дал ему с собой рукопись поэмы “150 000 000”, чтобы тот попытался опубликовать ее по-русски в Чехословакии. Кроме того, он предпринял некоторые шаги

в организационном плане. В ответ на партийный декрет “О пролеткультах”, объявивший в декабре 1920 года футуризм “нелепым” и “извращенным”, Маяковский, Осип, Лили и еще несколько человек создали в январе 1921-го второй Комфут. Однако единственным последствием этой инициативы было то, что отныне футуристов стали называть комфутами.

Маяковский не мог спокойно наблюдать, как по отношению к нему в Москве растет враждебность. “Хождения по мукам в течение трех лет” — то есть с 1918 года — ему “страшно надоели”, и в марте он связался с читинской группой футуристов “Творчество”. Чита была столицей так называемой Дальневосточной республики, созданной в апреле 1920 года вернувшимся из США после пятнадцатилетней эмиграции Александром Краснощековым и вскоре признанной правительством в Москве. Занимавшая почти всю Восточную Сибирь Дальневосточная республика должна была служить нейтральной буферной зоной между Красной армией и антибольшевистскими японскими вооруженными силами, оккупировавшими Владивосток и другие части русского тихоокеанского побережья. У республики была собственная конституция и буржуазно-демократическая форма правления. Республикой руководил новоиспеченный большевик Краснощеков, но в состав правительства входили представители аграрной партии, эсеры и меньшевики. А ближайшим соратником Краснощекова был выдающийся анархо-синдикалист Владимир (Билл) Шатов, который тоже провел десять лет в Штатах как политический эмигрант и теперь занимал стратегический пост министра военных дел и транспорта. В Дальневосточной республике царила полная свобода слова и печати.

Ситуация, таким образом, напоминала Россию зимой 1917–1918 годов, и не только в политическом плане. Положение дел в тамошней литературе вызвало у Маяковского ностальгические воспоминания: в группе “Творчество” участвовали несколько его соратников по перу, кого судьба в ходе мировой и Гражданской войн занесла в Восточную Сибирь. Здесь был Давид Бурлюк, который, опасаясь ареста, оставил Москву на следующий день после того, как в апреле 1918 года ЧК устроила облаву на анархистов. Членами группы являлись также поэты Николай Асеев и Сергей Третьяков, с которыми Маяковский был хорошо знаком и кото-



- Александр Краснощеков обращается к народу с товарного вагона после взятия Читы войсками Красной армии 1 ноября 1920 г.

рым Гражданская война помешала вернуться в Москву; Третьяков занимал пост “товарища” — то есть заместителя — наркома просвещения при правительстве Краснощекова.

Группой руководил марксистский критик и старый большевик Николай Чужак, редактор журнала “Творчество” и газеты “Дальневосточный телеграф”. Для него Маяковский был литературным кумиром, а Бурлюк публиковал в журнале свои первые воспоминания о Маяковском и футуризме. Кроме того, Чужак первый и единственный дал официальный отпор Сосновскому за его слова о “маяковщине”. Агитация за Маяковского как великого поэта революции велась на лекциях и поэтических вечерах, а в декабре 1921 года Третьяков поставил трагедию “Владимир Маяковский”, сыграв в ней главную роль. Эту проникнутую ницшеанством пьесу ставили до того всего один раз, в Петербурге в 1913 году. На близость между Маяковским и Ницше обратил внимание, в частности, двадцатилетний критик Владимир Силлов, позже примкнувший к московским футуристам, но известность он обретет по другой, более мрачной, причине — о чем подробнее в главе “Во весь голос”.



■ Группа "Творчество", глашатаи футуризма на Дальнем Востоке, 1920 г. Сидят слева направо: Николай Асеев, Сергей Третьяков, Владимир Силлов и его жена Ольга. В верхнем ряду: Виктор Пальмов, Николай Чужак, В. Аветов, Петр Незнамов.

“История с “Мистерией-буфф” Маяковского и особенно история с его новой поэмой, — писал Чужак, — *страницей позора впишется со временем в историю революционных нравов России*”. Так как поэма “150 000 000” наконец увидела свет в Москве, в Чите она не издавалась. Но Маяковский и его московские друзья-футуристы продолжали поддерживать отношения с группой “Творчество”, жалуясь в письмах, что “люди с застоявшейся восприимчивостью и психологией стали между революционными массами и новым искусством и пытаются сверху <...> привить этим массам свое застарелое представление о художестве, бюрократически оберегая их от нового искусства”. В словаре Чужака и Маяковского противники футуризма назывались не иначе как “аракчеевыми”.

К концу лета 1921 года Маяковский находился в таком отчаянии, что решил уехать в Читу и присоединиться к своим

единомышленникам. Предполагалось, что он поедет вместе с Краснощековым, который лето провел в Москве, но положение последнего было шатким, в Читу он так и не отбыл, а вскоре был уволен с должности председателя правительства Дальневосточной республики (см. главу “Свободен от любви и плакатов”). Другой причиной, помешавшей Маяковскому покинуть Москву, был по иронии судьбы суд с Госиздатом из-за “Мистерии-буфф”. Вместо этого через год, когда Дальневосточная республика вошла в состав Советской России, в Москву вернулись “сибиряки”. Единственным невозвращенцем стал Бурлюк, эмигрировавший сначала в Японию, а затем в Нью-Йорк; поскольку зимой 1918 года он принимал участие в финансовых махинациях, связанных с захватом анархистами московских домов, он опасался, что в Москве его будут ждать неприятности.

■ ТРЕТЬЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЧЕТВЕРТЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Отношение партийной номенклатуры к футуризму стало для Маяковского еще одним подтверждением того, что революция свернула с верного пути. Нужда в глубоких преобразованиях не отпала, и зимой 1920 года Маяковский возвращается к идее Революции Духа в поэме, над которой работал три года и которая сначала называлась “IV...”, а потом “V Интернационал”. Он колебался по поводу того, как ее назвать, но, какой бы порядковый номер он ни выбрал, название примечательно: Третьему интернационалу Ленина Маяковский противопоставляет свой собственный — интернационал Духа. Подзаголовок “Открытое письмо Маяковского ЦК РКП, объясняющее некоторые его, Маяковского, поступки” свидетельствует о том, что поэма задумывалась как прямая параллель вышеупомянутому письму в ЦК по поводу “150 000 000”. Отзвуки манифестов из “Газеты футуристов” очевидны:

Октябрь не выгорел! —
Коммунисты
толпами

лезут млеть
в Онегине,
в Сильве,
в Игоре.
К гориллам идете!
К духовной дырке!

Большевистская революция еще не повлияла на культурную жизнь, массы закармливаются “старой культурой” — необходим новый бунт:

Коммунары!
Готовьте новый бунт
в грядущей
коммунистической сытости.

Речь идет об особом бунте — о духовной революции:

Взрывами мысли головы содрогая,
артиллерией сердец ухая,
встает из времен
революция другая —
третья революция
духа.

Знаменательно, что в напечатанной в 1922 году версии поэмы “горилл”, “духовную дырку” и “коммунистическую сытость” заменили цензурные многоточия.

Наиболее кощунственный фрагмент поэмы к цензорам, однако, не попал, поскольку не вошел в окончательную версию и существовал только как черновик. Это разговор Маяковского с Лениным, который окаменел и превратился в бесчувственную статую, в памятник на мраморном пьедестале за толстыми стенами Кремля. Его чугунные слова, словно гром, сотрясают пустой город. Он окружен секретаршами и охранниками. “Видят занят / стою монументом”, — думает он. Но Маяковского не пугают преграды: “Духовный весь испугаюсь кого я”. При виде Маяков-

ского Ленин приглашает его присесть, но в глубине души думает: “Носит чушь такую пороть его” — прямая отсылка к ленинскому выговору Луначарскому, которого надо бы “сечь за футуризм”. В конце фрагмента Маяковский с его “кипящим песенным ревом” занимает место Ленина:

Не отмахнетесь
Сегодня я пред
Совнаркома.

Саркастический тон усиливается выбором образа: Ленин как памятник, защищенный кремлевскими стенами; в поэзии Маяковского памятник — неизменно отрицательно заряженная метафора застоя и косности. “IV Интернационал”, по крайней мере в первоначальном варианте, задумывался как прямой ответ на выпады Ленина против Маяковского и должен рассматриваться на фоне конфликта между поэтом и партийным руководством в 1921 году. На чугунные порицания партийного вождя лидер поэтического авангарда отвечает стихами, воспевающими духовную сущность революции и защищающими право поэта говорить с властью на равных.

■ ТРЕТЬЯ РЕВОЛЮЦИЯ И КРОНШТАДТ

Во время Гражданской войны был проведен ряд принудительных мер, в корне изменивших экономические правила игры. Были национализированы средства производства, запрещена частная торговля, деньги в качестве платежного средства вышли из обращения, труд стал практически милитаризованным. Эту политику впоследствии назовут военным коммунизмом. В результате зимой 1920–1921 годов продовольственное положение в крупных городах было столь же критическим, как в период, предшествовавший Февральской революции. По сравнению с 1913 годом промышленное производство сократилось на 82%, а производство зерна — на 40%. В поисках продовольствия горожане бежали в провинцию: население Петрограда ократилось на 70%, Москвы — на 50%. Но если раньше проблемы затрагивали главным образом города, то



К. МАРКС Ф. ЭНГЕЛС
РЕВОЛЮЦИЯ ВМЕСТЕ
ВСЕМ ЕМУ

1300
1

теперь в тяжелейшем положении оказалась и деревня. Пока шла Гражданская война, власть могла во всем винить врагов, но эти оправдания больше не действовали. У большевиков никогда не было широкой поддержки масс, теперь же их противники перешли к открытой вооруженной борьбе. Ничего подобного в стране не происходило со времен крестьянских бунтов XVIII века. О масштабах сопротивления свидетельствует число красноармейцев, павших в 1921–1922 годах в борьбе с бунтовщиками, — около четверти миллиона.

В январе 1921 года, именно в то время, когда Маяковский и его друзья предприняли вторую попытку создать организацию комфутов, вспыхнуло восстание рабочих, которое унесет с собой много жизней, но и вынудит большевистский режим пойти на значительные уступки. Причиной восстания стало решение властей на треть урезать норму хлеба для Москвы, Петрограда и других городов. Так же, как и зимой 1917 года, восставшие поначалу требовали хлеба, но потом начали призывать к проведению политических реформ: свободные выборы в советы, свобода слова и прекращение чекистского террора. Начавшись в Москве, волнения вскоре перекинулись в Петроград, где продовольственную норму рабочего сократили до тысячи калорий в день.

Центром мятежа стал Кронштадт, где 10 тысяч матросов находились под сильным влиянием синдикалистских и анархических идей. Лидеры восставших призывали рабочих к борьбе с коммунистами, которые дали им не свободу, а “ежеминутный страх попасть в застенки чрезвычайки, во много раз своими ужасами превзошедшей жандармское управление царского режима”. “Славный герб” рабочего государства, серп и молот, подменен “штыком и решеткой ради сохранения спокойной, беспечальной жизни новой бюрократии, коммунистических комиссаров и чиновников”. Самое страшное преступление, совершенное коммунистами, состояло в том, что они вмешивались в личную жизнь рабочих

- В день первой годовщины Октябрьской революции Ленин открыл в Москве памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, немедленно народной молвой окрещенный “Маркс и Энгельс в ванне”.

и заставляли их думать так, как угодно властям. Кронштадтские матросы положили “первый камень третьей революции, сбивающей последние оковы с трудовых масс и открывающей новый путь для социалистического творчества”. Эта новая революция — “пример нового социалистического построения, противопоставленного казенному коммунистическому “творчеству”.

Третья революция! Организационной связи между Маяковским и кронштадтскими матросами не было, но их объединяла анархистская идейная основа и общее презрение к буржуазии, столь типичное для русского радикализма. Когда Маяковский посылал поэму “150 000 000” Ленину, Кронштадтский мятеж шел полным ходом, и вполне вероятно, что непропорционально агрессивный тон отклик был вызван опасением, что большевики потеряют контроль над ситуацией. Но если реакция вождя на поэму Маяковского была суровой, то с кронштадтскими матросами он при содействии военного комиссара Троцкого обошелся куда более жестоко: в ночь с 16 на 17 марта мятеж был подавлен силами 50 тысяч красноармейцев. В третьей революции советская власть не была заинтересована.

Подавление мятежа осуществлялось в разгар проходившего в Москве X съезда партии. Кронштадтское восстание стоило жизни сотням матросов, и еще сотни были брошены в концентрационные лагеря, но в итоге Ленин и руководство партии вынуждены были изменить свою политику. Для подавления волнений в провинции было решено заменить произвольную продразверстку (которая лишала крестьян продукции, а городское население — пищи) продналогом. Идеологически это означало крутую смену курса, но в преддверии экономической катастрофы с непредсказуемыми политическими последствиями у большевиков не было выбора. “Экономическая передышка”, по выражению Ленина, дала нужный эффект: крестьянские восстания прекратились и были созданы предпосылки для улучшения продовольственного снабжения.

За этим последовали другие реформы, незапланированные, но осуществившиеся по экономической необходимости. Когда крестьянам вернули право торговать своей продукцией, возник рынок, а тем самым — потребность в рыночных отношениях

и в других областях. Разрешили мелкое частное и кооперативное предпринимательство, рубль снова стал платежным средством. Тем не менее крупные предприятия, банки, внешняя торговля и транспортные средства оставались в руках государства. Наследное право, отмененное в 1918 году, было частично восстановлено. Этот гибрид социализма и капитализма получил название нэп — новая экономическая политика.

Экономика снова стала развиваться, но реформы шли вразрез с идеологией, и партия не без основания опасалась, что частичное возрождение капитализма может угрожать монопольному положению большевиков в обществе. Поэтому экономическую либерализацию нужно было дополнить усиленным политическим контролем: "...тут и дисциплина должна быть сознательней, — заявил Ленин, — потому что, когда вся армия отступает, ей не ясно, она не видит, где остановиться, а видит лишь отступление". В итоге ЧК (называвшаяся с 1922 года ГПУ) получила расширенные полномочия, а за 1920–1923 годы количество концентрационных лагерей возросло с 84 до 315. В 1921–1922 годах были ликвидированы все остатки гражданской свободы. Удары наносились главным образом по политическим противникам, но и по православной церкви и интеллигенции.

На X съезде были также запрещены внутрипартийные фракции. Это означало, что отдельные члены партии могли высказывать несогласие, но не имели права объединяться в организации. Установившаяся в стране диктатура была, таким образом, введена и в самой партии, а летом 1921 года прошла внутрипартийная чистка кадров. Во время Гражданской войны численность партии резко возросла, составив в 1921 году почти три четверти миллиона. Теперь, когда членство в партии не было связано с риском и лишениями, существовала угроза, что оно более чем когда-либо привлечет карьеристов. Еще одним поводом пересмотреть кадры стал Кронштадтский мятеж. Чистка началась 1 августа, и до начала 1922 года из партии исключили 136 тысяч человек, то есть пятую часть всех членов.

Чистка была направлена против тех, кто служил при старом режиме, бывших членов других политических партий, а также членов партии, работавших в государственных ведомствах.

Наиболее распространенными причинами исключения были: пассивность (34%) и карьеризм, злоупотребление алкоголем, буржуазный образ жизни и так далее (25%). Среди вычищенных оказался и Осип. Документальных свидетельств нет, но по достоверным сведениям ему вменили в вину его “буржуазное прошлое”. По иронии, в ЧК его взяли именно в качестве “специалиста по бывшим буржуйам”; однако исключение из партии не означало прекращения работы в данном учреждении, и это свидетельствует о том, что связь между партией и органами безопасности еще не была такой безусловной, какой она станет позже.

■ ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ: ГУМИЛЕВ И БЛОК

Показательный процесс как средство расправы с политическим противником — особый политический жанр, который достигнет кульминации в 1930-е. Но метод практиковался еще в 1921 году как прямое следствие Кронштадтского мятежа и экономической либерализации. В первом из таких процессов фигурировала Петроградская боевая организация, которой якобы руководил профессор географии Владимир Таганцев. В июне 1921-го его арестовали, обвинив в том, что он хранил крупные суммы денег и помогал интеллигенции покинуть страну. Но для того, чтобы запугать интеллигенцию, недостаточно было арестовать Таганцева и двух сотрудников (впоследствии расстрелянных) — для этого требовался настоящий “заговор”, который и был сфабрикован.

Таганцев молчал в течение сорока пяти дней, пока допросы не начал вести новый следователь — Яков Агранов, чекист с 1919 года, руководивший расследованием обстоятельств Кронштадтского восстания и особоуполномоченный по вопросам интеллигенции. Агранов письменно пообещал, что если Таганцев сообщит имена всех участников “боевой организации”, никто не будет приговорен к смертной казни. Поверив Агранову, Таганцев начал говорить, то есть подписывать заранее подготовленные протоколы.

О Петроградской боевой организации не было бы так много написано, если бы в ней не фигурировал поэт Николай



- Николай Гумилев с женой Анной Ахматовой и сыном Львом. Фото 1915 г. 16 августа 1921 г., когда Гумилев находился под следствием в Петрограде, Ахматова написала: «Не бывать тебе в живых, / Со снегу не встать. / Двадцать восемь штыковых, / Огнестрельных пять. / Горькую обновушку / Другу шила я. / Любит, любит кровушку / Русская земля».

Гумилев, бывший муж Анны Ахматовой. Монархист и противник большевизма, Гумилев при этом читал лекции в Пролеткульте, был председателем Петроградской секции Всероссийского союза поэтов и членом редколлегии «Всемирной литературы» — государственного издательства, возглавляемого Максимом Горьким. Гумилева арестовали в ночь на 5 августа, а через три недели он был расстрелян. 1 сентября «Петроградская правда» сообщила о казни всех членов мифической «боевой организации», состоявшей из 61 человека. Гумилева обвинили в том, что он «активно содействовал составлению прокламаций контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, кадровых офицеров». Такова была цена письменного обещания Агранова.

Несмотря на политические убеждения Гумилева — которых он ни от кого не скрывал, — ничто не говорит о том, что он принимал участие в каком-либо заговоре. Протоколы допросов составлены путано и безграмотно; через семьдесят лет, в 1991 году, приговор будет отменен Верховным судом СССР.

О том, что процесс против Петроградской боевой организации основывался не на конкретных обвинениях, а был возбужден исключительно с целью основать прецедент, свидетельствует такой факт: той же ночью, что и Гумилев, был арестован другой представитель интеллигенции, придерживавшийся совсем иных политических взглядов, — Николай Пунин. Здесь судьба воистину проявила иронию, поскольку Пунин в первом номере “Искусства коммуны” в декабре 1918 года высказал о Гумилеве мнение, граничившее с доносом:

Признаюсь, я лично чувствовал себя бодрым и светлым в течение всего этого года отчасти потому, что перестали писать, или, по крайней мере, печататься, некоторые “критики” и читаться некоторые “поэты” (Гумилев, напр.). И вдруг я встречаюсь с ними в “советских кругах”. <... > Этому воскрешению я в конечном итоге не удивлен. Для меня это одна из бесчисленных проявлений неусыпной реакции, которая то там, то здесь нет, нет да и подымет свою битую голову.

В отличие от Гумилева, Пунина выпустили. Освобождение произошло после того, как Луначарского осведомили о случившемся жена Пунина и Осип, чья работа в ЧК в данном случае возымела свое действие. Пунина выпустили — и через два года он сошелся с Анной Ахматовой, первой женой убитого Гумилева...

Казнь Гумилева была первым убийством писателя в Советской России и, разумеется, вызвала шок не только у единомышленников казненного. Убив Гумилева, власть продемонстрировала не просто презрение к человеческой жизни, но и свое отношение к интеллектуальной свободе и художественному творчеству. Сигнал интеллигенции был дан недвусмысленный: обойдемся без вас.



- Революция была для Александра Блока очистительной стихией — которая, к несчастью, покончила не только со старым обществом, но и с ним самим. Блок на смертном одре. Рисунок Юрия Анненкова.

Свидетельств о реакции Маяковского на смерть Гумилева нет, но сам факт казни коллеги-писателя должен был его потрясти. Несмотря на различие политических убеждений, Маяковский ценил поэзию Гумилева, а в 1921 году это имя приобрело для него новую актуальность, не столько из-за самого Гумилева, сколько из-за его бывшей жены. Несколькоими месяцами ранее Корней Чуковский опубликовал статью “Ахматова и Маяковский”, в которой два поэта противопоставлялись как два полюса: Ахматова — это “бережливая наследница всех драгоценнейших дореволюционных богатств русской словесной литературы”, ей свойственна “душевная изысканность” — она дается “человеку веками культурных традиций”; а Маяковский — дитя революционной эпохи с ее лозунгами, криком и экстазом; стихи Ахматовой вымерены, как поэзия Пушкина, а у Маяковского каждое слово — гипербола, преувеличение. Чуковский одинаково любил обоих, для него вопроса — Ахматова или Маяковский — не существовало, их видение реальности дополняло друг друга.

Вопреки тому, что Ахматова была его поэтическим антиподом, Маяковскому всегда нравились ее стихи, которые он часто цитировал (особенно когда бывал в подавленном настроении), — а эссе Чуковского неожиданно соединило их имена. Естественно, что после смерти Гумилева мысли Маяковского были обращены к Ахматовой — особенно когда до него дошли слухи о том, что она покончила с собой от горя. “Все эти дни о Вас ходили мрачные слухи, с каждым часом упорнее и неопровержимей, — писала Марина Цветаева Ахматовой в сентябре. — Скажу Вам, что единственным — с моего ведома — Вашим другом (друг — действие!) — среди поэтов оказался Маяковский, с видом убитого быка бродивший по картонажу “Кафе поэтов”. *Убитый горем* — у него, правда, был такой вид. Он же дал через знакомых телеграмму с запросом о Вас...” Вполне вероятно, что реакция Маяковского была вызвана не только мнимой кончиной Ахматовой, но и реальной смертью Гумилева. Процесс против Гумилева хронологически совпал с процессом Маяковского против Госиздата, и маловероятно, чтобы он не видел более глубокую связь между этими событиями. Тем более что в августе русскую литературу постигла еще одна крупная утрата: через два дня после ареста Гумилева скончался Александр Блок.

В отличие от многих поэтов-символистов своего поколения, Блок видел в революционных бурях 1917 года нечто позитивное. Его политические взгляды были достаточно неопределенными, и революцию он воспринимал прежде всего как природную стихию, как очистительную грозу. Ход истории изменился, и сопротивляться революции означало бы сопротивляться истории. Его поддержка большевиков была результатом такого взгляда на историю. Даже когда собственные крестьяне сожгли его библиотеку в родовом имении, он воспринял это как историческую закономерность. Зимой 1918 года Блок опубликовал в газете “Знамя труда” поэму “Двенадцать” — оду революции, в которой двенадцать оборванцев/красноармейцев/апостолов шествуют по городу, ведомые не кем иным, как Иисусом Христом. Хотя выбор образа вождя свидетельствует о неоднозначном отношении поэта к революции, не избалованная поддержкой интеллигенции советская власть постаралась максимально

использовать авторитет Блока: его избрали в состав множества комитетов и организаций, и он работал в ТЕО, театральной секции Наркомпроса.

В первые годы революции Блоку еще казалось, что он слышит музыку истории, и он активно следил за ее развитием, но впоследствии он осознал действительное положение вещей, и в январе 1921-го диагностировал положение поэта в России следующим образом: *“Покой и воля*. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не здешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, — тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем: жизнь потеряла смысл”. Слова относились к Пушкину, но в равной степени касались и его самого.

Через несколько месяцев Блок тяжело заболел. Заболевание носило как физический, так и психический характер. От голода и лишений он физически ослаб, его мучили астма, цинга и сердечные недомогания. Нервная система была настолько расшатана, что в какой-то момент он чуть не потерял рассудок. Таким образом, можно сказать, что смерть наступила по “естественным причинам”, но эти причины были обусловлены определенной исторической и социальной ситуацией. Из документов, рассекреченных только в 1995 году, явствует, что смерть поэта можно было предотвратить или, по крайней мере, отодвинуть — если бы высшее партийное руководство того пожелало.

Узнав о тяжелом состоянии Блока, Горький связался с Луначарским и попросил его через ЦК партии немедленно устроить поэта в санаторий в Финляндию. С такой же просьбой к Ленину обратилась Петроградская секция Союза писателей. Ленин оставил обращения без ответа, а в письме, которое пришло из ЦК через две недели, было сказано, что вместо того, чтобы отправлять в санаторий, следует “улучшить продовольственное положение А.А. Блока”. В конце июня иностранный отдел ЧК сообщил, что поводов позволять Блоку поездку за границу нет. После этого Луначарский напрямую обратился к Ленину с протестом против такого отношения к “несомненно самому талантливому и наиболее нам симпатизирующему из известных поэтов”. В тот же день

Вячеслав Менжинский, второй человек в ЧК, доложил Ленину: “Блок натура поэтическая; произведет на него дурное впечатление какая-нибудь история, и он совершенно естественно будет писать стихи против нас. По-моему, выпускать не стоит, а устроить Блоку хорошие условия где-нибудь в санатории”. Политбюро последовало рекомендации Менжинского.

Но Луначарский и Горький не сдались, и Ленин, ранее возражавший против отъезда Блока, передумал и проголосовал “за”. Супруге поэта, однако, разрешения на выезд не дали; политбюро было прекрасно осведомлено о том, что Блок слишком болен, чтобы путешествовать одному, но если он все-таки поедет, хорошо бы оставить ее в заложницах. Горький и Луначарский упорствовали, и наконец жене позволили выезд. Решение датировано 5 августа. Через два дня Блок скончался — в возрасте сорока лет.

“Через него непрерывной струей шла какая-то бесконечная песня, — писал в дневнике Чуковский. — Двадцать лет с 1898 по 1918. И потом он остановился — и тотчас же стал умирать. Его песня была его жизнью. Кончилась песня, и кончился он”. Маяковский отозвался на смерть Блока некрологом, в котором хвалил его поэтическое мастерство и подчеркнул его политическую двойственность. В самом начале революции он встретил Блока на улице. На вопрос, как он относится к революции, Блок ответил “хорошо”, добавив: “У меня в деревне библиотеку сожгли”. “Славить ли это хорошо или стенать над пожарищем, — Блок в своей поэзии не выбрал”. Некролог был напечатан в бюллетене “АгитРОСТА”, который почти никто не читал.

Смерть Блока знаменовала конец великой русской поэтической традиции, начатой за сто лет до этого Пушкиным, но и конец времени надежд и чаяний, связанных с революциями 1917 года, — и начало новой эры, когда граждане будут жить милостью партии и правительства. Царский режим запрещал книги, большевики выбрали более эффективный метод: избавиться от авторов. Советская Россия была новым типом государства, где вопрос об отправке в финский санаторий умирающего человека решался правительством, то есть коммунистической партией.

■ ГОРЬКИЙ И ЛЕНИН

Когда заболел Блок, Горький делал все, чтобы помочь ему, но в случае с Гумилевым он остался пассивным. Не потому что поверил в справедливость обвинений, а потому что долгая и безрезультатная борьба за Блока наглядно продемонстрировала: Ленин и его товарищи по партии презирают те гуманистические идеалы, которые отстаивал Горький, и сам он в любой момент может оказаться в опале.

В первые годы после Октябрьской революции Горький резко критиковал политику большевиков, а когда осенью 1918 года он решил поддержать их в борьбе с белой армией, награды последовали незамедлительно: Горького сделали руководителем издательства “Всемирная литература”, куда он смог приглашать на работу писателей, страдавших от голода и лишений, в том числе Гумилева и Блока. Ему также поручили председательство в Комиссии по улучшению быта ученых, в задачи которой входило распределение продуктов питания и одежды среди нуждающихся. В последующие годы он играл роль посредника между интеллигенцией и властью и был своего рода альтернативным министром культуры — этого положения он достиг благодаря многолетнему знакомству с Лениным.

Летом 1918 года у Горького отняли газету “Новая жизнь”, а вместе с ней и возможность публично нападать на большевиков, но он с прежней силой продолжал критиковать их политику, особенно в отношении интеллигенции, — теперь в форме писем. В 1919–1921 годах Горький направил Ленину и другим партийным работникам бесчисленное множество обращений с просьбой выпустить на свободу арестованных писателей и ученых. В его большой петроградской квартире находили убежище многие из тех, кого преследовала власть, — от писателей и деятелей науки до великих князей. Когда в сентябре 1919 года были арестованы десять видных ученых, Горький тотчас обратился с протестом к Ленину:

Что значит этот прием самозащиты, кроме выражения отчаяния, сознания слабости или — наконец — желания мести за нашу собственную бездарность?

Я решительно протестую против этой тактики, которая поражает мозг народа, и без того достаточно нищего духовно.

Знаю, что Вы скажете обычные слова: “политическая борьба”, “кто не с нами — против нас”, “нейтральные люди — опасны” и прочее. <... >

Я становлюсь на их сторону и предпочитаю арест и тюремное заключение участию — хотя бы молчаливому — в истреблении лучших, ценнейших сил русского народа. Для меня стало ясно, что “красные” такие же враги народа, как и “белые”.

Устный комментарий Ленина гласил, что Горький “как был ребенком в политике, так и остался”. Ленин утверждал, что аресты правильны и необходимы. И далее: “Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентов, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно”.

Несмотря на непримиримость Ленина, обращения Горького и других не были тщетными — многих ученых выпустили на свободу. Долог список тех, кого Горький спас от ареста, тюрьмы и смерти в эти годы. По словам Федора Шаляпина, труд во спасение преследуемых соотечественников “был главным смыслом его жизни в первый период большевизма”. В борьбе, которая тогда шла между Горьким и Лениным, обе стороны опробовали границы возможного. Скольких еще можно арестовать и казнить? Скольких можно спасти?

После Кронштадтского восстания и последовавшего за ним усиления политического террора положение Горького стало наконец невозможным. Писатель с международной славой, сравнимой лишь с известностью Толстого, постоянно критикующий власть, неугоден любому политику, и в наименьшей степени — самодержцу. К тому же Горький не скрывал своих взглядов и действий, напротив, — поскольку многие интеллектуалы скептически относились к его контактам с властями, он делал все, чтобы о его доброй воле узнали; процитированное выше письмо, например, распространялось в списках и было опубликовано в пражской

эмигрантской газете. Такое внимание, разумеется, подрывало престиж Ленина, чего он не мог позволить.

Если постоянные протесты Горького угрожали авторитету Ленина, то Ленин в свою очередь делал все, чтобы уменьшить влияние Горького. Вопиющий пример тому — цинизм, с которым вождь использовал репутацию Горького летом 1921 года в связи с постигшим страну голодом.

Голод был результатом небывало засушливой осени 1920 года, но положение еще усугубилось сельскохозяйственной политикой большевиков, согласно которой “излишки” продовольствия у крестьянских хозяйств подлежали конфискации. Поскольку о масштабном перепроизводстве речь не шла почти никогда и у крестьян конфисковывали запасы, необходимые для пропитания и посевов, наступила неизбежная катастрофа. Наиболее тяжелой ситуация была в черноземном Поволжье, но пострадали также Донецкий бассейн и южная Украина. Производство зерна в этих областях до революции достигало 20 миллионов тонн в год, а в 1921 году оно сократилось до 2,9 миллиона. Убедившись в невозможности решить проблему силовыми методами, политическое руководство не знало, что делать дальше. Прессе запретили писать о неурожае, и официально проблему игнорировали. Несмотря на случаи каннибализма и на то, что миллионы крестьян оккупировали железнодорожные станции в надежде спастись от голода в других частях страны, до середины июля власти отказывались признавать факты.

Открытое признание голода означало бы крах экономической политики большевиков, поэтому правительство решило действовать не напрямую. 13 июля Горький (с одобрения Ленина) опубликовал призыв о помощи жертвам голода, а спустя неделю правительство разрешило учредить добровольную негосударственную организацию — Всероссийский общественный комитет помощи голодающим, сокращенно Помгол. В состав комитета вошли Горький и два других писателя — Алексей Толстой и Борис Зайцев, а также несколько ученых, в том числе профессор Сергей Ольденбург, один из тех, кого арестовали в 1919 году и кому Горький помог выйти на свободу. Сенсацией стало участие в работе комитета министра Временного правительства Сергея Прокопо-

вича и его жены Екатерины Кусковой, а также лидера кадетской партии Николая Кишкина. Эти люди содействовали легитимизации комитета и сбору помощи за границей. (Чтобы убедиться, что первая российская добровольная организация не позволит себе политических вольностей, ее на всякий случай доукомплектовали “ячейкой” из двенадцати высокопоставленных коммунистов, в том числе Львом Каменевым.)

Горький и комитет обратились с призывом о помощи ко всему миру. Анатолий Франс, Герберт Уэллс, Джон Голсуорси, Эптон Синклер и другие писатели с мировой известностью отозвались на призыв Горького. На обращение Горького откликнулся Международный Красный Крест, которым руководил Фритьоф Нансен, а также министр торговли США Герберт Гувер, руководитель ARA (American Relief Administration — Американская администрация помощи), организации, созданной для распределения продуктов питания и лекарств в послевоенной Европе. Гувер, однако, поставил два условия: предоставить организации самостоятельность и выпустить из советских тюрем всех американских граждан. В письме политбюро Ленин писал, что “надо наказать Гувера, *публично* дать ему *пощечины*, чтобы *весь мир* видел”, но выбора у него не было, и требования выполнили. 21 августа в Риге между советским правительством и ARA был подписан договор. Американский конгресс дал стартовый капитал в размере 18,6 миллиона долларов, кроме этого, были сделаны личные пожертвования и внесены 11,3 миллиона долларов из советского золотого резерва.

Как только подписали договор, членов комитета арестовали, а Ленин обратился к газетам с призывом “изо всех сил их высмеивать и травить не реже одного раза в неделю в течение двух месяцев”. “Аресты здесь ужасающие. Сотнями арестуют, — писал Горький жене 24 августа, — весь город гудел от автомобилей ЧК”. Самого Горького также подвергли обыску и допросу.

До этих событий тяжело больной Горький не прислушивался к товарищеской рекомендации Ленина уехать за границу и позаботиться о собственном здоровье. “Вы меня не торопите с отъездом, — писал он Ленину в июле, — да и вообще предоставьте мне побольше свободы действий”. Но потом умер Блок,

казнили Гумилева и предали Помгол. Натолкнувшись в Кремле на Каменева, Горький сказал ему со слезами на глазах: “Вы сделали меня провокатором”. 16 октября 1921 года Горький покинул Россию. Ленин не хотел оставлять его в стране, но враг и потенциальный лидер крупной эмигрантской колонии ему тоже нужен не был. Поэтому официально Горький уехал как представитель Советской России: ему поручили сбор продовольствия, медикаментов и средств для голодавшей родины. Это был, по словам Аркадия Ваксберга, “и удобный предлог, и реальное, притом очень нужное дело”. Как на это ни посмотри, это еще одно проявление двойственности характера Горького — того, что Владислав Ходасевич называл его “крайне запутанным отношением к правде и лжи”.

Смерть Блока, расстрел Гумилева, роспуск Помгола... “Тот август — рубеж, — вспоминала Нина Берберова, — все, что было после <...> было только продолжением этого августа”.

А. Сурков

20-11.1922



Подъемля торжественно стих строкопёрстый,
клянусь —
люблю
неизменно и верно!

■ Владимир Маяковский. Люблю

Процесс с Госиздатом в связи с “Мистерией-буфф” в августе—сентябре 1921 года со всей очевидностью показал, что усилия Маяковского убедить власть и партийных чиновников в своем поэтическом величии оказались напрасны. Вследствие этого он сделал вывод, что ему необходимо искать другие возможности для публикации своих произведений. Поскольку в издательской области нэп еще не получил широкого распространения, альтернативой становилась заграница. О “бегстве” Маяковского свидетельствует, с одной стороны, тот факт, что он отправлял свои произведения в Прагу (с Якобсоном) и Читу (Чужаку), а с другой — намерение уехать на Дальний Восток для воссоединения с товарищами-футуристами.

Поездка на Дальний Восток не состоялась. Зато Лили в начале октября 1921 года уехала в Ригу. Помимо естественного желания впервые за восемь лет оказаться за границей и какое-то время пожить нормальной “буржуазной” жизнью, у нее было

- Во время первой парижской поездки Маяковский в числе прочих встретился со своими старыми друзьями, художницей Натальей Гончаровой и ее мужем Михаилом Ларионовым, покинувшими Россию еще до революции. Ларионов, однажды уже писавший портрет Маяковского, теперь нарисовал его снова, в этот раз в более реалистичной манере.

еще несколько причин, среди которых — желание навестить мать, проживавшую у своего брата Лео по адресу Кэнфилд-гарденз, 90, в Западном Хампстеде, лондонском районе, где жили многие еврей-иммигранты. Но получить английскую визу в Москве было невозможно, поскольку между Англией и Советской Республикой отсутствовали дипломатические отношения. Решение ехать в Англию через Латвию (а не, например, Эстонию) объяснялось тем, что там у Лили жила родня: в Риге родилась ее мать и по-прежнему жила ее тетушка, Эльза Гиршберг. Однако поездка преследовала еще одну, не менее важную, цель: Лили хотела найти издателя, готового издать произведения Маяковского. В Латвии давно существовала большая русская колония, численность которой существенно увеличилась после Октябрьской революции.

■ ЛИЛИ В РИГЕ

Несмотря на то что по окончании Гражданской войны политическая обстановка несколько стабилизировалась, советские граждане не могли покидать страну свободно, то есть без разрешения ЧК — случай с Блоком служит тому трагическим подтверждением. Обычные туристические поездки, которые могли себе позволить подданные царя, были ушедшей в прошлое роскошью. Однако нежелание советской власти выпускать своих граждан было лишь частью проблемы: большинство других стран их не впускало. Чтобы Лили смогла въехать в Латвию, понадобились поэтому специальные меры: ее сделали сотрудницей дипломатического представительства Советской России в латвийской столице.

Это показывает, что у Бриков и Маяковского были хорошие связи в Комиссариате иностранных дел, несмотря на конфликты последнего с бюрократией. Никого не принимали на службу в торговое представительство Советской России без одобрения сверху. В чем бы ни заключалась функция Лили при миссии (если таковая была), положение давало ей явные льготы, в частности возможность пользоваться курьерской почтой. Это было важно не только потому, что обычная почта работала плохо, но и потому, что цензура — как в Латвии, так и в России — перлюстрировала все письма. Поскольку почти вся корреспонденция с Москвой шла

исключительно по дипломатическим каналам, три с половиной месяца, проведенные Лили в Риге, на редкость хорошо задокументированы: хотя многие письма так и не доходили до адресатов, сохранилось целых пятьдесят восемь единиц. Тем же путем она посылала своим “зверикам” — как она называла Осипа и Маяковского — продукты питания, одежду и деньги.

Курьерская почта также позволяла ей не терять связи с матерью, которая работала в советской торговой фирме в Лондоне. Во время Гражданской войны и поддерживаемой англичанами интервенции торговля между Советской Россией и Великобританией (как и с большинством других стран) была свернута, однако после прекращения военных действий и замораживания планов мировой революции обе страны были заинтересованы в возобновлении торговых связей: советское государство крайне нуждалось в товарах, а переживавшая экономический кризис Великобритания видела здесь возможность для создания новых рабочих мест. В октябре 1920 года был основан Аркос (Всероссийское кооперативное общество — All Russian Cooperative Society), а в марте 1921 года страны подписали торговый договор. Договор означал, что Советская Россия признана *de facto*, а глава торгового представительства, видный дипломат Леонид Красин, который вел переговоры по договору, на практике выполнял функции советского посла в Великобритании.

Аркос, размещенный в одном здании с советским торговым представительством по адресу улица Мургейт, по убеждению британской разведки, был зонтичной организацией для сделок, которые нельзя провести открыто, в частности закупок для нужд Красной армии. Однако в Аркосе служили не только коммунисты; среди беспартийных была, к примеру, мать Лили, которая работала здесь с самого начала и, помимо выполнения конторских обязанностей, регулярно развлекала сотрудников игрой на рояле. Скорее всего, она получила это место благодаря московским знакомствам Осипа и Маяковского — в частности, с писателем и журналистом Михаилом Левидовым, сотрудником газет Горького и заведующим иностранным отделом РОСТА, в этот период работавшим корреспондентом телеграфного агентства в Лондоне.

Работа матери в Аркосе и ее знакомство с Красиным позволили Лили надеяться, что получение английской визы окажется формальностью. Но на всякий случай она попросила Эльзу оформить ей въездную визу и во Францию. Когда выяснилось, что никто из них помочь не может, Маяковский попытался устроить ей служебную командировку из Москвы. РАБИС (профсоюз работников искусств) просил Комиссариат внешней торговли организовать служебную поездку “художницы” Лили Брик в Лондон, где она намеревалась посетить выставку кустарного искусства и изучить условия для культурного обмена. Наркомвнешторг в свою очередь обратился по телеграфу к Красину с просьбой одобрить “перевод сотрудницы отделения Риге художницы Брик Лондон”. Но, несмотря на все эти усилия, за почти

четыре месяца пребывания Лили в Риге сделать ничего не удалось.

Почему Лили так стремилась в Лондон, где раньше никогда не была? Если она хотела повидать мать, то с тем же успехом они могли встретиться в Берлине, куда легче было получить визу. Тогда же без проблем могла приехать и Эльза. Учитывая натянутые отношения между матерью и дочерью, трудно понять то рвение, с которым Лили стремилась в Лондон. Просто желание путешествовать и жажда новых впечатлений? В некоторых письмах она говорит и о поездке в Вену, город, с которым у нее тоже не было очевидной связи.

Может быть, Лили не оставила совсем мысли об эмиграции? Тогда Лондон был бы привлекательным вариантом, поскольку там ей было где жить.

■
Лили во время второго визита в Ригу весной 1922 г.



Уезжая из России, Елена Юльевна, по-видимому, вывезла с собой какие-то ценности — ее посылки с одеждой и деньгами Лили в Ригу и Осипу в Москву свидетельствуют о том, что она не была без средств. О том, что мысли об эмиграции не были чужды Лили, следует из письма от 6 ноября 1921 года, в котором она уверяет Маяковского в обратном: “Не грусти, мой Щеник! Не забуду тебя — вернусь обязательно”. А может быть, желание поехать в Лондон диктовалось совсем другими соображениями: дядю Лео в конце 1920 года приговорили к пяти годам тюрьмы за подделку бумаг, что должно было стать тяжелым ударом для матери...

В Риге Лили остановилась в гостинице “Бельвю”, в небольшом номере на солнечной стороне. Период, предшествовавший поездке, был, по-видимому, связан с серьезной нервной нагрузкой, и в нескольких письмах она уверяет, что теперь чувствует себя лучше. Она общается с родственниками, но быстро обзаводится знакомыми и даже поклонниками. Соблюдая “верность”, она явно озабочена тем, что Маяковский может вести себя иначе:

Любимый мой щеник! Не плачь из-за меня! Я тебя ужасно крепко и навсегда люблю! Приеду непременно! Приехала бы сейчас если бы не было стыдно. Жди меня!

Не изменяй!!!

Я ужасно боюсь этого. Я верна тебе *абсолютно*. Знакомых у меня теперь много. Есть даже поклонники, но мне никто, нисколько не нравится. Все они по сравнению с тобой — дураки и уроды! Вообще ты мой любимый щен чего уж там! Каждый вечер целую твой переносик! Не пью совершенно! Не хочется. Словом — ты был бы мною доволен.

Я очень отдохнула нервами. Приеду добрая.

Супружеская верность Лили свойственна не была. Но во время разлуки осенью 1921 года она искренне боится потерять Маяковского. “Напиши честно, — уговаривает она его, — тебе не легче живется иногда без меня? — Никто не мучает? Не капризничает? Не треплет твои и без того трепатые нервишки? Люблю тебя, Щеник! Ты мой? Тебе больше никто не нужен? Я совсем

твоя, родной мой детик!” Но при этом порой она не может не выпускать когти, как в случае, когда до нее дошли слухи о том, что Маяковский напился “до рвоты” и был замечен “в нежных позах” вместе с “младшей Гинзбург”:

Через две недели я буду в Москве и сделаю по отношению к тебе вид что я ни о чем не знаю. Но *требую*: чтобы *все*, что мне может не понравиться, было *абсолютно* ликвидировано. Чтобы не было *единого* телефонного звонка и т. п. Если *все это* не будет исполнено до *самой мелкой мелочи* — мне придется расстаться с тобой, что мне совсем не хочется, оттого что я тебя люблю. Хорошо же ты выполняешь условия: “не напиваться” и “ждать”. Я *до сих пор* выполнила и то и другое. Дальше — видно будет.

Дошедшая до Лили “чушь фантастическая” повергает Маяковского в отчаяние, и он уверяет ее, что все его отношения “не выходят из пределов балдежа”.

Кроме того, он нашел новую бильярдную и времени на дам у него не остается, добавляет он шутя. В целом переписка дышит любовью, гармонией и добродушным юмором. В своих письмах Лили обращается либо к Маяковскому, либо к своим “мальчикам” и “зверикам” вместе. “Веду себя безупречно! Любите! Не забывайте! Не изменяйте! Пишите обо всем! Ужасно ваша до смерти Киса-Лиля [рисунок кошки]. Целую все лапики, чес, переносик, хвостик, кустик, шарики” [рисунок кошки]. “Целую! — начинает она очередное послание. — Милые! любимые! родные! светики! солнышки! котятики! щенятики! Любите меня! Не изменяйте! А то я вам все лапки оборву!!” В одном письме она обращается прямо к Осипу, ругая его за то, что он не пишет: “Сволочной котенок! Опять ты не пишешь! Как тебе без меня живется? Мне без тебя очень плохо! Совсем у-у-у! пришел. Во всей Риге котятиков нету! Щенков много а кисов нет! Беда!” Она целует его “хвостик” и подписывается “твоя жена”. Ее недовольство было оправданным: за некоторыми исключениями Осип не принимает участия в переписке, разве что в виде предмета чувств Лили и Маяковского.

Лили получает деньги от матери из Лондона и Миши Гринкруга из Берлина — и от Маяковского из Москвы, на духи. Сама она регулярно шлет в Москву посылки курьерской почтой — Маяковскому, Осипу и Леве Гринкругу. Продукты: сельдь, овсяную кашу, чай, кофе, какао, шоколад, сахар, муку, сало, конфеты и гаванские сигары. И практичные вещи: подтяжки для носков, костюмные ткани, бритвы и резиновые чашки. Маяковский заказывал ей также резиновую “таз-ванну” — он отказывался пользоваться гостиничными удобствами и всегда устанавливал в номере собственную походную ванну — но такую Лили достать не смогла.

■ МАФ

Первое время в Риге Лили была занята оформлением поездки в Лондон. Но как только становится ясно, что поездка не состоится, она целиком посвящает себя второй цели своего путешествия: пропаганде поэзии Маяковского. В русскоязычной газете “Новый путь”, издававшейся советским торговым представительством, в октябре—ноябре печатаются две статьи о современной русской литературе, первая из них — о Маяковском. Статьи подписаны Л.Б. — даже если нет доказательств, что за инициалами скрывается именно Лили, публикация этих статей во время ее пребывания в Риге неслучайна. У Маяковского и его соратников в Риге была огневая поддержка в лице Григория Винокура, который работал в торговом представительстве. Винокур, молодой филолог из Москвы, попавший в Ригу так же, как Роман Якобсон в Ревель, в течение года опубликовал две положительные статьи в газете о Маяковском, одна из них — рецензия на “150 000 000”.

Лили также вступает в контакт с представителями рижского авангарда и знакомится с еврейским поэтом-футуристом Б. Лившицем, секретарем “Арбейтергейм” — еврейского культурного центра, близкого латвийской компартии. Лившиц переводит поэму “Человек” на идиш и, по словам Лили, работает над большой статьей о Маяковском. “Заставили меня читать им “Флейту” и сошли с ума от восторга”. Вероятно, вдохновлен-

ная этими контактами Лили загорелась идеей напечатать новый тираж “Флейты-позвоночника” в Риге. “Хочу отпечатать “Флейту” здесь, — пишет она Маяковскому в конце октября. — *Вышли мне разрешение на ввоз пяти тысяч экземпляров*”. Спустя две недели она сообщает, что может “напечатать все что угодно” в Риге без обязательной предоплаты — и просит своих “мальчиков” прислать не только книги Маяковского, но, в частности, и “Сестра моя — жизнь” Пастернака. Она познакомилась “с одним *очень крупным капиталистом*”, владельцем большой типографии, который готов печатать книги футуристов, если это можно будет финансировать посредством производства русских учебников (для экспорта в Советскую Россию). “Капиталист” был Василий Зив, переехавший в Ригу из Петрограда в 1921 году. Для успеха проекта Зиву был необходим представитель в Москве, которому он гарантировал оплату деньгами и продовольствием. “Я хотела бы, чтобы этим человеком согласился быть ты, Волосик — это очень интересно, во первых, а, во вторых, дало бы тебе возможность абсолютно бросить плакаты”.

Маяковский принял предложение стать представителем издательства с энтузиазмом и немедленно связался с Комиссариатом внешней торговли, где к инициативе отнеслись положительно. Из-за бумажного дефицита в России международное сотрудничество подобного рода становилось распространенным — Госиздат тоже печатал книги за границей и потом ввозил их в Россию. Поскольку разрешение на импорт выдавал Госиздат, Маяковский опасался обструкций, но вопрос решился положительно благодаря Луначарскому, чьей помощью они немедленно заручились.

Оценив потенциал проекта, Маяковский и Осип решили не только просить разрешение на ввоз, но и зарегистрировать новое издательство, чтобы таким образом создать “комфутуризм” платформу в Москве. 28 ноября 1921 года правительство издало декрет, разрешивший в соответствии с принципами нэпа создание частных и кооперативных книгоиздательств. В тот же день Маяковский и Осип подали Луначарскому заявление о создании книжного издательства МАФ (Московская — в будущем международная — ассоциация футуристов). “Цель издательства, —

писалось в докладной записке, — издание журнала, сборников, монографий, собраний сочинений, учебников и пр., посвященных пропаганде основ грядущего коммунистического искусства и демонстрации сделанного на этом пути. Учитывая ряд затруднений, связанных с печатанием наших книг в России, мы будем издаваться за границей, вывозя и распространяя издания в РСФСР. Издательство организуется на частные средства”. Среди авторов, которых издательство предполагало издавать, назывались Пастернак, Маяковский и Хлебников.

Несмотря на поддержку Луначарского, рижский проект не состоялся. Маяковский получил аванс в иностранной валюте в Москве, но далее дело не пошло, поскольку Зив, как выяснилось, прежде всего был заинтересован в том, чтобы зарабатывать на больших тиражах учебников по физике и математике. Издание футуристических произведений было лишь способом заручиться получением подобных заказов. “Для издателя главное — прибыль! — сообщала Лили в начале декабря. — Лучше всего — заказы на учебники от правительства”. Но путь к заказам учебной литературы шел через Надежду Константиновну Крупскую, и здесь Маяковский был беспомощен. Крупская так же отрицательно относилась к футуристам, как и ее супруг, — в статье, опубликованной в “Правде” в феврале 1921 года, она определила их творчество как проявление “худших элементов старого искусства” и “ощущений <...> крайне ненормальных, искаженных”.

■ ЛИЛИ И ЛЕНИН

Пока Лили находилась в Риге, жизнь в Москве шла своим чередом, без особых событий. Маяковский принимает участие в нескольких публичных дискуссиях о современной литературе и один раз выступает вместе с давними коллегами-футуристами Крученых, Каменским и Хлебниковым — последний даже жил у них в Водопьяном переулке несколько недель в отсутствие Лили. Осип и Маяковский иногда выходят, но, по уверению Маяковского, у них есть только одна тема для разговоров: “единственный человек на свете — киса”. Чаще всего они дома,

Маяковский рисует, а Осип читает вслух Чехова. “Я все такой же твой щен, — пишет Маяковский, — живу только и думая о тебе, жду тебя и обожаю. Каждое утро прихожу к Осе и говорю: “скушно брат Кис без лиски” и Оська говорит: “скушно брат щен без Кисы”.

В течение осени и зимы Маяковский продолжает писать и рисовать агитплакаты на злободневные темы: “Вот что говорил Ленин на съезде политпросветов..”, “Вот о помощи голодающим отчет”, “Опыт новой экономической политики показал, что мы на верном пути” и пр. Но вскоре он получает заказ иного рода: “Напиши для меня стихи”, — просит его Лили в конце октября. Он сразу принимает вызов. “Ужасно счастлива, что ты, Волосик, пишешь, — отвечает Лили уже через неделю. — Обязательно напиши к моему приезду!” “Поэма движается крайне медленно, — сообщает Маяковский, — в день по строчке!” — а еще через неделю, 22 ноября, он пишет: “Волнуюсь что к твоему приезду не сумею написать стих для тебя. Стараюсь страшно”.

Как можно предположить, несмотря на муки творчества, к возвращению Лили в начале февраля 1922 года поэма была закончена. Сочинение стихов для Лили Маяковский считал самым надежным — возможно, единственным — способом заручиться ее любовью, и он знал, что лучшего подарка к ее возвращению не найти. В конце марта в качестве первой книги издательства МАФ вышла поэма “Люблю” с посвящением Л.Ю.Б.

“Люблю” значительно короче, чем “Флейта-позвоночник” и “Облако в штанах”, а также менее сложна. Поэма начинается привычным для Маяковского замечанием о любви как о заложенности жизни, быта: “Любовь любому рожденному дадена, — / но между служб, / доходов / и прочего / со дня на день / очерстывает сердечная почва”. Любовь можно купить, но ее не покупает тот, кто, подобно поэту, не властен над собственным сердцем. От его гипертрофированных чувств в страхе “шарахаются” женщины. И вдруг появляется она — “ты” — Лили, которая видит суть — не замученного, рычащего великана, а “просто мальчика”. Она берет его сердце и играет с ним, “как девочка мячиком”: “Должно, укротительница. / Должно, из зверинца!” — кричат другие женщины, но Маяковский ликует:

Нет его —
ига!
От радости себя не помня,
скакал,
индейцем свадебным прыгал,
так было весело,
было легко мне.

Возвращаясь к “ней”, поэт возвращается домой:

Подъемля торжественно стих строкопёрстый,
клянусь —
люблю
неизменно и верно!

“Люблю”, пожалуй, самое светлое произведение Маяковского, переполненное любовью и оптимизмом, свободное от мрачности и мыслей о самоубийстве. В поэме отражается счастливый и гармоничный период отношений с Лили, один из самых бесконфликтных за всю их совместную жизнь. “Маяковский часто говорил об этой поэме, что это вещь “зрелая”, — вероятно, ему показалось, что поэма написана спокойно-повествовательно, о счастливой любви”, — писала Лили. Другое дело, что ощущение счастья и гармонии частично могло быть результатом того, что в этот период они жили врозь.

Публикация поэмы совпала с концом важного этапа в литературном и художественном творчестве Маяковского: в феврале 1922 года он сделал последний плакат для РОСТА. Завершился агитационный период русской политики, теперь жизнь протекала в условиях нэпа. Кроме этого, кардинально изменилась ситуация на издательском фронте, что дало писателям новые возможности заработать. Как результат декрета от 28 ноября 1921 года в течение 1922-го в стране были зарегистрированы не менее двухсот частных и кооперативных издательств, из которых семьдесят функционировали активно. Для Маяковского это означало независимость от Госиздата и возможность печататься у других издателей. Однако важнее экономических факторов было чисто политиче-

ское вмешательство в его жизнь, и в этот раз совершенное Лениным.

Пятого марта в правительственной газете “Известия” было опубликовано стихотворение Маяковского “Прозаседавшиеся” — остроумная и свирепая атака на все растущую бюрократизацию советской системы. Товарищ Иван Ваньч с коллегами теперь заседают так часто, что для того, чтобы всюду успеть, им нужно физически раздвоиться:

“Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там”.

В конце стихотворения Маяковский мечтает об обществе, в котором не было бы заседаний:

“О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!”

На следующий день, выступая на коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов, Ленин сказал: “Вчера я случайно прочитал в “Известиях” стихотворение Маяковского на политическую тему. Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области. Но давно я не испытывал такого удовольствия с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно”.

Если критика Лениным поэмы “150 000 000” сделала Маяковского персоной нон-грата в глазах чиновников, руководивших культурой, то положительный отзыв о “Прозаседавшихся” возымел обратный эффект. Для поэта, который не хотел ничего другого, как служить революции, реакция Ленина стала настоящим подарком. Маяковский правильно понял этот политический сигнал: уже через два дня он напечатал в “Известиях” еще одно стихотворение на ту же тему — “Бюрократиада”. Раньше правительственный орган публиковал его стихи лишь эпизодически, теперь же за короткое время увидели свет шесть новых стихотворений. “... Только после того, как Ленин отметил меня, только тогда “Известия” стали меня печатать”, — комментировал Маяковский этот факт. Эффект от похвалы Ленина был на самом деле таким огромным, что, как писал Николай Асеев в письме дальневосточным футуристам, “покрывает все литсобытия” в Москве, в том числе и публикацию недавно обнаруженной рукописи Достоевского “Исповедь Ставрогина”.

Одновременно все это выглядело унизительно, поскольку Маяковский был поставлен — и поставил себя — в положение, при котором он попадал в зависимость от милости вождя. Понимал ли он это? И понимал ли, какую девальвацию его таланта — и репутации поэта — означало сочинение подобных произведений? Другие понимали. Среди тех, кого беспокоило движение Маяковского в направлении потребительского искусства и политической лояльности, были Пастернак и Мандельштам.

Как уже говорилось, Пастернак высоко ценил Маяковского, но, прочитав “нетворческие” “150 000 000”, почувствовал, что ему “впервые нечего было сказать ему”. В стихотворной надписи Маяковскому на книге “Сестра моя — жизнь” в 1922 году он спрашивает, почему тот предпочел расходовать свой дар на проблемы совнархоза, бюджетный баланс и пр.:

Я знаю, ваш путь неподделен,
Но как вас могло занести
Под своды таких богаделен
На искреннем вашем пути?

Осип Мандельштам, который относился к революции, к шуму времени неоднозначно, но скорее положительно, в статье, написанной той же весной, точно уловил дилемму Маяковского: “Экстенсивное расширение площади под поэзию, разумеется, идет за счет интенсивности, содержательности, поэтической культуры”. И далее: “Обращаться в стихах к совершенно поэтически неподготовленному слушателю столь же неблагодарная задача, как попытаться усесться на кол”. Поэзия, лишенная своей поэтической культуры, перестает быть поэзией. По мнению Мандельштама, Маяковский — поэт, чьи стихи отличаются техническим мастерством и насыщены гиперболической метафорикой. “Поэтому совершенно напрасно Маяковский обедняет самого себя”, — сделал вывод Мандельштам — формулировкой, которую спустя восемь лет сам Маяковский будет варьировать словами о том, что он “наступил на горло собственной песне”.

Маяковский, разумеется, знал, что трудно быть поэтом масс, не отказавшись от поэтического качества, и тем не менее он был искренен в своем стремлении отдать свой талант народу, со всеми вытекающими отсюда последствиями в смысле упрощения формы и содержания. И, несмотря на то что он подавлял свои лирические импульсы, осталось достаточно много воздуха в горле, чтобы писать блестящую любовную лирику. На самом деле, историко-эпические произведения чередовались с лирическими на протяжении всей его творческой жизни, как бы для внутреннего равновесия: он нуждался и в первом и во втором. За “Облаком в штанах” (1915) последовала “Война и мир”, написанная в 1916–1917 годы, потом “Человек” (1917), после чего “Мистерия-буфф” (1918) и “150 000 000” (1920–1921), поэма, за которой последовала, в свою очередь, “Люблю” (1922).

■ ОПЯТЬ РИГА

1 мая 1922 года в Водопьяном переулке был устроен “торжественный прием” в честь Анатолия Луначарского. Обсуждался футуризм и отношения между “вечным” искусством и современностью. “Нападали на Луначарского все, он только откусывался”, — вспоминал Николай Асеев. Что внушило им такую

дерзость — мнение Ленина о стихотворении “Прозаседавшиеся”? Несмотря на нападки, Луначарский признал, что “в этой комнате сейчас собрано все наиболее яркое и певучее нашего поколения”. Из поэтов, помимо Маяковского и Асеева, были также Пастернак и Хлебников.

Лили на встрече не присутствовала. В середине апреля она снова уехала в Ригу в надежде заключить договор с Зивом. Едва приехав, она отправила “зверикам” в Москву сандалии, немецкие газеты, ноты и книги; Осипу очки с запасными стеклами, Маяковскому и Леве Гринкругу — игральные карты; шоколад, консервы и ликер, которыми следовало поделиться с домработницей Аннушкой, Ритой Райт (их общей подругой, которая прошлым летом перевела на немецкий “Мистерию-буфф”) и Асеевым с женой. “Была несколько раз в кино, один раз в цирке, один раз в театре. Скука смертная! Ничего не удастся! Материи в долг не дают!! Денег тоже не дают!! <... > Вообще — не везет! В комнате у меня отвратительно!”

Зив потерял интерес к сделке, и Лили надеялась вернуться в Москву уже 6 мая. Но вместо этого 2 мая, на следующий день после приема в честь Луначарского, в Ригу отбыл Маяковский, которому Лили организовала выступления в латышской столице. Это было вообще его первое заграничное путешествие. Официально он уехал как представитель Наркомпроса — таким образом, благодаря Луначарскому, у Лили и Маяковского появилась возможность провести вместе девять дней в рижской гостинице “Бельвю”.

Маяковский должен был выступить с публичным докладом, но антисоветски настроенные латышские власти выступление запретили. Кроме того, полиция конфисковала весь тираж поэмы “Люблю”, напечатанный “Арбайтергейм” во время визита Маяковского. Неудачи эти породили, с одной стороны, ироничное, но однобокое стихотворение о “демократии” и “свободе слова” в Латвийской республике, а с другой — хвалебные отзывы, в интервью, об отношении к поэту советской власти: “Советская власть, несмотря на трудности и непонимание моего творчества, оказала массу ценных услуг, помогла. Нигде, никогда я не мог иметь такой поддержки”.

■ ЛОНДОН

Лето 1922 года снова провели в Пушкине, в четвертый раз подряд. Образ жизни остался прежним. Вставали рано, завтракали на веранде: свежий хлеб и яйца, которые жарила и подавала Аннушка. В те дни, когда Маяковский не уезжал в город, он брал маленькую записную книжку и шел в лес: так же, как дома он шагал по комнате, бормоча стихотворные строки, теперь он отбивал ритм на тропинках и полянах. Если не писал стихи, то собирал грибы. Когда шел дождь, время проводили за игрой в карты или шахматы. Если Осип был увлечен шахматной партией с кем-либо из гостей, Маяковский (который в шахматы не играл) отчаянно набрасывался на Риту, проводившую лето с ними. Но карты Рита не любила, и Маяковский предлагал играть во что угодно, лишь бы играть. Если Рита проигрывала, ей приходилось целую неделю мыть бритву Маяковского. Ипохондрик Маяковский брился каждое утро — и в поездках, и когда торопился, но никогда не использовал грязную бритву...

В августе привычный ритм нарушился отъездом Лили в Берлин. В апреле этого же года между Германией и Советской Россией были установлены дипломатические отношения, что значительно упростило поездки для советских граждан. В Берлине Лили общалась с Левой Гринкругом, приехавшим навестить братьев. Она вела беззаботную жизнь, выбирала платья и купила “чудесное кожаное пальто”. Поскольку она заботилась, как всегда, и о своих близких — Осип и Маяковский получили элегантные рубашки и галстуки, а Рита бархатную шляпу, — то деньги вскоре закончились.

Пока Лили развлекалась в Берлине в обществе Левы и других московских друзей, Осип и Маяковским тоже не скучали, так же как и во время ее рижской поездки. Если в присутствии Лили по воскресеньям их обычно навещали ближайшие друзья, семь-восемь человек, то теперь по выходным на даче собиралось столько народа, что Маяковский порой не знал, кто есть кто, а Аннушка в отчаянии рвала на себе волосы.

Предполагалось, что Осип и Маяковский последуют за Лили в Берлин. 15 августа она отправляет им нужные документы и пишет: если они сообщат в немецком посольстве, что



- В Лондоне в августе 1922 г. Лили впервые после четырехлетней разлуки встретилась с матерью и сестрой.

они больны и что им нужно ехать на курорт Бад-Киссинген, то “вам должны очень скоро выдать визы”. “Болезнь” была придумана для того, чтобы упростить бюрократическую процедуру, — ни о каком санатории речь не шла, что понятно из следующей фразы в письме Лили: “По дороге в Киссинген вы остановитесь в Берлине, где вам дадут возможность жить столько, сколько вам будет нужно”. По какой-то причине запланированная на начало сентября поездка в Берлин была отложена, и Маяковский и Осип уехали только спустя месяц, через Эстонию; с немецкими визами проблем, очевидно, не возникло, но для того, чтобы они смогли въехать в Эстонию, их официально сделали “техническим персоналом” советской дипломатической миссии в Ревеле.

За это время Лили успела навестить мать в Англии: въезд в страну стал возможным после того, как 19 августа Лили официально приняли на службу в советское торговое представительство в Лондоне. Это была первая за четыре года встреча с Еленой Юльевой, последний раз они виделись в июле 1918-го. “Завтра приезжает Эльза — интересно”, — пишет Лили из Лондона в конце августа с поразительной сдержанностью. О том, как прошло воссоединение, ничего не известно. Однако нет причин думать, что мать смирилась с необычными отношениями Лили и Маяковского, которые к этому времени стали и литературным, и общественным фактом. Что касается младшей дочери, то и здесь ситуация могла бы быть более благополучной: прожив год на Таити, Андре и Эльза вернулись в Париж, где в конце 1921 года разъехались. После этого Эльза переехала к матери в Лондон и поступила на работу в архитектурную фирму, но зарабатывала так мало, что ей, по ее собственным словам, не хватало даже на губную помаду. Причиной переезда в Лондон был, однако, не только неудавшийся брак, но и то, что мать нуждалась в поддержке после ареста брата.

Если в письмах “мальчикам” в Москву Лили не особенно углублялась в детали, то ее отчеты Рите более откровенны. В письме от 22 декабря она сообщила, что проводит дни в музеях, а ночи напролет танцует и что с удовольствием осталась бы в Лондоне еще на два-три месяца. Лили с восторгом окунулась в беззаботную, богатую жизнь, о которой в России остались лишь воспо-

минания. Здесь продавались шелковые чулки и прочие предметы роскоши, а сама она, как обычно, привлекала внимание мужчин. Один из них влюбился в Лили еще на борту самолета Москва — Кенигсберг, а ее партнер по танцам, сотрудник Акроса Лев Герцман, стал в Лондоне ее любовником. Одновременно ее тревожит Михаил Альтер, знакомый из Риги, где он работал в отделе печати торгпредства. Он лечит легкие в Санкт-Блазиене, и она очень хочет успеть навестить его до того, как поедет в Берлин на встречу с Осипом и Маяковским.

Лили находилась далеко от московской реальности с ее литературными баталиями — и наслаждалась этим. “Ужасно рада, что здесь нет футуристов!” — сообщила она Рите. Получив письмо, Рита тотчас же позвонила Маяковскому и Осипу, и те, надев розовые рубашки и фетровые шляпы, которые Лили купила им в Риге, поспешили к Рите за новостями. Поскольку не все в письме предназначалось Осипу и Маяковскому, Рита настояла на том, чтобы читать вслух, — таким образом она могла опустить подробности о романтических приключениях Лили. Но, дойдя до фразы о футуристах, запнулась, и Маяковский резко потребовал, чтобы она читала все. Когда же Осип возразил, что заставлять нельзя, Маяковский с мрачным видом ответил: “Наверно, пишет, “хорошо, что там нет футуристов”. Риту Райт поразила интуиция поэта и то, что он почти дословно воспроизвел формулировку Лили.

Мрачное настроение Маяковского понятно: с одной стороны, он боялся, что, изменив взгляд на футуризм, Лили изменит и свое отношение к нему, с другой — Маяковский ехал в Берлин именно в качестве футуриста, представителя новой революционной эстетики. “Я уезжаю в Европу, как хозяин, посмотреть и проверить западное искусство”, — сообщил он в интервью перед их с Осипом отъездом из Москвы 6 октября.

После нескольких дней в Ревеле, где Маяковский прочитал в советской миссии лекцию о “пролетарской поэзии”, они продолжили путешествие на корабле до Штеттина и далее поездом до Берлина, там их встретили Лили и Эльза. Все четверо поселились в “Курфюрстенотеле” на улице Курфюрстендам — в самом центре города, где в это время жили сотни тысяч русских эмигрантов.

Именно в кварталах вокруг Курфюрстендама жило так много русских, что молва его окрестила “Непским проспектом”; согласно популярному анекдоту, один несчастный немец повесился из-за того, что так ни разу и не услышал здесь родную речь. Тут находились русские рестораны и кафе, русские книжные лавки, русские школы, русские футбольные и теннисные клубы. Тут же располагались многочисленные русские книжные издательства и редакции ряда русскоязычных газет и журналов. Если политической столицей русской эмиграции был — и останется — Париж, то ее культурным центром с 1921 года являлся Берлин.

После установления дипломатических отношений между Советской Россией и Веймарской республикой русский Берлин наводнили литераторы и интеллектуалы, воспользовавшиеся вновь приобретенной — и относительной — свободой передвижения. После долгих лет лишений многие испытывали нужду в передышке. Одним из тех, кого привлекла вдохновляющая культурная среда Берлина, был Борис Пастернак, который в 1922–1923 годах провел в этом городе почти полгода, другим — Андрей Белый, проживавший здесь в 1921–1923 годах. В связи с тем, что Берлин превратился в культурную столицу русской эмиграции, из Парижа в Берлин переехала “Смена вех” — группа, ратовавшая за сближение между эмигрантами и советской властью, а вместе с группой и ее лидер — Алексей Толстой, который в 1924 году вернется в Советский Союз; в это же время из Парижа приехал Илья Эренбург.

Специфичной чертой русского Берлина 1921–1924 годов было именно интенсивное и плодотворное общение между писателями из Советского Союза и литераторами-эмигрантами. Петроградский Дом Искусств имел филиал в Берлине, встречи проходили по пятницам в кафе “Леон” на Ноллендорфплац. В дискуссиях и выступлениях принимали участие писатели и поэты: Борис Пастернак, Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Андрей Белый, Игорь Северянин, а также художники Александр Архипенко, Натан Альтман, Наум Габо, Эль Лисицкий и другие. Здесь выступали также выдающиеся русские философы и теологи. Уникальное политическое и культурное сосуществование стало возможным, с одной стороны, благодаря относительной

свободе слова и перемещений, воцарившейся на короткое время в Советском Союзе, а с другой — потому, что многие писатели по-прежнему сомневались в выборе будущего: эмиграция или большевистская Россия.

■ ВИТЯ И РОМА

Многие русские писатели эмигрировали, других в немецкую столицу привели иные, более запутанные дороги. К последним принадлежали Максим Горький, поселившийся в курортном местечке Бад-Зааров в окрестностях Берлина, и Виктор Шкловский, который не просто отказался признавать Октябрьскую революцию, но и боролся с большевиками с оружием в руках: был членом военной комиссии правых эсеров, командовал броневыми машинами, участвовал в подготовке антибольшевистского переворота и в разных диверсионных акциях. После провала заговора Шкловский ушел в подполье и одно время скрывался дома у Романа Якобсона. Однажды, когда Роману нужно было уйти, Шкловский спросил, что ему делать, если придут чекисты. “Если придут сюда, делай вид, что ты бумага, и шурши!” — гласила остроумная, но несколько опасная рекомендация Романа. В октябре 1918 года Шкловский убежал на Украину, но через несколько месяцев вернулся в Москву, решив сложить оружие.

“Нет победителей, но нужно мириться”, — написал он в феврале 1919 года в связи с политической амнистией эсеров. Однако через три года руководитель боевой организации эсеров Григорий Семенов издал в Берлине книгу, в которой изложил ранее неизвестные факты о террористической деятельности 1917–1918 годов; в списке активных террористов значился и Шкловский.

По инициативе председателя ЧК Феликса Дзержинского советское правительство еще в декабре 1921 года начало готовить процесс против эсеров. Поэтому сведения из книги Семенова стали манной небесной — но не новостью, поскольку автор уже работал на ЧК. Сам процесс явился результатом политического ужесточения, последовавшего за введением нэпа. Еще за неделю до выхода книги Ленин писал наркому юстиции, что нужно “усиле-

ние репрессии против политических врагов Соввласти” и что для этого надо устроить ряд процессов в Москве, Питере, Харькове и “других важнейших центрах”. Процессы должны быть “образцовыми, громкими, воспитательными”, поэтому надо воздействовать “на нарсудей и членов ревтрибуналов через партию”, чтобы научить их “*карать беспощадно, вплоть до расстрела, и быстро*”. 28 февраля было объявлено, что тридцать четыре руководителя правых эсеров будут преданы суду по обвинению в контрреволюционной деятельности, в частности террористических акциях против советского правительства.

Шкловский решил не испытывать судьбу и в середине марта ушел по льду в Финляндию, где после двухнедельного карантина в Келломяки поселился у дяди в поселке Райвола (Рошино). Оттуда он писал в Берлин Горькому: “Меня хотели арестовать, искали везде, я скрывался две недели и наконец убежал в Финляндию. Не знаю, как буду жить без родины. Во всяком случае, я пока избежал судьбы Гумилева”. Цена побега была, однако, высока: 22 марта в Петрограде арестовали его жену, сделав ее заложницей. В Райволе Шкловский продолжал работу над автобиографическим романом “Сентиментальное путешествие”, который будет завершен летом этого же года в Берлине, куда он отправился после Финляндии.

Если побег Виктора Шкловского из Советской России был авантюрой, то жизнь Романа Якобсона в Праге поначалу тоже не была лишена драматизма. Миссия Красного Креста, служившая первым представительством Советского Союза в Чехословакии, вскоре превратилась в место встречи для пражских левых, в связи с чем правая пресса заклеила ее, назвав гнездом большевизма. Это неудивительно, так как миссией руководил видный большевик доктор Соломон Гиллерсон, в прошлом активный деятель Бунда, Всеобщего еврейского рабочего союза. На новом месте работы Якобсон сразу же ощутил политический накал. Поскольку больше всего он хотел продолжить учебу, он попросил разрешения оставить миссию, и в сентябре 1920 года его просьбу удовлетворили. Однако он попал из огня да в полымя: одна газета усмотрела за его учеными амбициями попытку большевистского режима проникнуть в Карлов университет. 17 сентября Роман



■ Теоретик литературы и эсер Виктор Шкловский, каким его увидел Юрий Анненков в 1919 г.

писал Эльзе в Париж: “Не знаю, знаешь или нет, но сентябрь месяц мне здесь за кр. кр. сильно попадало. Газеты вопили об “удаве, захватывающем в цепкие объятия здешних профессоров” (это я) и т. п., профессора колебались, бандит ли я или ученый или противозаконная помесь, в кабаре пелись обо мне песенки, все это было мало-остроумно. Положение было сложно, но, кажется, моя судьба эквилибрировать в немыслимых ситуациях”. “Я ухватился за первую возможность безболезненно ликвидиро-

вать свою службу, — писал он одновременно в Ригу Григорию Винокуру. — Все-таки я филолог, а не чиновник”. В конце концов профессорский совет одобрил кандидатуру Якобсона, и он получил возможность писать докторскую работу в университете.

Трудности, с которыми сталкивался Якобсон в Праге, были результатом политического хаоса, воцарившегося в Европе и России после Первой мировой войны и сделавшего для многих жизнь неустойчивой и непредсказуемой. Лучше, чем это удалось Роману в первом письме к Эльзе от сентября 1920 года, положение описать нельзя:

Ведь не одну, десять жизней пережил каждый из нас за последние два года. Я к примеру был за последние годы — контрреволюционером, ученым и не из худых, ученым секретарем Зав. Отд Искусств Брика, дезертиром, картежником, незаменимым специалистом в топливном учреждении [в Москве], литератором, юмористом, репортером, дипломатом, на всех романических *emplois* и пр. и пр. Увещаю Тебя, авантюрный роман да и только. И так почти у каждого из нас.

Якобсон принадлежал к программно радикальному поколению. Отличительным признаком русского радикализма была ярко выраженная антибуржуазность в сочетании с сильным ощущением близости перемен: мир должен измениться единым махом, а не вследствие длительной и терпеливой работы. По этой причине мессианская версия марксизма — коммунизм — нашла наиболее благодатную почву именно в России. Кроме того, поколение, которое взрослело в эпоху Первой мировой войны, было непоколебимо уверено в том, что именно молодежь являлась — по выражению Якобсона — “законодательницей дня” и что для нее все возможно: “Мы себя не чувствовали начинающими. Казалось совершенно естественным, что мы, мальчишки в Московском лингвистическом кружке, ставим себе вопрос: “А как надо преобразовать лингвистику?” То же самое было во всех других областях”.

Одновременно Якобсону была присуща черта, которую сам он называл “решающей в [его] жизни”: умение занять пози-

цию стороннего наблюдателя. “Я могу выступить в любой роли, но все это только роли, — писал он. — Филология — роль, как все остальные, только любимая”. Он похож на человека, который наблюдает за шахматной партией, интересуясь игрой, а не результатом: “Смотришь с любопытством, сочувствуешь проигрывающему, радуешься ловкому шаху выигрывающего и продумываешь “ходы” и за белых и за черных. На минуту можешь даже подсесть к столу поиграть за одного из них. Вот мое отношение к сегодняшней политике”.

Именно из-за этого релятивизма — или, по определению Брика, “дипломатического таланта” — многие относились к Якобсону с подозрением. Он не занимался политикой, но был скомпрометирован близостью к Маяковскому и его кругу. В Праге он сразу стал искать контакты с представителями авангарда и в феврале 1921 года сообщал Маяковскому:

Сегодня в правительственной газете Тебя обругали матом. Самое мягкое из выражений было “сукин сын”. В левых кругах Твоя популярность растет. Первого мая в здешнем большом театре пойдет перевод Твоей Мистерии, шум вокруг этого представления будет страшный. Лучший здешний драматург Дворжак (ныне коммунист [sic]) о какой бы пьесе ни писал в пражской левой газете, неизменно констатирует, что по сравнению с Тобой это буржуазная гниль. <... > На днях в чешском фабричном центре Брно вечер Твоих произведений для рабочих.

Якобсон делал все возможное для популяризации нового русского искусства и литературы в Чехословакии. В частности, его усилиями был переведен на чешский фрагмент “150 000 000” (полностью поэма вышла в 1925 году) — и он так быстро осваивал язык, что уже через полгода после приезда в Прагу смог опубликовать стихотворение Хлебникова в собственном переводе. Несмотря на близкое личное знакомство с Маяковским, Якобсона больше интересовало творчество Хлебникова: в его формальных экспериментах Якобсон находил пищу для собственных идей о поэзии как — в первую очередь — языковой деятельности. Еще в Москве

он работал над изданием произведений Хлебникова и написал для этого предисловие, которое теперь в Праге вышло отдельной книгой на русском: “Новейшая русская поэзия. Набросок первый”.

Несмотря на занятия в Карловом университете, первое время Якобсон скучал по Москве. Отправляя в январе 1921 года свою книгу о Хлебникове Осипу в Москву, в сопроводительном письме он жалуется, что Чехословакия — “страна мелких лавочников, она мне страшно надоела, хотелось бы посмотреть хоть большего калибра, но вероятней поеду восвояси”. Мысль о возвращении домой появляется в нескольких письмах этого периода. Ему не хватает интеллектуального общения с Осипом и другими формалистами, чьи новаторские лингвистические и поэтические исследования на несколько лет опережали развитие этой научной области в других странах. Якобсон испытывал угрызения совести из-за того, что он покинул круг, который его воспитал. “Изменили ли я Москве, московским друзьям, Кружку?” — задает он риторический вопрос в письме к Винокуру зимой 1921 года и отвечает сам: “Нет, я вернусь. Возможно, возвращение сейчас после моего милого разговора с М. в Ревеле становилось для меня чрезвычайно опасным и независимо от отрыва со службой”. Тем не менее он надеется вернуться домой не позже весны 1922 года, “с новым научным капиталом” в багаже.

Независимо от того, кто такой “М.” и о чем в “милом” разговоре шла речь, жизнь Якобсона вскоре сделала новый поворот. Когда летом 1921 года в Прагу прибыл первый советский полпред, Якобсон получил работу в миссии, где, в частности, работал переводчиком. Одной из причин этого шага было его материальное положение — в этот период он был настолько беден, что ел, как он сообщил автору этих строк, иногда через день. Однако остался он в Праге, несмотря на то что служба в миссии отнимала драгоценное время у науки. Решение не возвращаться в Москву обуславливалось, с одной стороны, тем, что он быстро вошел в чешскую академическую жизнь, а с другой — усиливающимся политическим гнетом в России. Казнь Гумилева и бегство Шкловского были четкими сигналами того, что возвращение может быть действительно “чрезвычайно опасным”.

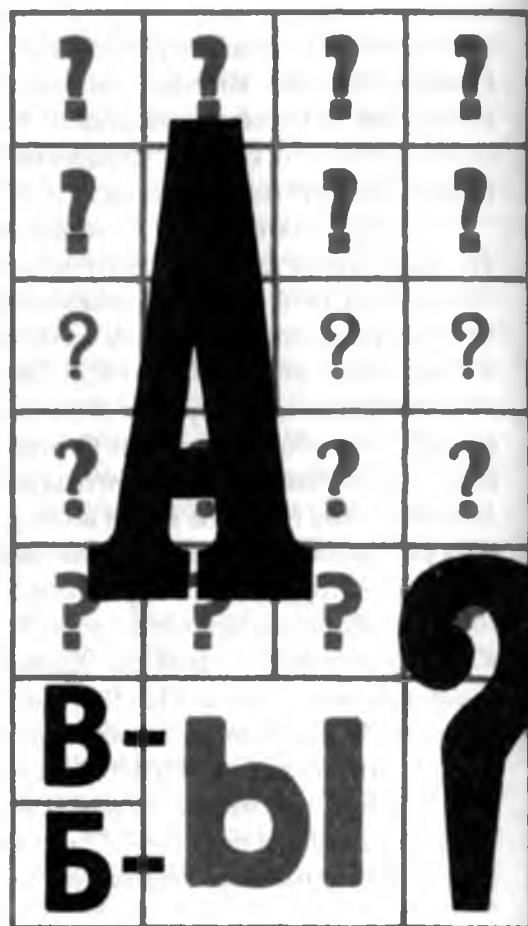
■ БЕРЛИН

Через несколько дней после прибытия в Берлин Маяковский и Брик приняли участие в открытии первой после революции выставки русского искусства на Западе, устроенной Наркомпросом в частной галерее *Van Diemen*. Кроме полотен традиционных художников, здесь впервые демонстрировались работы лучших представителей русского авангарда: Малевича, Татлина, Кандинского, Лисицкого, Шагала, Родченко и Бурлюка. Маяковский был представлен десятью плакатами РОСТА.

Не считая краткого пребывания в провинциальной Риге, это было первое заграничное путешествие Маяковского. Берлин произвел на него мрачное впечатление. Жизнь в городе кипела, но одновременно несла на себе отпечаток послевоенной нищеты и социальных волнений. Он был “догола, как маленький ребенок, обескуражен, растроган и восхищен живою огромностью города”, — сообщал Пастернак Сергею Боброву в Москву. В условиях стремительной инфляции, охватившей в эти годы Германию, даже советские граждане могли вести роскошную жизнь: Маяковский регулярно заказывал в цветочном магазине огромные букеты для Лили, которая в свою очередь купила шубу Рите Райт за сумму, соответствовавшую одному доллару. И хотя они питались только в лучших ресторанах, таких как “Хорхер”, Маяковский всегда заказывал огромные порции. “Ich fünf portion melone und fünf portion kompott, — произносил он на немецком, которому Рита пыталась обучать его летом. — Ich bin ein russischer dichter, bekannt im russischen land, мне меньше нельзя”. Он также часто брал сразу два пива, “für mich und mein Genie”³, что являлось, по словам Пастернака, характерным выражением его “несчастной дутости”.

“Я пять порций дыни и пять порций компота. Я русский писатель, известный в русской земле...”; “для меня и моего гения” (искаж. нем.).

- Следующий разворот. В книге “Два голоса” Эль Лисицкий хотел передать смысл и ритм стихов Маяковского графическими и типографскими средствами. Она оформлена как телефонная книжка, где буквы заменены графическими знаками и названиями стихов.



а вы могли бы ?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана.
Я показал на блюде студия
косые скулы океана.
На чешус жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб ?

а вы
?

КАДЕТ



КУМА



ЛЮБОВЬ



ЛОШАДЯМ



СОЛНЦЕ



В Берлине Маяковский и Осип принимали участие в нескольких дискуссионных вечерах и поэтических чтениях, в том числе в кафе “Леон”, и Осип сделал два доклада о Баухаусе. Кроме того, Маяковский был занят различными издательскими проектами. Он подписал договор на поэтический сборник с просоветским издательством “Накануне” и напечатал на частные средства книгу “Для голоса” — один из наиболее успешных примеров графического искусства русского конструктивизма. В нее вошли стихи, написанные для чтения вслух, и строки оформителем Эль Лисицким были типографски разбиты таким образом, чтобы читатель мог зрительно воспринимать ритм и интонацию.

Маяковский и Осип тесно общались и с представителями немецкого политического и художественного авангарда, в частности с Георгом Гроссом. От Гросса Маяковский получил графическую папку “Ессе homo”, изданную коммунистическим издательством “Малик”. Издательство основал и возглавлял Виланд Герцфельде, брат фотографа и художника-коллажиста Джона Хартфильда, двумя годами ранее оформившего немецкое издание “150 000 000”. Гросс и Хартфильд принадлежали к левым художникам — их творчество Брик и Маяковский будут пропагандировать по возвращении в Москву.

Лили, которая больше месяца вела в Лондоне беспечную и самостоятельную жизнь, быстро устала от Маяковского, от его ревности и от необходимости постоянно ему переводить. С Осипом, бегло говорившим на немецком и знавшим культуру страны, все обстояло иначе. По словам Лили, “он очень отличался от Маяковского”, который вместо того, чтобы знакомиться со столицей, большей частью играл в карты в гостиничном номере. Это было типично для Маяковского — по сути, он был более или менее равнодушен ко всему, что не касалось его лично или его работы. Культура, архитектура, история страны его интересовали только в той мере, в какой он мог использовать их в своем творчестве.

■ За день до отъезда Маяковского в Париж Лили получила от него этот фотопортрет с дарственной надписью: “Для любимого киска рыжего / через две недели увижу его”.



Фил мобильного Кисика размером
через две недели убиты его



17/10/2021

Пока Эльза и Лили целые дни проводили в музеях, магазинах и танцевали, Маяковский коротал время за ломберным столом. “Мечтала, как мы будем вместе осматривать чудеса искусства и техники, — вспоминала Лили. — Но посмотреть удалось мало. Подвернулся карточный партнер, русский, и Маяковский дни и ночи сидел в номере гостиницы и играл с ним в покер”. Лили это надоело, как и Эльзе, которую его вечная игра раздражала не меньше:

С Володей мы не ладили с самого начала, чуждались друг друга, не разговаривали. В гостинице, в его комнате, шел картеж. Володя был азартнейшим игроком, он играл постоянно и во что угодно, в карты, в ма-джонг, на бильярде, в придумываемые им игры. До Берлина я знала Володю только таким, каким он был у меня, да еще стихотворным, я знала его очень близко, ничего о нем не зная. <...> В Берлине я в первый раз жила с ним рядом, изо дня в день, и постоянные карты меня необычайно раздражали, так как я сама ни во что не играю и при одном виде карт начинаю мучительно скучать. Скоро я сняла две меблированные комнаты и выехала из гостиницы. На новоселье ко мне собралось много народа. Володя пришел с картами. Я попросила его не начинать игры. Володя хмуро и злобно ответил что-то о негостеприимстве. Слово за слово... Володя ушел, поклявшись, что это навсегда, и расстроив весь вечер. Какой же он был тяжелый, тяжелый человек!

Таким образом, отношения Маяковского и с Лили и с Эльзой были напряжены до предела. Поэтому, когда приехавший в Берлин Сергей Дягилев пригласил Маяковского в Париж, пообещав помочь с визой, Маяковский без промедления согласился. В конце ноября он провел неделю в Париже, где встретился со своими старыми друзьями художниками Михаилом Ларионовым и Натальей Гончаровой, а также познакомился с Игорем Стравинским, Пикассо, Леже, Браком, Робером Делоне и Жаном Кокто. Он присутствовал и на похоронах Марселя Пруста. Париж нравился ему больше, чем Берлин, — это подтверждается тем, что о французской столице

Маяковский написал четыре длинных — пусть поверхностных — статьи для “Известий” и даже небольшую книгу, “Семидневный смотр французской живописи” (вышедшую, однако, только после его смерти). Берлину же посвящались только два коротких отчета, один из них — о русской выставке в галерее *Van Diemen*. Контраст разителен. По-видимому, не только Лили вздохнула с облегчением, избавившись от требовательного присутствия Маяковского; скрывшись от ее бдительных глаз, он тоже почувствовал себя более свободным и самостоятельным.

■ ЗВЕРИНЕЦ

Эльзу раздражала маниакальная страсть Маяковского к картам, но не только это действовало ей на нервы. Расставшись с Андре, она ничего не могла сказать о своем будущем. Где? С кем? Судя по всему, она, как и прежде, была равнодушна к Маяковскому, и их встреча всколыхнула старые воспоминания. Выбрав Лили, а не ее, он стал одной из причин ее отъезда из России. Ситуация осложнялась и тем, что в Берлине за ней настойчиво ухаживали двое других мужчин — Роман Якобсон и Виктор Шкловский.

Едва приехав из Финляндии в Берлин, Шкловский возобновил контакты с Якобсоном: “Он присылает мне одну телеграмму утром и одну вечером, — писал Шкловский Горькому в сентябре 1922 года. — Я его люблю как любовница”. Еще мальчиками занявшиеся исследованиями поэтического языка, основавшие формализм в литературоведении, Якобсон и Шкловский уже несколько лет жили в условиях интеллектуального голода. Каждый из них был нужен другому как стимул, и теперь, снова встретившись, они не хотели терять ни дня. При первой возможности Шкловский уехал к Якобсону в Прагу.

Через месяц после визита Шкловского в Прагу Якобсон приехал в Берлин. Поезд из Праги до Берлина шел всего восемь часов, но Якобсон, судя по всему, бывал в Берлине редко, несмотря на то что там жили родители и брат. “Роман кутит так, что даже жутко”, — писал Шкловский Горькому. Якобсону было двадцать шесть лет, два года он прожил в Праге. Но он был несчастным и пил, что, однако, не влияло на его интеллект и работоспособность:

Роман был розовым, голубоглазым, один глаз косил; много пил, но сохранял ясную голову, только после десятой рюмки застегивал пиджак не на ту пуговицу. Меня он поразил тем, что все знал — и построение стиха Хлебникова, и старую чешскую литературу, и Рембо, и козни Керзона или Макдональда. Иногда он фантазировал, но если бы кто-либо пытался уличить его в неточности, улыбаясь ответил: “Это было с моей стороны рабочей гипотезой”.

В октябре 1922 года Яacobсон поехал в Берлин, чтобы встретиться с Маяковским, Осипом и Лили, которых не видел с мая 1920-го, — и с Эльзой, с которой встречался в последний раз летом 1918-го.

Одной из причин, заставлявших Яacobсона пить, была его неугасимая любовь к Эльзе. Еще до отъезда из Москвы Лили предупредила: он не должен забывать, что Эльза замужем. Но Роман не послушался и бомбардировал Эльзу объяснениями в любви, умоляя ее переехать к нему в Прагу. “Жду тебя как четыре без недели года назад, — писал он в декабре 1920 года, напоминая о своем сватовстве в 1916-м. — Что я тогда предлагал, остается в силе во всех подробностях”. Но Эльза, судя по всему, колебалась (ее письма не сохранились), и в 1922 году Яacobсон женился на Соне Фельдман, двадцатитрехлетней студентке русского происхождения, с которой он познакомился в Праге, где она изучала медицину. Однако брак не мешал ему по-прежнему ухаживать за Эльзой. “Мне никогда не убедить ни Тебя, ни себя, ни Соню, что я ее так же люблю, как Тебя, — писал он ей в январе 1923 года. — Когда я в Москве дневал у тебя, я забыл адрес университета. Поэтому моя филологическая школа — Пятницкая Голиковский пер. [где жила Эльза. — Б.Я.]. Я Тобою шлифован, Эльза”. О том, что настойчивое ухаживание Романа не оставило Эльзу равнодушной, свидетельствует дневниковая запись, сделанная ею вскоре после получения письма: “Кажется, Ромик все-таки смог бы снова вернуть мне жизнь”.

Охваченный этими чувствами, Роман встретился с Эльзой в Берлине в октябре 1922 года, после четырехлетней разлуки. К своему разочарованию, он смог убедиться, что в Эльзу влюблен не он один. Ухаживавший за Эльзой еще в России Виктор Шкловский в Берлине страстно влюбился в нее. Он был беден, носил



- После возвращения в Париж с Таити в 1921 г. Эльза сделала серию своих портретов, один из которых представлен здесь.

единственную манишку, которую стирал каждый вечер и “гладил”, закрепляя мокрой на гостиничном зеркале, — чтобы сэкономить деньги на цветы Эльзе. Каждое утро, когда она выходила из комнаты в пансионе, на ее туфлях, выставленных для чистильщика, лежал новый букет.

Если Роману было трудно признать, что у него есть соперник, ему еще труднее было мириться с мыслью, что из своей — тоже безответной — любви Шкловский делает литературу. “Надоело, что Витя хочет нас с тобой инсценировать, а себе взять на драму корреспондентский билет, если не удастся заделаться актером на вторые роли”, — писал Роман Эльзе в январе 1923 года. Он имел в виду книгу, над которой работал Шкловский и которая выйдет в Берлине летом 1923 года: “Zoo, или Письма не о любви” — эпистолярный роман о неразделенных чувствах. Книга глубоко автобиографична. Шкловский — Шкловский, женщина, которой он пишет, Аля, — Эльза, а третий участник треугольника, имя которого не упоминается, — Роман.

Книга представляет собой пеструю смесь человеческих портретов, литературоведческих рассуждений, городских описаний и пр. Но все это лишь метафоры его любви к Але, о которой он запретил себе писать. Метафоризация абсолютна; Аля — тоже метафора, реализованная метафора: это буржуазная Европа и ее цивилизация, чьими символами служат хорошие манеры за столом и отутюженные брюки — в то время как сам автор гладит брюки, положив их на ночь под матрац.

В этом отношении “Zoo” — книга, сконструированная в полном соответствии с правилами формализма. По этим правилам для создания литературного произведения биографические факты имеют второстепенное значение. Но именно этому принципу книга Шкловского стала красноречивым опровержением: без всепоглощающей страсти к Эльзе она не была бы написана. Запрет писать о любви явился не просто литературным приемом, а на редкость удачным примером вытеснения. “Посвящаю Эльзе Триоле и даю книге имя Третья Элоиза” — так звучало посвящение на титуле. Элоиза — анаграмма имени любимой, но, в отличие от первой Элоизы — Абеляра — и второй — Руссо, “новая” Элоиза даже не была влюблена в автора писем.

Отправляя в феврале 1923 года несколько глав книги Горькому для публикации в его журнале, Шкловский извинялся за скандал, учиненный им во время публичного выступления, утверждая, что был болен: “У меня температура была 82,61”. Это был номер телефона Эльзы. “Одним словом, — продолжал Шкловский, — я влюблен, очень в любви несчастен, и как вылезу из этой истории, не знаю”.

Сдержанные отклики Али тоже не являются литературной конструкцией: это настоящие письма, написанные Эльзой, которая не разделяла любви Шкловского, чье навязчивое ухаживание ее, наоборот, очень раздражало. Что бы она ни думала по поводу того, что ее личные письма стали общественным достоянием, их публикация изменила ее жизнь. Когда Горький узнал, что письма не придуманы, а написаны самой Эльзой, он посоветовал ей заняться литературной работой — это она и сделала. “Я вызвал ее к жизни и, клянусь своей честью и нюхом, который меня не обманул ни разу, она очень талантлива”, — писал Шкловский Горькому. Но когда первая книга Эльзы “На Таити” вышла в Москве в 1925 году, она, как оказалось, вспоминала в ней не о Шкловском, а о Якобсоне, выбрав в качестве эпиграфа шуточное стихотворение последнего: “Не могу того таити, / Что люблю тебя сердешно. / Коль уедешь на Таити, / Буду плакать безутешно”.

Якобсон был возмущен тем, что Шкловский сделал свои и его чувства к Эльзе достоянием публики. “Я не хочу писать письма Тебе для издателя, как делают это знакомые. Ты мне не литературный мотив и не поэтическая героиня”, — иронизировал он в письме к Эльзе. Но выходка Шкловского его вряд ли удивила, поскольку в январе 1922 года тот опубликовал в московском журнале “Книжный угол” открытое “Письмо Роману Якобсону”, в котором с учетом нэповских реформ призывал Якобсона вернуться в Россию:

Возвращайся.

Без тебя в нашем зверинце не хватает хорошего
веселого зверя. <...>

Возвращайся.

Ты увидишь, сколько сделали мы все вместе, — я говорю только про нас, филологов. Я все расскажу тебе, стоя в длинной очереди Дома ученых. Времени разговаривать будет много.

Мы поставим тебе печку.

Возвращайся.

Началось новое время, и каждый должен хорошо обрабатывать свой сад.

Лучше чинить свою дырявую кровлю, чем жить под чужой.

Якобсон не вернулся, наверно, еще и потому, что бегство Шкловского из России через два месяца после публикации письма продемонстрировало цену его оптимизма. Когда в 1923 году, одновременно с публикацией “Zoo”, Якобсон в Берлине напечатал книгу “О чешском стихе, преимущественно в сопоставлении с русским”, он снабдил ее типографским посвящением “В.Б. Шкловскому (вместо ответа на его письмо в “Книжном угле)””. Сигнал был ясен: и под чужой кровлей можно работать, причем работать хорошо. К этому времени Шкловский уже решил вернуться в Петроград, где в заложницах оставалась его жена. Последнее письмо в “Zoo” — обращение во ВЦИК с просьбой разрешить вернуться домой.

“Витя странный человек, — иронизировал Брик. — Он не научился грамматике — он не знает, что есть слова неодушевленного рода, и что ВЦИК имя неодушевленное. У неодушевленных предметов чувства юмора нет, так что с ВЦИКом шутить нельзя”. Но Центральный исполнительный комитет оказался исключением из грамматического правила, и в октябре 1923 года Шкловский смог воссоединиться с женой в Петрограде.

■ БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ГУМАНИЗМ

Визит Маяковского и выставка современного русского искусства, несомненно, вызывали интерес в русских кругах Берлина, но главной темой разговоров осенью 1922 года стало другое событие: высылка из Советского Союза более ста шестидесяти



Тов. Ленин ОЧИЩАЕТ землю от нечисти.

- На этом плакате 1920 г. Ленин очищает землю от "нечисти" в виде капиталистов, священников и пр. Через два года придет черед новой категории: ученых и писателей.

философов, писателей, историков, экономистов, юристов, математиков и других представителей интеллигенции. Идея принадлежала Ленину, а реализовала ее ЧК, при которой в мае была создана специальная комиссия для сбора информации об “антисоветских элементах”. Недовольный темпами работы Ленин в июле написал Сталину, что “надо бы несколько сот подобных господ выслать за границу безжалостно. Очистим Россию надолго”.

Эта беспрецедентная в мировой истории мера была очередным шагом сознательной политики Ленина и правительства, направленной на ликвидацию любой политической оппозиции еще до момента ее возникновения. По бесстыдному определению Троцкого, она была выражением “гуманизма по-большевистски”. Согласно военному комиссару, “элементы”, подлежащие высылке, не играли никакой политической роли, однако в случае новых военных действий могли бы стать оружием в руках врага: “И мы будем вынуждены расстрелять их по законам войны. Вот почему мы предпочитаем сейчас, в спокойный период, выслать их заблаговременно”.

В конце сентября две группы были отправлены поездом в Ригу и Берлин. Вскоре после этого тридцать человек с семьями были посажены на корабль до Штеттина, в их числе философы Николай Бердяев, Семен Франк, Сергей Трубецкой и Иван Ильин. На другом корабле, который ушел в ноябре, находились семнадцать человек с семьями, среди них — два других выдающихся философа, Лев Карсавин и Николай Лосский. Поскольку русских мыслителей высылали *in corpore*, корабли получили название “философских”, хотя среди ссыльных были и представители других профессий, в частности писатели. Официально срок ссылки ограничивался тремя годами, но в устной форме ссыльным сообщили, что она навсегда.

Единым махом Ленин освободил Россию от интеллектуальной элиты. Учитывая, что многие нежелательные “элементы” в эти годы эмигрировали “добровольно”, итог был впечатляющим. Через пять лет после революции Россия лишилась не только самых выдающихся философов и ученых, но и лучших писателей, таких как Иван Бунин, Максим Горький, Александр Куприн, Алексей

Ремизов, Дмитрий Мережковский, Борис Зайцев — и будущий мастер Владимир Набоков. Человека, считавшего, что интеллигенция — “говно”, результаты “очистительных” мер должны были удовлетворить.

Что касается поэзии, картина была менее однозначна: Марина Цветаева, Константин Бальмонт, Игорь Северянин, Зинаида Гиппиус, Владислав Ходасевич эмигрировали; Пастернак и Белый позволяли себе краткосрочные передышки в Берлине, но в России, помимо Маяковского, оставались такие крупные поэты, как Осип Мандельштам, Борис Пастернак, Анна Ахматова, Николай Клюев и Сергей Есенин.

Из перечисленных только Маяковский искренне поддерживал революцию. Какова была его реакция на выдворение русской интеллектуальной элиты в Берлин в то время, когда он сам находился в городе? Мы не знаем — в своих репортажах он ни словом не упоминает об этой беспрецедентной мере. Пусть в идеологическом плане у Маяковского не было ничего общего со ссыльными, но среди них ведь присутствовали писатели, его коллеги... Однако, находясь по другую сторону баррикад, он, скорее всего, рассматривал высылку как нечто, необходимое для успеха революции. Тем не менее сам факт, что такой писатель, как Маяковский — равно как и другие советские писатели, — не протестовал и даже не высказывался по поводу того, что правительство сочло возможным выслать из страны цвет интеллигенции, свидетельствует о моральной девальвации, имевшей место в большевистской России. В царское время подобная акция властей вызвала бы громкие протесты.

Молчание свидетельствует о страхе, нагнетаемом большевиками в среде интеллигенции и у населения в целом, — результат успешной работы ЧК. Для того, кто решил встать на сторону революции, естественно было поддерживать или, по крайней мере, терпеть деятельность ЧК. Маяковский не был ни членом партии, ни чекистом, но в стихотворении, написанном в сентябре 1922 года, он впервые славит ЧК — уже переименованную в ГПУ — как оружие общества в борьбе со спекуляцией. “...Для нас тогда чекисты были — святые люди!” — прокомментировала Лили впоследствии.

К этому времени о том, что Брик служит в ГПУ, знали и в России, и среди эмигрантов. В марте 1922 года берлинская газета “Голос России” сообщала, что “о Брике говорят, что он попал в Чека из-за нежелания ехать на фронт; записавшись в коммунисты, он должен был выбрать фронт или Чека — предпочел последнюю”. Независимо от достоверности этих сведений заметка (через несколько дней перепечатанная в русской парижской газете) свидетельствует о том, что в 1922 году о деятельности Осипа в органах безопасности было широко известно.

В чем бы ни заключались его служебные обязанности, Осип — когда мог и хотел — использовал свое влияние для защиты лиц, оказавшихся в поле зрения ГПУ. Как уже упоминалось, он сыграл какую-то роль в деле Пунина летом 1921 года, и в том же году он помог родителям и сестре Пастернака получить заграничные паспорта. В письме из Риги осенью 1921 года Лили просила Осипа разузнать в ЧК о человеке, которого забрали, — подразумевается, для того, чтобы помочь его освободить. Свояченица Брюсова Бронислава Рунт, друга которой арестовали и которая знала, что у Маяковского есть знакомый, способный помочь, рассказывала о своем визите в Водопьяный переулок:

— Дорогая, — обратился к ней Маяковский, — тут такое дело... Только Ося может помочь...

— Сейчас позову его...

Во всем ее существовании была сплошная радостная готовность услужить, легкая, веселая благожелательность. <...>

Пришлось снова рассказать свою печальную историю и повторить просьбу.

С большим достоинством, без малейшего унижения или заискивания, Маяковский прибавил от себя:

— Очень прошу, Ося, сделай, что возможно.

А дама, ласково обратившись ко мне, ободряюще сказала:

— Не беспокойтесь. Муж даст распоряжение, чтобы Вашего знакомого освободили.

Б-к, не поднимаясь с кресла, снял телефонную трубку...

Рассказ страшен по двум причинам: с одной стороны, подтверждением, что судьбу человека решал случай или наличие нужных связей; с другой стороны — естественностью, с которой Маяковский и Лили относились к ситуации, — работа Брика в ЧК не была предметом стыда.

Для человека, проживающего вне Советского Союза, такое снисходительное отношение к деятельности ЧК было менее естественным. В Берлине Якобсона шокировали рассказы Осипа о тех “довольно кровавых эпизодах”, которым он был свидетелем в ЧК. “Вот учреждение, где человек теряет сентиментальность”, — подытожил Осип. По словам Якобсона, Брик тогда впервые произвел на него “отталкивающее впечатление”: “Работа в Чека его очень испортила”. Учитывая бесстрастный характер Брика, можно предположить, что эпизоды, заставившие его потерять сентиментальность, были действительно “довольно кровавыми”.

■ УДОСТОВЕРЕНИЕ 15073

Работа в ЧК открывала почти все двери. Оформляя заграничный паспорт перед поездкой в Берлин, в списке “предъявленных документов” Осип указал удостоверение сотрудника ГПУ за номером 24541. Однако то, что в том же контексте фигурировало также имя Лили, не было известно ни Якобсону, ни другим, — это всплыло только в 1990-е годы. Когда в июле 1922-го она подала заявление на получение заграничного паспорта, чтобы отправиться в Англию, в соответствующем пункте она сообщила номер своего удостоверения сотрудника ГПУ (15073). Это не обязательно означает, что она работала в ГПУ. Удостоверение было выдано за пять дней до поездки, видимо, для того, чтобы ускорить бюрократическую процедуру. Но кто его выдал? Времена еще были довольно аскетические, поэтому маловероятно, чтобы Осип решился на подобное кумовство. Кто тот высокопоставленный чиновник, который рискнул выписать удостоверение, которое не отражало реальное положение вещей? Или все же отражало? Выполняла ли Лили какие-либо задания для ГПУ?

Вопросы могут показаться провокационными, но, с учетом обстоятельств первой поездки Лили в Ригу, они не лишены

основания. Когда в октябре 1921 года Лили отправилась в Ригу, она ехала в одном поезде с молодым человеком, сотрудником Наркоминдела, чьи услуги будут ей весьма полезны: Лев Эльберт, постоянно перемещавшийся между Ригой и Москвой, заодно служил курьером для Лили и ее московских “звериков”. Но его служба в Наркоминделе была лишь прикрытием, на самом деле Эльберт работал в иностранном отделе ЧК: благодаря своему географическому положению Латвия служила важной базой для операций ЧК в Западной Европе. Случайно ли они оказались в одном поезде? Как многие пламенные большевики, Эльберт был молод — всего двадцать три года. Он был родом из Одессы, и это была его первая заграничная командировка; разумеется, он ничего не знал о Риге — в отличие от Лили, у которой там жили родственники. Учитывая место работы Осипа, вполне возможно допустить, что об истинной цели поездки Эльберта тот знал, — но знала ли о ней Лили? Может быть, они даже сотрудничали? Или он использовал Лили для того, чтобы получить пропуск в те круги, в которых она вращалась (и в которых вращались русские эмигранты)?

Ответов на эти вопросы нет, но задать их необходимо — в особенности потому, что человек, которого за его привычку “цедить слова” звали Снобом, в конце двадцатых годов, войдет в компанию гэнэушников, которыми окружают себя Маяковский и Брики.

■ РАСПУТЬЕ

После Берлина дороги действующих лиц разошлись. Эльза осталась в городе, погрузившись в литературное творчество, которое со временем станет и обширным и, частично, успешным. Роман не отозвался на призывы Шкловского вернуться в Москву, вероятно, под влиянием рассказа Осипа о “кровавых эпизодах” и высылки интеллигенции; он остался в Праге. Шкловский, не прижившийся на Западе, в частности, потому, что не знал языков, следующей осенью вернулся в Советский Союз, несмотря на то что понимал — как он писал Горькому, — что ему “придется лгать” и что он не ждет “ничего хорошего”; оба опасения были оправданны. Для Бриков и Маяковского направление было пре-

допределено: назад в Москву, к борьбе за футуризм, под которым к этому времени подразумевались главным образом конструктивизм и производственное искусство.

Прямым или косвенным следствием встреч в Берлине стали четыре книги, каждая с сильными автобиографическими элементами. Шкловский написал “Zoo” — о себе, Эльзе и Якобсоне; последний в свою очередь посвятил Шкловскому свое исследование чешской поэзии; Эльза написала автобиографическую прозу “Земляничка”, где главными персонажами были она и Роман, а Маяковский сочинил поэму, которая станет кульминацией его лирического творчества и одновременно началом конца его отношений с Лили.

ПРО ЭТО



МАЯКОВСКИЙ

Встряхивают революции царств тельца,
меняет погонщиков человеческий табун,
но тебя,
некоронованного сердец владельца,
ни один не трогает бунт!

■ Маяковский. *Человек*

По возвращении в Москву в декабре 1922 года Маяковский и Осип отчитывались в Институте художественной культуры (Инхук) о своих берлинских впечатлениях и показывали оригиналы и репродукции Пикассо, Леже, Гросса и других французских и немецких художников. Интерес к рассказам Маяковского о первых поездках за границу был огромен. 24 декабря “Известия” опубликовали его репортаж “Париж (Записки Людогуса)”, а через три дня — “Осенний салон”. На лекциях Маяковского “Что делает Берлин?” и “Что делает Париж?” в Политехническом музее порядок поддерживала конная милиция. В битком набитом зале царил полный хаос, на каждом стуле сидели по двое, публика перекрывала проходы, на краю эстрады сидели молодые люди, болтая ногами.

Лили тоже находилась на сцене, за трибуной, где размещались стулья для друзей и знакомых. В зале царила атмосфера ожидания, но когда Маяковский под гром аплодисментов стал рассказывать о Берлине, Лили возмутилась: по ее мнению, вместо того, чтобы говорить о собственных впечатлениях, он повторил то, что слышал от других; она ведь знала, что большую часть времени Маяковский провел в ресторане или гостиничном номере

■ Обложка Александра Родченко к книге “Про это”.

за игрой в покер. “Сначала я слушала, недоумевая и огорчаясь. Потом стала прерывать его обидными, но, казалось мне, справедливыми замечаниями”. Маяковский испуганно косился в сторону Лили, а комсомольцы, сидящие у ног выступающего и жадно ловившие все, что он говорил, возмущенно, но безуспешно пытались заставить ее замолчать.

Разразился скандал. В перерыве Маяковский не сказал Лили ни слова, а организатор мероприятия Федор Долидзе делал все возможное, чтобы успокоить и удержать Лили от дальнейших комментариев. Она ничего не желала слушать, и Долидзе устроил так, что на второе отделение она осталась в артистической ложе.

“Дома никак не могла уснуть от волнения”, — вспоминала Лили, принявшая сильную дозу успокоительного и проспавшая на следующий день до обеда. Вечером появился Маяковский, и на вопрос, придет ли она на его доклад о Париже, Лили сказала “нет”. “Что ж, не выступать?” — “Как хочешь”, — прозвучало в ответ.

Зная, что о Париже он может рассказать больше, чем о Берлине, Маяковский доклад не отменил, а из критики Лили сделал выводы: если репортаж из Парижа публиковался на видном месте в “Известиях”, то статья “Сегодняшний Берлин” вошла в материал, который отдел печати при Агитпропе ЦК РКП(б) отправил в провинциальную прессу.

Когда Маяковский 27 декабря читал свой доклад о Париже, Лили осталась дома. На следующее утро между ними произошел долгий и трудный разговор. Навестившая их в то утро Рита заметила, что и у Лили и у Маяковского были красные глаза. “Длинный у нас был разговор, молодой, тяжкий, — вспоминала Лили. — Оба мы плакали”. В итоге она его прогнала.

В письме к Эльзе Лили оправдывала свое решение тем, что ей “опостылела” его игра в карты. В Берлине игральные эксцессы поэта действительно раздражали обеих, но аргумент странный, поскольку и Лили и Осип были страстными картежниками: они играли каждый вечер, часто ночи напролет. Почему ее внезапно стала возмущать страсть Маяковского к игре? Другим аргументом, изложенным Эльзе, было то, что он слишком много занимался “халтурой”. Что именно под этим подразумевалось, не ясно, но скорее всего она имела в виду агитстихи и политические плакаты,

которые — поразумевалось — мешали ему писать любовную лирику, посвященную — подразумевалось — ей. Судя по другим источникам, Лили считала, что Маяковский слишком много пил.

Впоследствии, объясняя причины конфликта, Лили подчеркнет его идеологическую сторону. Конфликт был вызван, писала она, общим ощущением, что жизнь застыла и что надо пересмотреть свое отношение ко всему. Любовь, искусство, революция — все превратилось в привычку. Они привыкли друг к другу, привыкли к тому, что одеты-обуты и в определенный час пьют чай с вареньем. Иными словами, они обуржуазились. Но ведь в “обуржуазивании” Маяковского был виноват не кто иной, как Лили! Именно она превратила молодого оборванца в английского щеголя, она покупала ему рубашки, галстуки и костюмные ткани в Риге, Берлине и Лондоне. Это он перенял ее привычки, а не наоборот. Однако в период нэпа был поставлен ребром вопрос: как радикально настроенному человеку, коммунисту следует относиться к этому гибриду капитализма и социализма? Однажды Лили пригласила Риту в недавно открывшийся частный ресторан, который был знаменит своим прекрасным фарфором. “Все-таки красиво, правда? — прокомментировала Лили, добавив: — Конечно, я бы не стала собирать...” Нет, для круга Маяковского коллекционирование царского фарфора было немыслимо, дизайн должен был быть простым и функциональным.

На самом деле все эти объяснения — и в письме к Эльзе, и более поздние, в воспоминаниях, — были поэтизацией конфликта, имевшего гораздо более глубокие корни, а именно: несовместимые взгляды на любовь и ревность. Маяковский считал, что если Лили действительно любит его, она должна принадлежать только ему, но такую точку зрения она не могла разделить. Для нее ревность была устаревшим чувством, которое ограничивало естественную для современного человека эротическую свободу. Они часто ссорились по этому поводу, и теперь конфликт достиг кульминации.

Лили прогоняла Маяковского и раньше, но никогда так драматично — и с такими драматическими последствиями, — как в этот раз. Едва оказавшись на улице, Маяковский зашел в кафе и написал Лили длинное письмо.

Лилек

Я вижу ты решила твердо. Я знаю что мое приставание к тебе для тебя боль. Но Лилик слишком страшно то что случилось сегодня со мной чтоб я не ухватился за последнюю соломинку за письмо.

Так тяжело мне не было никогда — я должно быть действительно черезчур вырос. Раньше прогоняемый тобою я верил во встречу. Теперь я чувствую что меня совсем отодрали от жизни что больше ничего и никогда не будет. Жизни без тебя нет. Я это всегда говорил всегда знал теперь я это чувствую чувствую всем своим существом, все о чем я думал с удовольствием сейчас не имеет никакой цены — отвратительно.

Я не грожу и не вымогаю прощения. Я ничего с собой не сделаю — мне через чур страшно за маму и люду с того дня мысль о Люде как то не отходит от меня. Тоже сентиментальная взрослость. Я ничего не могу тебе обещать. Я знаю нет такого обещания в которое ты бы поверила. Я знаю нет такого способа видеть тебя, мириться который не заставил бы тебя мучиться.

И все таки я не в состоянии не писать не просить тебя простить меня за все.

Если ты принимала решение с тяжестью с борьбой, если ты хочешь попробовать последнее ты простишь ты ответишь.

Но если ты даже не ответишь ты одна моя мысль как любил я тебя семь лет назад так люблю и сию секунду что б ты ни захотела, что б ты ни велела я сделаю сейчас же сделаю с восторгом. Как ужасно расставаться если знаешь что любишь и в расставании сам виноват.

Я сижу в кафэ и реву надо мной смеются продавщицы. Страшно думать что вся моя жизнь дальше будет такою.

Я пишу только о себе а не о тебе. Мне страшно думать что ты спокойна и что с каждой секундой ты дальше от меня и еще несколько их и я забыт совсем.

Если ты почувствуешь от этого письма что нибудь кроме боли и отвращения ответь ради христа ответь *сейчас*

же я бегу домой я буду ждать. Если нет страшное страшное горе. (30–32)

Целую. Твой весь

Я

Сейчас 10 если до 11 не ответишь буду знать ждать нечего.

Получив с посыльным это письмо, Лили либо набрала номер Маяковского — 30–32, либо как-то иначе сообщила ему, что “есть чего ждать”. Из другого письма, написанного в тот же день, явствует, что Лили — вероятно, под воздействием скрытой угрозы самоубийства — заменила разрыв двухмесячным разводом:

Я буду честен до мелочей 2 месяца. Людей измерять буду по отношению ко мне за эти два месяца. Мозг говорит мне что делать такое с человеком нельзя. При всех условиях моей жизни если бы такое случилось с Лиличкой я б прекратил это в тот же день. Если Лилик меня любит она (я это чувствую всем сердцем) прекратит это или как то облегчит. Это должна почувствовать, должна понять. Я буду у Лилика 2 ½ часа дня 28 февраля. Если хотя б за час до срока Лилик ничего не сделает я буду знать что я любящий идиот и для Лилика испытываемый кролик.

Договоренность заключалась в следующем: Маяковский обещал два месяца “добровольно” (по его собственному определению) оставаться в своей рабочей комнате в Лубянском проезде, не играть в карты, не ходить в гости и не видаться с Лили — взамен на ее обещание пересмотреть решение о разрыве, если двухмесячное “сидение” даст желаемый результат. Маяковскому следовало использовать это время для того, чтобы подумать, как он должен “изменить свой характер”. Хотя Лили тоже была “не святая”: по ее собственному признанию, любила “чай пить”, — но для себя она условий не ставила. Лили была всего лишь обычным человеком, а Маяковский — революционным поэтом и, следовательно, должен вести образцовую жизнь.



- Окна квартиры в Водопьяном переулке, куда Маяковский приходил тайком в надежде увидеть хотя бы силуэт Лили:
 "... и угол вон, / за ним / она — виновница. / Прикрывши окна
 ладонью угла, / стекло за стеклом вытягивал с краю. /
 Вся жизнь / на карты окон легла. / Очко стекла — / и я проиграю".

Несмотря на то что Лили запретила Маяковскому писать ей, кроме случаев, когда "очень нужно", сохранилось довольно много писем и записок периода двухмесячной разлуки. Изредка Лили отвечала ему краткими записками. Маяковский свои письма передавал через домработницу Аннушку, а иногда через Осипа и Асеева. Изредка, когда было "очень нужно", он звонил. Он посылал цветы и птиц в клетках — как напоминание о своем заключении, которое сравнивал с пребыванием Оскара Уайльда в Редингской тюрьме. Еще он передал ей две книги, вышедшие во время разлуки: сборники "13 лет работы" и "Лирика", куда включены все любовные стихи, связанные с ней; книги снабжены типографским посвящением "Лиле". Рабочая комната Маяковского находилась всего в пятистах метрах от квартиры Осипа и Лили, на той же улице, однако предложение пойти вместе на прогулку Лили

оставила без внимания; зато они случайно встретились в Госиздате. Он почти каждый день подходил к ее дому — часами стоял под окнами, надеясь ее увидеть. По крайней мере один раз он поднялся по лестнице, послушал у двери, но потом ушел.

Контраст с жизнью, которую ведет Лили, огромен. “Я в замечательном настроении, отдыхаю, — сообщает она Эльзе и продолжает: — Тик мой совершенно прошел. Наслаждаюсь свободой! Занялась опять балетом — каждый день делаю экзерсис. По вечерам танцуем. Ося танцует идеально <...>. Мы завели себе даже тапера. <...> Материально живу не плохо — деньги беру у Левочки — у него сейчас много”.

Гуляя под ее окнами, Маяковский видит, как живет Лили в его отсутствие: постоянные гости, музыка, танцы — уанстеп, тустеп. И вскоре ревность, которую он обещал преодолеть, опять пробивается в полную силу: “Ты не ответишь потому что я уже заменен что я уже не существую для тебя что тебе хочется чтоб я никогда не был”. Лили утверждает, что у нее нет никого другого. Вместе с тем чувство собственного достоинства заставляет ее обвинять Маяковского в ухаживании за другими женщинами, и делает она это в такой же угрожающей манере, в какой ругала его за то, что он позволял себе развлекаться, пока она была в Риге: “...мне известны со всеми подробностями все твои лирические делишки”. Реакция Маяковского отчаянна: “Надо узнать мою теперешнюю жизнь, чтоб как нибудь подумать о каких то “делишках” страшно не подозрение, страшно то что я при всей бесконечной любви к тебе не могу знать всего что может огорчить тебя”.

■ ЛЮБОВЬ — ЭТО СЕРДЦЕ ВСЕГО

Письма, посланные Маяковским Лили во время разлуки, достаточно искренни, но самые сокровенные мысли он доверял дневнику, который начал вести 1 февраля, после тридцати пяти дней “сидения”. Дневник сохранился, хотя в полном объеме для исследователей недоступен. Но даже в урезанном виде он — ошеломляющий документ, написанный человеком на грани психического срыва, может быть, даже самоубийства. Полный текст — сплошной обвинительный акт против Лили: он винит ее в полном безразли-

чий к нему и в том, что она погубила его жизнь. Делая записи, он рыдал, страницы покрыты следами слез, а большие размашистые буквы написаны рукой доведенного до предела человека⁴.

Маяковский пишет, что готов вынести это заслуженное наказание, но не хочет, чтобы оно повторилось: “Прошлого для меня до 28 февраля, для меня по отношению к тебе до 28 февраля — не существует ни в словах, ни в письмах, ни в делах”. А если он снова заметит “начало быта”, он обещает “убежать”. “Решение мое ничем, ни дыханием не портить твою жизнь — главное. То, что тебе хоть месяц, хоть день без меня лучше чем со мной это удар хороший”.

В центральных фрагментах дневника Маяковский анализирует свою любовь к Лили и ее чувства к нему. Под заголовком “Люблю ли я тебя?” он пишет:

Я люблю, люблю, несмотря ни на что и благодаря всему, любил, люблю и буду любить, будешь ли ты груба со мной или ласкова, моя или чужая. Все равно люблю. Аминь. Смешно об этом писать, ты сама это знаешь <...> Исчерпывает ли для меня любовь все? Все, но только иначе. Любовь это жизнь, это главное. От нее разворачиваются и стихи и дела и все пр. Любовь это сердце всего. Если оно прекратит работу все остальное отмирает, делается лишним, ненужным. Но если сердце работает оно не может не проявляться в этом во всем. Без тебя (не без тебя “в отъезде”, внутренне без тебя) я прекращаюсь. Это было всегда, это и сейчас.

Лилиному взгляду на любовь посвящена глава “Любишь ли ты меня?”:

Для тебя, должно быть, это странный вопрос — конечно любишь. Но любишь ли ты меня? Любишь ли ты так, чтоб это мной постоянно чувствовалось?

В 1982 г., готовя к публикации переписку Лили и Маяковского, я имел в распоряжении усеченную версию дневника, которую Лили Брик предполагала включить в книгу воспоминаний, так никогда и не вышедшую в свет. Через несколько лет я получил возможность прочитать дневник полностью, однако без права переписать его.

Нет.

Я уже говорил Осе. У тебя не любовь ко мне, у тебя — вообще ко всему любовь. Занимаю в ней место и я (может быть даже большое) но если я кончаюсь то я вынимаюсь, как камень из речки, а твоя любовь опять всплывает над всем остальным. Плохо это? Нет, тебе это хорошо, я б хотел так любить.

“Я бы хотел так любить, — пишет Маяковский, уточняя: — Семей идеальных нет. Все семьи лопаются. Может быть только идеальная любовь. А любовь не установишь никаким “должен”, никаким “нельзя” — только свободным соревнованием со всем миром”. Он пытался причаститься к ее пониманию любви, но эта попытка была обречена.

■ 3 Ч. 1 М.

За время разлуки Маяковский метался от надежды к отчаянию. Когда же 7 февраля он получает от Лили письмо, в котором она предлагает вместе поехать в Петроград, надежда возгорается с новой силой. Одновременно он понимает, что возможное продолжение их отношений, как и прежде, — результат только *ее* инициативы, *ее* желания. Свои размышления на эту тему он доверяет дневнику:

Мы разошлись, чтоб подумать о жизни в дальнейшем, длить отношения не хотела ты. Вдруг ты вчера решила, что отношения быть со мной могут, почему же мы не вчера поехали, а едем через 3 недели? Потому что мне нельзя? Этой мысли мне не должно и являться, иначе мое сидение становится не добровольным, а заточением, с чем я ни на секунду не хочу согласиться.

Я никогда не смогу быть *создателем* отношений, если я по мановению твоего пальчика сажусь дома реветь два месяца, а по мановению другого срываюсь даже не зная что думаешь и, бросив все, мчусь. <... >

Я буду делать только то, что вытекает и из моего желания.

Я еду в Питер.

Еду потому что два месяца был занят работой, устал, хочу отдохнуть и развеселиться.

Неожиданной радостью было то, что это совпадает с желанием проехаться ужасно нравящейся мне женщины.

Несмотря на то что Маяковский пытается выдать решение Лили за собственное, он боится верить, что поездка означает возобновление отношений с женщиной, которой “быстро все надоедает”. Он снова колеблется между надеждой, что все вернется, пусть даже с новыми правилами, — и подозрением, что поездка не состоится, что Лили уже передумала и просто не хочет сообщить ему об этом. В самые мрачные моменты Маяковскому даже кажется, что она собирается устроить ему настоящую “казнь” — пошлет его к “черту” при встрече 28-го. Лили же уверяет, что не планирует ничего подобного. “Волосик, детик, щеник, я хочу поехать с тобой в Петербург 28-го. Не жди ничего плохого! Я верю, что будет хорошо. Обнимаю и целую тебя крепко. Твоя Лили”.

Чем меньше времени остается до встречи, тем сильнее нервничает Маяковский. Узнав, что поезд уходит через шесть часов после окончания срока, в восемь вечера, он впадает в отчаяние: “Подумай только, после двухмесячного путешествия подъезжать две недели и еще ждать у семафора полдня!”

Наконец 28-е наступает, Маяковский забирает билеты и посылает их Лили со словами: “Дорогой Детик. Шлю билет. Поезд идет ровно в 8 ч. Встретимся в вагоне”. Позднее в этот же день Лили получает еще одну записку с цитатой из “Варшавянки”:

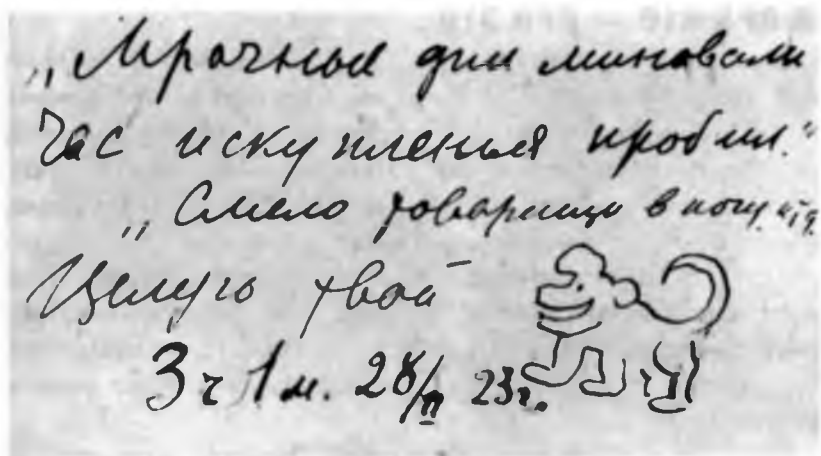
“Мрачные дни миновали

Час искупленья пробил”.

“Смело товарищи в ногу и т. д.”.

Вместо подписи — изображение радостно лающего щенка, и время указано до минуты: “3 ч.1 м. 28/II 23 г.”.

“Если [Володя] увидит, что овчинка стоит выделки, то через два месяца я опять приму его, — писала Лили Эльзе 6 февраля. — Если же — нет, то Бог с ним!” И далее: “Прошло уже больше



■ Записка от 28 февраля с цитатой из "Варшавянки".

месяца: он днем и ночью ходит под окнами, *нигде* не бывает и написал лирическую поэму в 1300 строк!! Значит — на пользу!”

Слова Лили циничны, но не настолько, как может показаться. Устав от Маяковского — ревнивого поклонника, она одновременно знала, что только она может заставить его писать не агитстихи, а нечто иное. Если она не могла любить Маяковского как мужчину, она искренне любила его как поэта. В этом было ее исключительное значение, если не сказать миссия: пробуждать его лирический талант или — словами самого Маяковского — “сердца выставший мотор”. “Мы ехали на извозчике, — вспоминала Рита, которая провожала Лили до вокзала, — было холодно, ветрено, но Лиля вдруг сняла шапочку, я сказала: “Киса, вы простудитесь”, и она снова нахлобучила шапку, и видно было, как она волнуется”. Доехав до вокзала, они издали увидели на перроне Маяковского. Лили поцеловала на прощание Риту. “Уходя, я обернулась и увидела, как Лиля идет к вагону, а Маяковский стоит на площадке, не двигаясь, окаменев...”

Как только поезд тронулся, Маяковский, прислонившись к двери купе, начал читать Лили свою поэму. “Прочел и облегченно расплакался”, — вспоминала она. Это была поэма “Про это”, возможно, лучшее лирическое произведение Маяковского.

■ ПРО ЧТО — ПРО ЭТО

Идея написать поэму о любви была у Маяковского по крайней мере с лета 1922 года, когда он в краткой автобиографии “Я сам” — предисловии к четырехтомнику его произведений, так и не вышедшему, — писал: “Задумано: О любви. Громадная поэма. В будущем году кончу”. Как была “задумана” эта поэма, мы не знаем, но она, несомненно, отличалась бы от той, которая стала результатом разлуки, поскольку именно разлука послужила тематической основой “Про это”. Однако, учитывая гомогенность метафорики и символики Маяковского, не исключено, что некоторые идеи и образы существовали в более ранних набросках.

“Про это” посвящена “Ей и мне”. “Про что — про это?” — спрашивается в заглавии пролога.

В этой теме,
и личной
и мелкой,
перепетой не раз
и не пять,
я кружил поэтической белкой
и хочу кружиться опять.

Что это за тема, которая “сейчас / и молитвой у Будды / и у негра вострит на хозяев нож”? Которая “калеку за локти / подтолкнет к бумаге” и приказывает ему писать? Которая “пришла, / остальные оттерла / и одна/ безраздельно стала близка”? В последней строфе пролога Маяковский многоточием обозначает тему, заставившую его взяться за перо:

Эта тема ножом подступила к горлу.
Молотобоец!
От сердца к вискам.

- Поэма “Про это” вышла отдельной книгой с фотомонтажами Александра Родченко летом 1923 г. Коллаж, иллюстрирующий “Человека на мосту”.



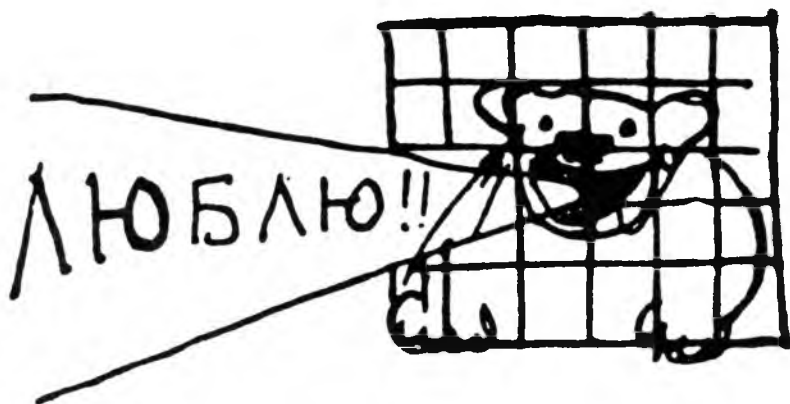
Эта тема день истемнила, в темень
 колотись — велела — строчками лбов.
 Имя
 этой
 теме:
!

Название первой части поэмы “Баллада Редингской тюрьмы” заимствовано у Оскара Уайльда, чья знаменитая баллада, переведенная на русский Валерием Брюсовым, произвела на Маяковского сильное впечатление:

Возлюбленных все убивают, —
 Так повелось в веках, —
 Тот — с дикой злобою во взоре,
 Тот — с лестью на устах;
 Кто трус — с коварным поцелуем,
 Кто смел — с клинком в руках.

У Уайльда приговаривается к смерти солдат, убивший свою любимую, — Маяковский же обречен на смерть за то, что убил свою любовь тем, что любил слишком сильно, за свою мрачность и ревность. Хотя фигурировавшая в черновике “Лиля” в окончательной версии заменена местоимением “она”, автобиографический характер поэмы очевиден.

В постели она.
 Она лежит.
 Он.
 На столе телефон.
 “Он” и “она” баллада моя.
 Не страшно нов я.
 Страшно то,
 что “он” — это я
 и то, что “она” —
 моя.



- 19 февраля Маяковский отправил Лили письмо с обратным адресом: "Москва. Редингская тюрьма" — отсылка к балладе Оскара Уайльда. Письмо подписано "Твой Щен, он же Оскар Уайльд, он же шильонский узник" — отсылка к поэме Байрона "Шильонский узник".

Сочельник. Комната Маяковского в Лубянском проезде превращена в тюремную камеру, последняя соломинка — телефон. Маяковский просит телефонистку соединить его с номером Лили: 67–10. "Две стрелки яркие" (торговая марка "Эриксон") раскаляют добела не только аппарат, но и всю поэму. Звонок сотрясает Москву, как землетрясение. Сонная кухарка, которая сообщает, что Лили не желает с ним говорить, мгновенно превращается в Дантеса, трубка телефона — в заряженный пистолет, а сам Маяковский — в плачущего медведя. ("Медвежья" метафора заимствована у Гёте, который в стихотворении "Парк Лили" представляет себя ревнивым медведем.) Его слезы текут "ручьями красной меди", а сам он плывет по Неве на "льдине-подушке". На мосту он видит себя таким, каким был семь лет назад, когда готов был броситься в воду, — картина заимствована из поэмы "Человек". Он слышит собственный голос, который "молит" и "просится":

— Владимир!

Остановись!

Не покинь!

Зачем ты тогда не позволил мне
броситься!

С размаху сердце разбить о быки?
Семь лет я стою*.

Я смотрю в эти воды,
к перилам прикручен канатами строк.
Семь лет с меня глаз эти воды не сводят.
Когда ж,
когда ж избавления срок?

Поэт на мосту спрашивает, может быть, и его нынешнее “я” не удержалось от соблазна обывательского семейного счастья, — и угрожает:

— Не думай бежать!
Это я
вызвал.

Найду.
Загоню.
Доконаю.
Замучу!

Как и автор поэмы “Про это”, человек на мосту, “человек из-за семи лет”, будет скитаться в ожидании “спасителя-любви”: “По гроб запомни переплеск, / плескавшийся в “Человеке”.

Во второй части, “Ночь под рождество”, описаны попытки Маяковского привлечь семью и друзей для спасения человека на мосту — то есть его самого. Тщетно. Его не понимают. И когда “от заставы идет” молодой человек, на него все надежды: “Это — спаситель! / Вид Иисуса”. Но это комсомолец, который на его глазах кончает с собой из-за несчастной любви, — еще один двойник: “До чего ж / на меня похож!” Через семь лет у Маяковского будет повод вспомнить про-

*

В черновике поэмы указан правильный период — “пять лет”. Поэма “Про это” вышла ровно через пять лет после поэмы “Человек”. Но к этому времени Маяковский уже опубликовал автобиографию “Я сам”, где датировал поэму “Человек” 1916 г. — из чисто политических соображений: эту притчу об Иисусе надо было хронологически отделить от Октябрьской революции.

подкрадывается к дому Лили, поднимается по лестнице к ее квартире, чтобы заставить ее уберечь оставшегося на мосту кандидата в самоубийцы:

Плевками,
 снявши башмаки,
вступаю на ступеньки.
Не молкнет в сердце боль никак,
кует к звену звено.
Вот так,
 убив,
 Раскольников
пришел звенеть в звонок.

Отсылка к Раскольникову неслучайна — “Про это” полна скрытых и явных цитат из Достоевского, любимого писателя Маяковского. Это касается и собственно названия, которое заимствовано из “Преступления и наказания”. Когда Раскольников говорил *про это* (курсивом), он имел в виду свое преступление. В Раскольникове Маяковский узнавал себя: безудержная увлеченность идеями, страсть совершать действия, изменяющие мир, отказ мириться с обывательщиной.

У Лили гости, они танцуют, шумят. Обрывки разговоров, которые поэт слышит сквозь приоткрытую дверь, банальны и неинтересны, его охватывает страшная догадка, что она тоже принадлежит к “ним” — как героиня “Облака в штанах”, как рыжеволосая женщина из “Флейты”, с “настоящим мужем” и “человечьими нотами” на рояле. И все-таки именно она спасла его от самоубийства:

Он
жизнь дымком квартирошным выел.
Звал:
 решишь
 с этажей
 в мостовые!
Я бегал от зова разинутых окон,
любя убегал.

Он никогда не предавал их любовь в своей поэзии. Проклиная ненавистную “обыденщину”, он оберегает свою любимую:

— Смотри,
 даже здесь, дорогая,
стихами грома обыденщины жуть,
имя любимое оберегая,
тебя
 в проклятиях моих
 обхожу.

Но и Лили не способна помочь, и вскоре снова появляется двойник, объясняющий, что наивно думать, будто можно справиться с тем, что никому не под силу:

Семь лет стою,
 буду и двести
стоять пригвожденный,
 этого ждущий.
У лет на мосту
 на презренье,
 на смех,
земной любви искупителем значась,
должен стоять,
 стою за всех,
за всех расплачусь,
 за всех расплачусь.

Человек на мосту пригвожден, распят, он страдает за все человечество — точно как поэт в “Облаке” и “Человеке”.

Тематика распятия продолжается и в следующей главе. Маяковский перемещается по России и Европе. Зацепившись за купол кремлевского Ивана Великого, он пытается удержать равновесие, сложив “руки крестом”, но вскоре “любимых, / друзей / человечьи ленты / со всей вселенной сигналом согнало”. Они “плюют на ладони” и “в мочалку щеку истрепали пощечинами”. Его вызывают на дуэль, швыряя в лицо не перчатку, а “магазины



- Фотографии для коллажей "Про это" делал не Родченко, а Абрам Штеренберг, брат художника Давида Штеренберга. Этот фотопортрет был использован Родченко для коллажа, изображающего, как Маяковский ждет звонка от Лили.

перчаточные”. На его отчаянное объяснение, что он “только стих”, “только душа”, ему возражают, со ссылкой на Лермонтова: “Нет! / Ты враг наш столетний. / Один уж такой попался — / гусар!”

Кара за то, что Маяковский посмел посягнуть на миропорядок, в “Человеке” олицетворенная Повелителем Всего, — смерть, и казнь страшна в своей затянувшейся жестокости:

Хлеще ливня,
 грома бодрей,
Бровь к брови,
 ровненько,
со всех винтовок,
 со всех батарей,
с каждого маузера и браунинга,
с сотни шагов,
 с десяти,
 с двух,
в упор —
 за зарядом заряд.
Станут, чтоб перевести дух,
и снова свинцом сорят.
Конец ему!
 В сердце свинец!
Чтоб не было даже дрожи!
В конце концов —
 всему конец.
Дрожи конец тоже.

Когда “бойня” окончена, враг отступает, “смакуя детали”. “Лишь на Кремле / поэтовы клочья / сияли по ветру красным флажком” — явная отсылка к “Облаку”: “...душу вытащу, / растопчу, / чтоб большая! — / и окровавленную дам, как знамя”.

Мученическая смерть перемещает поэта в далекое будущее. Заключительная часть поэмы написана в форме прошения, обращенного к неизвестному химику тридцатого века. С высот Большой Медведицы поэт смотрит на мир. Его памфлет против “тира-

нии быта” — риторический шедевр. Сын дворянина, он никогда не видал “токарного станка” —

...но дыханием моим,
сердцебиеньем,
голосом,
каждым острием издыбленного в ужас
волоса,
дырами ноздрей,
гвоздями глаз,
зубом, исскрежещенным в звериный лязг,
ёжью кожи,
гнева брови сборами,
триллионом пор,
дословно —
всеми по́рами
в осень,
в зиму,
в весну,
в лето,
в день,
в сон
не приемлю,
ненавижу это
всё.
Всё,
что в нас
ушедшим рабым вбито,
всё,
что мелочинным роем
оседало
и осело бытом
даже в нашем
краснофлагом строе.

Маяковский хочет другой жизни и обдумывает разные возможности. Было бы просто, если бы он верил в загробную жизнь, но он не хочет

дать врагам радость видеть, как он “от заряда стих”. Хотя остались от него лишь “поэтовы ключья”, но атака на него не удалась. Самоубийство тоже не выход: “Стоит / только руку протянуть — / пуля / мигом / в жизнь загробную / начертит гремящий путь”. Нет, он верил и верит “вовсю, / всей сердечной мерою, / в жизнь сию, / сей / мир”. Поэтому, когда в главе “Вера” он просит химика воскресить его, речь идет о воскрешении во плоти и крови. Вторая идея философа Николая Федорова о “воскрешении мертвых” и теории относительности Эйнштейна (которые он с энтузиазмом обсуждал весной 1920 года с Якобсоном), он видит перед собой будущее, при котором все умершие вернутся к жизни в своем физическом облики:

Воздух в воздух,
 будто камень в камень,
недоступная для тленов и крошений,
рассиявшись,
 высится веками
мастерская человеческих воскрешений.

Тема развивается в главе “Надежда”, в которой поэт просит у химика сердце, кровь и мысли: “Я свое, земное, не дожил, / на земле / свое не долюбил”. Если не найдется другого занятия, он готов наняться сторожем в зверинец, так как он очень любит зверей.

Последняя глава “Любовь” подводит итог всей поэме. В пророческом образе, полном высочайшего лиризма, Маяковский воссоединяется с Лили в новой жизни, свободной от “будничной чуши”. Там любовь — уже не эрос, а агапе, и узкие семейные отношения заменены общностью всех людей:

Может,
 может быть,
 когда-нибудь
 дорожкой зоологических аллей
 и она —
 она зверей любила —
 тоже ступит в сад,

улыбаясь,
вот такая,
как на карточке в столе.
Она красивая —
ее, наверно, воскресят.
<... >
Воскреси
хотя б за то,
что я
поэтом
ждал тебя,
откинул будничную чушь!
Воскреси меня
хотя б за это!
Воскреси —
свое дожить хочу!
Чтоб не было любви — служанки
замужеств,
похоти,
хлебов.
Постели прокляв,
встав с лежанки,
чтоб всей вселенной шла любовь.
Чтоб день,
который горем старящ,
не христардничать, моля.
Чтоб вся
на первый крик:
— Товарищ! —
оборачивалась земля.
Чтоб жить
не в жертву дома дырам.
Чтоб мог
в родне
отныне
стать

отец
по крайней мере миром,
землей по крайней мере — мать.

■ ЛЕФ

Маяковский и Лили провели несколько дней в Петрограде, в гостинице, чтобы “разные Чуковские” не узнали об их пребывании в городе — им не нужны были сплетни сродни тем, которые так щедро распространял Чуковский пять лет назад. Когда Рита навестила Лили в день их возвращения в Москву, та ее встретила словами: “Володя написал гениальную вещь!” Уже вечером несколько друзей и коллег пришли послушать авторское чтение нового произведения, а на читке, состоявшейся следующим вечером, квартира была набита битком. Новость распространилась быстро: Маяковский написал гениальную вещь.

Среди первых слушателей “Про это” были Луначарский, Шкловский и Пастернак. “Впечатление было ошеломляющее, — вспоминала жена наркома, — Анатолий Васильевич был совершенно захвачен поэмой и исполнением”. Чтение поэмы “Про это” окончательно убедило его в том, что Маяковский “огромный поэт”.

Наиболее известная публикация “Про это” — книжное издание, вышедшее в начале июня 1923 года, с фотомонтажами Александра Родченко. Но в первый раз поэма была напечатана еще 29 марта в журнале “Леф”.

Леф — Левый фронт искусств — был новой попыткой создания платформы для футуристической эстетики. Во время разлуки с Лили Маяковский не только работал над поэмой, но и по мере возможностей участвовал в подготовке первого номера журнала вместе с Осипом, навещавшим его чуть ли не ежедневно. Лили тоже была задействована — для первого номера она перевела тексты Георга Гросса и драматурга Карла Витфогеля.

Незадолго до разлуки с Лили Маяковский обратился в Агитпроп с просьбой разрешить издание журнала, и в январе



- Фотография Лили в берлинском зоопарке, упоминаемая в "Про это": "Может, / может быть, / когда-нибудь / дорожкой зоологических аллей / и она — / она зверей любила — / тоже ступит в сад, / улыбаясь, / вот такая, / как на карточке в столе".

1923 года Госиздат дал положительный ответ. Движущей идеологической силой “Лефа” был Осип, но Маяковский являлся лицом журнала и его главным редактором. В лефовскую группу вошла значительная часть русского авангарда — поэты Николай Асеев и Сергей Третьяков, художники Александр Родченко и Антон Лавинский, теоретики Осип Брик, Борис Арватов, Борис Кушнер и Николай Чужак, театральный режиссер Сергей Эйзенштейн (в это время еще не начавший снимать кино) и кинорежиссер Дзига Вертов.

“Леф” пропагандировал новую эстетику, которая не отражала жизнь, а помогала “строить” ее — “жизнестроение” было ключевым словом. Если раньше литература в лучшем случае была бестенденциозной, а в худшем — антиреволюционной, то новая литература должна служить потребностям социализма. Но какой бы “утилитарной” она ни была, чтобы влиять на читателя, она должна подняться на высший формальный уровень — а такую гарантию качества могли дать только футуристы. В области искусства этой эстетике соответствовали конструктивизм и производственное искусство: вместо живописи следовало заниматься практическим делом, художники должны приблизиться к работе заводов и фабрик: рисовать рабочую одежду, расписывать ткани, оформлять лекционные залы. “Укрепляется убеждение, что картина умирает, — писал Осип в программной статье “От картины к ситцу”, — что она неразрывно связана с формами капиталистического строя, с его культурной идеологией, что в центр творческого внимания становится теперь ситец, — что ситец и работа на ситец являются вершинами художественного труда”. Образцами считались работы Александра Родченко, претворявшего идеи “Лефа” в жизнь своим новаторским графическим оформлением (кроме поэмы “Про это”, он оформлял и обложки “Лефа”). Филологов ОПОЯЗа призвали уделять больше внимания социологическим аспектам литературы. В области кино подчеркивались формальные и технические возможности за счет сюжета; “киноглаз” с его “зрительной энергией” и техникой монтажа должен не отражать, а создавать новую действительность, художественный артефакт.

Вокруг этой эстетической платформы теперь объединились футуристы в надежде занять передовую позицию в совет-



ской культурной жизни. Но это была иллюзия, поскольку ведущие партийные идеологи, совладав с эстетической растерянностью первых послереволюционных лет, уже сделали поворот в другую сторону: к реализму XIX века. В этом же направлении смотрел и Луначарский. Иными словами, решение партии финансировать “Леф” не являлось знаком одобрения, а диктовалось чисто практическими соображениями. В условиях нэповского плюрализма важно было поощрять группы, принявшие революцию; к таким группам принадлежали лефовцы, но и их явные противники — пролетарские писатели, чей журнал “На посту” также получил правительственную поддержку.

И среди самих футуристов наблюдались серьезные противоречия. Воспевая “утилитарное” искусство, “Леф” одновременно публиковал экспериментальную поэзию традиционно-футуристического толка, но к числу его сотрудников принадлежал и Борис Пастернак, чья поэзия воспринималась многими как индивидуалистическая и эстетствующая. Внутриредакционный конфликт стал явным сразу же после выхода первого номера, и причиной тому послужила поэма “Про это”.

“Леф” ставил своей целью борьбу с бытом — “неодолимым врагом” Маяковского в “Человеке”. В одном из трех манифестов, опубликованных в первом номере, утверждалось, что “Леф”, который боролся с бытом до революции, “[будет] бороться с остатками этого быта в сегодня”. “Наше оружие, — утверждалось в конце манифеста “В кого вгрызается “Леф”, — пример, агитация, пропаганда”.

Именно на этом пункте программы основывалась критика поэмы, с которой во втором номере “Лефа” выступил Николай Чужак:

Чувствительный роман... Его слезами обольют гимназистки... Но нас, знающих другое у Маяковского и знающих вообще много другого, это в 1923 году ни мало не трогает.

Здесь все, в этой “мистерии” — в быту. Все движется бытом. “Мой” дом. “Она”, окруженная друзьями и при-

службой. <...> Танцует уанстеп <...> А “он” — подслушивает у дверей, мечется со своей гениальностью от мещан к мещанам, толкует с ними об искусстве, сладострастно издевается над самим собой <...> и — умозаключает: — “Деваться некуда”! <...>

И еще — последнее: в конце, мол, поэмы “есть выход”. Этот выход — вера, что “в будущем все будет по другому”, будет какая-то “изумительная жизнь”. <...> Я думаю, что это — вера отчаяния, от “некуда деться”, и — очень далекая от вещных прозрений 14-го года. Не выход, а безысходность.

Быт всегда был экзистенциальным врагом Маяковского, и с, ужасом обнаружив, что после революции ничего не изменилось, он возобновил атаки на всяческие проявления его. В стихотворении “О дряни” (1921), к примеру, революции угрожает советский мещанин с портретом Маркса на стене, канарейкой в клетке и греющимся на “Известиях” котенком. Третья революция, к которой Маяковский призывал в “IV Интернационале”, так и не произошла.

Негибкий идеолог Чужак был глух к тонким интеллектуальным рассуждениям, не говоря о поэзии; но в данном случае он попал в точку. Маяковский действительно считал, что “краснофлагий строй” не предложил ничего лучшего по сравнению с дореволюционной жизнью. Сила, управлявшая бытом и любовью раньше, осталась у власти и при коммунизме. Поэтому единственная надежда — далекое будущее тридцатого века, который “обгонит стаи / сердце раздиравших мелочей”.

Чужак считал святотатством сомнение в возможности победы революции над бытом: “Период брудершафтов с Большими Медведицами для футуризма прошел. Нужно уже не маханье руками в “вечности” (фактически уже, фатально — во “вчера”), а самое упрямое рабочее строительство в “сегодня”...” В дискуссиях, последовавших за этой критикой, Маяковский приглушил лирические мотивы поэмы “Про это”, утверждая, что ее главная тема именно быт — “тот быт, который ни в чем не изменился, тот быт, который является сейчас злейшим нашим врагом,

делая из нас — мещан”. Но каким бы искренним ни было желание Маяковского победить быт, в глубине души он знал, что это демагогия: сила, олицетворенная в “Человеке” как Повелитель Всего, не социальный феномен, а часть самого человека, человеческой природы.



Ненавижу

всяческую мертвечину!

Обожаю

всяческую жизнь!

■ Маяковский. Юбилейное

Николаю Чужаку было трудно понять, как Маяковский мог соединять теории “Лефа” о производственном искусстве с индивидуалистическим настроем поэмы “Про это”. Критика носила идеологический характер, и в ее основе лежало жесткое требование соблюдать каноны учения. Помимо этого Маяковскому пришлось в очередной раз услышать, что поэма “непонятная”. Критика по поводу “непонятности”, которой он подвергался на протяжении всей своей жизни, была вызвана его стремлением обновить арсенал поэтических средств. До революции от подобных упреков можно было отмахнуться, сославшись на то, что они отражают “реакционный” или “буржуазный” вкус, но теперь, когда критика шла со стороны пролетариата, Маяковский воспринимал ее болезненно, так как своим заказчиком он считал рабочий класс.

“Понятность” — это вопрос знания, отвечал на критику Маяковский. Читая поэму “Про это” перед рабочей аудиторией в Москве в начале мая, он сказал: “Первое, на что я обращаю внимание товарищей, это на их своеобразный лозунг “не понимаю”. Попробовали бы товарищи сунуться с этим лозунгом в какую-нибудь другую область. Единственный ответ, который можно

■ Осип с лэфовским глазом. Фотомонтаж Александра Родченко 1924 г.

дать: “Учитесь”. По убеждению Маяковского — и “Лефа”, — рабочие и футуристы вели одну и ту же борьбу: рабочий класс как социальный авангард истории ставил своей целью построение коммунизма, в то время как футуристы стремились создать культуру, которая была бы гармонична новому обществу. Проблема заключалась в том, что чувства не были взаимными: если футуристы предпринимали все возможное для того, чтобы переманить рабочих на свою сторону, то рабочие считали футуризм воплощением буржуазной по сути эстетики...

Хотя Маяковский пытался оправдать поэму “Про это” тем, что она — о борьбе против быта, критику, обвинявшую его в тематическом отступлении от канонов учения, он признал. Отныне он отдавал почти всю свою энергию сочинению “производственных стихов”, став в известном смысле поэтическим журналистом. Это соответствовало теории “Лефа”, согласно которой журналистика считалась образцовым жанром в борьбе за повышение уровня народного сознания и образования. До конца года Маяковский сочинил около сорока стихотворений — исключительно на злободневные темы. В связи с Пасхой он агитировал против церковных — за коммунистические — праздники (“Коммуны воскресенье — / 25 октября. / Наше место не в церкви грязенькой”), написал не менее трех первомайских стихотворений, обрушивался на Англию и Францию за их враждебную по отношению к Советам политику, сочинял сатиры на политических лидеров этих стран, восхвалял недавно созданный советский Воздушный флот. Когда в марте 1923 года в печати появились первые бюллетени о болезни Ленина, Маяковский выступил с отчаянным комментарием в стихотворении “Мы не верим!”.

Несмотря на то что Маяковский пытался приспособиться в плане тематики, он оставался непоколебим в том, что касалось лабораторной работы над языком. Новое содержание требует новой формы! Одно из трех первомайских стихотворений — напечатанное, соответственно, в “Лефе” — представляет собой развернутое размышление о формах поэтического языка: в то время как большинство первомайских стихотворений состоят из истертых клише, Маяковский задается целью воспеть Первое мая “хотя б без размеров, хотя б без рифм”. Однако и в плане содержа-

ния стихотворение несет в себе сюрприз: в этот Первомай Маяковский хочет воспеть декабрь: “Да здравствует мороз и Сибирь! / Мороз, ожелезливший волю”. Не весенний месяц май, а ссылки в холодную Сибирь заставили когда-то рабочий класс восстать. Прием оригинальный, но по-настоящему новым в этом первомайском стихотворении было нечто иное: здесь, впервые в творчестве Маяковского, проступает большевистская непримиримость:

Долой нежность!
Да здравствует ненависть!
Ненависть миллионов к сотням,
ненависть, спаявшая солидарность.

Был ли агрессивный слог попыткой приспособиться к тому уровню, который могли понять “массы”, попыткой выразиться “понятно”? Независимо от мотива выбор слов свидетельствует о том, что даже такой поэт, как Маяковский, не был в состоянии обороняться от ужесточения политики и языка, происходившего после захвата власти большевиками.

Попытка сочинять нерифмованные стихи была бы естественной для поэта, который постоянно экспериментирует с формой, но поскольку мастерство Маяковского выжалось, в частности, и в тонко оркестрованных и структурированных рифмах, она стала исключением в его творчестве. Тематически, однако, он продолжал борьбу за реализацию идей “Лефа”. Наиболее яркое выражение его антилирических настроений мы находим в поэме “Рабочим Курска, добывшим первую руду, временный памятник работы Владимира Маяковского”. Название отсылает к Курскому рудному месторождению, которое начали разрабатывать в 1923 году. Написанная осенью поэма вышла в четвертом номере “Лефа” в январе 1924-го. От названия веяло XVIII веком, и поэма действительно являлась своеобразной одой, одой нового типа — к шахтерам и рабочему классу в целом. Как и поэма “Про это”, произведение посвящено Лили, что можно считать еще одним подтверждением того, что Лили служила источником вдохновения для всех его стихов.

В поэме “Рабочим Курска” противопоставляются ориентация на будущее, характерная для тогдашней добывающей промышленности, и застой, господствующий в литературе. Луначарский только что призывал писателей “учиться у классиков” — однако ни у кого не возникла бы идея призвать шахтеров оставить железо и вернуться вспять к “слоновой кости, / к мамонту”! Поэтому Маяковский иронизирует по поводу писательских юбилеев и писательских памятников, украшающих бульвары Москвы, — против той судьбы, которая, подразумевалось, ожидает и его самого.

Как выглядел бы памятник 30 тысячам рабочих Курска? “На бороды домов, / на тело гулов / не покусится / никакой Меркулов”, — пишет Маяковский, насмехаясь над ведущим скульптором того времени. Рабочим не нужны традиционные восхваления, памятник в их честь — это скорый поезд, построенный из добытой ими руды и мчащийся вперед с такой скоростью, что на него не успевают нагадить вороны. Сладкозвучные юбилейные речи рабочим также не нужны; в их честь “разгромыхает трактор” — самый убедительный оратор из всех.

Поэма развивает одну из постоянных тем творчества Маяковского: *памятник* как символ застоя и реакции, символ старого общества. “Эти новые стихи с такой верой в грядущее молодежь восприняла бурно-восторженно”, — вспоминала Наталья Брюханенко, которая присутствовала при чтении Маяковским поэмы в студенческом клубе. “Рабочим Курска” представляла собой полную противоположность поэме “Про это” и знаменовала отступление от лирики и переоценку значения литературы как таковой, в том числе теорий “Лефа”. При сравнении вклада шахтеров в строительство коммунизма со вкладом левыхцев преимущество отдается первым: “Лучше всяких “Лефов” / насмерть ранив / русского / ленивый вкус, / музыкой / в мильон подъемных кранов / цокает, / защелкивает Курск”. Созвучная антипоэтическим лозунгам Лефа формулировка добавила еще один камень в фундамент той саморазрушающейся постройки, которую в борьбе с собственным лирическим началом уже начал возводить Маяковский; таких камней будет немало.

■ НИГДЕ КРОМЕ, КАК В МОССЕЛЬПРОМЕ

Порожденное нэпом издательское многообразие позволяло литературным группировкам спорить и бороться друг с другом цивилизованным способом, то есть словом. Атмосфера была относительно свободной, и, если не считать высылки философов осенью 1922 года, коммунистическая партия держалась от литературы на некотором расстоянии. Подобный плюрализм был положительной стороной новой экономической политики. Еще одним следствием стало быстрое восстановление экономики после хаоса военного коммунизма. Однако отмечались и менее позитивные явления: нэп породил новую буржуазию, которая в своей беспечности и вульгарности часто превосходила буржуазию дореволюционную. Водка и шампанское текли рекой в частных ресторанах и клубах, в то время как большая часть населения по-прежнему влачила нищенское существование. Для тех, кто верил в возможность создания новых, некапиталистических производственных форм, время было трудное. “Немало людей с революционным прошлым очутились за его [корабля революции] бортом, — так выразил дух времени Николай Асеев. — Немало жизней сломалось, не осилив напряженности противоречий”.

Именно на этом фоне нужно рассматривать следующий шаг Маяковского в сторону производственного искусства — летом 1923 года он приступил к работе над рекламными стихами и рисунками. В этой области он тесно сотрудничал с другими

- Реклама Моссельпрома. Текст Маяковского, оформление Родченко.



художниками, такими как Александр Родченко и его жена Варвара Степанова.

По мнению Маяковского, реклама являлась важным оружием в борьбе против частного производства, за государственные и кооперативные товары. В течение двух лет он сочинил сотни разнообразных рекламных текстов — о сосках и сигаретах, конфетах и галошах. Главными заказчиками были ГУМ и Моссельпром, а лозунг Маяковского “Нигде кроме, как в Моссельпроме!” стал официальным девизом предприятия.

Маяковский любил каламбурить и производил замысловатые рифмы со скоростью и продуктивностью конвейера. Но многие относились к этой его деятельности критически, считая, что он растрчивает талант на пустяки. Однако, по словам самого Маяковского, рекламные стихи были естественной частью его поэтической лаборатории, и пресловутые стихи о Моссельпроме он называл “поэзией самой высокой квалификации”. Скептическую реплику Романа Якобсона он парировал словами: “После поймешь и их”; и действительно некоторые темы рекламных стихов преломлялись потом в “настоящей” поэзии Маяковского.

На самом деле рекламные тексты были логическим продолжением работы с плакатами в период мировой войны и военного коммунизма: это были стихи на злобу дня. Кроме того, как и плакаты, работа над рекламой имела большое значение для семейного бюджета.

■ ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОБЫЛЯ

В письме, которое Лили писала Эльзе во время разлуки с Маяковским, она уверяла: “Романов у меня — никаких. С тех пор, как не бывает Володя — все пристают пуще прежнего. Но я непоколебима!”

Это была неправда. Годом раньше Лили познакомилась с человеком, соответствовавшим ее требованиям в плане ума, образованности, стиля и уровня. Это был Александр Михайлович Краснощеков, бывший руководитель правительства Дальневос-

■ Александр Краснощеков, страсть Л.Ю. Брик в 1923–1924 гг.



точной республики, человек исключительной — даже для той исключительной эпохи — судьбы.

Краснощеков происходил из еврейской семьи, его настоящее имя — Абрам Моисеевич Краснощек. Он родился в 1880 году в украинском местечке Чернобыль, которое через сто лет станет известно совсем по другой причине. Его отец был портным. В шестнадцатилетнем возрасте Абрам стал членом подпольного социал-демократического кружка. В 1902 году, после нескольких тюремных отсидок и ссылок, он бежал через Берлин в Нью-Йорк. Там он взял себе фамилию Тобинсон — по имени матери Тойба, — потому что “Краснощеков” было трудно писать и произносить по-английски. В первое время Тобинсон работал портным и маляром; однако он ставил перед собой более высокие жизненные цели и в 1912 году сдал экзамен по экономике и праву в Чикагском университете. В последующие годы он служил юристом со специализацией по вопросам профсоюзов и иммигрантов, принимал участие в создании Рабочего университета в Чикаго и читал лекции по экономическим и юридическим дисциплинам. Когда в 1904 году образовалась Американская социалистическая рабочая партия, он немедленно вступил в ее ряды. Он также являлся членом Федерации индустриальных рабочих мира и анархо-синдикалистского профсоюза “Индустриальные рабочие мира” (Industrial Workers of the World — IWW) и печатался в партийной и профсоюзной прессе на русском, идиш и английском.

После Февральской революции Краснощеков, как и многие русские эмигранты, вернулся в Россию. Сразу же по прибытии во Владивосток в конце июля 1917 года он вступил в большевистскую фракцию социал-демократической партии. Вскоре на Дальнем Востоке начались бои между красными и белыми, которых поддерживали силы иностранной интервенции. Несколько раз Краснощеков находился на волосок от смерти и вскоре получил статус героя. В апреле 1920 года он провозгласил создание Дальневосточной республики, став одновременно главой ее правительства и министром иностранных дел. Во Владивостоке и позднее — после взятия города японскими войсками — в Чите он установил контакты с “дальневосточными футуристами” Асеевым, Третьяковым, Чужаком и другими, а через них — кос-

венно — и с Маяковским, с которым познакомился в Москве в 1921 году.

Краснощеков был человеком динамичным и целеустремленным, и его взгляды на построение нового общества радикальным образом отличались от тех, которые господствовали в Москве. Как уже упоминалось, в состав правительства Дальневосточной республики входили не только большевики, но и представители других партий и групп, в частности анархо-синдикалисты, например Билль Шатов. В США Краснощеков общался с другой анархисткой, Эммой Гольдман, тоже русской эмигранткой. Когда летом 1920 года он прибыл в Москву для того, чтобы обсудить будущее Дальневосточной республики, он отыскал Гольдман, которая незадолго до этого была выслана в Советскую Россию американскими властями. Легендарная анархистка дала следующий портрет своего коллеги из Рабочего университета и IWW:

Он приехал из Сибири в собственном железнодорожном вагоне, привез с собой многочисленный провиант, собственного повара и пригласил нас на первый настоящий пир в Москве. Краснощеков остался таким же свободным и щедрым человеком, каким был в Штатах <...>. Он уверял, что в его части России царит свобода слова и печати, так что там были все возможности для нашей [анархо]пропаганды. <...> Ему нужна была наша помощь, и мы ему доверяли <...> “А как к свободе слова и печати относится Москва?” — спросила я. Положение в этой далекой стране было иным, а у него были развязаны руки. С ним сотрудничали анархисты, эсеры и даже меньшевики, и он своей деятельностью доказывал, что свобода слова и совместные усилия дают лучший результат.

Дальневосточную республику, основанную Краснощековым в условиях политического хаоса в Сибири весной 1920 года, признали и Советская Россия, и Япония. Ленин и руководство Кремля стремились избежать столкновений на окраинах, чтобы получить возможность сосредоточить силы Красной армии в центральных частях России. Дальневосточная республика располагалась на рос-

сийской территории и существовала по милости Кремля. Однако по мере того, как затихала Гражданская война, Москва начала опасаться, как бы республика не объявила о своей независимости, что для России означало бы потерю огромных территорий. Поэтому, когда недоброжелатели Краснощекова в правительстве Дальневосточной республики обвинили его в анархо-синдикалистских симпатиях и сепаратистских устремлениях, этим незамедлительно воспользовалось руководство в Кремле. Независимо от степени обоснованности предъявленных обвинений, взгляды Краснощекова на социализм действительно отличались от большевистских, и летом 1921 года его вызвали в Москву. В сентябре Краснощекова формально отстранили от должности руководителя правительства Дальневосточной республики, а в ноябре следующего года ДВР вошла в состав РСФСР.

Ленин, который ценил Краснощекова, впоследствии сожалел о том, что он и политбюро отстранили этого “очень энергичного, умного и ценного работника”, который “знает все языки, английский превосходно” и который был “умным председателем правительства в ДВР, где едва ли не он же все и организовал”. О высокой оценке Ленина свидетельствует тот факт, что уже в конце 1921 года Краснощеков был назначен вторым заместителем наркома финансов. Но и здесь ему противодействовали, и он продержался на этом посту всего несколько месяцев; говорилось, что он не захотел понять “особенности советского строя”... Тем не менее его знания в области экономики были столь велики, что вскоре его услуги снова понадобились, и в ноябре 1922 года он стал директором недавно созданного Промбанка, задача которого заключалась в обеспечении советских предприятий инвестиционным капиталом. О таланте и работоспособности Краснощекова свидетельствует его книга “Финансирование и кредитование промышленности”, опубликованная в 1923 году и имевшая непосредственное отношение к его новым обязанностям.

Лили, судя по всему, впервые встретила Краснощекова летом 1921 года, когда с ним познакомился и Маяковский. Однако более близкое знакомство произошло следующим летом в Пушкине, где Краснощеков снимал дачу недалеко от Маяковского и Брикков. Ему было сорок два, он был высок, широкоплеч, оба-

ятелен, начитан и образован, его окружал ореол приключений и героизма. Кроме того, он обладал властью. Когда в августе 1922 года Осипу и Маяковскому понадобились заграничные паспорта для поездки в Германию, Лили посоветовала им обратиться именно к нему...

Разумеется, она не дала бы подобной рекомендации, если бы не была уверена, что Краснощеков действительно способен помочь. Лили знала, что, если она сама или близкие ей люди обратятся к нему, он сделает все, что сможет. Знал об этом и Маяковский, которому к тому же была известна причина, — обращаясь за помощью к человеку, бывшему последней страстью Лили, он должен был испытывать смешанные чувства. Автобиография “Я сам”, где он сообщает о планах сочинить “громадную поэму” о любви, была написана в Пушкине именно этим летом...

Новость о связи между легендарным политиком и не менее знаменитой Лили сразу широко распространилась. Когда в декабре 1922 года Лили и Маяковский выясняли отношения, это происходило на фоне мрачной тени ее страсти ко “Второму большому”, как она называла Краснощекова в письмах к Рите.

■ МОСКВА — КЕНИГСБЕРГ

Лили и Краснощеков были одной из наиболее обсуждаемых любовных пар в Москве; Лили ничего не скрывала, это было бы против ее природы и принципов. Но если на сплетни вокруг этого романа она вряд ли обращала внимание, то слухи о растратах, которые начали муссироваться в связи с именем Краснощекова, не могли ее не беспокоить. Учитывая колоссальные суммы денег, которыми распоряжался Краснощеков в качестве директора Промбанка и генерального представителя Российско-американской промышленной корпорации, многим обвинения казались вполне правдоподобными. В любом случае распространение слухов свидетельствовало о том, что у Краснощекова есть сильные враги в партийном и правительственном аппарате.

Неизвестно, явились ли слухи вокруг Краснощекова причиной, заставившей Маяковского, Лили и Осипа покинуть Москву 3 июля 1923 года; судя по всему, поездка планировалась уже



с начала мая. Но факт остается фактом: спустя всего лишь полгода после первой поездки в Германию они снова направлялись туда, на сей раз самолетом из Москвы в Кенигсберг. В то время это было крайне редким способом перемещения; впоследствии Маяковский опишет путешествие в стихотворении “Москва — Кенигсберг”. Сначала они провели некоторое время на южнонемецком курорте Бад-Флинсберг. Навещавший их там Роман Якобсон вспоминал, что Маяковский все время играл и “в частности обыгрывал в карты какого-то богача-эмигранта, который вывез из Сибири колоссальное количество платины”. После этого они отправились на курорт Нордерней, расположенный на одном из Фризских островов у немецкого побережья Северного моря. Там к ним присоединились Виктор Шкловский и Эльза из Берлина, а также приехавшая из Лондона Елена Юльевна. С Лилей мать виделась в Лондоне за год до того, но теперь, впервые после эмиграции 1918 года, Елена Юльевна встретила с обоими ее мужчинами; надо полагать, что к этому времени она воспринимала необычную семейную конструкцию если не с радостью, то по крайней мере как неизбежный факт.

“Он молодой, как шестнадцатилетний, веселый”, — вспоминает о Маяковском Шкловский. Днем они купались, ловили крабов и загорали: “Маяковский играл с морем, как мальчик”. У него было с собой карманное издание Гейне “Die Nordsee”; он любил Гейне и декламировал его стихи с сильным русским акцентом, не понимая, что он читает. Его настолько увлекла самобытная красота фризских песчаных дюн, что уже спустя пару дней он написал стихотворение “Нордерней”, которое 12 августа было опубликовано в “Известиях”. По вечерам они ходили в рестораны. Лили и Эльза, как всегда, танцевали до поздней ночи, но с другими кавалерами, поскольку ни Шкловский, ни Маяковский не любили и не умели танцевать.

На фотографиях с нордернейского побережья запечатлена безоблачная летняя идиллия, но действительности это не соот-

- В июле 1923 г. на немецком курорте Бад-Флинсберг опять встретились старые друзья — Лили, Осип, Маяковский и Роман Якобсон.



■ Маяковский, Раиса Кушнер, Лили и ее мать в Нордернее летом 1923 г.

ветствовало: слишком напряжены были отношения между отдыхающими. За несколько недель до этого вышел из печати ключевой роман Шкловского “Зоо, или Письма не о любви”, и тот факт, что его любовь к Эльзе теперь стала общественным достоянием, не мог не влиять на атмосферу. Кроме того, Шкловский был по-прежнему смертельно влюблен в нее, а она в равной степени неприступна. Между Маяковским и Лили лежала тень ее любви к Краснощеккову, а его отношения с Эльзой оставались натянутыми после берлинского конфликта. Лили пыталась их примирить, но, по словам Эльзы, “мир был худой, только для вида”. Эльза сразу после приезда в Нордерней заболела, и, несмотря на это, Маяковский демонстративно игнорировал ее. Эльзы, кстати, нет ни на одной фотографии. Случайность? Или она не хотела сниматься с Маяковским?

Согласно письму, направленному Луначарским комиссару иностранных дел перед отбытием Маяковского в Германию, “известный поэт-коммунист” совершал поездку в качестве представителя Комиссариата народного образования: “Цели, которые он преследует своей поездкой в Германию, находят полное оправдание со стороны Наркомпроса. Они целесообразны с точки зрения вообще поднятия культурного престижа нашего за границей”.

Поскольку советские граждане, особенно с репутацией Маяковского, за границей часто наталкивались “на разные неприятности”, Луначарский обратился в советский МИД с просьбой выдать Маяковскому служебный паспорт. Такие же документы были, вероятно, выданы и Лили и Осипу.

К этому моменту положение Маяковского в советской литературе было настолько исключительным, что он считался чуть ли не национальным достоянием; по крайней мере так к нему относился Луначарский. Однако какими были истинные цели его поездки? Более семи из десяти недель, проведенных в Германии, он находился на курортах и пляжах. Всего один раз он выступал с чтением стихов (в Берлине) и написал только два стихотворения — “Нордерней” и “Москва — Кенигсберг”, которые к тому же не имели никакой пропагандистской ценности на Западе, поскольку печатались только по-русски.

Действительно ли Маяковский поехал в Берлин для пропаганды советской литературы? Или поездки за границу уже стали для него необходимостью, своего рода передышкой? Многие говорят именно об этом. “Мне необходимо ездить, — заявил он позже. — Обращение с живыми весами почти заменяет мне чтение книг”. 15 сентября, в день отъезда из Берлина, он отправил письмо Давиду Бурлюку в Нью-Йорк. Он с удовольствием приехал бы навестить его “через месяца два-три”, если Бурлюку удастся устроить ему американскую визу. “Сегодня еду на 3 месяца в Москву”, — пишет он — значит, следующая поездка за границу, будь то Америка или нет, уже была запланирована.

■ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ СУД

Маяковский вернулся в Москву 17 или 18 сентября. На следующий день Краснощекова арестовали, обвинив в ряде проступков: он якобы давал ссуды своему брату Якову, директору предприятия “Американско-российский конструктор”, под слишком низкий процент, устраивал пьянки и оргии в гостинице “Европейская” в Ленинграде и платил цыганам, развлекавшим компанию, чистым золотом. Кроме этого, его обвиняли в том, что он отправлял зарплату от Русско-американской индустриальной корпорации

(200 долларов в месяц) жене (которая вернулась в США), покупал любовнице цветы и меха на казенные средства, снимал дорогую дачу и содержал не менее трех лошадей. К этому времени Ленин уже был настолько болен, что не смог бы заступиться за Краснощекова, даже если бы хотел.

Арест Краснощекова стал настоящей сенсацией. Впервые обвинение в коррупции было предъявлено коммунисту, занимавшему столь высокое положение, и это бросало тень на весь партийный аппарат. Для предотвращения кривотолков комиссар Рабоче-крестьянской инспекции Валериан Куйбышев сразу после этого ареста заявил, что “установлены бесспорные факты преступного использования Краснощековым средств хозяйственного отдела в личных целях, устройство на эти средства безобразных кутежей, использование хозяйственных сумм банка в целях обогащения своих родственников и т. д.”. Утверждалось, что Краснощеков “преступно нарушил доверие, выраженное ему, и должен понести суровую кару по суду”.

Иными словами, Краснощеков был осужден заранее. Об объективном судебном разбирательстве речь не шла, целью являлось создание прецедента: “Советская власть и коммунистическая партия будут больше, чем когда-либо, суровой рукой уничтожать уродливые проявления нэпа и сумеют напомнить успокоившимся на прелестях капиталистического бытия господам, что они живут в рабочем государстве, возглавляемом коммунистической партией”. Аресту Краснощекова придавали настолько большое значение, что речь Куйбышева опубликовали одновременно в “Правде” и в “Известиях”. Куйбышев тесно дружил с прокурором Николаем Крыленко, который годом ранее выступал обвинителем против эсеров и который со временем превратит показательные суды и сфабрикованные обвинения в чистое искусство.

Когда арестовали Краснощекова, Лили и Осип еще были в Берлине. В письме, которое Маяковский написал им спустя несколько дней после его ареста, эта сенсационная новость обходится полным молчанием. Он сообщает им имя сотрудника посольства в Берлине, который может дать разрешение на ввоз в Россию мебели (по-видимому, купленной в Берлине), рассказывает, что белка, обитающая у них, по-прежнему жива и что Лева Гринкрут

в Крыму. Единственное важное сообщение — что он был у Луначарского, чтобы обсудить “Леф”, и что по этому же вопросу он собирается к Троцкому. О событии, которое обсуждала вся Москва и которое в высшей степени касалось Лили, — ни слова.

Процесс против Краснощекова проходил в начале марта 1924 года. На скамье подсудимых, кроме брата Якова, оказались трое работников Промбанка. Юрист Краснощеков произнес в свою защиту блестящую речь, объясняя, что как директор банка он имел право определять процент ссуды в зависимости от конкретной сделки и что для достижения лучшего результата необходимо быть гибким. По поводу обвинений в аморальном поведении он утверждал, что его работа требовала определенных представительских расходов и что “роскошная дача” в пригороде Кунцево представляет собой брошенный дом, который к тому же был его единственным постоянным жильем. (По иронии судьбы это был дом, до революции принадлежавший семье Шехтель, где весной 1913 года часто бывал Маяковский, — см. главу “Володя”.) В остальном Краснощеков ссылаясь на то, что его частная жизнь находится вне юрисдикции суда. Суд этого мнения не разделял, доказывая, что Краснощеков вел аморальный образ жизни, в то время как коммунист должен служить примером для других и не поддаваться соблазнам нэпа. Краснощеков был также признан виновным в злоупотреблении служебным положением с целью поощрения торговых операций родственников и нанесения банку ущерба в размере 10 тысяч рублей золотом. Его приговорили к шести годам заключения и лишению гражданских прав сроком на три года. Кроме этого, его исключили из партии. Брата Якова приговорили к трем годам тюремного заключения, остальные сотрудники получили более короткие сроки.

На самом деле Краснощеков был весьма успешным директором банка: в период с января 1923 года и до ареста в сентябре ему удалось увеличить капитал Промбанка в десять раз, в том числе благодаря гибкой политике кредитования, следствием которой стал значительный приток американских инвестиций в Россию. Не исключено, что обвинения против Краснощекова инициировались людьми из Наркомфина и конкурирующего советского Госбанка; незадолго до своего ареста Краснощеков высту-

пил с предложением, согласно которому Промбанк должен был взять на себя все промышленно-финансовые операции Госбанка. Эффект получился обратным: после суда над Краснощековым Промбанк подчинили Госбанку.

Что касается оргий, то мало вероятности, что эти обвинения имели под собой почву; Краснощеков не обладал репутацией кутилы, а его “представительские расходы” вряд ли превышали расходы других высокопоставленных работников. Однако он был уязвим, поскольку при наличии жены и детей у него были не одна, а две любовницы. Женщина, фигурировавшая в материалах процесса, была не Лили, как можно было бы думать, а Донна Груз — секретарь Краснощекова, которая шесть лет спустя станет его второй женой. Этот факт, несомненно, подрывал доверие к Краснощекову в части обвинительного акта, касавшейся его личной жизни.

Когда был оглашен приговор, Лили уже три недели находилась в Париже. Она поехала туда без особых дел, для того чтобы развлечься. Однако она взяла с собой платья советского модельера Надежды Ламановой, которые они с Эльзой демонстрировали на двух суаре, устроенных парижской газетой. Ей очень хочется в Ниццу, но никак не получается, так как русские эмигранты проводят там конгресс, сообщает она Маяковскому и Осипу в Москву 23 февраля. Вместо этого она думает поехать в Испанию или еще куда-нибудь в Южную Францию “пожариться недельку на солнце”. Но Лили осталась в Париже, где они с Эльзой непрестанно выходят в свет и танцуют. Их “более или менее постоянные кавалеры” — Фернан Леже (с которым Маяковский познакомился в Париже в 1922 году) и один лондонский знакомый, который берет их с собой повсюду “от самых шикарных мест — до апашей включительно”. “Здесь совсем искутились, — сообщает она. — Эльзочка завела записную книжечку, в кот. записывает все наши свидания, на десять дней вперед”. Поскольку в Париже одежда тоже стоит дорого, она просит Осипа и Маяковского прислать ей немного средств, в случае если они выиграют “какие-нибудь бешеные деньги” в карты.

Письмо было написано за две недели до суда над Краснощековым. “Что с А.М.?” — спрашивает Лили посредине отчета о развлечениях. Но ответа на свой вопрос она не получила, либо

ответ не сохранился. В Париже она провела месяц, а 26 марта села на корабль до Англии с целью навестить Елену Юльевну, которая хворала. Однако Лили была вынуждена вернуться в Кале в тот же вечер, поскольку в Дувре ее остановил пограничный контроль — несмотря на то что у нее была английская виза, выданная в Москве в июне 1923 года. Она не могла знать, что после первого посещения Англии в октябре 1922-го ее объявили персоной нон грата, о чем 13 февраля 1923 года секретным циркуляром было сообщено во все британские пункты паспортного контроля “для Европы и Нью-Йорка”.

“Ты не знаешь до чего обидно было возвращаться с английской границы, — написала она Маяковскому. — У меня всяческие предположения на этот счет, о кот. расскажу тебе лично. Как ни странно, но мне кажется, что меня не пропустили из-за тебя”. Предположение оказалось правильным: документ из британского министерства иностранных дел подтверждает, что именно отношения с Маяковским, писавшим “весьма клеветнические статьи” в “Известиях”, сослужили ей дурную службу. Как ни странно, но, вопреки этому запрету, Лили смогла приехать в Лондон три недели спустя. Английской иммиграционной службой эта поездка, очевидно, зарегистрирована не была — значит ли это, что она въехала в страну нелегально?

Одновременно с отъездом Лили в Париж Маяковский отправился в турне по Украине: поэтические чтения были важным



■ Показ одежды Надежды Ламановой в Париже зимой 1924 г. вызвал интерес и французской и английской прессы. В Англии эта фотография была снабжена следующим комментарием: “СОВЕТСКАЯ МЕШКОВАТАЯ МОДА. — Из-за нехватки ткани в Советской России московская модельерша г-жа Ламанова сделала эти платье и шляпу из мешковины”.

SECRET.

B. 795 H.O.

(17a)

9th February, 1923.

DECARDED
VLADIMIR MAYAKOVSKY.

Born in Bagdady on 7/6/1894.

In 1907 became a member of the Bolshevist faction of the Russian Social Democratic Party (now re-christened Communist Party). Under the *nom-de-guerre* "Comrade Constantine" took part in active revolutionary propaganda among the Moscow workers. Was elected member of Moscow Committee of Bolshevist party (in 1907) together with LOMOFF, SMIDOVICH, etc. Later was arrested and imprisoned by the Russian Imperial police. Was set free in a few months, re-arrested and served 11 months in Bytirki prison in Moscow. Began to write poetry, became Russia's first futurist poet. During war took active part in definite propaganda, together with MAXIM GORKI, etc.

When Bolsheviks came to power in October, 1917, immediately offered his services to Proletcult for propaganda work.

In 1919 became one of the principal leaders of the "Communist" propaganda and agitation section of the "Rosta" (Russian Telegraph Agency). In 1921 began to write for Moscow *Izvestia*, chiefly unsigned propaganda articles.

He should not be given a visa or be allowed to land in the United Kingdom: all British Overseas Countries also warned accordingly.

W. HALDANE PORTER,

H. M. Chief Inspector, Aliens Branch, Home Office.

Home Office Ports.

Scotland House.

Passport Control for all Controls and Consuls

Military Controls.

India Office.

MAYAKOVSKY. | 23 | M. | Ru | Commu- | Bol. | RD. | B. 795
 VLADIMIR | | | | | | | nist

источником доходов. Во время остановки в Одессе он сообщил в газетном интервью, что планирует вскоре отправиться в мировое турне, поскольку его пригласили выступить с лекциями и чтением стихов в США. Через две недели он вернулся в Москву, а в середине апреля уехал в Берлин, где еще через неделю к нему присоединилась Лили. Согласно газетным сведениям, Маяковский был в немецкой столице “проездом в Америку”.

Кругосветное путешествие не состоялось, так как Маяковский не получил необходимые визы. Запросить американскую визу в Москве было невозможно ввиду отсутствия дипломатических отношений между государствами. Поэтому он намеревался въехать в Соединенные Штаты через третью страну. Не успело первое лейбористское правительство Великобритании признать Советский Союз (1 февраля 1924 года), как 25 марта Маяковский обратился в британскую дипломатическую миссию в Москве с просьбой предоставить ему визу в Англию, откуда он хотел поехать далее в британские колонии Канаду и Индию.

В письме к премьер-министру Рамсею Макдональду исполняющий обязанности посла Великобритании в Москве просил сообщить, как ему поступить: в миссии, сообщалось в письме, Маяковского не знают, но он является “членом коммунистической партии и, как говорят, известным коммунистическим пропагандистом”. Необходимости в таком письме не было бы, если бы его автор знал, что 9 февраля 1923 года Home Office издал секретный циркуляр и в отношении Маяковского — “один из главарей “коммунистического” отдела пропаганды и агитации РОСТА”, публиковавшего с 1921 года пропагандистские статьи в “Известиях”, который “не должен получить визу или разрешение въехать в Соединенное Королевство” и его колонии. Циркуляр был направлен во все британские порты, пункты консульского, паспортного и военного контроля, а также в шотландский и индийский отделы МИДа. Однако там, где о существовании этого документа действительно должны были знать, — в дипломатической миссии его величества в Москве — о нем, очевидно, ничего не знали...

■ Циркуляр В.795 британского департамента внутренних дел, запрещающий Маяковскому въезд на британскую территорию.

В ожидании ответа от англичан Маяковский дважды выступал в Берлине с рассказами о Лефе и чтением стихов. 9 мая, устав ждать решение, которое так и не было получено, он вернулся в Москву вместе с Лилей и скотчтерьером по имени Скотик — Лили завела собаку в Англии. Приехав в Москву, Маяковский узнал, что 5 мая Лондон выдал британской миссии в Москве инструкцию, согласно которой в получении визы ему следует отказать.

■ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ

Дело Краснощекова привлекало большое внимание, но о нем писалось бы еще больше, если бы его не затмило более крупное политическое событие: 21 января 1924 года после нескольких лет болезни скончался Владимир Ильич Ленин.

Среди тысячной толпы в очереди, обвивавшей Дом Союзов, где проходила церемония прощания с вождем, находились Маяковский, Лили и Осип. Смерть Ленина глубоко потрясла Маяковского. “Мы плакали, стоя в очереди на Красной площади в ледяном холоде, чтобы увидеть его, — вспоминала Лили. — У Маяковского было журналистское удостоверение, и мы могли пройти вне очереди. Я думаю, он смотрел на тело десять раз. Мы все были глубоко потрясены”. Смерть Ленина вызвала глубокие и искренние чувства, и не только у его политических сторонников. Проститься с Лениным пришли Борис Пастернак и Осип Мандельштам, у которых отношение к революции и ее вождю было значительно более прохладным, чем у Маяковского. “Мертвый Ленин в Москве! — восклицал Мандельштам в репортаже. — Как не почувствовать Москвы в эти минуты! Кому не хочется увидеть дорогое лицо, лицо самой России? Который час? Два, три, четыре?

- Маяковский со Скотиком, приобретенным Л.Ю. Брик в Англии. Фотография снята летом 1924 г. на даче в Пушкине. Увидев однажды, как Маяковский угощает Скотика мороженым, Родченко решил запечатлеть эту сцену. “Снимок навсегда сохранил нежную улыбку Володи, обращенную к собаке...” — вспоминал он. На самом деле снимок со Скотиком — одна из редких фотографий, на которой Маяковский улыбается.





■ Очередь в Дом Союзов, где стоял гроб с телом Ленина.

Сколько простои́м? Никто не знает. Счет времени потерян. Стоим в чудном ночном человеческом лесу. И с нами тысячи детей”.

Вскоре после смерти Ленина Маяковский принялся за свой самый до сих пор амбициозный поэтический проект — крупную поэму о Ленине. Он писал о Ленине ранее, в 1920 году, в связи с 50-летием (“Владимир Ильич!”) и зимой 1923 года, когда у вождя случился первый удар (“Мы не верим!”), однако это были короткие стихотворения. Позднее Маяковский утверждал, что размышлять о поэме, посвященной Ленину, он начал еще в 1923-м. Правда это или нет, но взяться за перо его заставила именно смерть Ленина в январе 1924 года.

Знания о жизни и деятельности Ленина у Маяковского были весьма поверхностными, и для того, чтобы писать о нем, пришлось учиться; его наставником был, как всегда, Осип, устроивший Маяковскому “краткий курс” ленинианы. У самого поэта на кропотливую работу над подобным материалом не хватало ни времени, ни терпения. Поэма создавалась на протяжении лета и была закончена в начале октября 1924 года. Она получила название “Владимир Ильич Ленин” и стала самой обширной из всех его поэм, 3 тысячи строчек, почти вдвое длиннее, чем “Про это”.

длинны и обстоятельны. То же самое относится к восхвалениям в адрес коммунистической партии с их пустой риторикой:

Хочу
 сиять заставить заново
 величественнейшее слово
 “ПАРТИЯ”.
 Единица!
 Кому она нужна?!
 Голос единицы
 тоньше писка.
 Кто ее услышит? —
 Разве жена!
 <...>
 Партия —
 рука миллионопалая,
 сжатая
 в один
 громающий кулак.
 Единица — вздор,
 единица — ноль
 <...>
 Мы говорим Ленин,
 подразумеваем —
 партия,
 мы говорим
 партия,
 подразумеваем —
 Ленин.

Один из немногих рецензентов поэмы, пролетарский критик и ярый антифутурист Г. Лелевич, был совершенно прав, указывая, что “ультра-индивидуалистические стихи” Маяковского в строках “Про это” “выходят потрясающе-искренне” по сравнению с поэмой “Владимир Ильич Ленин”, которая “за немногими исключениями *рассудочна и риторична*”. Единственное, что Маяковский сможет сделать с этим “трагическим” фактом, — это попытаться “перешаг-

нуть через себя”: поэма о Ленине, пишет Лелевич, есть “неудачная, но знаменательная и плодотворная попытка вступить на этот путь”.

Лелевич был прав в том, что в качестве поэтического произведения “Про это” гораздо более убедительна, чем поэма о Ленине. Однако “трагическим” было не то, что считал таковым Лелевич, а нечто иное — отрицание Маяковским личности и значения личности. Для того чтобы “перешагнуть через себя”, то есть перебороть свой внутренний лирический импульс, Маяковскому предстояло сделать дальнейшие шаги в этом направлении — и он их сделает, несмотря на то что это было противопоказано его природе.

Ценное в поэме “Владимир Ильич Ленин” — не дифирамбы в адрес Ленина и коммунистической партии, а предупреждение, что после смерти Ленин превратится в икону. Ленин, которому поклоняется Маяковский, — “обыкновенный мальчик”, родившийся в русской провинции, выросший и ставший “самым человеческим человеком”. Если бы он был “царствен и божествен”, Маяковский несомненно протестовал бы и “стал бы в перекоре шествий, / поклонениям / и толпам поперек”.

Я б
нашел
слова
проклятья громоустого,
и пока
растоптан
я
и выкрик мой,
я бросал бы
в небо
богохульства,
по Кремлю бы
бомбами
метал:
д о л о й!

Больше всего Маяковский опасался, что к Ленину, как и к Марксу, будут относиться как к “замурованному в мрамор, гипсом холо-

деющему старику”. Здесь он отсылает к “IV Интернационалу”, в котором Ленин описывается как застывший памятник:

Я боюсь,
 чтоб шествия
 и мавзолее,
 поклонений
 установленный статут,
 не залили б
 приторным елеем
 ленинскую
 простоту, —

предупреждает Маяковский, забывая, что своей семидесятипятистраничной поэмой он сам способствует такому развитию.

Опасения, что Ленин после смерти будет канонизирован, были глубоко осознанными — и обоснованными. Прошло совсем мало времени, и Госиздат (!) начал рекламировать гипсовые, бронзовые, гранитные и мраморные бюсты вождя “в натуральную и двойную величину”. Бюсты тиражировались с оригинала, выполненного скульптором Меркуровым — упомянутым Маяковским в поэме “Рабочим Курска”. Целевыми группами были “госучреждения, партийные и профессиональные организации, кооперативы и проч.”.

Лефовское чествование мертвого вождя носило другой характер. Теоретический раздел номера 1(5) “Лефа” за 1924 год посвящался языку Ленина. Среди авторов были выдающиеся формалисты, как, например, Виктор Шкловский, Борис Эйхенбаум, Борис Томашевский и Юрий Тынянов, чьи работы представляли собой новаторские попытки проанализировать язык политики с формалистических позиций. Для них Ленин был “деканонизатором”, который во имя эффективности языка “снижал высокий стиль” и т. п. Такое стремление к действенной простоте совпадало с теоретическими амбициями лефовцев, но резко контрастировало с канонизацией Ленина, начавшейся, едва остыло его тело.

Весь номер “Лефа” был, по сути, полемическим выпадом против подобного развития: эссе о языке Ленина — косвенным, пере-

довица же — совершенно открытым. Ссылаясь прямо на рекламу бюстов Ленина, редакция “Лефа” в программном заявлении “Не торгуйте Лениным!” обращалась к властям со следующими призывами:

Мы настаиваем:

Не штампуйте Ленина.

Не печатайте его портретов на плакатах, на клеенках, на тарелках, на кружках, на портсигарах.

Не бронзируйте Ленина.

Не отнимайте у него его живой поступи и человеческого облика, который он сумел сохранить, руководя историей.



■ После возвращения из Берлина в мае 1924 г. Маяковский встретился с японским писателем Тамидзи Наито. За столом рядом с ним и Лили сидит жена Сергея Третьякова Ольга, слева от Наито (в центре) стоят Борис Пастернак и Сергей Эйзенштейн, справа — советский дипломат Арсений Вознесенский и переводчик Наито.

Ленин все еще наш современник.
Он среди живых.
Он нужен нам, как живой, а не как мертвый.
Поэтому, —
Учитесь у Ленина, но не канонизируйте его.
Не создавайте культа именем человека, всю жизнь
боровшегося против всяческих культов.
Не торгуйте предметами этого культа.
Не торгуйте Лениным.

Учитывая, до каких масштабов будет впоследствии раздут культ Ленина в Советском Союзе, можно сказать, что текст по своей пронизательности сродни пророчеству. Однако читатели “Лефа” его так и не смогли прочесть. В содержании журнала указывалось, что номер начинается с 3-й страницы передовицей “Не торгуйте Лениным!”. Но в основном тираже эта страница отсутствовала, а пагинация начиналась со страницы 5. Руководство Госиздата, отвечавшее за распространение “Лефа”, пришло в ярость из-за критики по поводу рекламы ленинских бюстов, и передовица была изъята. Она чудом сохранилась в нескольких обязательных экземплярах, которые успели попасть в библиотеки прежде, чем заработали ножницы цензуры.

■ ШКУРОЙ РЕВНОСТИ МЕДВЕДЬ ЛЕЖИТ КОГТИСТ

Актуализация темы памятника именно в это время объяснялась не только смертью Ленина; здесь была и личная подоплека. В свои тридцать лет Маяковский являлся самым успешным и знаменитым советским поэтом. Его современниками были Борис Пастернак и Сергей Есенин, Осип Мандельштам и Анна Ахматова — все выдающиеся поэты. Среди них он был, может быть, не лучшим, но, несомненно, одним из лучших; однако, в отличие от них, после первоначальных сомнений он активно встал на сторону нового общественного строя. Высшее руководство советского государства в свою очередь удостоивало его милости, сначала Ленин и Луначарский, а в последнее время и военный комиссар

Лев Троцкий, один из самых блестящих умов революции, высоко ценивший “огромный талант” Маяковского, у которого “принятие революции естественнее, чем у кого бы то ни было из русских поэтов”. Опасность, что сам Маяковский превратится в памятник, была достаточно велика.

Весной 1924 года, в то время, когда он раздумывал над поэмой о Ленине, он работал еще над одним стихотворением на тему памятников и юбилеев. 6 июня 1924 года отмечался 125-летний юбилей Александра Пушкина — событие, заставившее Маяковского лишний раз сформулировать собственное отношение к своему коллеге.

Если для самого Маяковского его отношение к Пушкину было раз и навсегда определено, то другим вопрос не казался столь очевидным. В декабре 1918 года в стихотворении “Радоваться рано” Маяковский нападал на коллегу-поэта со словами: “А почему / не атакован Пушкин? / А прочие / генералы классики?” Формулировка задела Луначарского, считавшего, что такое презрение к классикам противоречит интересам рабочего класса: вместо того чтобы механически отбраковывать великих писателей прошлого, у них следует учиться. Маяковский возразил, что он атаковал не поэта Пушкина, а *памятник* и что он, как и другие футуристы, ополчился не против старой литературы, а против того, что она выдвигается в качестве образца для литературы современной. Кроме того, подчеркивал он, нельзя воспринимать его слова буквально.

В действительности Маяковский очень любил Пушкина. Когда он работал над стихотворением “Юбилейное”, Осип читал ему вслух “Евгения Онегина”, и хотя Маяковский знал его наизусть, он отключил телефон, чтобы им не мешали. Однако в эстетической атмосфере, рожденной революцией и активно создаваемой самими левовцами, открыто признаться в любви к Пушкину было нелегко. Чтобы оправдать свою любовь к Пушкину, Маяковскому пришлось сделать его соратником по перу, левовцем. На самом деле, утверждается в стихотворении, Пушкин вел в 1820-е годы такую же борьбу за обновление поэтического языка, какую Маяковский ведет сейчас, сто лет спустя, и если бы Пушкин был его современником, то Маяковский позвал бы его в соредакторы по “Лефу” и дал бы ему писать и агитационную поэзию, и рекламные стихи...

Эта мысль была подхвачена “младоформалистом” Юрием Тыняновым в эссе о современной литературе “Промежуток”, написанном в том же 1924 году. Тынянов рассматривал рекламные стихи Маяковского как необходимую языковую лабораторную работу, которая напрямую соответствовала пушкинским экспериментам с “низкими жанрами”, таким, например, как альбомные стихи.

В названии “Юбилейное” отражено ироническое отношение Маяковского к подобным праздникам. Стихотворение написано в форме разговора с Пушкиным, которого Маяковский стаскивает с пьедестала на Тверском бульваре, чтобы с ним поговорить: “У меня, / да и у вас, / в запасе вечность. / Что нам / потерять /часок-другой?!” Затем стихотворение развивается по двум основным линиям. Первая — страх превратиться в памятник, судьба, которая постигла Пушкина и угрожает ему самому:

Может
я
один
действительно жалею,
что сегодня
нету вас в живых.
Мне
при жизни
с вами
сговориться б надо.
Скоро вот
и я
умру
и буду нем.
После смерти
нам
стоять почти что рядом:
вы на Пе,
а я
на эМ.

Маяковский любит Пушкина “живого, а не мумию”, как поэта, тоже прожившего бурную жизнь, прежде чем на него “навели хрестоматийный глянec”. Когда в конце стихотворения он возвращает Пушкина на пьедестал, он делает это с заклинанием:

Мне бы
 памятник при жизни
 полагается по чину.
 Заложил бы
 динамиту
 — ну-ка,
 дрызнь!
 Ненавижу
 всяческую мертвечину!
 Обожаю
 всяческую жизнь!

Вторая основная линия касается извечно актуального противостояния лирика и общественного поэта. “Вред — мечта, — пишет Маяковский, — и бесполезно грезить”, когда “надо вести служебную нуду”:

Только
 жабры рифм
 топырит учащённо
 у таких, как мы,
 на поэтическом песке.

Футуристами “лирика / в штыки / неоднократно атакована” в поисках “речи / точной / и нагой”,

Но поэзия —
 пресволочнейшая штуковина:
 существует —
 и ни в зуб ногой.

Поэзия существует, поскольку существует любовь, — в новом обществе тоже, вопреки всем аскетичным идеалам:

Говорят —
я темой и-н-д-и-в-и-д-у-а-л-е-н!
Entre nous...
чтоб цензор не нащипал.
Передам вам —
говорят —
видали
даже
двух
влюбленных членов ВЦИК

Тон ироничен, но размышления Маяковского о любви и поэзии имели вполне конкретный фон. Спустя год с лишним после разлуки, породившей “Про это”, весной 1924 года, в отношениях между Маяковским и Лили назрел новый кризис, более серьезный, чем все предыдущие. Ее чувства к Краснощекову были настолько сильны, что она решила порвать с Маяковским. Поскольку Лили было трудно сообщить о своем решении устно — “тяжело разговаривать”, — он получил его в письменной форме: “Ты обещал мне: когда скажу, спорить не будешь. Я тебя больше не люблю. Мне кажется, что и ты любишь меня много меньше и очень мучиться не будешь”. Поскольку потом Маяковский скажет, что последнее, сделанное им и Лилей вместе, была собака Скотик, то момент разрыва можно отнести к их пребыванию в Берлине в начале мая.

Связь между Лили и Маяковским была устоявшейся и хорошо известной, и о ее романе с Краснощековым говорила вся Москва. Поэтому не требовалось особой проницательности, чтобы расшифровать следующие строки стихотворения “Юбилейное”, с их прямыми ссылками на поэму “Про это”:

Я
теперь
свободен
от любви
и от плакатов.
Шкурой
ревности медведь
лежит когтист.

<...>

Было всякое:

и под окном стояние,

письма,

тряски нервное желе.

Пушкин погиб в результате дуэли с любовником жены бароном Дантесом. В стихотворении он сравнивается с последним кавалером Лили, чье имя современники могли разгадать без труда:

Их

и по сегодня

много ходит —

всяческих

охотников

до наших жен.

Разрыв между Лили и Маяковским стал сенсацией в широких кругах и потрясением для ближайших друзей: “Внимание! Лиля разошлась с Маяковским, — докладывал возвратившийся на родину Шкловский Роману Якобсону в Прагу. — Она влюблена (навернула) в Кр[аснощекова]. Эльзе этого не сообщай, если вообще с ней общаешься”.

Почему Шкловский не хотел, чтобы Эльза знала, что Лили порвала с Маяковским? Потому что она могла огорчиться или разволноваться? Потому что между ней и Маяковским по-прежнему сохранились чувства и весть о разрыве могла дать ей необоснованные надежды? Или потому что он полагал, будто отношения могут быть восстановлены, так же как это уже случалось много раз, и глупо беспокоить Эльзу зря?

Шкловский был прав в своей осторожности. Лили порвала с Маяковским, но это не означало конца их совместной жизни — хотя в будущем все будет по-другому.



Мы целуем

— беззаконно! —

над Гудзоном

ваших

длинноногих жен.

■ Владимир Маяковский. *Вызов*, 1925

Маяковский, любивший Лили с прежней силой, был сокрушен тем, что она его отстранила. Уже в конце мая, проведя в Москве всего несколько недель, он просил у Луначарского рекомендательное письмо в советские заграничные представительства: чтобы отвлечься от своего горя, он снова собирался за границу. Поездка, однако, не состоялась. Лето, как и всегда, прошло в Пушкине, однако, в отличие от предыдущих лет, Маяковский приезжал сюда только на выходные — будни он проводил у себя в Лубянском проезде.

Краснощеков просидел это лето в заключении. Для человека, страдавшего легочным заболеванием, Лефортовская тюрьма, известная, согласно докладной записке ЧК, грязью, влажностью, вонью и дурным воздухом, была не самым лучшим местом. Его прошение о переводе в другую тюрьму отклонили, но ему удалось получить разрешение работать в камере. Он переводил на русский Уолта Уитмена и писал книгу “Современный американский банк”, которая была закончена в ноябре 1924 года. Когда через два года книга увидела свет, Краснощеков в предисловии объяснял, что издание задержалось “по не зависящим от автора обстоятельствам”. Место создания текста он указал буквами “Л.И.”, что расшифровывалось как Лефортовский изолятор.

■ Маяковский на Манхэттене.



■ Луэлла Краснощекова в Пушкине со Шкловским, Маяковским, Асеевым и Борисом Кушнером (на заднем плане). Фото Александра Родченко 1924 г.

Лили навещала Краснощекова как можно чаще, снабжала его едой и книгами. Забота о нем распространилась и на его четырнадцатилетнюю дочь, которая переехала на дачу в Пушкино. Александр Михайлович был женат и имел двоих детей, Луэллу и Евгения, родившихся в Чикаго в 1910 и 1914 годах соответственно. Луэллу назвали в честь парка в Нью-Джерси (Clewelyn Park), где родители любили гулять. Первые годы в России семья жила вместе, но в декабре 1922-го жена, польская еврейка по имени Гертруда, вернулась с сыном в США, в то время как Луэлла по собственному желанию осталась с отцом в Москве. Нетрудно догадаться о причине, заставившей жену Краснощекова покинуть Советский Союз.

В один из первых дней Луэллы в Пушкине Лили сказала ей: “Тебе будут говорить, что я целуюсь со всеми под любым забором, ничему не верь, а сама меня узнай”. Лили дала Луэлле два

комплекта собственного белья и своими руками сшила ей платья из белого ситца — простые, мешковатые, без рукавов и с глубоким вырезом, в утилитаристском стиле эпохи. Днем они загорали на траве. “Лили очень загорела и вся была темно-коричневая, как негр, — вспоминала Луэлла. — Это был спорт — кто больше загорит”. По вечерам играли в шахматы и домино или пели — все, кроме Маяковского, который был немзыкален и в целом равнодушен к музыке. Приезжая на выходные, он обычно привозил Луэлле семь плиток шоколада, по одной на каждый день недели.

В конце августа Маяковский на месяц уехал в турне по южной России и Кавказу. Он явно стремился прочь из Москвы, от отношений, которые хоть и не были прерваны, но в корне переменялись. Ему требовалось время, чтобы обдумать новую ситуацию. Когда он вернулся, Лили и Луэлла перебрались из Пушкина на зимнюю дачу в Сокольники, далеко от центра, но близко к Лефортову и школе, где училась Луэлла.

Если место выбирали по этим соображениям, то собственнo переезд был обусловлен другими причинами. За Маяковским числилась комната в Лубянском проезде, но он также был прописан в квартире в Водопьяном переулке. В условиях нехватки жилья в Москве прописка в двух местах одновременно считалась недопустимой роскошью. В связи с этим власти хотели забрать у Маяковского одну из комнат. (В это же время и над Пастернаком нависла угроза выселения из квартиры, в которой он проживал вместе с семьей.) Маяковский обратился в суд, но, несмотря на это, от комнаты в Водопьяном переулке ему пришлось отказаться. Лили и Осип не могли продолжать жить в таких условиях, особенно учитывая, что их жилище одновременно служило “штаб-квартирой” Лефа. Поэтому Осип сделал домработницу Аннушку своим секретарем и записал ее в Союз писателей, что позволило им оставить за собой одну из комнат квартиры в Водопьяном.

В Сокольниках они снимали весь нижний этаж дома — большую столовую, две небольшие комнаты для Лили и Осипа и еще одну крохотную, в которой не помещалось ничего, кроме кровати. Когда приезжал Маяковский, он ночевал в столовой, где весьма кстати стоял бильярдный стол. Предпочитал он, однако, комнату в Лубянском проезде — не только потому, что она нахо-

дилась в центре, но и потому, что там ему ничего не напоминало о причине разрыва с Лили.

Но на самом ли деле речь шла о разрыве? Письма этого периода изобилуют такими же проявлениями нежности, как и прежде. “Дорогой мой родной и милый Кашалотик я ужасно ужасно по тебе скучаю”, — пишет Маяковский, а Лили в ответных письмах обнимает и целует его. Новым было то, что Лили больше не относилась к Маяковскому как к “мужу” или “любовнику”. Но он остался любимым другом — и поэтом, чье творчество ее искренне восхищало. Порвать с ним полностью означало бы разбить союз, выстроенный ими вместе с Осипом за многие годы, союз, основой которого была не физическая любовь, а общность идеалов и интересов. Если Маяковский хотел остаться в этом союзе, ему надо было смириться с новыми отношениями, чем-то напоминавшими ситуацию до 1918 года.

■ НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ПУТЕШЕСТВИЕ

Пробыв в Москве чуть больше месяца, Маяковский снова уезжает за границу. 24 октября он отправляется в Париж через Ригу и Берлин. За день до отъезда он получает привет от Лили, которая надеется на скорую встречу, может быть, в Америке. Изменившиеся отношения, таким образом, не исключали совместных путешествий. Для Маяковского это было важным сигналом. В тот же день Луначарский, вечный ангел-хранитель Маяковского, написал письмо в административно-хозяйственный отдел Совнархоза, в котором просил оставить за Маяковским комнату в Лубянском проезде на время его пребывания за границей. Угроза выселения висела над ним постоянно.

Он прибыл в Париж 2 ноября, но на вокзале его никто не встретил, так как отправленная Эльзе телеграмма опоздала. Не владевшему французским языком поэту пришлось самому добираться до маленькой гостиницы “Истрия” на Монпарнасе, где жила Эльза, в том же году вернувшаяся из Берлина. По ее воспоминаниям, гостиница была “изнутри похожа на башню, узкая лестничная клетка с узкой лестницей, пятью лестничными площадками без коридоров; вокруг каждой площадки — пять одно-

створчатых дверей, за ними — по маленькой комнате. Все комнаты в резко-полосатых, как матрацы, обоях, в каждой — двуспальная железная кровать, ночной столик, столик у окна, два стула, зеркальный шкаф, умывальник с горячей водой, на полу потертый желтый бобрик с разводами”.

Комната была действительно совсем крошечной. “Владимир Маяковский — самый крупный русский поэт современности, — заметил молодой русский писатель-эмигрант Владимир Познер, взявший у Маяковского интервью по поручению парижского журнала. — Он такой крупный, что даже когда сидит, хочется попросить его сесть”. Было так тесно, что поэт и его туфли не умещались в комнате одновременно, сообщал с некоторым преувеличением пораженный Познер: “Они стояли за дверью, и для того, чтобы я смог войти, Маяковскому пришлось лечь на кровать”. Когда интервью закончилось, Познер ушел, оставив Маяковского “потонувшим в облаке, как олимпийский бог”. “Я никогда не видел, чтобы он брал папиросу или прикуривал, они появлялись у него в углу рта сами по себе”. Покинув номер, Познер встал на колени, чтобы разглядеть ботинки Маяковского, и с чувством восхищения и страха убедился, что поэт носит 46-й размер.

Сам Маяковский так описывал комнату в стихотворении “Верлен и Сезанн”:

Я стучаюсь
 о стол,
 о шкафа острия —
 четыре метра ежедневно мерь.
 Мне тесно здесь
 в отеле Istria —
 на коротышке
 Rue Campagne-Première.

Номер Маяковского располагался на одной лестничной площадке с комнатой Эльзы, и ему так понравилась гостиница, что во время своих посещений Парижа он останавливался только здесь. В эти годы в гостинице “Истрия” жили многие извест-

ные художники, в том числе Франсис Пикабия, Марсель Дюшан и Мэн Рэй, а также знаменитая натурщица Кики. На Монпарнасе располагалось множество художественных мастерских, неподалеку находились многочисленные кафе — “Ротонда”, “Селект”, “Дом”, а с 1927 года — “Куполь”, бывшие местом встреч художников и литераторов.

Но осенью 1924 года Париж служил лишь пересадочной станцией. Предполагалось, что отсюда Маяковский еще раз попытается отправиться в кругосветное путешествие. В Канаду он, однако, поехать не мог, это он знал, а Соединенные Штаты еще не установили дипломатические отношения с Советским Союзом. К тому же французы проявляли особую бдительность по отношению к человеку, которого считали большевистским агитатором, и даже намеревались выслать Маяковского из страны; однако ему удалось продлить визу, и он провел в Париже полтора месяца — почти ничего не делая. “... Ужасно устал и сознательно даю себе недели 2–3 отдыха — а потом сразу запишу всюду”, — объяснял он Лили в письме. Париж действительно вдохновил его на создание нескольких стихотворений, но они были опубликованы лишь следующей весной. Он также встречался с коллегами-художниками Пикассо и Робером Делоне. Особенно близко Маяковский подружился с Фернаном Леже. “Эти богатыри сговаривались друг с другом без разговора”, — вспоминала Эльза, которая вместе с Леже показывала Маяковскому Париж. Маяковский также дал пару интервью, в которых, в частности, утверждал, что Россия “переживает эпоху литературного возрождения”, что “поэзия значительно расширила свою сферу воздействия” и что “сами массы призваны судить о ее достоинствах, так как стихи теперь читаются перед огромными толпами народа”. О французской литературе он ничего не мог сказать, поскольку не знал языка: “Я преклоняюсь перед великой французской литературой, я восхищаюсь ею, и я молчу”.

Основную часть времени Маяковский проводил в кафе и ресторанах. Однажды он уговорил Эльзу пойти с ним к “Максиму”, но был в скверном расположении духа, ссорился с официантом и вел себя неприлично; Эльза целый вечер танцевала с профессиональным танцором, чьи услуги включили в счет. Резонно

предположить, что остальные вечера Маяковский проводил за игорным столом. А если не сидел за игорным столом, то все равно играл — во все, что встречалось на пути. Однажды, возвращаясь домой с Монмартра, на одном доме он увидел вывеску в форме золотого венка. “Володя метко бросает трость сквозь отверстие в венке, кто-то берет трость и тоже пробует бросить ее сквозь венок”, — вспоминала Эльза. Немедленно объявляется соревнование, устанавливаются правила и т. д.: “Володя всех обыгрывает: у него меткий глаз и рука, да и венок почти на уровне его плеча...”

Днем он ходил по магазинам — неизменно в сопровождении Эльзы: “Первый же день приезда посвятили твоим покупкам, — писал он Лили, — заказали тебе чемоданчик — замечательный и купили шляпы <...>. Духи послал (но не литр — этого мне не осилить) — флакон если дойдет в целости буду таковые высылать постепенно”. Осипу он купил рубашки и шахматы. Маяковский любил практичные, качественные вещи и многое купил и для себя. По рекомендации — и на деньги — Андре Триоле, с которым снова общалась Эльза, Маяковский заказал себе рубашки в дорогом ателье на Вандомской площади, у J.M. Weston’a на бульваре Малерб купил ботинки с металлическими подковками на каблуках и носках (“На вечность!”), в *Old England* — галстуки, носки, пижамы и раскладную резиновую ванну, в *Innovation* — несессер, стаканы, ножи, вилки и ложки в кожаном футляре и пр. Вследствие рипофобии он всегда имел при себе подобные аксессуары. “Володя мыл руки как врач перед операцией, поливал себя одеколоном, и не дай бог было при нем обрезать, — вспоминала Эльза. — А как-то он меня заставил мазать руки иодом, оттого что на них слиняла красная веревочка от пакета”.

Эльза постоянно была рядом, как гид и переводчик — в Париже он, по собственному выражению, изъяснялся “на триоле”. Его безумно раздражало незнание языка. Поэтический гений, фейерверк острот, каламбуров и блистательных рифм, за границей он был обречен на молчание! Он злился из-за того, что он не понимал и его не понимали, — и реагировал иногда так грубо, что Эльза или другие переводчики стеснялись передать его слова.

Мне бывало с ним трудно, — вспоминала Эльза. — Трудно каждый вечер где-нибудь шататься, выдерживать всю тяжесть молчания или такого разговора, что уже лучше бы молчал! А когда мы встречались с людьми, то это бывало еще мучительней, чем вдвоем. Маяковский вдруг начинал демонстративно, так сказать шумно, молчать. Или же неожиданно посылал взрослого, почтенного человека за папирусами...

Такое поведение лишний раз убеждало Эльзу, что в дурном настроении Маяковский способен довести других до предела терпения.

Маяковский не был ни самодуром, ни скандалистом из-за пересоленного супа, он был в общечитии человеком необычайно деликатным, вежливым и ласковым — и его требовательность к близким носила совсем другой характер: ему необходимо было властвовать над их сердцем и душой. У него было в превосходной степени развито то, что французы называют *le sens de l'absolu*, потребность абсолютного, максимального чувства и в дружбе, и в любви, чувства, никогда не ослабевающего, апогейного, бескомпромиссного, без сучка и задоринки, без уступок, без скидки на что бы то ни было...

В зависимости от того, чувствовал ли он себя любимым или нелюбимым, он был то маниакально возбужден, то впадал в глубочайшее отчаяние, то *“zum Himmel hoch jauchzend”*, то *“zum Tode betrübt”*, по выражению Эльзы, — то “сотрясал небеса”, то “впадал в смертельное уныние”.

Отношения между Маяковским и Эльзой оставались по-прежнему невыясненными. Уже через три дня после его приезда в Париж она доверяла своему дневнику: “Я привязана к нему и благодарна за то, что он любит Лили — и меня заодно. Очевидно, что “заодно”, несмотря на все речи, с которыми он обращается ко мне. Как он реагирует на малейшую мелочь, с какой силой! С какой силой он реагирует на каждый пустяк! С его телосложением! <...> Себя он воспринимает как насквозь нежного и доброго! Это в нем есть, но не только это... Что между нами будет?”

Для Эльзы, к этому времени знавшей Маяковского уже десять лет, трудности его характера не были новостью. Они ссорились в Берлине в 1922 году, и проведенное вместе лето 1923-го отношения не улучшило. Во время парижского визита осенью 1924 года Маяковский, по словам Эльзы, был, однако, “особенно мрачен” — это мнение разделяла и художница Валентина Ходасевич, которая находилась в Париже в это время и иногда переводила для Маяковского. По ее воспоминаниям, он был “мрачен и зол”. Причиной служил разрыв с Лили, о чем Эльза, разумеется, уже была прекрасно осведомлена.

Через неделю пребывания в Париже Маяковскому стало ясно, что задуманное путешествие будет трудно реализовать. Но он не мог сразу вернуться домой — ему было стыдно и перед Лили, и перед издательствами, которым он обещал материал. Ведь он не впервые объявлял журналистам, что едет в США! Да и что ему делать в Москве, спрашивает он риторически в письме к Лили, добавляя: “Писать я не могу а кто ты и что ты я все же совсем совсем не знаю. Утешать ведь все же себя нечем ты родная и любимая но все же ты в Москве и ты или чужая или не моя. Извини — но грусть”.

Он по-мазохистски волнуется из-за чувств Лили — “за [ее] лирику и за обстоятельства”, как он выражается, то есть из-за ее связи с Краснощековым. “Что делать, — отвечает Лили. — Не могу бросить А.М. пока он в тюрьме. Стыдно! Так стыдно как никогда в жизни. Поставь себя на мое место. Не могу — умереть легче”. Хотя он безумно скучает по Лили, но ее объяснение не признает:

Последнее письмо твое очень для меня тяжелое и непонятное. Я не знал что на него ответить. Ты пишешь про стыдно. Неужели это все что связывает тебя с ним и единственное что мешает быть со мной. Не верю! — А если это так ведь это так на тебя не похоже — так не решительно и так не существенно. Это не выяснение несуществующих отношений — это моя грусть и мои мысли — не считайся с ними. Делай как хочешь ничто никогда и никак моей любви к тебе не изменит.

Письмо Маяковского заканчивается отчаянной мольбой: “Люби меня немножко детик!” Ответ на это письмо не сохранился. Есть, однако, письмо от Лили, пересекающееся с письмом Маяковского, и там Краснощеков вообще не упоминается. Она пишет о чем угодно, только не о нем: о проблемах “Лефа”, издание которого Госиздат хочет прекратить, о “22 несчастях” с шубкой, на которой не так положили ворс, о том, что ее старый рижский знакомый Альтер подарил ей собаку породы доберман-пинчер, заменившую издохшего Скотика, о лефовцах, которые играли в карты до семи утра. Она спрашивает, как Маяковский причесан, длинные ли у него волосы или он пострижен.

Письмо полно будничных забот и банальностей — как и большинство писем Лили. Молчание по поводу Александра Михайловича объяснялось, однако, не только деликатностью или нежеланием затрагивать этот вопрос. Для такой осторожности имелись веские причины. Отношения с Краснощековым существенно отличались от ее предыдущих связей. Александр Михайлович был высокопоставленным партийным деятелем, арестованным за злоупотребление казенными средствами. Кроме того, ее отношение к этому делу носило не только личный характер: на периферии судебного разбирательства фигурировал и Осип, в качестве юриста составивший устав строительной фирмы Якова Краснощекова “Американско-российский конструктор”. Связь с Краснощековым, таким образом, имела достаточно опасное политическое измерение.

Может быть, именно это и подразумевал Маяковский, когда говорил, что волнуется не только по поводу ее “лирики”, но и по поводу “обстоятельств”. Дело Краснощекова, без сомнения, бросало тень и на Маяковского и на Бриков, к тому же лишившихся прежней протекции: 1 января 1924 года Осипа уволили из ГПУ как “дезертира”. Поводом для столь жесткой формулировки послужил тот факт, что Брик слишком часто избегал участия в операциях — по состоянию здоровья. Если так, это, несомненно, делает ему честь. Возможно также, ГПУ теперь меньше нуждалось в услугах “специалиста по буржуазии”.

■ ГАЛАНТНАЯ ЕВРОПА

За неделю до отъезда из Парижа, 13 декабря 1924 года, Маяковский послал Лили телеграмму: “Телеграфируй немедленно хочешь ли хоть немного меня видеть”. Лили ответила в тот же день: “Очень хочу видеть. Соскучилась. Целую”.

Каким бы ни был прием, Маяковский, выходя из поезда в Москве за несколько дней до Нового года, скорее всего пребывал в мрачном расположении духа. Поездка закончилась полным фиаско. Париж должен был стать транзитным пунктом в кругосветном путешествии, но вместо этого Маяковский задержался там на полтора месяца в ожидании визы, которая так и не была получена. Он бежал от Москвы, от Лили и Краснощекова, рассчитывая на долгое отсутствие, но вместо этого вернулся домой несолоно хлебавши.

Маяковский был мрачен и подавлен, но и Лили чувствовала себя не намного лучше. “Володя вернулся, — сообщала она 7 января Рите и продолжала: — Мы наверное поедem в Париж через шесть недель. А.Т.[обинсон] очень болен. Он в больнице. Вряд ли я его увижу. Думаю о самоубийстве. Я не хочу жить”.

В ноябре Краснощеков заболел воспалением легких и мог умереть. В связи с этим его перевели в правительственную больницу в центре Москвы, а в январе 1925 года он был помилован. Почему его выпустили уже через полгода, неясно; не подлежит сомнению, однако, что приказ был дан на самом высшем политическом уровне. Очевидно, Краснощеков больше не воспринимался как угроза; к тому же полученное им наказание оказалось жестче, чем в других подобных делах. Тот факт, что председателю ГПУ Феликсу Дзержинскому было поручено найти Краснощекову квартиру, возможно, свидетельствует о некотором чувстве раскаяния со стороны властей.

Хотя помилование было радостным событием, ситуация оставалась сложной для всех действующих лиц: Краснощеков лежал в больнице, Маяковский ревновал и был подавлен, Лили помышляла о самоубийстве. Ко всему этому в начале февраля Лили серьезно заболела. “Я действительно лежу уже третью неделю! — сообщала она Рите 23-го. — Оказывается, что во мне боляшущая опухоль и она подлая воспалилась”. Лили лечил веду-



■ Лили и Маяковский в "салоне" в Водопьяном переулке, где они принимали Поля Морана.

щий гинеколог Москвы Исаак Брауде, а Маяковский ухаживал за ней “как нянька”.

Выздоровлению едва ли способствовало то, что вскоре после помилования дело Краснощекова стало сюжетом литературного произведения. В феврале 1925 года в Театре революции состоялась премьера пьесы молодого драматурга Бориса Ромашова “Воздушный пирог”. Пьеса была основана на процессе над Краснощековым. Главными персонажами были банкир Коромыслов и его любовница, актриса и балерина Рита Керн. Коромыслов изображен как выродившийся коммунист, но прежде всего как жертва коррумпированного окружения, в частности собственного брата. “Я мог предаваться коммерческим иллюзиям, я мог не понимать того, что делается вокруг, но я не предавал рабочих интересов”, — говорит он. Хотя главная героиня была собирательным образом Донны Груз и Лили Брик, публика ассоциировала ее с последней — не только потому, что героиня, как и Лили, занималась балетом, но и потому, что, в отличие от Донны Груз, Лили была известной фигурой.

Пьеса была написана по заказу Ольги Каменевой, политука театра и жесткого идеолога. Тот факт, что Каменева — сестра Льва Троцкого — еще со времен революции была яркой противницей футуризма, возможно, также сыграл свою роль; нанося удар по Краснощеву и Лили, она косвенно била и по Маяковскому и его группе. В любом случае спектакль был еще одним ударом в спину Краснощекова со стороны партийного руководства.

При таком раскладе совместное существование Маяковского и Брик становилось горячей темой не только в России. В январе их посетил Поль Моран, сорокалетний французский дипломат, уже несколько лет известный и как писатель. Интересы Морана диктовались не только любопытством по отношению к большевизму, но и тем, что его отец родился и вырос в Петербурге, куда его дед Адольф Моран переехал в середине XIX века. Родившийся во Франции Моран, несомненно, ощущал себя в некоторой степени русским.

Когда Моран в конце января 1925 года появился у Брик, он уже провел в Москве несколько недель и прекрасно знал, кого

посещает. Благодаря публикациям в прессе и сплетням он был до мельчайших деталей осведомлен об этом “супружеском картеле”.

Выражение принадлежит Морану и появилось в книге “Я жгу Москву”, в которой описывается его визит в советскую столицу. Главные герои романа — Василиса Абрамовна, ее супруг Бен Моисеевич и “красный поэт” Мордехай Гольдвассер — сожительствуют “любовным трестом” в одной квартире; впоследствии Моран подтвердил, что прообразом третьего персонажа послужил Маяковский. Выбор еврейского имени, видимо, объяснялся тем, что среди ведущих большевиков было очень много евреев, особенно на протяжении “троцкистской фазы 1917–1925 годов”, выражаясь словами самого Морана. “Я жгу Москву” являет собой образец блестящей самобытной литературной журналистики, полной точных наблюдений и метких саркастических выпадов. “Под его пером французский язык двигался как джазовый танец” — так оценил стиль Морана писатель Луи-Фердинан Селин.

Портреты списаны с натуры не полностью — Бен Моисеевич, например, наделен чертами Краснощекова, дочь которого Луэлла фигурирует в повествовании как “приемный ребенок” семьи. Есть в них и черты, заимствованные у посторонних людей. Описание Москвы также несет на себе отпечаток художественно оправданных деформаций. Однако интерес представляют не эти отклонения, а меткое описание параноидального и политизированного советского общества, равно как и достоверные портреты главных действующих лиц. Моран констатирует, что все, в том числе и он сам, безоглядно влюблены в соблазнительную Василису, которая “принадлежала к столь распространенному типу, что любому мужчине казалось, будто он уже обладал ею”; он замечает купленные ей Гольдвассером в Париже дорогие духи, и это в известной степени доказывает, что ее “политические убеждения были не глубокими” (“хотя она называла себя коммунисткой”); отмечаются также тесные контакты Бена Моисеевича с чрезвычайной. Если сведения о наличии в их комнате бюста Ленина соответствуют действительности, это пикантное напоминание о том, что теория не всегда совпадает с практикой...

Гольдвассер описывается как “великан” с “открытым, симпатичным лицом”, поэт с “оригинальным стилем”, который со-

чиняет все — политические пьесы, рекламу производимых государством товаров, атеистические детские песенки и стихи, воспевающие применение удобрений в сельском хозяйстве. По словам Морана, он “слишком художественная натура”, чтобы не страдать от неврозов. В случае Гольдвассера невроз называется ипохондрией. “Его боязнь инфекций известна всем; этот коммунист чистит предметы, до которых дотрагивается, стерилизует свой столовый прибор, носит резиновые перчатки, открывает двери на той высоте, где никто их не касается”. Из трех членов семьи он самый богатый и содержит остальных: “Это первая страна, где я вижу, чтобы поэт платил за других”. Большую часть доходов, несомненно, приносили книги и выступления, но он также выигрывал значительные суммы. Когда ближе к ночи присутствующим раздали карты, Моран заметил, что поэт “играет гениально, безжалостно удваивая ставки”.

Повесть “Я жгу Москву” была напечатана в апреле 1925 года в журнале *Demain* и в книге *L'Europe galante*, изданной в Париже в том же году, но позднее. Как представители “первого в мире рабочего государства” Маяковский, Лили и Осип были возмущены тем, что автор изобразил их представителями послевоенной “галантной Европы” — и тем, как они были изображены. Эльза нашла повесть антисемитской, а Маяковский сказал в адрес Морана, что “гнусность он по-видимому изрядная”. Согласно Эльзе, Маяковский одно время носился с мыслью написать ответ, в котором страницу за страницей опровергнет все утверждения Морана, объясняя, “как оно все было на самом деле”; однако из этого ничего не вышло.

■ ЛИТЕРАТУРА И РЕВОЛЮЦИЯ

На следующий день после возвращения в Москву, 28 декабря 1924 года, Маяковский принял участие в заседании, посвященном оформлению советского павильона на Художественно-промышленной выставке, которая откроется в Париже следующей весной. В подготовительный комитет входили и другие представители русского левого искусства, в том числе Александр Родченко и архитектор Константин Мельников, автор проекта павильона.

Маяковский отвечал за отдел рекламы. В январе 1925 года было решено, что СССР будет представлен семнадцатью оригинальными плакатами из разных отраслей промышленности, в том числе и плакатами Маяковского.

Двенадцатого января Маяковский получил новый загранпаспорт, что свидетельствует о том, что он собирался вернуться в Париж скоро, возможно, еще до открытия выставки, запланированного на конец апреля. Но, в отличие от Родченко, который уехал в Париж в марте, Маяковский покинул Москву лишь в конце мая. Для этого было несколько причин: во-первых, советский павильон был готов только в начале июня, во-вторых, культурно-политическая ситуация требовала его присутствия в Москве.

Зимой 1925 года в культурных кругах было известно, что партия готовит документ, в котором будут сформулированы ее взгляды на развитие в области художественной литературы. С учетом этого левовцы почувствовали необходимость уточнить свою позицию как в организационном, так и в идеологическом плане. Маяковский и Брик всегда ратовали за свободный союз деятелей авангарда, объединенных общим видением нового искусства: футуристов, конструктивистов, формалистов и других авторов, творчество которых отличало новаторство в области формы (таких, например, как Борис Пастернак). Первоначально предполагалось, что “Леф” станет платформой не только для русского, но и для международного авангарда; в числе потенциальных сотрудников журнала назывались Георг Гросс, Тристан Тцара, Фернан Леже, а также коллеги-футуристы, которые теперь проживали за границей, — Бурлюк и Якобсон. Предшественником — и образцом — был журнал “Вещь-Object-Gegenstand”, вышедший тремя номерами в Берлине в 1922 году под редакцией Ильи Эренбурга и Эль Лисицкого; одним из сотрудников был Маяковский. Хотя в отдельных номерах “Лефа” публиковались и иностранные авторы, статус международного органа журнал все же не приобрел.

Еще осенью 1923 года культурно-политическая реальность вынудила левовцев — несмотря на их идею более свободного объединения — вступить в альянс с МАППом, московской секцией РАППа, Российской ассоциации пролетарский писателей.

С учетом диаметрально противоположных взглядов на литературу, альянс требовал значительных, принципиальных уступок с обеих сторон: для пролетарских писателей содержание было куда важнее формы, в то же время лефовцы, как и прежде, подчеркивали решающее значение формы. Однако МАПП и Леф объединяла борьба за то, что воспринималось ими как “коммунистическое искусство”, и критика так называемых “попутчиков” (термин придуман Троцким для писателей, которые, не будучи членами компартии, относились к революции без враждебности, таких как Есенин, Пильняк, Замятин, Зощенко, Бабель, Всеволод Иванов и другие). Альянс, таким образом, сложился не на основе обоюдной симпатии, а из чисто стратегических соображений: объединившись, стороны надеялись получить больше влияния на формирование советской культурной политики.

Этого, однако, не произошло, частично потому, что Лефу не удалось разрешить свои внутренние противоречия. Зимой и весной 1925 года группа Маяковского неоднократно обсуждала организационные вопросы с теми, кто поддерживал Николая Чужака и его требования четкой организационной структуры и единой эстетической программы. Однако компромисса достичь не удалось.

Коммунистическая партия добивалась примирения и консолидации на писательском фронте и не питала особых симпатий к радикальным идеям, проповедуемых Лефом и МАППом. Опубликованная в июле 1925 года резолюция “О политике партии в области художественной литературы” получила положительные отклики у подавляющего большинства — но не у лефовцев, которые надеялись, что партия поручит им центральную роль в строительстве новой культуры. Однако вместо этого Леф вообще не упоминался в резолюции. У пролетарских писателей также имелся повод для недовольства. Их значение было отмечено, но одновременно их критиковали за неуважительное отношение к культурному наследию, за “комчванство” и попытки создания “чисто оранжерейной “пролетарской” культуры”. Победителями оказывались пресловутые “попутчики”, которые не просто избежали нападок, но и были наделены особо важной ролью в переходный период от буржуазной к коммунистической культуре.



Ю. Анненков
1923

Принципиально важной в резолюции являлась поддержка партией “свободного соревнования различных группировок и течений”. “Поддерживая материально и морально пролетарскую и пролетарско-крестьянскую литературу, помогая “попутчикам” и т. д., партия не может предоставить монополии какой-либо из групп, даже самой пролетарской по своему идейному содержанию <...>”; “<...> партия в целом не может связать себя приверженностью к какому-либо направлению в области литературной формы. Руководя литературой в целом, партия так же мало может поддерживать какую-либо одну фракцию литературы <...> как мало она может решать резолюциями вопросы о форме семьи <...>”.

Разработанная в основном Николаем Бухариным, приверженцем “мягкой” линии в вопросах литературы, резолюция оценивалась и современниками, и последующими аналитиками как “либеральная”. В определенной степени так оно и было, поскольку она не давала преимуществ определенной группировке.

- После того как в 1929 г. Лев Троцкий (1878–1940) был выслан из страны, все следы его влияния и деятельности были сметены, в том числе и свидетельства о его контактах с Маяковским. В Полном собрании сочинений поэта есть “Письмо о футуризме”. Оно датировано 1 сентября 1922 г., но не имеет адресата. На самом деле оно адресовано Троцкому, который двумя днями ранее в письме спрашивал у Маяковского, есть ли “капитальная статья, в которой выясняются основные поэтические черты футуризма”. “Не могли бы Вы сами, в нескольких словах, если не охарактеризовать, то просто перечислить основные черты футуризма?” “Письмо о футуризме” было ответом на эту просьбу Троцкого. Маяковский откликнулся быстро и развернуто, зная, что Троцкий работает над книгой “о литературе и революции”, куда войдет глава о нем и о футуризме. В своем ответе Маяковский перечислил эстетические идеи футуризма, подчеркивая, что литература — “словесное искусство”, где самое важное — работа со словом (неологизмы, оркестровка, ритм и синтаксис и т. д.). Рисунок Юрия Анненкова сделан в 1923 г., когда Троцкий еще входил в правящую элиту и когда вышла его книга “Литература и революция”.

Но ей была присуща явная двойственность: с одной стороны, партия высказывается за “свободное соревнование”, а с другой — предполагает “руковод[ить] литературой в целом”. Такое же противоречие встречаем и у Троцкого, который в книге “Литература и революция” (1923) утверждал, что “область искусства не такая, где партия призвана командовать”, одновременно провозглашая, “что в области искусства партия не может ни на один день придерживаться либерального принципа *laissez faire, laissez passer*”.

Наряду с Луначарским и Бухариным Троцкий был одним из немногих по-настоящему образованных партийных вождей, и его анализ современной литературы свидетельствует о большой проницательности — не в меньшей степени это касается и статьи о футуризме и Лефе. Одобрив языковые эксперименты и теории о связи искусства и промышленного производства, он одновременно критиковал лефовцев за то, что они отказывались анализировать внутренний мир человека, его психику.

“Умная статья”, — прокомментировал статью о футуризме Маяковский, который несколько раз имел дело с Троцким, в частности во время его работы над книгой. И тем не менее именно Троцкий был одним из зачинателей советской традиции рассматривать художественные произведения, исходя из их политической, а не эстетической ценности. Но столь же пугающим, как желание партии руководить культурной жизнью, было рвение, с которым многие писатели стремились стать любимцами партии и правительства — те же писатели, что убедительно и рьяно выступали против царской цензуры и намерения большевиков подчинить себе культуру после октябрьского переворота. Вытеснил ли Маяковский из памяти гордый лозунг 1917 года: “В области искусства не должно быть политики”?

■ СНОВА В ПАРИЖ

Многие писатели и критики прокомментировали партийную резолюцию, в том числе и Осип, отметивший пункты, которые можно было трактовать как косвенную поддержку Лефа, в част-

* Пусть все идет как идет (*фр.*).

ности, в вопросе литературной формы. Маяковский не высказался. Резолюция была опубликована в “Правде” и в “Известиях” 1 июля, а в это время он уже находился на атлантическом корабле, увозившем его в Мексику.

Двадцать пятого мая Маяковский уехал в Париж, чтобы оттуда еще раз попытаться добраться до Америки, — он должен был покинуть Москву еще 20-го, но проиграл дорожные деньги и задержался на несколько дней в надежде отыграться. Чтобы не повторилась глупая ситуация, когда ему пришлось возвращаться в Москву поджавши хвост, Маяковский отказался от попыток получить американскую визу в Европе и решил попробовать въехать в Соединенные Штаты окольным путем, через Мексику, которая за год до этого признала Советский Союз. Поскольку уже через неделю пребывания в Париже ему сообщили, что документы готовы, можно предположить, что контакты с мексиканскими властями были установлены еще в Москве.

Но корабль в Мексику отходил только через две недели после приезда Маяковского во французскую столицу, в связи с чем ему пришлось немного задержаться в Париже. Как и в предыдущие визиты, он тесно общался с Фернаном Леже и другими художниками и видел разный Париж: от дешевых дансингов на Монмартре, где на его глазах сутенеры убивали друг друга, и до аристократических кварталов и роскошных ресторанов. В один из вечеров он встретился с Филиппо Томмазо Маринетти, лидером итальянского футуризма, с которым не виделся со времен его визита в Россию в 1914 году. К сожалению, сведений об их беседе, которая велась “на триоле”, нет.

Согласно воспоминаниям Эльзы, ей запомнилось только то, как Маринетти пытался доказать Маяковскому, что фашизм для Италии — то же самое, что коммунизм для России, а Маяковский позднее утверждал, что ему было не о чем говорить с Маринетти и что они всего лишь “из вежливости перекинулись несколькими фразами”. Однако, по сведениям одной газеты, запись их беседы предполагалось опубликовать, из чего можно сделать вывод, что она была куда более содержательной. Вообразить себе ресторанный разговор “на триоле” в печатном виде нелегко, но сведения представляют определенный интерес: частичная потеря памяти



у Эльзы и уклончивость Маяковского скорее всего свидетельствуют о том, что между поэтами было больше общего, чем расхождений. Это подтверждается “футуристическими пожеланиями” “дорогому Маяковскому и великой России — энергичной и оптимистической”, которые Маринетти оставил в записной книжке Маяковского. Но если встреча оказалась такой же дружеской, как эти пожелания, причин афишировать ее у Маяковского не было...

“Я живу здесь еще скучнее чем всегда <...> — жаловался он Лили, — сплю 2 раза в сутки ем двойной завтрак и моюсь вот и все”. Даже открытие советского павильона на Художественно-промышленной выставке, состоявшееся 4 июня, не принесло ему радости, хотя за свои рекламные плакаты он получил серебряную медаль. Выставка — “скучнейшее и никчемнейшее место”, она “осточертела”, и “в особенности разговоры вокруг нее”. Он посмотрел фильм Чаплина, выступил с чтением стихов, купил, как обычно, подарки Лили и Осипу (на этот раз костюм). Может быть, он сознательно преувеличивал скуку в письме к Лили, чтобы вызвать у нее сочувствие. Жалуясь на знаменитый “Париж весной” (который “ничего не стоит так к. ничего не цветет и только везде чинят улицы”), он одновременно интенсивно ухаживает за несколькими русскими красавицами-эмигрантками, в которых его привлекает, судя по всему, не только двуязычие. После ночных развлечений “бывало, утром встанет и, несколько смущенный, просит меня пойти с ним на свидание в “Ротонду” или “Дом”, — вспоминала Эльза. — Дело в том, что, проснувшись, он увидел свои хорошо сложенные вещи, а это с ним бывает, когда он выпьет и хочет самому себе доказать, что он не пьян...”

Сколько времени он проведет вдали от Москвы, Маяковский не знал — все зависело от реализации его американских планов. У него была с собой крупная сумма денег, 25 тысяч фран-

- Портрет Маяковского сделан фотографом П. Шумовым в Париже в 1925 г. Поэт так же серьезен и сосредоточен, как и на других снимках. Он редко смеялся. “Обычно молчал, потом скажет что-нибудь такое, что все хохочут, — вспоминал Родченко. — Смеялись мы, а он только улыбался и наблюдал...”

ков, что соответствовало примерно годичной зарплате французского учителя и почти трехгодичной зарплате советского гражданина. Сумма 25 тысяч франков соответствовала 2 400 рублям, что свидетельствует об особом статусе Маяковского: советский гражданин мог перевести за границу не более 200 руб. в месяц одному и тому же человеку*. Имевшиеся у Маяковского средства могут показаться значительными, но они были рассчитаны на несколько месяцев, и билет на пароход стоил дорого; поэтому он старался, как он писал Лили, “ничего не тратить”. Живет он, по собственным словам, на гонорары от публикации стихотворений в “Парижском вестнике”, газете, учрежденной советской дипломатической миссией в Париже в противовес “белогвардейским” изданиям. В этой газете было опубликовано большинство парижских стихов, начатых во время предыдущего посещения французской столицы. Он получал два франка за строчку. Деньгигодились, поскольку 10 июня Маяковского обокрали, оставив из всего капитала только три франка.

Вор снял номер против меня в Истрие, — отчитывался он в письме к Лили, — и когда я на двадцать секунд вышел по делам моего живота он с необычайной талантливостью вытащил у меня все деньги и бумажники (с твоей карточкой со всеми бумагами) и скрылся из номера в неизвестном направлении. Все мои заявления не привели ни к чему только по приметам сказали что это очень известный по этим делам вор. Денег по молодости лет не через чур жалко. Но мысль что мое путешествие прекратится и я опять дураком приеду на твое посмешище меня совершенна бесила.

Может показаться странным, что Маяковский носил все наличные средства, 25 тысяч франков, в бумажнике. Действительно ли его

✱

Стоимость рубля определялась государственным банком и была произвольной. После войны франк упал, поэтому за один рубль давали 10 франков. Поскольку рубль был неконвертируемым, валюту следовало покупать до отъезда из Советского Союза. Столь выгодный курс был, к слову, установлен властями для того, чтобы немногочисленные выезжающие не выглядели за границей бедными и служили живым доказательством успехов советской экономики.



■ Маяковский и Эльза совершают авиатур в Париже в июне 1925 г. Между ними художник Робер Делоне, супруги-писатели Иван и Клэр Голль, а также художница Валентина Ходасевич, которая в это время работала в Париже. Франко-немецкий поэт Голль был большим поклонником Маяковского и в 1921 г. перевел фрагменты поэмы “Война и мир” на немецкий для экспрессионистского альманаха *Menschen*.

обокрала? Или он проиграл деньги? Подтверждений — помимо того, что он был маниакальным игроком, — у этой гипотезы нет. Если он проиграл деньги, он никогда в жизни не посмел бы признаться в этом Лили, а искал бы другое объяснение, особенно учитывая, что за несколько недель до этого в Москве он уже проиграл сумму, предназначенную для путешествия.

Какова бы ни была причина исчезновения денег, Маяковскому повезло: в марте он заключил договор с Госиздатом на издание Собрания сочинений в четырех томах. Договор был заключен, несмотря на серьезные противодействия со стороны издательства, которое по-прежнему относилось к поэту отрицательно, — его подписали только после того, как Луначарский поручился, что “на верхах партии к [Маяковскому] прекрасное отношение”, а Маяковский пошел на большие уступки, в частности согласился на непривычно низкие расценки: 12 копеек за строчку. Теперь же он с помощью Лили смог получить аванс в размере 2 тысяч рублей, что составляло почти 21 тысячу франков, то есть практически ту сумму, которой он лишился. Оставшуюся часть ему одолжили “Андрэ Эльзиный” и русские, находившиеся в Париже в связи с выставкой. Даже этот сбор денег Маяковский превратил в игру: обнаруживая в кафе какого-нибудь русского, они с Эльзой первым делом оценивали его возможности, и если сумма, которую он потом давал займы, была ближе к предположению Эльзы, разница доставалась ей, если более точную цифру называл Маяковский, деньги были его...

Собрав необходимую для продолжения путешествия сумму, 21 июня Маяковский ступил на борт 20 000-тонного корабля “Эспань”, который должен был доставить его в Мексику. Через несколько дней Эльза уехала в Москву, где ее встретили не только Лили и Осип, но и Елена Юльевна — воспользовавшись отсутствием Маяковского, она приехала в родной город. Это был первый после 1918 года визит матери и Эльзы в Советскую Россию.

■ Я В ВОСТОРГЕ ОТ НЬЮ-ЙОРКА ГОРОДА

Путь до мексиканского порта Веракрус занял восемнадцать дней. “Нельзя сказать чтоб на пароходе мне было очень весело, — писал Маяковский Лили 3 июля, когда корабль подходил к Кубе, — 12 дней воды это хорошо для рыб и для профессионалов открывателей а для сухопутных это много. Разговаривать по франц. и по испански я не выучился но за то выработал выразительность лица т. к. объясняюсь мимикой”.



■ Маяковский и Давид Бурлюк на Рокуэй-Бич в Нью-Йорке в августе 1925 г.

Мимика помогала и при игре в покер, чему он, как утверждала мексиканская газета, посвящал много времени, поскольку не мог общаться с попутчиками — на борту он был единственным русским. Но Маяковский также работал. Однако ни одно из шести написанных в этот период стихотворений не принадлежит к вершинам его творчества, напротив: за исключением отдельных строф, можно говорить об определенной интеллектуальной девальвации. Так, например, в одном стихотворении он издевается над шестью монахинями, путешествующими на пароходе: “Вместо известных / симметричных мест, // где у женщин выпуклость, — / у этих выем: // в одной выемке — / серебряный крест, // в другой — медали / со Львом / и с Пием”. Дешевые шутки, которые могли найти отклик у необразованной рабочей публики, но были недостойны автора таких произведений, как “Человек” и “Про это”.

Если Париж служил транзитной станцией на пути в Мексику, то Мексика была лишь этапом спланированного путешествия в США, возможно — даже вокруг света. Отвечая на вопросы журналистов о том, получал ли он какие-либо задания от советского правительства и был ли членом партии, Маяковский подчеркнуто отвечал, что “уже давно отошел от официальной деятельности” и что пребывание в Мексике “носит чисто литературный характер и не имеет какого-либо политического значения”. Осторожный — и не совсем правдивый — ответ предназначался главным образом не читателям мексиканских газет, а американской миграционной службе. Маяковский прекрасно знал, что именно положение советского поэта и рупора коммунизма было основным препятствием для получения визы в США.

Давид Бурлюк не имел права прислать Маяковскому приглашение, так как он прожил в Америке слишком непродолжительное время, поэтому он попросил сделать это одного друга-художника. Но и это не помогло, и спустя две недели потерявший всякую надежду Маяковский обратился в дипломатическое представительство Франции в Мехико с просьбой предоставить ему визу во Францию. “Если же соединенных штатов не выйдет выеду в Москву около 15 августа и около 15–20 сентября буду в Москве”, — писал он Лили. Но уже на следующий день, 24 июля, он

пошел в американское консульство в Мехико, где оставил заявление на получение временного разрешения на въезд в Соединенные Штаты. В анкете Маяковский сообщил, что он не писатель, а художник, который едет в США для того, чтобы показать там свои работы. На этот раз обстоятельства сложились удачнее, и ему выдали въездную визу сроком на шесть месяцев. Необходимый залог, составивший 500 долларов — половину годового дохода американца! — поэт взял взаймы у сотрудника советского посольства в Мехико. 27 июля 1925 года Маяковский пересек границу Соединенных Штатов в городе Ларедо, и через три дня он был в Нью-Йорке.

Первым человеком, с которым Маяковский связался в Нью-Йорке, стал, разумеется, Давид Бурлюк. Они не виделись семь лет. “С особым волнением услышал в телефон его звучный, мужественный бассо-профундо, — вспоминал его старый соратник по футуризму. — Бросаюсь в подземку и мчусь на Пятое авеню, где остановился В. В. Маяковский. Еще издали вижу большую “русскую” ногу, шагающую через порог, и пару увесистых чемоданов, застрявших в дверях”.

Если американские власти не поняли этого ранее, то теперь им стало ясно, что нога принадлежала не художнику, а поэту. Портреты и интервью Владимира Маяковского, который “за последние десять лет был самым известным поэтом в Советской России” и чьи стихи “расходятся в новой России миллионными тиражами”, стали появляться во множестве газет, главным образом в коммунистической прессе. А читатели “Нью-Йорк таймс” могли узнать о нем и такую информацию: “Самый популярный поэт России, Маяковский, одновременно и самый богатый поэт — в той мере, в какой богатство позволительно на его родине <...> Его последняя книга принесла ему 10 тысяч долларов. Маяковский самый известный картежник в России. Он проигрывает в карты намного больше того, что зарабатывает, и живет на выигрыши”. В репортаже также сообщалось, что “пролетарский поэт предпочитает одеваться как денди и заказывает одежду у лучших портных Парижа” и что он “любит комфорт и роскошь и одновременно презирает их”. Несмотря на явные ошибки и преувеличения, стоит обратить внимание на то, что слава Маяковского-картежника распро-

странилась далеко за пределами России; хотя нельзя забывать: его “богатства” исчислялись в рублях, а не в конвертируемой валюте и за границей почти ничего не стоили...

Маяковский провел несколько нашумевших выступлений в Нью-Йорке, а во время турне по восточным штатам посетил Кливленд, Детройт, Чикаго, Филадельфию и Питтсбург. Он читал стихи, рассказывал об СССР и делился впечатлениями о Соединенных Штатах. На его выступление в Central Opera House в Нью-Йорке пришло две тысячи человек. “Так же прост и велик, как сама Советская Россия! — сообщала еврейская коммунистическая газета “Фрейгайт”. — Гигантский рост, крепкие плечи, простенький пиджачок, коротко стриженная большая голова. <...> С напряженным вниманием выслушивала огромная аудитория стихи Маяковского в мастерском чтении самого автора”. “Каждое прочтенное стихотворение вызывало долго не смолкающие рукоплескания” у “революционных рабочих Нью-Йорка”, но находились и такие, кто не разделял подобный энтузиазм. Один из критиков писал, что автор “Облака в штанах” растратил свой талант за последние семь лет, то есть за период после революции, что “муза поэта покинула его”.

В интервью и выступлениях Маяковский критиковал технологизацию и индустриализацию Америки как с идеологической, так и с эстетической точек зрения. Хотя американцам удалось достичь впечатляющих материальных результатов, но сами люди не поднялись на соответствующий уровень и еще живут в прошлом. “Интеллектуально ньюйоркцы еще провинциалы, — заявил он в своем первом интервью, которое взял у него журналист Майкл Голд. — Их умы не сумели еще воспринять полностью значение индустриального века”. Город “не организован”, это не “зрелый продукт взрослых людей, понявших, чего они хотят, и спланировавших его как художники”. Индустриальный век в России будет другим, “он будет спланирован, будет сознательным”. В качестве примера Маяковский упоминает небоскребы, о которых мастера Ренессанса могли лишь мечтать, пятидесятиэтажные здания, бросающие вызов закону всемирного тяготения. Но американские архитекторы, очевидно, не понимают, что им удалось совершить чудо, и украшают свои творения смешными

готическими и византийскими орнаментами. “Это все равно что нацепить розовые бантики на экскаватор или посадить пухленькие куколки на паровозы”, — говорит он и предлагает в виде альтернативы искусство футуризма и индустриального века, основным принципом которого является функциональность: “Ничего лишнего!” Маяковский верит, что “искусство должно иметь функцию”, — так же как он сам очистил свою поэзию от риторики и вернулся к сути, “каждый продукт индустриального века должен быть функциональным”, и футуризм “за технику, за научную организацию, за машину, за планирование, за силу воли, за смелость, быстроту, точность — и за нового человека, вооруженного всем этим”. Любопытно, что интервью кончается цитатами из статьи Троцкого о футуризме, с ее характеристикой Маяковского как “огромного таланта” и “смелого мастера”. Легко допустить, что цитата была подсказана журналисту самим поэтом.

Американские стихи Маяковского тоже сильно идеологизированы, но в двух из лучших стихотворений, “Бруклинский мост” и “Бродвей”, он не может сдержать ребяческого энтузиазма, который вызывает у него американское техническое чудо и бурлящий мегаполис: “Налево посмотришь — / мамочка-мать! // Направо — / мать моя мамочка! // Есть что поглядеть московской братве. <... > // Это Нью-Йорк. / Это Бродвей. // Гау ду ю ду! // Я в восторге / от Нью-Йорка города”.

■ ЛОДКА НА ЛОНГ-ЛЭЙКЕ

Американские впечатления Маяковский передал не только в стихах, но и в путевых заметках “Мое открытие Америки”, которые вышли отдельной книгой в августе 1926 года. Посещение Америки оставило глубокий след в его сознании, и по возвращении в Советский Союз он читал многочисленные доклады, отчитываясь об увиденном и пережитом. Однако были два события, о которых он не упоминал ни в публикациях, ни в выступлениях, хотя они потрясли его не меньше, чем собственно столкновение с американской действительностью.

Получить визу и найти квартиру на Пятой авеню (№ 3, рядом с Вашингтон-сквер) Маяковскому помог Исайя Хур-

гин, проживавший в этом же доме. Математик и астроном, Хургин приехал в США в 1923 году в качестве главы американского филиала немецко-российского транспортного предприятия. Поскольку организации, отвечавшие за торговлю между СССР и США, работали плохо, он предложил министру внешней торговли Красину (бывшему начальнику лондонского Аркоса) учредить новое акционерное общество, и в мае 1924 года была создана Американская торговая корпорация (Амторг). Компания начала свою деятельность со стартовым капиталом в один миллион долларов, но уже через год ее оборотный капитал составлял 50 миллионов. К тому времени, когда Маяковский приехал в США, Хургин успел сделать себе имя в финансовых кругах Нью-Йорка как “жизнерадостный, умный, проникательный, ироничный человек”. Поскольку Амторг отпочковался от американского филиала Аркоса, легко предположить, что контакт с Хургиным осуществился при посредничестве Красина (с которым Маяковский встречался в Париже) или другого сотрудника этой фирмы, может быть, даже через Елену Юльевну, которая по-прежнему работала в лондонском офисе Аркоса.

В поездках Лили и Маяковский регулярно обменивались письмами и телеграммами — независимо от теплоты их отношений на данный момент. Однако за два месяца пребывания в Нью-Йорке Маяковский не написал Лили ни одного письма — только послал четырнадцать коротких и бессодержательных телеграмм. Первая ушла 2 августа: “Дорогая Киса пока подробностей нет. Только приехал. Целую люблю”. Но он не “только приехал”, он прибыл в Нью-Йорк четыре дня назад — на Маяковского это совсем не похоже, обычно он телеграфировал немедленно по приезде! Лили ответила в тот же день письмом, в котором просила: “Пришли визу и денег” — и далее: “Не смей забывать меня!!! Я тебя люблю и целую и обнимаю”. В телеграмме, отправленной в тот же день, она повторяет, что ей “очень хочется приехать Нью-Йорк”. Через три дня Маяковский отвечает: “Очень стараюсь достать визу. Если не смогу поеду сам домой”. После этого Маяковский замолкает на *целый месяц*; и на этот раз Лили преследует его письмами и телеграммами, а не наоборот. Так и не дождавшись ответа, она шлет ему отчаянную телеграмму: “Куда

ты пропал” и подписывается “Лили”, а не как обычно “Твоя Киса”.

Через два дня Маяковский отвечает ей телеграммой: “Дорогой Котенок Несчастье Хургиным расстроили визные деловые планы. <...> Ответь пожалуйста ласково. Люблю целую”.

Случилось следующее: 27 августа Исайя Хургин утонул во время прогулки на лодке по озеру Лонг-Лэйк неподалеку от Нью-Йорка. Вместе с ним в моторной лодке находился Эфраим Склянский, который за три дня до этого прибыл в США в качестве председателя советского треста “Моссуко”. По официальным данным причиной несчастного случая была внезапная буря, но секретарь Сталина Борис Бажанов после бегства из Советского Союза в 1928 году утверждал, что это было политическое убийство, выполненное по приказу Сталина, в 1925-м снявшего Троцкого с поста военного комиссара и развернувшего кампанию против троцкистов в партии. Склянский был одним из ближайших людей Троцкого и его заместителем в Реввоенсовете. Метод маскировки убийства под несчастный случай был, судя по всему, применен и два месяца спустя, когда Михаил Фрунзе, преемник Склянского в Реввоенсовете и Троцкого на посту военного комиссара, “скончался” на операционном столе.

В русской диаспоре Нью-Йорка гибель Хургина вызвала горе и смятение. Он был весьма популярен, и никто не верил в случайную смерть. В числе скорбевших был Маяковский, который, по свидетельству очевидцев, “не отходил от гроба”. Он также произнес речь на траурной церемонии и нес урну с прахом Хургина на пароход, отбывавший в Россию. Но о кончине Хургина он не обмолвился ни словом: правду он писать не мог, а лгать не хотел. Со смертью Хургина, по-видимому, исчезла и возможность получить американскую визу для Лили.

■ ЗЛЛИ

Вскоре после гибели Хургина и Склянского Маяковский получил приглашение на коктейль к радикально настроенному американскому юристу Чарльзу Рехту, который консультировал Амторг и IWW и тоже содействовал выдаче визы Маяковскому, — именно

у Рехта Маяковский провел свой первый вечер в Нью-Йорке. На cocktail party Маяковский встретил молодую русскую, Элли, знакомую Хургина, который ранее, однако, отказался познакомить ее с Маяковским, аргументируя это тем, что Маяковский, конечно, “развлекательный”, но известен как “покоритель женских сердец”. И вот они встретились. Она сказала, что никогда не была на его выступлениях, ни в Нью-Йорке, ни в Москве, но читала его стихи, — на что Маяковский ответил: “Все красивые девушки так говорят. А когда я спрашиваю, какие стихотворения они читали, они отвечают: Одно длинное и одно короткое!” Надо полагать, что ее ответ: “Я не знаю ваших коротких — кроме рекламных лозунгов” — произвел впечатление на Маяковского.

Элли, по документам Елизавета, родилась в уральской деревне Довлеканово в октябре 1904 года. Следовательно, когда она познакомилась с Маяковским, ей было всего двадцать лет. Ее родители Петер Генрих и Хелена Зиберт оба были потомками немецких меннонитов — пацифистской протестантской секты, приверженцы которой в конце XVIII века приехали в Башкирию по приглашению Екатерины Второй для занятия сельским хозяйством и ремеслами. Несмотря на то что меннониты проповедовали простоту и вели строго религиозный образ жизни, отец Елизаветы был богатым землевладельцем и имел дела как в России, так и за ее рубежами. Семья была двуязычной — дома говорили по-немецки, вне дома — по-русски. Кроме того, Елизавета знала английский и французский.

Революция и Гражданская война лишили семью Зиберт всех средств. Юная Елизавета несколько лет работала с беспризорниками в Самаре, а также переводчицей в АРА (American Relief Association — Американская администрация помощи), которой руководил квакер Герберт Гувер (см. главу “Нэп и закручивание гаек”). Во время работы в АРА она познакомилась с английским бухгалтером Джорджем Джонсом, за которого вышла замуж в мае 1923 года, когда ей было всего восемнадцать лет. Они переехали в Лондон, а оттуда — в Нью-Йорк. Брак, однако, был неудачным; скорее всего Джонс женился на Елизавете — или Элли, как ее будут называть на Западе, — для того, чтобы помочь ей уехать из России. Через некоторое время они



Во время визита в летний еврейский лагерь "Нит Гedayге" Маяковский и Бурлюк нарисовали каждый свой портрет Элли Джонс — так же, как портрет Марии Денисовой за одиннадцать лет до этого (см. стр. 33). Рисунок Маяковского (слева) был опубликован в русской нью-йоркской газете в 1932 г.

расстались, и Джонс снял Элли квартиру на 71-й улице; стройная Элли обеспечивала себя самостоятельно, работая манекенщицей.

Первая встреча с Маяковским закончилась печально. Он пригласил ее на ужин, но когда они ушли от Рехта, Элли стало дурно от самогонного джина, который подавали на вечеринке, — в США тогда был сухой закон. Маяковский и подруга Элли отвели ее в его квартиру, где она уснула. Ранним утром они по инициативе Маяковского взяли такси и отправились на место, которое производило на поэта сильнейшее впечатление — впрочем, как и на других русских в Нью-Йорке. “Он был так *счастлив* погулять по Бруклинскому мосту!” — вспоминала Элли.

Первоначальный интерес Маяковского к Элли, по-видимому, был прежде всего обусловлен практическими соображениями. Он не говорил по-английски, а в кармане пиджака носил бумажку с единственной фразой, которую мог выговаривать: извинением за то, что он не пожимает руку, когда здоровается. Элли, владевшая и русским и английским, оказалась идеальным переводчиком, особенно когда нужно было купить одежду, косметику или прочие дамские аксессуары. “Я понимаю, почему у него репутация сердцеда, — записала Элли в своем дневнике после того, как он на коктейле у Рехта спросил, не может ли она пойти с ним за подарками его “жене”. — Он сразу сообщает, что женат. Однако настаивает на том, чтобы я оставила ему свой номер телефона”. Сигнал был ясен: мы можем развлечься, пока я в Нью-Йорке, но в Москве меня ждет другая женщина. После того как они впервые поужинали вдвоем, Элли уже забыла о своих подозрениях: “Он вел себя со мной абсолютно корректно, и мне было очень <...> интересно и хорошо <...> без какого-либо алкоголя”.

Расставаясь в тот вечер, Маяковский сказал, что хочет увидеться с Элли на следующий день. Утилитарное отношение забыто, верх взяли чувства. “Он заходил ко мне каждое утро, и мы проводили день вместе, читая и гуляя. <...> Нас постоянно куда-то приглашали. Он везде брал меня с собой, мог бы, но никогда не оставлял меня одну”. Их отношения вскоре стали интимными, но это они тщательно скрывали. Элли все еще была

замужем за Джорджем Джонсом и имела только временный вид на жительство в Америке; если бы муж с ней развелся — а когда они ссорились, он угрожал разводом, — ей было бы трудно остаться в стране. Но и Маяковский должен был быть осторожным: роман с эмигранткой не просто навредил бы репутации пролетарского поэта, но мог оказаться опасным для жизни; если раньше он об этом не знал, то несчастье на Лонг-Лэйке показало, что рука ГПУ простирается далеко за пределы отечества. “Мы всегда использовали официальную форму обращения, — вспоминала Элли. — Ни он, ни Бурлюк никогда не называли меня иначе как Елизаветой Петровной, в знак уважения. На людях он целовал мне руки. При американцах он называл меня только “миссис Джонс”.

В официальных хрониках визита Маяковского в Нью-Йорк говорится только о его выступлениях и встречах с американскими социалистами и коммунистами. Но чем он занимался помимо этого? “Маяковский всегда работал, — вспоминала Элли. — Он особенно любил гулять по Пятой авеню днем, а по Бродвею — ночью”. В ее памяти остался стук, который издавали его ботинки с металлическими подковками. Ели они чаще всего в недорогих армянских и русских заведениях или в детском ресторане на Пятой авеню. “Он все время околачивался на East Sid’e, т. е. в русских и еврейских кварталах, сам себе с другим шутом Бурлюком давая дешевые завтраки”, — докладывал один из его соотечественников в Москву. Денег у Маяковского было мало, наличность быстро закончилась. Он был, констатировала Элли, “самым бедным мужчиной”, которого она когда-либо встречала.

Маяковский много времени проводил в бильярдных на 14-й улице и часто посещал негритянские кабаре в Гарлеме. Элли вспоминала, как в *The Negro Club* все мужчины были в смокингах, женщины в вечерних платьях — за исключением Маяковского, Бурлюка и Элли, которые к тому же оказались единственными белыми на вечеринке. Ни Маяковский, ни она не танцевали, он — потому что не любил, она — потому что в детстве ей внушали, что танец — грех. В другой раз их позвал к себе Майкл Голд. Потом они оказались в роскошной

квартире у Грамерси-парка в южном Манхэттене, где одна женщина спрашивала у Маяковского, что он думает о Сергее Есенине, который недавно приезжал в США со своей женой Айседорой Дункан. “Языковой барьер не позволяет мне адекватно ответить на вопрос”, — отозвался Маяковский. Мероприятие было скучным, и через какое-то время Маяковский встал и по-русски объявил, что Елизавета Петровна устала и он должен доставить ее домой. Он предпочитал проводить время с Элли, а не с людьми, с которыми не мог говорить и которые часто относились к нему как к экзотическому аттракциону: поэт, к тому же русский! В рассказе “Как я ее рассмешил” Маяковский юмористически описывал свои ощущения:

Должно быть иностранцы меня уважают, но возможно и считают идиотом, — о русских я пока не говорю. Войдите хотя бы в американское положение: пригласили поэта, — сказано им — гений. Гений — это еще больше чем знаменитый. Прихожу и сразу:

— Гив ми плиз сэм ти!

Ладно. Дают. Подожду — и опять:

— Гив ми плиз...

Опять дают.

А я еще и еще, разными голосами и на разные выражения:

— Гив ми да сэм ти, сэм ти да гив ми, — высказываюсь. Так и вечерок проходит.

Бодрые почтительные старички слушают, уважают и думают: “Вот оно русский, слова лишнего не скажет. Мыслитель. Толстой. Север”.

Американец думает для работы. Американцу и в голову не придет думать после шести часов.

Не придет ему в голову, что я — ни слова по-английски, что у меня язык подпрыгивает и завинчивается штопором от желания поговорить, что подняв язык палкой серсо2, старательно нанизываю бесполезные в разобранном виде разные там О и Ве. Американцу в голову

не придет, что судорожно рожая дикие, сверханглийские фразы:

— Ес, уйт плиз добль арм стронг...

И кажется мне, что, очарованные произношением, завлеченные остроумием, покоренные глубиной мысли, обомлевают девушки с метровыми ногами, а мужчины худеют на глазах у всех и становятся пессимистами от полной невозможности меня пересоперничать.

Но леди отодвигаются, прослышав сотый раз приятным баском высказанную мольбу о чае, и джентльмены расходятся по углам, благоговейно поостривая на мой безмолвный счет.

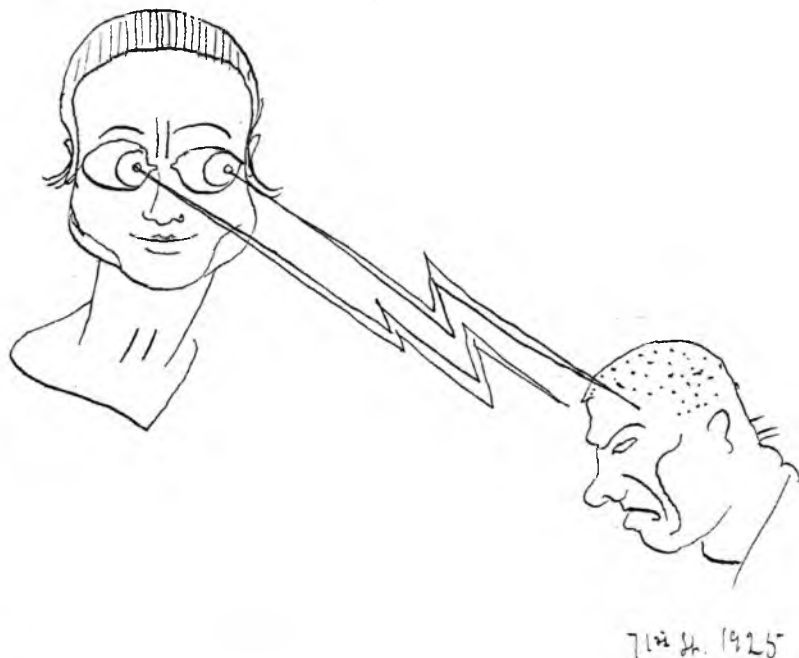
— Переведи им, — ору я Бурлюку, — что если бы знали они русский, я мог бы, не портя манишек, прибить их языком к крестам их собственных подтяжек, я поворачивал бы на вертеле языка всю эту насекомую коллекцию...

И добросовестный Бурлюк переводит:

— Мой великий друг Владимир Владимирович просит еще стаканчик чаю.

Маяковский много общался с представителями радикальных еврейских кругов и напечатал два стихотворения в переводе на идиш в газете "Фрейгайт". По выходным он иногда ездил в принадлежащий "Фрейгайт" загородный лагерь "Нит Гедайге", который находился в 60 километрах к северу от Нью-Йорка на реке Гудзон; однажды он отправился туда в компании Элли и Бурлюка. Для ночлега им с Элли предоставили одну палатку, что повергло обоих в смущение. Он не хотел, чтобы ее воспринимали как "сексуальную партнершу" Маяковского. Они поссорились и по требованию Элли вернулись последним поездом в Нью-Йорк, где она запретила провожать ее домой и отказалась идти к нему. Несмотря на молодость, Элли обладала весьма сильным характером.

Судя по всему, это была не первая их ссора. Далее история развивалась типично для Маяковского, который от друзей требовал подчинения в любых ситуациях, а от близких женщин —



- Судя по этому рисунку Маяковского, связь между ним и Элли была весьма "напряженной".

чтобы они принадлежали только ему одному. Когда дело доходило до конфликтов, он применял эмоциональный шантаж, в случаях с Эльзой и Лили даже угрожая самоубийством. С Элли, пообещавшей ему, что она будет "видеться только с ним", он так далеко не зашел; но манера поведения была та же.

Три дня они не общались, после чего хозяин, у которого Маяковский снимал жилье, позвонил Элли рано утром и сообщил, что Маяковский тяжело болен и не выходит из дома. Придя в квартиру на Пятой авеню, Элли обнаружила, что он лежит на кровати лицом к стене: "Я уже видела его таким. Таким же депрессированным". Элли разогрела ему немного куриного супа, который купила по дороге. "Не ходи на работу. Не уходи! — умолял ее Маяковский. — Я не хочу быть один — пожалуйста! Прости, если обидел тебя". Ей нужно было идти, ее ждала работа, но она

пообещала вернуться, как только освободится. Снова появившись в квартире вечером, она с удивлением обнаружила, что Маяковский ждет ее, стоя у дверей. “Он взял коробку со шляпкой, другой рукой сжал мою руку, и после этого все стало хорошо”. Маяковский снова удостоверился, что его любят или, по крайней мере, что кто-то о нем заботится.

После этого кризиса Элли переехала в Гринвич-Виллидж, чтобы быть ближе к Маяковскому. Они встречались каждый день, но, кроме Бурлюка, лишь немногие знали о характере их отношений. Образ Элли не встречается и в его поэзии, разве что косвенно в стихотворении “Вызов”: “Мы целуем / — беззаконно! — / над Гудзоном / ваших длинноногих жен”. (В первоначальном наброске вместо множественного числа “мы” использовалось единственное — “я”.)

Что же привлекло Маяковского в Элли, помимо внешности — больших глаз, стройной фигуры, молодости? Как и многие из ее поколения, Элли за несколько лет увидела и пережила больше, чем другие за всю жизнь. Ей было всего тринадцать, когда произошла революция, которая внесла в существование ее семьи хаос, неопределенность, неуверенность в будущем — в любой момент они могли расстаться с жизнью. Для того чтобы выжить, ей приходилось рассчитывать только на себя. Лишения и горести, испытанные в России за шесть послереволюционных лет, сделали ее сильным человеком. Если к этому присовокупить врожденный ум, станет понятно, что Маяковский видел в Элли вторую Лили: умную, начитанную, самостоятельную, требовательную. Именно к таким женщинам его влекло.

Когда 28 октября Маяковский ступил на борт корабля “Рошамбо”, который должен был доставить его в Гавр, он сделал это не по зову долга, а потому, что не мог больше оставаться в Нью-Йорке, даже если бы хотел. У него попросту не было денег. Его многочисленные выступления отчасти объяснялись экономическими соображениями. Но к концу октября деньги кончились, и не только из-за того, что жизнь в Нью-Йорке стоила дорого. 22 сентября Лили сообщила ему, что получила визу в Италию — она собиралась на курорт Сальсомаджоре в окрестностях Пармы. Общая сумма телеграфных переводов, которые Маяковский

послал ей в октябре, составила 950 долларов — примерно те же 25 тысяч франков, которые он брал с собой в путешествие. Откуда взялись эти средства? За выступления ему платили немного. Часть суммы он занял, о чем свидетельствуют расписки. Что-то наверняка выиграл. Но факт остается фактом — сам Маяковский покидал Нью-Йорк без цента в кармане.

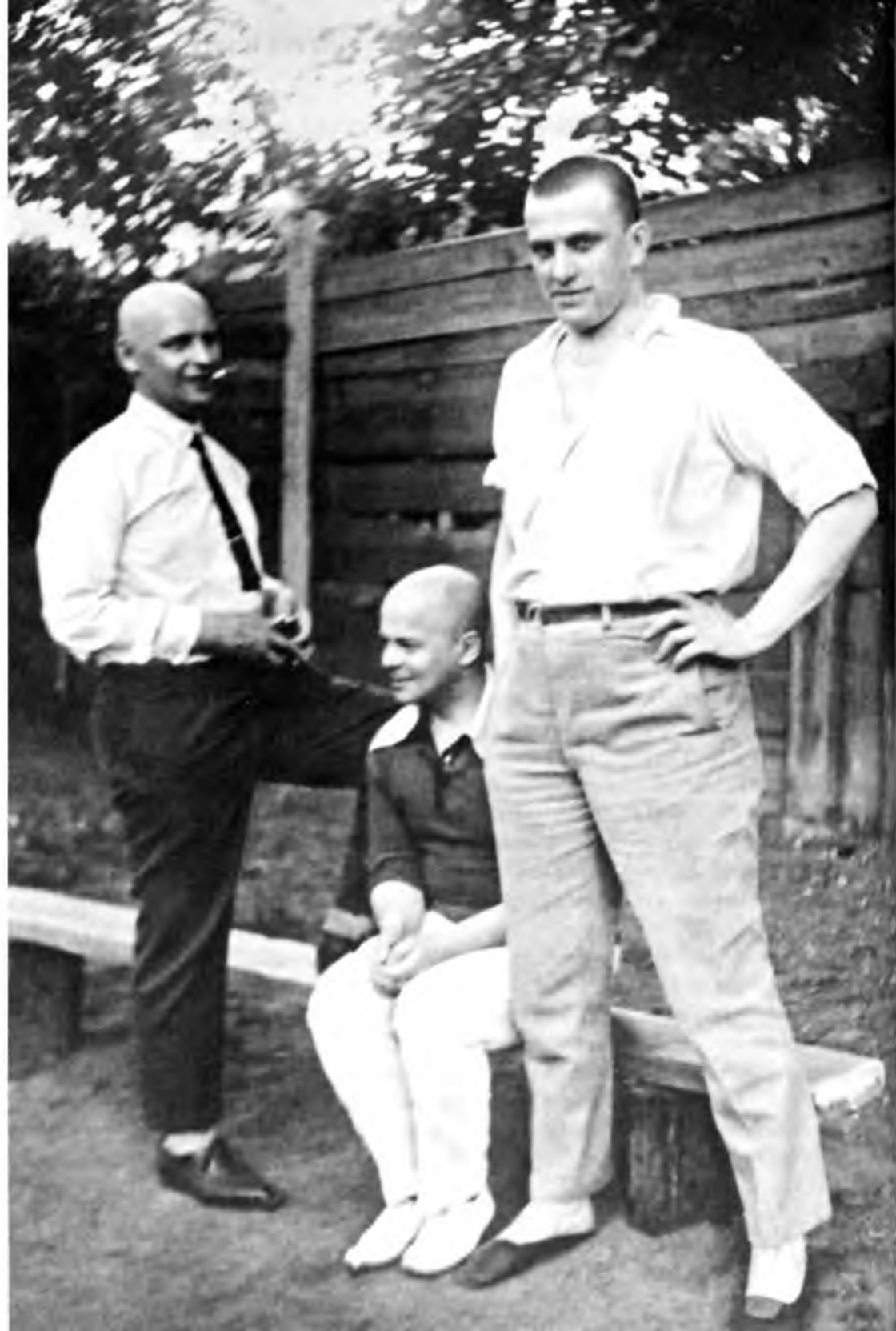
Несмотря на безденежье, до своего отъезда он купил Элли теплую одежду — в Нью-Йорке резко похолодало, так низко температура не падала здесь никогда. В универмаге “Блуминггейл” ей купили коричневый шерстяной костюм и, по словам Элли, “самое дешевое твидовое пальто, какое мы смогли найти”. “Потом он оплатил мне комнату за один месяц — 50 долларов или около того”. На самом себе он сэкономил. Вопреки привычке купил простую и дешевую куртку, и если из Парижа Маяковский ехал первым классом, то восемь дней обратного пути он провел на дешевой койке на самой нижней палубе, под дансингом: “Я в худшей каюте из всех кают — / всю ночь надо мною ногами куют”.

Многие пришли на причал попрощаться. Элли не хотела провожать его, но Маяковский ее уговорил. Поцеловав ей руку, он поднялся на борт. Когда корабль отчалил, Рехт отвез ее домой. “Я хотела броситься на кровать и рыдать <...> но не могла, — вспоминала Элли. — Моя кровать была устлана цветами — незабудками. У него совсем не было денег! Но он был такой”. Это было в его стиле: не несколько цветов и не один букет, а устланная цветами кровать. Типичный пример гиперболизма Маяковского: ухаживая за женщиной, он посылал ей не одну корзину цветов, а несколько, не одну коробку конфет, а десять, покупал не один лотерейный билет, а весь тираж...

Роман с Элли был наиболее продолжительным и серьезным с момента знакомства с Лили в 1915 году. Уже почти год он не чувствовал себя обязанным хранить ей верность. “Мы разошлись окончательно”, — доверился он Элли, рассказывая, что Лили пыталась покончить с собой, приняв лекарство, от которого на какое-то время ослепла. И все же он ее ревновал. Ожидая в Париже мексиканскую визу, он узнал от знакомых, что Лили проводит отпуск на Волге. “Ведь это ж мне интересно хотя бы

только с той стороны что ты значит здорова!” — упрекал он ее. Он знал, или чувствовал, что она отдыхала не одна...

Ответ Лили говорит сам за себя: “Пиши подробно как живешь (С кем — можешь не писать)”. У обоих были многочисленные связи; различие состояло в том, что Маяковский безумно страдал, узнавая о приключениях Лили; она же скорее всего была благодарна ему за отношения с другими женщинами — при условии, что они не угрожали их с Осипом общей жизни. Это давало ей моральное право на свободу собственных действий. К тому же из-за романа на другом конце земного шара вряд ли стоило тревожиться! И тем не менее именно отношения с Элли Джонс имели последствия, о которых никто пока не догадывался.



Жить надо вместе; ездить — вместе.

Или же — расстаться — в последний раз и навсегда.

■ Лили — Маяковскому

Какие чувства испытывал Маяковский, покидая американский континент? За четыре месяца в Мексике и США и его внутренний агитатор, и внутренний лирик нашли удовлетворение: первый — в стихах и выступлениях, второй — в личной сфере. Кроме любовной связи с Элли Джонс, путешествие принесло ему приступы сильной ностальгии, разбуженной ежедневными встречами с Давидом Бурлюком. Бурлюк принимал участие в организации выступлений Маяковского и сделал иллюстрации к двум стихотворениям, вышедшим отдельными книгами во время его пребывания в Нью-Йорке.

Но каким бы политически “прогрессивным” Бурлюк ни был, старые друзья, разумеется, говорили не только о политике. Стихотворения, иллюстрированные Бурлюком, — “Необычайное приключение...” и “Христофор Колумб” — не были политическими произведениями. Бурлюк являлся не только “отцом русского футуризма”, но и в определенном смысле “отцом” Маяковского, именно он открыл его поэтический талант и сделал его поэтом. В 1910-е годы они вместе боролись за эстетические идеалы футуризма, а после революции — за свободу искусства от государства. Бурлюк был одним из ближайших друзей Маяков-

■ В 1926 г. Варвара Степанова сфотографировала Маяковского, Шкловского и Родченко в садике дома в Гендриковом переулке.

ского, их очень многое объединяло. Если поэт и мог облегчить душу перед кем-либо, то именно перед ним. Признание, услышанное Бурлюком от Маяковского в Нью-Йорке — “Вот семь лет как я очень скучаю”*, — нельзя считать проявлением усталости, депрессии или временного смятения чувств. Тем более что оно перекликается с записью в дневнике, который Маяковский вел во время разлуки с Лили зимой 1923 года и где он упоминает “один от семнадцатого года до сегодняшнего дня длящийся теперь никем не делимый ужас”**.

Свойственная Маяковскому двойственность, противоречивое отношение к своему творчеству и отечеству с полной силой прорываются в стихотворении “Домой!”, над которым он начал работать, возвращаясь на корабле из Нью-Йорка. Восхваляя созидательную силу коммунизма, Маяковский подчеркивает, что вклад поэта в дело революции не менее важен, чем вклад рабочих, хотя они и приближаются к коммунизму с разных сторон:

Пролетарии
приходят к коммунизму
низом —
низом шахт,
серпов
и вил, —
я ж
с небес поэзии
бросаюсь в коммунизм,
потому что
нет мне
без него любви.

Как и в поэме “Про это”, Маяковский считает, что истинная любовь невозможна без нового коммунистического общества.

*

О том, что Маяковский во время пребывания в Нью-Йорке жаловался Д. Бурлюку на “скуку”, рассказал мне Н. Харджиев в беседе 20.08.1976 г. По его словам, Бурлюк сообщил это в письме В. Каменскому.

**

В машинописной рукописи, которая была в моем распоряжении, написано “ничем”, но это, по всей видимости, описка либо самого Маяковского, либо того, кто переписывал дневник.

Одновременно он развивает другую тему своих прежних произведений, а именно: поэзия должна подчиняться политике, а поэт обязан выполнять так называемый “социальный заказ” (см. далее стр. 422). Он ощущает себя “советским <...> / заводом, / вырабатывающим счастье”, он хочет получать “задания на год” от Госплана, чтобы “над мыслью / времен комиссар <...> с приказанием нависал”, чтобы “в конце работы / завком / запирал мои губы / замком”, “чтоб к штыку / приравняли перо” и чтобы Сталин делал доклады на политбюро “о работе стихов”. (То, что в качестве докладчика был выбран Сталин, объясняется не особой симпатией Маяковского к преемнику Ленина, а рифмой “стали—Сталин”; по литературным вопросам Сталин, как известно, редко высказывался.)

это по совету Осипа, считавшего, что “поэт, цель всей работы которого, цель жизни — быть во что бы то ни стало услышанным и понятым своей страной”, не может написать такое. Хотя Маяковскому нравились эти строки, он согласился их убрать, тем самым сняв контрастное взаимодействие амбивалентных чувств, столь свойственное его лучшим произведениям. (Та же противоречивость, впрочем, отражается и в набросках, где в пятой строке поэт колеблется между диаметрально противоположными эпитетами — “родной” и “чужой” страной.)

На более глубоком уровне в стихотворении “Домой!” выражена отчужденность, испытываемая любым поэтом, независимо от того, в какой стране он живет, — чувство, сформулированное Цветаевой следующим образом: “Всякий поэт по существу эмигрант, даже в России”. Но когда Маяковский писал стихотворение, у него, помимо этой экзистенциальной отчужденности, были и вполне конкретные причины чувствовать себя не оцененным в отечестве. “После краткого пребывания в Париже В.В. Маяковский поспешит в Москву, куда его вызывают дела, связанные с изданием Полного собрания его сочинений Госиздатом”, — писала нью-йоркская газета “Русский голос” в день отъезда Маяковского из США. Несмотря на то что рукопись первого тома он передал в издательство пять месяцев назад, перед отъездом из Москвы, ее еще не отдавали в набор. При подписании договора Маяковский пошел на значительные уступки, и тем не менее теперь торговый сектор намеревался расторгнуть договор, “ввиду отсутствия <...> спроса” на книги Маяковского, которые были “в больших остатках”. Маяковский мог доказать, что причиной была плохая организация сбыта, но по возвращении домой ему все же пришлось пересмотреть условия договора и согласиться на продление сроков издания, в результате чего первый том был выпущен лишь через три года, в декабре 1928-го.

Разногласия с Госиздатом не помешали Маяковскому по приезду на родину подписать контракты на издание четырех новых книг, в том числе и репортажа из Америки. Среди прочих был большой роман объемом около 400 страниц, который он обязался завершить в апреле 1926 года. “Пишешь ли роман?” — спрашивает Лили в письме в Мексику. Видимо, он

это делал, так как в статье, опубликованной в нью-йоркской русской газете, Бурлюк сообщает, что Маяковский пишет роман, но не хочет раскрывать о чем. По словам Бурлюка, которому “удалось подслушать”, роман — о жизни в России, но в нем будет и что-то об Америке. Мысль о романе была не новой, она появилась еще 1923 году, если не раньше. По возвращении Маяковского на родину в печати появлялись заметки о будущем романе, действие которого происходит в Москве и Петербурге начиная с 1914-го и “по наши дни” и в котором дается “изображение литературной жизни и быта, борьба школ и т. д.”. Книга, однако, так и не была написана. “Роман дописал в голове, а на бумагу не перевел, — объяснял Маяковский позднее, — потому что: пока дописывалось, проникался ненавистью к выдуманному <...>”. Вместо этого он начал размышлять над тем, чтобы написать обо всем этом в форме “литературной биографии”. Но и из этого ничего не получилось. Почему? Вероятно, потому, что темперамент и образ жизни Маяковского не позволяли ему осуществлять столь трудоемкие проекты. Стихи Маяковский сочинял в голове и только потом переносил их на бумагу. Но большой роман требовал других методов работы. Маяковский привык работать быстро и быстро видеть результат. Разве мог человек, который был настолько нетерпелив, что редко дочитывал книгу до конца (по словам Лили) и ел только рыбу без костей, потому что иначе еда отнимала слишком много времени (согласно сестре Людмиле), найти время и покой, необходимые для написания толстого романа?

■ НЕ БУДУ ТЕБЯ БОЛЬШЕ МУЧИТЬ

“Давай встретимся где-нибудь не в Москве, за границей”, — писала 26 июля Лили находившемуся еще в Мексике Маяковскому. Она ничего не имела бы против того, чтобы приехать к Маяковскому в США, но от этого плана пришлось, как мы видели, отказаться. “Если не прийдешь визу поеду сентябре Италию”, — телеграфирует она 13 августа. Она уже пришла в себя после гинекологической операции — “совсем <...> поправилась”, но поскольку “итальянцы” пообещали ей визу, она чувствовала себя обязанной



- Друзья, собравшиеся по случаю возвращения Маяковского из Америки. В верхнем ряду: Маяковский с подарком Лили — бульдогом Булькой, Осип, Борис Пастернак, Сергей Третьяков, Виктор Шкловский, Лев Гринкруг, Осип Бескин и секретарь Лефа Петр Незнамов. Сидят: Эльза, Лили, Раиса Кушнер, Елена Пастернак, Ольга Третьякова.

поехать на грязевой курорт Сальсомаджоре недалеко от Пармы в северной Италии. 22 сентября она сообщила Маяковскому, что документы в порядке. Предполагалось, что Маяковский присоединится к ней в Италии. “Остановка только за визой”, — телеграфирует он Лили спустя месяц, предлагая не совсем правдивое объяснение.

Однако Маяковскому пришлось уехать из Нью-Йорка без итальянской визы. Вскоре после приезда в Париж, 6 ноября, он получил письмо, в котором Лили сообщала, что едет в Рим, чтобы попытаться получить визу для него там. “Телеграфируй есть ли у тебя деньги. Я совершенно оборванец — все доносила до дыр. Купить все нужно в Италии — много дешевле. Хорошо

бы достать тебе визу, чтобы смог приехать за мной! <...> Неве-
роятно по тебе соскучилась! Мы бы поездили дней 10 по Вене-
циям — и домой! Я приготовила для тебя в Москве замечатель-
ный подарок”. Но оформление визы, как выяснилось, занимало
несколько недель, и вместо Италии Лили и Маяковский встрети-
лись в Берлине 14 ноября. Это была их первая встреча почти за
шесть месяцев.

Сначала в немецкую столицу прибыл Маяковский. Когда
Лили вышла из поезда, он уронил трость от смятения. Он пригото-
вил ее комнату в “Курфюрстенотеле” — войдя, она увидела цветы
в корзинах и вазах и целое дерево цветущих камелий. Всюду были
разложены подарки из Мексики: деревянные игрушки, птица из
натуральных перьев, яркий ковер, ящичек с разноцветными сига-
ретами из Гаваны (в то время Лили курила). Здесь же была и мод-
ная американская новинка — складной дорожный утюг. Лили
в свою очередь подарила Маяковскому иранскую фигурку слона
с бронзовой инкрустацией.

Они радовались встрече, подаркам, вниманию, о кото-
ром подарки свидетельствовали. Лили надела фиолетовое пла-
тье и закурила фиолетовую сигарету. Они говорили без умолку.
Все было в точности как прежде. Или нет? В гостинице они, как
обычно, поселились в отдельных номерах. После ужина Маяков-
ский пошел к Лили. Как она вспоминала позднее, на пороге ком-
наты он остановился и, опершись о дверной косяк, мягко произ-
нес: “Спокойной ночи, детка. Не буду тебя больше мучить”. Он
понял, что если будет продолжать навязывать Лили себя против ее
воли, он потеряет ее безвозвратно. За десять лет знакомства он ее
узнал достаточно хорошо, чтобы понять, что их отношения дик-
товались ей — а не его — желаниями и чувствами. Реплика озна-
чала окончательный конец их физическим отношениям.

Он знал ее достаточно хорошо и для того, чтобы быть уве-
ренным, что роман с Элли ее не заденет. Кодекс, которому под-
чинялись их отношения, обязывал их не скрывать своих романов
друг от друга. Поэтому не подлежит сомнению, что Маяковский
рассказал Лили об Элли. И когда он сделал анонимный анализ
на реакцию Вассермана в Институте медицинской диагностики
в Берлине, можно сказать наверняка, что это было сделано с

ведома, вероятно, даже по инициативе Лили; учитывая его незнание немецкого языка, Маяковский в любом случае не мог пойти к врачу самостоятельно. Анализ показал отрицательную реакцию.

Проведя четыре дня в Берлине, Лили и Маяковский отправились домой через Литву. На вокзале в Москве их встретили Осип и Эльза, запомнившая, как Лили вышла из поезда, одетая в беличью шубку; после месяца за границей она больше не была “оборванцем”... За ней показался Маяковский, которого уже дома в Сокольниках встретил лай “замечательного подарка” Лили — бульдога Бульки.

Возвращение, однако, принесло не только радостные сюрпризы. Если ранее Маяковский этого не осознавал, то теперь ему пришлось удостовериться, что правила игры их “любовного треста” окончательно изменились.

Убедила его в этом не мимолетная страсть Лили к издательскому работнику Осипу Бескину, у которого она жила какое-то время в начале 1926 года, а событие, кардинально изменившее жизнь Осипа. В январе 1925 года тот познакомился с молодой девушкой, работавшей в детской библиотеке в Москве. Двадцатипятилетняя Евгения Соколова была женой режиссера Виталия Жемчужного, но она его оставила, как только ее отношения с Осипом стали более близкими. Несмотря на то что интимные отношения между Осипом и Лили прекратились более десяти лет назад, сам факт, что молодой библиотекарьше удалось пробудить его дремавшую сексуальность, глубоко задевал Лили, тем более что молчаливая и замкнутая Женя была совершенно не похожа на женщин, обычно посещавших салон Бриков. “Не понимаю, о чем он с ней может говорить”, — раздраженно прокомментировала Лили, которую, помимо этого, раздражал в ней и недостаток “эгантности”. Лили, всегда с успехом укрощавшая своих “звериков”, добиваясь от них послушания, и никогда не возражавшая против

■ Женя, сфотографированная Родченко в студии, принадлежавшей ему и Варваре Степановой, в 1924 г., за год до того, как она и Осип соединили свои судьбы. На ней спортивная форма, разработанная Варварой Степановой для учащихся Академии социального воспитания. На стене слева рекламные плакаты Родченко.



увлечений Маяковского, теперь была вынуждена признать, что любимый ею с детства Осип нашел женщину, сумевшую растопить его чувства. Для Осипа встреча с Женей была настоящим “чудом”, как он написал в стихотворении к двадцатилетию их знакомства: если бы он верил в Бога, он бы упал на колени перед ним за то, что их с Женей пути пересеклись...

■ ЖИТЬ НАДО ВМЕСТЕ

Лили было трудно смириться с пробуждением эмоциональной жизни Осипа — радоваться оставалось только тому, что Женя не переехала в “семью”. Таким образом их жизнь втроем продолжалась, как прежде; и это было главное.

Отношения между Лили, Осипом и Маяковским никогда не представляли собой *ménage à trois* в физическом плане; теперь же они не были даже *ménage à deux**. Не подлежит сомнению, что теории Лили о свободной любви доставляли Маяковскому бесконечные страдания, но основой их совместной жизни была общность более глубокого свойства. В какое бы отчаяние Маяковский ни впадал из-за всех увлечений Лили, он знал, что никто не ценит его поэзию так, как она. И как бы ни уставала Лили от его инфантильности, ревности и невозможных требований, она знала, какую роль она играет в его творчестве. Что касается Осипа, то его она любила всю жизнь — эрудированность и блистательный ум Брика вызывали у Лили такое же восхищение, как поэзия Маяковского.

Третьим звеном в этом уравнении было отношение Маяковского к Осипу — окрашенная нежностью глубокая дружба. Именно Маяковский пробудил у Брика интерес к поэзии, выведя таким образом его жизнь на новый виток. Ум Осипа, ранее направленный на юриспруденцию и семейный бизнес, после встречи с Маяковским сфокусировался на литературных и литературоведческих вопросах, а в двадцатые годы Осип стал одним из ведущих идеологов в культуре страны. Источником вдохновения для его теорий служили в первую очередь Маяковский и его поэзия.

* Любовь втроем; любовь вдвоем (*фр.*).

Маяковский “перестроил Осино мышление”, по словам Лили, но одновременно и Осип оказал колоссальное влияние на развитие Маяковского. Маяковский читал мало и несистематически, в то время как Осип ежедневно совершал обход букинистических магазинов и со временем собрал большую библиотеку. Маяковский безоговорочно доверял эстетическому вкусу и компетенции Осипа. Это была редкая форма союза, основанная на дружбе, доверии, юморе, общих интересах и политической уверенности в том, что они строят новый, лучший мир.

Если Маяковский был поэтом, а Осип — теоретиком культуры, то в вопросах, касавшихся их совместной жизни, теоретиком являлась Лили. Здесь она действовала как под влиянием революционных идей равенства полов и освобождения женщины, так и исходя из врожденного чувства свободы. Она решила, что для функционирования их союза нужно следующее: пусть каждый днем делает что хочет, но вечера — и по возможности ночи — они должны проводить под одной крышей. Однажды, вероятно — вскоре после разъезда 1923 года, Лили сформулировала свои идеи в письме к Маяковскому:

Жить нам с тобой так, как жили до сих пор — нельзя. Ни за что не буду! Жить надо *вместе*; ездить — *вместе*. Или же — расстаться — в последний раз и навсегда.

Чего же я хочу. Мы должны остаться сейчас в Москве; заняться квартирой. Неужели не хочешь пожить по человечески и со мной?! А уже, исходя из общей жизни — все остальное <... >

Начинать делать это все нужно немедленно, если, конечно, хочешь. Мне — очень хочется. Кажется — и весело, и интересно. Ты мог бы мне сейчас нравиться, могла бы любить тебя, если бы был *со мной* и *для меня*. Если бы, независимо от того, где были и что делали днем, мы могли бы вечером или ночью вместе рядом полежать в чистой удобной постели; в комнате с чистым воздухом; после теплой ванны!

Разве не верно? Тебе кажется — опять мудрую, капризничая.

Обдумай серьезно, по взрослому. Я долго думала и для себя — решила. Хотелось бы чтобы ты моему желанию и решению был рад, а не просто подчинился! Целую.

Твоя Лили

Странное письмо, если учесть, что оно написано женщиной, обвинявшей Маяковского в том, что он поддался соблазнам буржуазной жизни. Но как программное заявление оно представляет определенный интерес. Отношения между Лили, Осипом и Маяковским являли собой пример современного семейного союза, такой стиль жизни соответствовал революционным идеалам Чернышевского. Эта семейная конструкция уже успела приобрести почти эмблематичный статус, и ее нельзя было разрушить, угрозы не представляли ни потребности Лили в эротическом и интеллектуальном разнообразии, ни необузданные приступы ревности Маяковского. Поскольку “романами” занимались вне дома, “семья” не распадалась. Выстроенная Лили совместная жизнь гарантировала ей ту свободу, без которой она не могла существовать. Маяковский это знал — как знал и то, что, если он не согласится с предложенными условиями, отношения с Лили будут прерваны навсегда.

■ CHANGEZ VOS DAMES!

“Супружеский картель” Лили, Осипа и Маяковского был, возможно, наиболее шумевшим для той эпохи примером современного устройства семьи, однако в первом пролетарском государстве свободные любовные связи стали обычным явлением, прежде всего в кругах интеллигенции. Осип Мандельштам жил вместе с женой, но одновременно поддерживал отношения с поэтессой Марией Петровых, которые Надежда Яковлевна приветствовала, видя в подобной трюиственности исключительно положительные черты. Женатый Максим Горький сначала открыто жил с актрисой

■ Современная женщина позирует в 1924 г. современному фотографу Александру Родченко.



Марией Андреевой, а затем — с баронессой Марией Закревской-Бенкендорф-Будберг. На протяжении всех лет совместной жизни Николая Пунина и Анны Ахматовой они каждый вечер ужинали с первой женой Пунина. Список можно расширить, включив в него великие прообразы XIX века — Чернышевского, Тургенева и Некрасова. “Моральная и эстетическая сторона подобных сюжетов меня нисколько не беспокоила, — комментировала Эмма Герштейн, близкий друг четы Мандельштам. — Мы жили в эпоху сексуальной революции, были свободомыслящими, молодыми <...>. Критерием поведения в интимной жизни оставался для нас только индивидуальный вкус — кому что нравится”.

В основе подобного поведения лежало общее освобождение от условностей, начавшееся где-то с середины XIX века (см. главу “Лили”), — процесс, который после революции был официально одобрен и отражен в новых законах о браке. Первый из таковых, принятый в 1918 году, признавал только гражданский, а не церковный брак, облегчал процедуру развода и уравнивал в правах законнорожденных и незаконнорожденных детей. В следующем Кодексе о браке, принятом в 1926 году, законодательство было либерализовано до степени, которая делала регистрацию брака юридически бессмысленной; было достаточно, чтобы проживающие вместе мужчина и женщина сами считали себя мужем и женой. Процедура развода еще более упростилась, теперь хватало заявления лишь одного из партнеров о намерении развестись, ни присутствия, ни тем более согласия второго партнера не требовалось. Этот закон о браке разрешал также аборт.

Идеологически корни нового законодательства уходили к классикам марксизма, и прежде всего к Фридриху Энгельсу. Брачная и сексуальная свобода рассматривались как составляющие общей свободы, которую предполагалось реализовать в новом обществе, и сторонники свободной любви противопоставляли частную собственность и моногамию (то есть право собственности на женщину) старого общества общественной собственности коммунистического общества и свободной любви свободных индивидов. На протяжении первого послереволюционного десятилетия коммунистическая партия старалась не вмешиваться в личную жизнь граждан. Нарком просвещения Луначарский в

1923 году назвал государственную регламентацию жизни индивида “грозящей коммунизму”, утверждая, что “мораль коммунистического общества будет заключаться в том, что в ней не будет никаких прецептов, это будет мораль абсолютно свободного человека”. Недопустимо, подчеркивал он, “никакое тяготение общественного мнения, не должно быть никакого “ком иль фо”!

Самой яркой пропагандисткой свободной любви — или, вернее, свободной сексуальности — была Александра Коллонтай, автор “теории стакана воды”, согласно которой человек в обществе, свободном от принципов буржуазной морали, может удовлетворить сексуальные потребности так же просто, как выпить стакан воды; сексуальная свобода была правом как мужчины, так и женщины.

Трудно сказать, насколько широко успела распространиться “теория стакана воды”, но среди интеллигенции и молодежи она пользовалась популярностью. Один комсомолец, например, сообщал, что он прекратил ходить к проституткам, так как теперь мог легко овладеть любой девушкой! А когда одесские студенты в 1927 году отвечали на вопрос “Есть ли любовь?”, только 60,9% женщин и 51,8% мужчин дали положительный ответ.

Радикальные теории Коллонтай и других явились логическим следствием идей марксизма о свободном — или освобожденном — человеке коммунистического общества, — идеи были экстремальными, но трудно оспариваемыми марксистской логикой. Поскольку коммунизм и сексуальная свобода шли рука об руку (равно как старая сексуальная мораль и буржуазное общество), всякая оппозиция “новой морали” воспринималась как предосудительная и реакционная.

Через десять лет после революции Анатолий Луначарский, поначалу восхвалявший сексуальную свободу во имя “естественного человека”, занял более трезвую позицию и в 1927 году подвел итог “марксистскому” взгляду на отношения между мужчиной и женщиной следующим ироническим парафразом:

Муж, жена, которые рожают и воспитывают детей, — это буржуазная штучка. Уважающий себя коммунист, советский человек, передовой интеллигент, подлинный пролетарий должен от этой буржуазной штучки предостеречь

себя. — “Социализм”, — говорят такие “марксисты”, — несет за собой новые формы общения мужчины и женщины — именно свободную любовь. Сходятся между собой мужчина и женщина, живут пока друг другу нравятся, разонравившись — расходятся; сходятся на сравнительно короткий срок, не создавая прочного хозяйственного уклада; и мужчины и женщины свободны в этом отношении. <...> “Подлинный коммунист, советский человек, — говорят они, — должен остерегаться парного брака и стремиться удовлетворить свои потребности путем “changez vos dames”, как говорят в старой кадрили, известной переменой, свободой взаимоотношений мужей, жен, отцов, детей, так что не разберешь, кто к кому и как точно относится. Это и есть общественное строительство.

Несмотря на ироничность описания, оно довольно точно отражало идеалы Лили, подкрепленные пока еще действовавшим советским законодательством — следующий закон о браке, принятый в 1936 году, означал возврат к традиционному взгляду на брак и семью.

■ В ЭТОЙ ЖИЗНИ ПОМЕРЕТЬ НЕ ТРУДНО

Утром 28 декабря 1925 года Россию разбудила страшная новость: тридцатилетний Сергей Есенин найден мертвым в ленинградской гостинице “Англетер”. Он повесился на водопроводной трубе в своем номере.

Сергей Есенин во многом являлся противоположностью Маяковскому. Если Маяковский был поэтом большого города и революции, то Есенин воспевал русскую деревню. Их контакты ограничивались главным образом полемикой, особенно в начале 1920-х, когда Есенин примкнул к противникам футуристов — имажинистам. Когда во время американского турне у Маяковского спросили о Есенине, он назвал его “безусловно талантливым, но консервативным”, добавив, что тот “оплакивал гибель старой кулацкой “деревенщины” в то время, когда борющийся проле-



- Сергей Есенин покончил с собой, сделав петлю из шнура электропроводки и повесившись на водопроводной трубе в гостинице “Англетер”.

тариат Советской России вынужден был с этой “деревенщиной” бороться, так как кулаки прятали хлеб и не давали его голодающему городу”. Однажды он обронил шутку по поводу пристрастия Есенина к алкоголю. Шутка была грубой, но не лишенной оснований. Есенин вел разгульную жизнь, особенно в период непродолжительного брака с экспансивной и эксцентричной танцовщицей Айседорой Дункан. Турне по Европе, которое они предприняли в принадлежавшем Дункан пятиместном “бьюике”, сопровождалось ссорами, дебошами в ресторанах и пьянками Есенина.

Осенью 1925 года Есенин пребывал в очень плохом состоянии, у него случались приступы белой горячки и галлюцинации, вследствие чего 26 ноября его поместили в московскую психиатрическую клинику. Положение ухудшалось эпилепсией (кото-

рая, равно как и алкоголизм, по-видимому, была наследственной) и глубокой депрессией, порождавшей мысли о самоубийстве, — поэтому дверь в его палату постоянно держали открытой. 21 декабря Есенин по своей воле прервал лечение и покинул клинику — возможно, потому что услышал от врачей, что ему осталось только полгода жизни. Через два дня он уехал в Ленинград, где покончил с собой.

У Маяковского, постоянно носившего в себе идею самоубийства как реальную возможность, смерть Есенина включила ряд защитных механизмов. За последние годы ушли из жизни несколько крупных поэтов — Гумилев, Блок, Хлебников, но ни одна из этих утрат не вызвала у Маяковского столь мучительной реакции, как самоубийство Есенина. Несмотря на то что, по словам Лили, Маяковский “из принципиальных соображений” не показывал “свое хорошее отношение” к Есенину, он считал его “чертовски талантливым” и в некотором отношении родственной душой — таким же ранимым, вспыльчивым и вечно ищущим, как он сам, таким же отчаянным. Первая жена Есенина, актриса Зинаида Райх, в 1922 году вышедшая замуж за Мейерхольда, не ощущала никакой разницы между душевным состоянием Есенина и Маяковского: “внутреннее бешеное беспокойство, неудовлетворенность и страх перед уходящей молодой славой”.

После самоубийства Есенина соблазн уподобить их судьбы одна другой стал еще сильнее, тем более что Маяковский наверняка знал, что Есенин не впервые пытался покончить с собой. Кроме того, в стихах Есенина мотив самоубийства встречался не реже, чем у него самого. Как и Маяковский, Есенин был, по определению Анатолия Мариенгофа, “маниакален” в своих мыслях о самоубийстве.

Прежде чем повеситься, Есенин порезал себя и собственной кровью написал прощальное стихотворение, которое заканчивалось строками: “В этой жизни умирать не ново, / Но и жить, конечно, не новей”. На следующий день стихотворение было напечатано во всех газетах. “После этих строк смерть Есенина стала “литературным фактом”, — прокомментировал Маяковский. Только превратив гибель Есенина в литературу,

только абстрагировав ее, Маяковский мог справиться с собственными чувствами. В конце января он поехал в трехмесячное турне по югу России. Тема самоубийства присутствует постоянно и в его выступлениях, и в вопросах публики, — и когда в Харькове его спрашивают о Есенине, он раздраженно отвечает: “Мне плевать после смерти на все памятники и венки... Берегите поэтов!”

Для того чтобы смириться с самоубийством Есенина, он пытается писать о нем, но работа продвигается вяло. Несмотря на то что он думает об этом “изо дня в день” на протяжении долгой поездки, он не может “придумать ничего путного”, единственное, что лезет в голову, — это “всякая чертовщина с синими лицами и водопроводными трубами”. Причина, не позволявшая ему писать, заключается, по его словам, “в чересчур большом соответствии описываемого с личной обстановкой. Те же номера, те же трубы и та же вынужденная одинокость”. И хотя здесь Маяковский имеет в виду внешнее сходство — одинокий поэт в гостиничном номере, — очевидно, что смерть Есенина пробудила у Маяковского незванные мысли. В это время условия его собственной жизни в корне переменились, будущее представлялось смутно. Он должен жить с Лили в одной квартире, но не в качестве ее мужа. Как сложится его жизнь, кто заполнит эмоциональную пустоту, которую оставила после себя Лили?

Результатом трехмесячных творческих мук стало стихотворение “Сергею Есенину”, которое Маяковский отдал в печать в конце марта. Оно приобрело мгновенную известность, рукописные списки распространялись еще до того, как стихотворение было напечатано. “Сразу стало ясно, скольких колеблющихся этот сильный стих, именно — *стих*, подведет под петлю и револьвер, — писал Маяковский в очерке “Как делать стихи”, посвященном главным образом есенинскому стихотворению. — И никакими, никакими газетными анализами и статьями этот стих не аннулируешь. С этим стихом можно и надо бороться стихом и *только стихом*”. Стихотворение Маяковского должно было, по его словам, “обдуманно парализовать действие последних есенинских стихов, сделать есенинский конец неинтересным”, потому что “все силы нужны рабочему человечеству для начатой революции,

и это <...> требует, чтобы мы славили радость жизни, веселье труднейшего марша в коммунизм”.

Для того чтобы “сделать есенинский конец неинтересным”, Маяковский решил парафразировать последние строки стихотворения Есенина:

В этой жизни
помереть
не трудно.
Сделать жизнь
значительно трудней.

Эти строки являются ответом не только Есенину, но и той глубокой боли, которую Маяковский выражает в начале стихотворения:

Вы ушли,
как говорится,
в мир иной.
Пустота...
Летите,
в звезды врезываясь.
Ни тебе аванса,
ни пивной.
Трезвость.
Нет, Есенин,
это
не насмешка.
В горле
горе комом —
не смешок.
Вижу —
врезанной рукой помешкав,
собственных
костей
качаете мешок.

Человек, формулировавший мысль о том, что самоубийство Есенина подведет “колеблющихся” “под петлю или револьвер”, прекрасно знал, что и сам он принадлежит к этой категории; в действительности стихотворение “Сергею Есенину” должно было “аннулировать” прежде всего мысли о самоубийстве у самого Маяковского. Еще через год, во время посещения Ленинграда, он попросил извозчика объехать “Англетер” стороной — не мог видеть здание, в котором Есенин покончил с собой.

■ ГЕНДРИКОВ

Для того чтобы представления Лили об их совместной жизни можно было реализовать, требовалась квартира бо́льшей площади. Пока они жили в тесноте, выполнялись только отдельные пункты программы: вечера они проводили вместе, за игорным столом или вне дома, но ночевал Маяковский чаще всего в своей комнате в Лубянском проезде.

Сразу после возвращения из США в декабре 1925 года Маяковский получил квартиру в Гендриковом переулке на Таганке, несколько в стороне от центра Москвы. Это была небольшая — три спальни по десять квадратных метров каждая и четырнадцатиметровая гостиная, — но не коммунальная, а своя квартира. Здесь и предполагалось осуществить теорию Лили на практике. Но прежде квартиру нужно было отремонтировать и привести в порядок, что заняло почти полгода.

Именно для того, чтобы финансировать ремонт, Маяковский и отправился в турне. Перед отъездом он попросил Луначарского — в который раз?! — похлопотать, чтобы у него не отняли жилье, на этот раз в Гендриковом переулке.хлопоты увенчались успехом, кроме того, специальным постановлением Моссовета сняли угрозу уплотнения, вместо этого Маяковский смог “уплотнить” квартиру по собственному желанию, прописав там Лили и Осипа.

В отсутствие Маяковского практическими вопросами обустройства занималась Лили. “Дорогой солник мой, — пишет он из Баку 20 февраля, — очень тебя жалею что тебе возиться с квартирой. И завидую потому что с этим повозиться интересно”. Он посылал ей все деньги, которые зарабатывал. Средства были



- Дом в Гендриковом переулке. Квартира Маяковского и Бриков располагалась на втором этаже. Комнаты были маленькие, пространство следовало использовать максимально. Поэтому Маяковский попросил сконструировать платяной шкаф с зеркалом и раскладной туалетный столик (справа). На снимке внизу гостиная.





крайне нужны, потому что квартира находилась в плачевном состоянии, под обоями ползали клопы, — все требовало замены, переделки. Поскольку комнаты были маленькими, мебель пришлось изготавливать специально. Все это взяла на себя Лили — она ездила в мастерские, вела переговоры о книжных полках и шкафах, обсуждала со столярами формы и размеры. Для входной двери заказали табличку: БРИК. МАЯКОВСКИЙ. Рояль “Стейнвэй” пришлось продать,

места для него не было, а для книг, которые не поместились в комнате Осипа, поставили два специально изготовленных и снабженных навесными замками шкафа на неотапливаемой лестничной площадке у входной двери.

Принцип оформления квартиры был тот же, что когда-то при первом издании “Облака”, — ничего лишнего, — вспоминала Лили. — Никаких красот — красного дерева, картин, украшений. Голые стены. Только над тахтами Владимира Владимировича и Осипа Максимовича — сарапи, привезенные из Мексики, а над моей — старинный коверик, вышитый шерстью и бисером, на охотничьи сюжеты, подаренный мне “для смеха” футуристом Маяковским еще в 1916 году. На полах цветастые украинские ковры, да в комнате Владимира Владимировича — две мои фотографии, которые я подарила ему на рождение в Петрограде в год нашего знакомства.

В конце апреля одновременно с выходом стихотворения “Сергею Есенину” — отдельной книгой с обложкой Александра



■ Эльза и Лили на даче в Сокольниках в 1925 г., когда впервые после 1918-го Эльза приехала в Москву.

Родченко — Маяковский, Лили и Осип смогли въехать в отремонтированную квартиру. Эльза, находившаяся в Москве с прошлого лета и проживавшая попеременно то в доме в Сокольниках, то у Маяковского в Лубянском проезде, уже вернулась в Париж. За это время она дебютировала как писатель беллетризованными путевыми заметками “На Таити”, вышедшими в Ленинграде в 1925 году с шуточными стихами Романа Якобсона в виде эпиграфа (см. главу “Тоска по Западу”). Частную жизнь и литературу невозможно было разделить: в автобиографической книге “Земляничка”, напечатанной в 1926-м, Эльза превратила в литературу чувства к ней Романа Якобсона (см. “Первая революция и третья”) так же, как Шкловский в “Zoo” — свою любовь к ней.



■ Лили и Луэлла. Фото Александра Родченко.

■ ДОЧКА

Переезд обошелся в значительную сумму Маяковскому, у которого к тому же в этом году возникли серьезные проблемы с фининспектором. Налоговая служба хотела взимать с него налог по принципу налогообложения для мелких предпринимателей и ремесленников, и поскольку Маяковский не вел бухгалтерию, ему пришлось подробно расписывать расходы — дорожные, канцелярские, оплату услуг машинисток и прочее — и предъявлять их в своих жалобах. Жалобы были также изложены в поэтической форме — стихотворением “Разговор с фининспектором о поэзии”, где автор доказывает, что, в отличие от остальных людей, поэт “всегда / должник вселенной, / платящий / на гóре / проценты / и пени”. В конце концов Маяковскому зачли пятьдесят процентов на “производственные расходы” (и содержание матери), и в итоге налогооблагаемая сумма от совокупного дохода за 6 месяцев — 9 935 рублей — составила 4 968 рублей.

При том, что Маяковский тратил значительные суммы и на себя и на других, у него было крайне легкомысленное отношение к деньгам. Он был щедрым и расточительным, мог не задумываясь делать огромные ставки, играя в карты или бильярд. “Нью-Йорк таймс” назвала его “одним из самых богатых поэтов” в России. Но сколько он в действительности зарабатывал? Заявления Маяковского в налоговую службу позволяют создать приблизительное представление о его доходах. По его утверждениям, доход за четвертый квартал 1925 года составил 9 935 рублей, а за первый квартал 1926 года — на 3 тысячи рублей больше обычного, что превысило средний уровень, поскольку за этот период он продал Госиздату права на Собрание сочинений. Обычный доход за полугодие составлял, таким образом, около 6 тысяч рублей, то есть 12 тысяч в год. Сравним эту сумму с годовым заработком промышленного рабочего, составлявшим примерно 900 рублей. Маяковский, следовательно, зарабатывал почти в тринадцать раз больше. Еще один ориентир для сравнения — стоимость путешествия из Нью-Йорка в Гавр в то время составляла 400 рублей.

Если Маяковский потратил на обустройство нового жилья значительные средства, то Лили потратила на ремонт все силы,

и вскоре после переезда она уехала на несколько недель отдыхать на Черное море. Когда она вернулась, на юг уехал Маяковский, у которого были намечены выступления в Крыму; он покинул Москву 19 июня. В Ялте он получил письмо от Лили с описанием того, как проходят дни: “по понедельникам у нас собираются сливки литературной, художественной, политической и финансовой Москвы”, “по воскресеньям — ездим на бега — шикарно!”, “в остальные дни Ося бывает у женщин (Оксана, Женя)”; сама же она навещает “верхи”, среди прочих Альтера в дачном поселке Серебряный Бор. “Только ты не завидуй, Волосит!” — призывает она Маяковского.

По правилам Лили, каждый из трех членов “семьи” имел право на свободные любовные связи при условии, что это не мешает их совместной жизни. Осип все больше общался с Женей, Лили, возможно, по-прежнему поддерживала отношения с Краснощековым, который осенью 1925 года вернулся из крымского санатория, а летом 1926-го занял должность экономиста-консультанта по финансовым вопросам в Главном хлопковом комитете Наркомзема. В том же году из США приехали его жена с сыном, однако надежды на воссоединение семьи не оправдались — спустя всего лишь полтора месяца они снова отбыли в Нью-Йорк, где Гертруда получила работу в Амторге. В связи с новой должностью Краснощекову предоставили квартиру в Москве, куда он переехал вместе с дочкой Луэллой.

Разумеется, Маяковский ревновал, хотя Лили призывала его не делать этого. Но в середине июля, когда он получил ее письмо, его жизнь обогатило — и усложнило — событие, отодвинувшее подобные переживания на второй план. 15 июня Элли Джонс в Нью-Йорке родила дочь, которую окрестили Хелен Патриция и называли Элли, как и мать. Новость не была неожиданной, поскольку Маяковский знал или подозревал о беременности Элли. Вероятно, слова в отправленной ей новогодней телеграмме намекали именно на это: “ПИШИ ВСЕ. ВСЕ. С НОВЫМ ГОДОМ”. Но Элли не писала из страха, что информацию перехватит советская цензура. Когда же 6 мая она наконец известила его о предстоящих родах и попросила поддержать ее материально, она сделала это в общих выражениях,



■ Лили и Маяковский на курорте Чаир в Крыму в августе 1926 г.

не указывая, на что конкретно необходимы деньги: “Через три недели необходимо заплатить \$600 в госпиталь. Если можете, пришлите по этому адресу <...>. Думаю, что понимаете мое молчание. Если умру — *allright* — если нет, увидимся”. Маяковский ответил телеграммой, в которой сообщал, что “объективные обстоятельства” не позволяют ему выслать деньги, как бы он этого ни хотел.

Несмотря на то что следовало соблюдать предельную осторожность, Маяковский связался с Элли, как только узнал, что стал отцом. Его письмо не сохранилось, но сохранился ее ответ. “Так обрадовалась Вашему письму, мой друг! Почему, почему не писали раньше? — с упреком спрашивала она 20 июля. — Я еще очень слаба. Еле брожу. Писать много не могу. Не хочу расстраиваться, вспоминая кошмарную для меня весну. Ведь я жива. Скоро буду здоровой. Простите, что расстроила Вас глупой запиской”. Она долго ждала писем от него, пишет она далее, но, может быть, они так и остались в ящике письменного стола? “Ах, Владимир, неужели не помните про

любимую лапу. Смешной! Как-нибудь бы нам обеим [sic] сходить к Freud”.

Реакция Маяковского на это событие лаконично отражена в одной из его записных книжек 1926 года: он написал слово “дочка” на пустой странице. Из писем Элли к нему ясно, что он планировал поездку в Нью-Йорк: “Если окончательно решите приехать — телеграфируйте”. Помочь с визой, как и в прошлый раз, должен был Чарльз Рехт.

Но Маяковский так и не поехал. “Объективные обстоятельства”, препятствовавшие перевести деньги в США, были еще более “объективными” в плане его собственных возможностей передвижения. Чем бы он мотивировал подобную поездку, к тому же срочную? Настоящую причину нельзя было сообщить ни советским властям, ни американским, ни даже друзьям. Пройдет почти два года, прежде чем Маяковский увидит дочь (законным отцом которой считался Джордж Джонс).

Тем временем он давал выход отцовским чувствам, сочиняя стихи для детей, и к этому занятию, по собственным словам, относился “с особым увлечением”. Вскоре после рождения дочери он написал киносценарий “Дети”, о голодающей семье американских шахтеров, в которой мать звали Элли Джонс, а дочь Ирмой — возможно, он еще не знал настоящего имени девочки. Сценарий полон штампов о бесчеловечности капитализма, но в эпизоде с приглашением Ирмы в Советский Союз на встречу с пионерами слышен голос не идеолога, а отца, мечтающего увидеть своего ребенка.

Глубину тоски Маяковского, лишенного возможности общаться с ребенком, показывает эпизод, случившийся в Праге годом позже. Когда годовалый сын фольклориста Петра Богатырева вбежал в комнату, Маяковский закричал: “Уберите его!” Роман Якобсон, описывая сцену, истолковал эту вспышку как доказательство того, что Маяковский не любит детей и считает их “продолжением нынешнего быта”. Но Якобсон не знал, что у Маяковского в США есть дочь и что крик на самом деле мог быть криком отчаяния.

Лили знала, что у Маяковского был роман с Элли, но когда она получила известие о том, что он стал отцом? В конце

июля она приехала в Крым, где получила работу помощника режиссера на съемках фильма “Евреи на земле”, в котором рассказывалось о попытке создать еврейские сельскохозяйственные колонии в Крыму, по сценарию Виктора Шкловского. После съемок она провела с Маяковским четырнадцать дней в пансионате “Чаир”. Возможно, именно тогда она и узнала о рождении девочки.

■ ЕЗЖУ КАК БЕШЕНЫЙ

Несмотря на переезд в новую квартиру, и Лили и Маяковский в тот год крайне мало бывали в Москве. Маяковский отсутствовал целых пять месяцев. Вернулся из Крыма в конце августа, а осенью снова несколько раз отлучался из столицы. Письмо, которое он прислал Лили из Краснодара, дает представление о его лихорадочной жизни:

Езжу как бешеный.

Уже читал. Воронеже, Ростове, Таганроге, опять Ростове, Новочеркасске и опять два раза в Ростове сейчас сижу Краснодаре вечером буду уже не читать а хрипеть — умоляю устроителей чтоб они меня не возили в Новороссийск а устроители меня умоляют чтоб я ехал еще и в Ставрополь.

Читать трудновато. Читаю каждый день: например в субботу читал в Новочеркасске от 8 ½ вечера до 12 ¾ ночи просили выступить еще в 8 часов утра в университете а в 10 в кавалерийском полку но пришлось отказаться так как в 10 часов поехал в Ростов и читал с 1 ½ в Рапе до 4.50 а в 5.30 уже в Ленинских мастерских и отказаться нельзя никак: для рабочих и бесплатно!

Поездки продолжались зимой и на протяжении всего 1927 года, когда Маяковский отсутствовал в Москве 181 день; он посетил сорок городов и провел более ста выступлений. “Продолжаю прерванную традицию трубадуров и менестрелей”, — сообщал он. Каждое выступление требовало колоссального напряжения

и продолжалось в среднем три часа, после чего следовали вопросы публики. За тот же год Маяковский написал еще семьдесят стихотворений, двадцать статей и очерков, три киносценария и поэму “Хорошо!”, посвященную десятилетию Октябрьской революции. Результат впечатляющий — но и уставал он сильно.

Взвалить на свои плечи этот почти нечеловеческий груз Маяковского заставило переплетение целого ряда причин. Во-первых, он ощущал потребность встречаться с публикой и популяризировать свое творчество и эстетические принципы; он был прирожденным эстрадным поэтом — это была его стихия. Во-вторых, он нуждался в деньгах. И в-третьих, работа помогала оттеснить мысли о той жизни, которую Лили вела в Москве — в то время как у него самого “с духовной и романтической стороны <... > не важно”, как он объяснял ей в письме.

Но и Лили находилась в Москве не постоянно; за граница, как всегда, манила, и 16 января 1927 года, в тот же день, когда Маяковский отправился в очередное турне, на сей раз по городам Поволжья, Лили села в поезд до Вены. О пребывании и возможных делах Лили в Австрии известно только то, что она встречалась с Эльзой, поехавшей на курорт Франценсбад в Чехословакии для того, чтобы подлечить ревматизм, которым начала страдать еще на Таити, и поработать над новой книгой “Защитный цвет”. Единственные свидетельства трехнедельного пребывания в Вене — несколько телеграмм с просьбой к Маяковскому и Осипу перевести деньги. Для этого требовалось разрешение властей, и 3 февраля Маяковский сообщил, что он перевел 295 долларов в венский Arbeiterbank, а оставшуюся часть пришлет “наднях”.

■ ПИСЬМО ГОРЬКОМУ

С начала 1925 года группа Маяковского была лишена рупора для своих эстетических идей. “Леф” умер своей смертью: седьмой, и последний номер вышел в январе 1926 года, а запланированный восьмой так и остался ненапечатанным. Госиздат, прикрываясь партийной резолюцией о художественной литературе, в кото-

рой полностью игнорировались футуризм и Леф, посчитал себя вправе прекратить выпуск журнала. Принятое тогда же решение об отсрочке издания Полного собрания сочинений Маяковского вряд ли было случайностью.

Если слово “футуризм” и ранее имело сомнительную рекламную ценность в советских дискуссиях о культуре, то теперь оно стало явно контрэффективным. Во время выступления в Нью-Йорке в октябре 1925 года, когда уже было ясно, что Госиздат хочет расторгнуть договор на издание Полного собрания сочинений, Маяковский заявил:

Футуризм имел свое место и увековечил себя в истории литературы, но в Советской России он уже сыграл свою роль.

Стремление и работа Советского Союза находят себе отражение не в футуризме, а в Лефе, воспевающим не голую и хаотическую технику, а разумную организованность. Футуризм и советское строительство <...> не могут идти рядом... Отныне я против футуризма; отныне я буду бороться с ним.

Это были словесные уловки; главное — ориентация на литературное новаторство — не изменилось. Зимой 1926 года Осип и три поэта (Асеев, Пастернак и близкий футуристам конструктивист Илья Сельвинский) пришли на прием к Троцкому, чтобы пожаловаться на трудности, с которыми сталкиваются авторы-новаторы. Несмотря на то что он принадлежал к партийной оппозиции, Троцкий занимал еще достаточно прочное положение в сфере культуры, поэтому визит к нему был объясним, тем более что Осип незадолго до того примкнул к оппозиции, заявив, что он больше “не выдержал”. Маяковский несколько раз встречался с Троцким ранее, но в этой встрече участия не принимал — по-видимому, он был в отъезде. Возможно, усилиями Троцкого (тот без промедления созвал совещание ведущих деятелей культуры) в сентябре 1926 года лефовцы смогли заключить договор с Госиздатом на издание нового ежемесячного журнала “Новый Леф” тиражом 1500 экземпляров. Его объем составлял всего три

печатных листа, или сорок восемь страниц, то есть существенно меньше, чем у “старого” “Лефа”, который хоть и выходил нерегулярно, но в объеме достигал иногда нескольких сот страниц.

В передовице первого номера, вышедшего в январе 1927 года, инициатива объяснялась тем, что положение культуры за последние годы “дошло до полного болота” и что “Леф” — “камень, бросаемый в болото быта и искусства, болото, грозящее достигнуть самой довоенной нормы”. Под конец статья призывала деятелей культуры встать на защиту революционной эстетики: “Наша постоянная борьба за качество, индустриализм, конструктивизм (т. е. целесообразность и экономия в искусстве) является в настоящее время параллельной основным политическим и хозяйственным лозунгам страны и должна привлечь к нам всех деятелей новой культуры”.

Сразу за передовицей следовало стихотворение Маяковского, в котором он критиковал Горького за то, что тот живет за границей, вместо того чтобы “строить завтрашний мир”. Публикация “Письма писателя Владимира Владимировича МАЯКОВСКОГО писателю Алексею Максимовичу ГОРЬКОМУ” на столь заметном месте была явным вызовом, поскольку стихотворение ранее отказались напечатать “Известия”, что в свою очередь привело к тому, что Маяковский перестал сотрудничать с правительственной газетой.

Покинув страну в 1921 году, Горький, главный символ демократического социализма, оставил после себя огромную пустоту. “Я не знаю, что бы для меня осталось от революции и где бы была ее правда, если бы в русской истории не было бы Вас”, — писал ему Пастернак. “Вся Советская Россия всегда думает о Вас”, — сообщил Горькому Есенин незадолго до своей гибели, а Михаил Пришвин шутливо утверждал, что значение Горького столь велико, что ему попросту нельзя возвращаться домой, потому что тогда его “разорвут на части”.

Если Есенин или Пришвин и могли бы уговорить Горького вернуться на родину, то шансы Маяковского были минимальны. После ссоры из-за вымышленного сифилиса отношения между Маяковским и Горьким остались из рук вон плохими. Маяковский оказался одним из тех немногих писателей, кому

Враждебность была взаимной, о чем свидетельствует следующий факт. Когда Николай Асеев навещал Горького в Сорренто осенью того же года, он не дерзнул даже упомянуть имя Маяковского. Стремясь примирить писателей, Асеев читал Горькому стихи Маяковского, не называя автора, но Горький под разными предлогами постоянно перебивал его; не узнать стиль Маяковского было невозможно. “Вместо примирения с Маяковским я восстановил Горького и против себя”, — констатировал Асеев.

■ КАК ПОЖИВАЕТЕ?

Осенью и зимой 1926–1927 годов квартира в Гендриковом переулке превратилась в “штаб” Лефа. Еженедельно устраивались “лефовские вторники”, которые посещали все, кто был близок группе, — Николай Асеев, Сергей Третьяков, Борис Пастернак, молодой Семен Кирсанов, Виктор Шкловский, Всеволод Мейерхольд, Сергей Эйзенштейн, Виталий Жемчужный и Лев Кулешов. Если бы не размер гостиной, это явление можно было бы назвать “салоном”.

Новые теории Лефа предписывали, что современный художник должен использовать жанры, основанные не на воображаемой реальности, а на фактах: репортаж, газетные фельетоны, мемуары и биографии. В соответствии с этой эстетикой фотография и кино считались образцовыми художественными формами. Большой интерес к кино испытывал Осип — теперь он печатался в разных киножурналах и пропагандировал именно тот тип “этнографического киножурнала”, примером которого был фильм “Евреи на земле”.

Маяковского “кинемо” увлекало уже давно (см. главу “Первая революция и третья”), и он снова стал интересоваться кинематографом, возможно вдохновленный участием Лили в съемках фильма “Евреи на земле”. За год с лишним он написал девять сценариев, из которых, однако, только два были экранизированы. Фильм “Дети” вышел в прокат весной 1928 года.

Среди нереализованных сценариев была новая версия “Закованной фильмой” под названием “Сердце экрана” и со-

всем новый сценарий “Как поживаете?”, оба написанные осенью 1926 года. В соответствии с ритмом, управлявшим творчеством Маяковского, за поэмой “Владимир Ильич Ленин” должно было последовать лирическое произведение. Так и произошло, хотя в этот раз Маяковский выразил свои самые сокровенные чувства не в стихотворной форме, а в киносценарии. Сценарий “Как поживаете?”, где описываются “24 часа жизни человека” в “пяти кино-деталях”, перекликается с лирическими поэмами “Человек” и “Про это” не только тематически, но и в плане метафорики. Как и в этих произведениях, главный герой, “обыкновенный человек”, носит имя автора. Автобиографический фон подчеркивается и вывеской на входной двери: “БРИК. МАЯКОВСКИЙ”.

В “Как поживаете?” звучат два основных мотива его творчества: чувство, что его не понимают и недооценивают, и мотив самоубийства как возможного выхода. Маяковский — поэт (“фабрика без дыма и труб”), сочиняющий никому не нужные стихи. “Мне не нужно ваших стихов”, — объясняет попивающий чай отец семейства с лицом свиньи, внезапно превращающийся в орангутанга, — картина как бы взята из “Про это”. Единственные, кто интересуется поэзией, — это рабочие, которых в сценарии представляют несколько комсомольцев. Когда Маяковский приходит в редакцию газеты, чтобы продать стихотворение, там разыгрываются следующие сцены:

38. Маяковский входит в редакторский кабинет. Входя, растет в дверях и занимает собой всю раму двери.

39. Редактор и человек жмут друг другу руки. Человек уменьшился до редакторского роста. Редактор — газетный бюрократ, предлагает читать.

40, 41, 42. Бывший одного роста редактор уменьшается и уменьшается, становится совсем маленьким. Маяковский наступает на него с рукописью, вырастает до огромных размеров, четырежды превосходя редактора. На редакторском стуле уже сидит крохотная шахматная пешка.

43. Поэт читает на фоне аудитории.

44. Редактор, прослушав, выравнивается, проглядывает рукопись, делает сердитое лицо и наступает на поэта.

Маяковский становится маленьким. Редактор становится громадным, в четверной рост поэта. Поэт стоит на стульчике крохотной пешкой.

45. Редактор критикует на фоне орангутангового семейства.

Все заканчивается тем, что редактор дает Маяковскому аванс в 10 рублей, но касса закрыта, и денег поэт не получает.

Сцены передают унижение, которому Маяковский часто подвергался в редакциях. Даже если его ранимая психика порой раздувала конфликты до невероятных масштабов, противодействие со стороны бюрократии было реальным фактом. “Помню, когда он пришел из Госиздата, где долго ждал кого-то, стоял в очереди в кассу, доказывал что-то, не требующее доказательств <... > — рассказывала Лили. — Придя домой, он бросился на тахту во всю свою длину, вниз лицом и буквально завыл: “Я больше — не могу...” Тут я расплакалась от жалости и страха за него, и он забыл о себе и бросился меня успокаивать”.

Лили опасалась за жизнь Маяковского, но в “Как поживаете?” кончает с собой не Маяковский, а его бывшая подруга. Он читает о самоубийстве в газете:

122. Газета подымается, становится углом, подобно огромной ширме.

123. Из темного угла газеты выходит фигура девушки, в отчаянии поднимает руку с револьвером, револьвер — к виску, трогает курок.

124. Прорывая газетный лист, как собака разрывает обтянутый обруч цирка, Маяковский вскакивает в комнату, образуемую газетой.

125. Старается схватить и отвести руку с револьвером, но поздно, — девушка падает на пол.

126. Человек отступает. На лице ужас.

Мысль о самоубийстве была у Маяковского навязчивой идеей, и на выступлениях в это время он любил читать стихотворение

“Сергею Есенину”. Но в киносценарии его преследовала тень другого события, которое он так и не смог вытеснить из памяти: смерть Антонины Гумилиной, покончившей с собой из-за него в 1918 году.

■ ЛЕВ В ЗООПАРКЕ

Сценарий “Как поживаете?” был написан по заказу. Предполагалось, что фильм снимет Лев Кулешов, а его жена Александра Хохлова сыграет роль девушки-самоубийцы. Сценарий не был экранизирован, но реализовался по-своему: Кулешов и Лили горячо полюбили друг друга, и роман мог стать фатальным.

Двадцативосьмилетний Лев Кулешов был на восемь лет моложе Лили. Несмотря на молодость, он уже много лет занимался кино и считался одним из тех, кто способствовал революционному развитию советского кинематографа в двадцатые годы. Среди его учеников были Дзига Вертов (“Киноглаз”), Сергей Эйзенштейн (“Стачка”, “Броненосец “Потёмкин””) и Всеволод Пудовкин (“Мать”). Сам Кулешов заявил о себе в 1924 году фильмом по сценарию Асеева “Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков”, где в одной из ролей снялась его жена.

Кулешов был безумно влюблен в Лили, он посвящал ей мадригалы, сделал ее прекрасный фотопортрет, подарил брошь в виде льва, сделанную по его собственному эскизу. Лили в свою очередь была очарована Кулешовым, чьи манеры и стиль заставляли вспомнить голливудских звезд. Он охотился, любил спорт и разъезжал по Москве на мотоцикле, часто приглашая в люльку Лили.

Если в Советском Союзе двадцатых годов мотоцикл был редкостью, то частный автомобиль считался неслыханной — и идеологически подозрительной — роскошью. Но Кулешов — и Лили — очень хотел машину, и когда Маяковский 15 апреля 1927 года отправился за границу, ему, помимо обычных заказов на одежду и духи, дали еще одно задание — купить “автомобильчик”: “Мы много думали о том — какой. И решили — лучше всех — Фордик. 1) Он для наших дорог лучше всего, 2) для него



- Лев Кулешов на своем мотоцикле, в люльке которого с удовольствием катались и Лили и Маяковский. Фото сделано в типичном для Александра Родченко ракурсе, 1927 г.



- Молодой лефовец Василий Катанян и его жена Галина по-разному относились к той морали, которой придерживались обитатели дачи в Пушкине. Через десять лет Василий Катанян разведется с женой и свяжет свою жизнь с Лили.

легче всего доставать запасные части, 3) он не шикарный, а рабочий, 4) им легче всего управлять, а я хочу управлять обязательно сама. *Только купить надо непременно Форд последнего выпуска, на усиленных покрышках-баллонах; с полным комплектом всех инструментов и возможно большим количеством запасных частей*".

"Мы" — это, разумеется, Лили и Кулешов, для чьей "мотоциклетки" Лили просила купить "все", что она записала в особом списке: "Мы очень много на ней ездим". Не забыта и жена Кулешова — ей Маяковский должен был привезти "кино-грим для зубов".

На этот раз заграничное путешествие привело Маяковского в Варшаву, Прагу, Берлин и Париж. Почти за месяц отсутствия он редко телеграфировал в Москву и написал всего одно письмо — ответ на инструкции Лили о "форде", которые он получил, прибыв в Париж 29 апреля. "Как только я ввалился

в Истрию сейчас же принесли твое письмо — даже не успел снять шляпу, — сообщал он. — Я дико обрадовался и уже дальнейшую жизнь вел сообразно твоим начертаниям — заботился об Эльзе думал о машине и т. д. и т. д.”. Далее он жалуется на жизнь, которая “совсем противная и надоедая невероятно”, и утверждает, что сделает все, чтобы сократить пребывание “в этих хреновых заграницах”.

Письмо не было дописано и отправлено, однако “форд” (спортивной модели) был куплен и доставлен в Москву. Маяковский был очень щедрым и всегда возвращался из заграничных поездок с полными чемоданами подарков. “Насколько внимателен был он, как он исполнял всякие просьбы”, — вспоминал Родченко, которому Маяковский привез немецкие фотопринадлежности, для которых он также добился разрешения на ввоз — равно как и для “форда” Кулешова. Покупка машины отражала не только свойственную Маяковскому щедрость, но и его стремление постоянно угождать Лили. Нетрудно представить, чего стоило это стремление в данном случае, и не только в деньгах.

Лили в естественной для нее манере открыто демонстрировала свои отношения с Кулешовым; этим она также давала понять Маяковскому, что их любовная связь бесповоротно закончена. Маяковский вынужденно подыгрывал, ненавистная ревность не должна была взять верх! Лето, как всегда, проводили в Пушкине, хотя с перерывами на поездки: в начале июля Лили и Кулешов уехали на две недели на Кавказ, а через некоторое время Маяковский отправился в шестинедельное турне. Но в Пушкине их жизнь протекала как ни в чем не бывало: собирали грибы, играли в маджонг (игру, которую мать Лили привезла из Лондона) и в пинг-понг. С этой новинкой их познакомил Кулешов, а Маяковский потребовал, чтобы тот его обучил. Они играли целые сутки, на деньги, вначале Маяковский проиграл “астрономические цифры”, но в конце концов все вернул и даже остался в выигрыше.

Появление в “кисячье-осячье семье” льва по понятным причинам не вызывало у Маяковского большого восхищения, тем более что сексуальные увлечения Кулешова были такими же

“похабными”, как те, которые когда-то испытала Лили с Гарри Блуменфельдом в Мюнхене. 14 ноября 1927 года жена Александра Родченко Варвара Степанова записала в дневнике, что Маяковский “чувствует себя очень плохо” и “изнервничался”: “Стал плохо видеть, прописал доктор очки. Причина — нервы”. Даже учитывая напряженную работу Маяковского в связи с десятилетним юбилеем революции, трудно не увидеть в его душевном состоянии и следствие других факторов, кроме чисто физического утомления.

Страдал, однако, не он один. Полная свобода сексуальных отношений, принятая Лили и Осипом, совсем не устраивала жену Кулешова, происходившую из “хорошей” семьи: среди ее предков по отцу были знаменитые врачи Боткины, а по матери — основатель Третьяковской галереи. Ее муж и Лили предавались своей страсти едва ли не прямо у нее на глазах. Когда Василий Катанян, молодой лефовец из Тифлиса, с женой Галиной в конце июля впервые приехали в Пушкино, на них произвели сильное впечатление “нарядные, элегантные женщины и мужчины”, сидевшие на террасе. “Женщины в большинстве красивые”, — заметила Галина, продолжив:

Приехал Кулешов с Хохловой. Лиля и Кулешов тотчас же поднялись наверх и пробыли там довольно долго. То же самое произошло, когда приехал Жемчужный с Женей. Ося с розовой от смущения и радости Женей немедленно удалились наверх. Хохлова невозмутимо беседовала с дамами на террасе, но Жемчужный, очевидно менее вышколенный, тоскливо бродил по саду в полном одиночестве. Я была несколько озадачена всем виденным и на обратном пути домой спросила Васю — что же это такое? Вася, поразмыслив, объяснил мне, что современные люди должны быть выше ревности, что ревновать — это мещанство.

“Невозмутимость” Хохловой была наигранной, поскольку и она не хотела прослыть мещанкой. В действительности она невероятно страдала и однажды пыталась покончить с собой. “Шуру остановили на пороге самоубийства, — рассказывала Лили, —



- Лили, Осип, Александр Родченко и Варвара Степанова за обеденным столом в Гендриковом переулке в 1926 или 1927 г. Во второй половине 20-х в моде у жен лефовцев была прическа “гарсон”, и Лили в первый и единственный раз остригла волосы. Осип был против, поскольку он — “известный реакционер по отношению к женщине”, по словам Варвары Степановой, — считал, что “стриженные сразу похожи на проституток”.

буквально поймали за руку”. Роль, которую ей не удалось воплотить на экране, она сыграла в жизни — в режиссерском кресле сидел один и тот же человек. Лили не понимала реакции Хохловой, такое поведение было для нее выражением “бабушкиных нравов”. Вкладом Осипа в семейную драматургию стал сценарий фильма “Клеопатра” (режиссер Кулешов, в главной роли Хохлова), но он, подобно “Как поживаете?”, экранизирован не был.

Лефовская группа исповедовала общую эстетику и мораль и была настолько сплоченной, что о ней можно говорить практически как о секте. “Кроме них, я почти не знала людей, — вспо-

минала Лили, — с остальными я встречалась в трамвае, в театре. А лефовцы выросли на глазах друг у друга. Леф рос, еще не называя себя Лефом, с 15-го года, с “Облака в штанах”, с володиных выступлений, через “комфут”, через “Искусство коммуны”. <...> Это было содружество одинаково мыслящих советских людей”. Объединенные общими идеями и общими врагами, они общались друг с другом почти круглосуточно. Когда не обсуждали искусство и литературу, сидели за игорным столом. “Ма-джонг занимает одно из главных мест среди лефовских развлечений, — записала в дневнике Варвара Степанова. — Играют все. Разделяются на игроков азартных — Володя, Коля, Лиля — и классических — Витя, Ося, я, Лева. Родченко особый игрок — индивидуальный. Играют ночами до 6–7 утра. Иногда по 17 часов подряд”. Такую же информацию можно найти в дневниках Лили: лефовцы играют ночи напролет. Так же, как существовали лефовская эстетика и лефовская мораль, с годами образовался и определенный лефовский образ жизни.

■ НАТАША

Сцены, подобные той, которую описывает Галина Катанян, вызывали у Маяковского приступы отчаянной ревности, но именно в день, когда Катаняны впервые посетили Пушкино, он отсутствовал, так как уехал в турне по городам Украины, Крыма и Кавказа. 25 июля они с Лили встретились на вокзале в Харькове — Лили возвращалась в Москву после отпуска с Кулешовым. Когда Маяковский попросил ее задержаться на один день в Харькове, чтобы послушать его новое произведение, она выбросила чемодан из окна, прежде чем поезд успел тронуться. Маяковский был вне себя от радости — как бы ни вела себя Лили с Кулешовым или другими мужчинами, он целиком зависел от ее слуха и одобрения. “Помню в гостинице традиционный графин воды и стакан на столике, за который мы сели, и он тут же, ночью, прочел мне только что законченные 13-ю и 14-ю главы поэмы “Хорошо!”

Поэма “Хорошо!”, написанная к двадцатилетнему юбилею Октябрьской революции, по объему была такой же, как “Влади-

мир Ильич Ленин”. Главы, которые он читал Лили в харьковской гостинице, рассказывали о совместной жизни в Полуэктовом переулке голодной зимой 1919–1920 годов:

Двенадцать
 квадратных аршин жилья.
Четверо
 в помещении —
Лиля,
 Ося,
 я
и собака
 Щеник.

Это было счастливое время, несмотря на лишения, несмотря на то что “голода опухоль” превратила глаза Лили в “щелки”:

Если
 я
 чего написал,
если
 чего
 сказал —
тому виной
 глаза-небеса,
любимой
 моей
 глаза.
Круглые
 да карие,
горячие
 до гари.

Он помнит, как ему удалось найти две “драгоценные” морковки и он принес их Лили, у которой из-за отсутствия витаминов опухли глаза. Он пишет, что “много / в теплых странах плутал” —

Но только
 в этой зиме
понятной
 стала
 мне
 теплота
любовей,
 дружб
 и семей.

Это безоговорочное признание в любви Лили — и Осипу — сделано во время одного из самых тяжелых кризисов в жизни Маяковского: когда Лили открыто жила с другим мужчиной. Было ли оно следствием невероятного усилия над собой или отражением подлинных чувств? Ответ: и то и другое.

Если Кулешов находился в поезде, то в Москву он прибыл без Лили. После того как и Лили уехала домой, Маяковский провел несколько выступлений в Харькове и отправился в Ялту. В день отъезда он послал в Москву срочную телеграмму: “МОСКВА ГОСИЗДАТ БРЮХОНЕНКО ОЧЕНЬ ЖДУ ТОЧКА ВЫЕЗЖАЙТЕ ТРИНАДЦАТОГО ВСТРЕЧУ СЕВАСТОПОЛЕ ТОЧКА БЕРИТЕ БИЛЕТ СЕГОДНЯ ТОЧКА ТЕЛЕГРАФЬТЕ ПОДРОБНО ЯЛТА ГОСТИНИЦА РОССИЯ ОГРОМНЫЙ ПРИВЕТ МАЯКОВСКИЙ”.

Адресатом телеграммы была Наталья Брюханенко, студентка двадцати одного года, работавшая в библиотеке Госиздата. Срочная телеграмма с просьбой приехать через двенадцать дней объяснялась, с одной стороны, тем, что билеты на поезд следовало покупать за десять дней до отправления, а с другой — тем, что для импульсивного и нетерпеливого поэта срочная телеграмма была естественным средством сообщения. Купить билет сразу Наталье не удалось, и через два дня она получила новую телеграмму: “ЖДУ ТЕЛЕГРАММУ ДЕНЬ ЧАС ПРИЕЗДА ТОЧКА ПРИЕЗЖАЙТЕ СКОРЕЕ НАДЕЮСЬ ПРОБУДЕМ ЗДЕСЬ ВМЕСТЕ

■ Наталья Брюханенко в 1927 г., когда их с Маяковским планы заставили Лили насторожиться.



ВЕСЬ ВАШ ОТПУСК ТОЧКА УБЕЖДЕННО СКУЧАЮ МАЯКОВСКИЙ”.

С высокой и эффектной Наташей Маяковский познакомился в Госиздате весной 1926 года и немедленно пригласил ее в кафе, где должен был встретиться с Осипом. С детской непосредственностью он показал на Наташу и сказал: “Вот такая красивая и большая мне очень нужна”. Потом Осип ушел, а Маяковский предложил ей поехать к нему в Лубянский проезд, где угощал шампанским, конфетами и читал свои стихи — тихо, почти шепотом. “Потом он подошел ко мне, очень неожиданно распустил мои длинные косы и стал спрашивать, буду ли я любить его”. Когда Наташа сказала, что хочет уйти, он не возразил. Этажом ниже жил венеролог, и, спускаясь, Маяковский предостерег Наташу, которая была без перчаток, от прикосновений к перилам.

Наташу разочаровало то, что такой “необыкновенный поэт” оказался “обыкновенным человеком”, и уже на улице она сказала об этом Маяковскому. “А что же вы хотели? Чтобы я себе весь живот раскрасил золотой краской, как Будда?” — ответил он, жестом показав, будто раскрашивает себе живот.

Этот эпизод, словно вспышка, высвечивает характерные особенности нрава Маяковского — внезапные и зачастую резкие перепады его настроения. Все или ничего — и сейчас, не потом! Неспособность Маяковского контролировать свои чувства легко отпугивала людей, особенно женщин. Поэтому, несмотря на огромный запас нежности, ему было трудно удовлетворить свою потребность в любви и ласке. Таким же образом одиннадцать лет тому назад он “нападал” на Лили, которая в ответ долго держала его на расстоянии.

Наташа испугалась, и в следующий раз они встретились через год с лишним, в июне 1927-го, когда Маяковский пришел в издательство, чтобы забрать пятый том своего Полного собрания сочинений (он первым вышел в свет). Увидев Наташу, он упрекнул ее за то, что она сбежала от него, “даже не помахав лапкой”. “Он пригласил меня в тот же день пообедать с ним, — вспоминала она. — Я согласилась и обещала больше от него не бегать”.

Вторая встреча с Наташей произошла, когда роман Лили и Кулешова шел полным ходом, и Маяковский, как никогда, нуждался в “такой красивой и большой” женщине. “С этого дня мы стали встречаться очень часто, почти ежедневно”, — вспоминала Наташа. Маяковский с трудом переносил одиночество, оно действовало на него угнетающе. Можно предположить, что его маниакальная потребность в обществе мешала ему в работе, но это было не так. В отличие от большинства писателей, он работал не в кабинете и не в определенные часы. Он работал постоянно, во время прогулок, один или в компании, отбивая ритм тростью; иногда он вытаскивал блокнот и записывал какую-нибудь рифму. Чешский художник Адольф Хофмейстер был поражен тем, что Маяковский “ни минуты не мог усидеть без дела”, он пил, курил и все время рисовал; а Наташа вспоминала, как в ожидании заказанного блюда он покрывал рисунками бумажную скатерть в ресторане... Только читая корректуру или выполняя иную, менее творческую работу, он сидел за столом — но и тогда ему хотелось, чтобы кто-нибудь был рядом.

Наташа приняла условия Маяковского, и теперь он вызвал ее в Ялту. В семь утра на вокзале в Севастополе он ее встретил — загорелый, в серой рубашке с красным бархатным галстуком и серых фланелевых брюках.

Они провели вместе месяц — весь отпуск Наташи — и еще немного. Она присутствовала на его выступлениях в городах Крыма и позднее на Кавказе, они были неразлучны. Однажды, когда они возвращались на автобусе в Ялту, Маяковский забронировал три места — чтобы не было тесно. Такую же щедрость — или гиперболизм — он проявил и в день ее именин. Проснувшись, Наташа получила букет роз, такой огромный, что уместился он только в ведре. Потом они отправились гулять на набережную, где Маяковский заходил во все магазины и в каждом покупал самый дорогой одеколон. Когда покупки уже невозможно было унести, Наташа попросила его прекратить, но Маяковский вместо этого направился к цветочному киоску и начал скупать цветы. Она напомнила, что в гостиничном номере уже стоит целое ведро роз, а Маяковский возразил: “Один букет — это мелочь! Мне хочется,

чтобы вы вспоминали, как вам подарили не *один букет*, а *один киоск роз* и *весь одеколон города Ялты!*»

Маяковский не скрывал свои отношения с Наташей. Она навещала его не только в рабочем кабинете, но и в Гендриковом переулке, и в Пушкине. Во время отпуска в Крыму и на Кавказе она постоянно была рядом с ним. Но если Осип видел ее по крайней мере один раз, то из-за календарного несовпадения с Лили они пока не встречались: когда у Маяковского начался роман с Наташей, Лили была в отъезде с Кулешовым. Но Лили держалась в курсе происходящего и, разумеется, знала о том, что Маяковский влюблен. Через несколько дней после приезда Наташи в Крым Лили прислала Маяковскому длинное письмо, в конце которого — после изложения более или менее тривиальных известий (о Бульке и ее щенках, ремонте квартиры и различных издательских делах) — содержался призыв, несмотря на шуточный тон, глубоко серьезный:

Ужасно тебя люблю. Пожалуйста не женись всерьез, а то меня *все* уверяют, что ты страшно влюблен и обязательно женишься! Мы все трое женаты друг на дружке и нам жениться больше нельзя — грех.

Маяковский ответил телеграммой, которая начиналась инструкциями относительно публикации его «Октябрьской поэмы» — получившей здесь свое окончательное название «Хорошо!» — и заканчивалась следующей фразой: «ЦЕЛУЮ МОЮ ЕДИНСТВЕННУЮ КИСЬЯЧУЮ ОСЯЧУЮ СЕМЬЮ». Когда Маяковский с Наташей вернулись в Москву 15 сентября, на вокзале их встретили Лили — и Рита. «Лилю я увидела тогда впервые, — вспоминала Наташа, — но только секунду, так как сразу метнулась в сторону и уехала домой». Тот факт, что Лили взяла с собой Риту, свидетельствует о том, что ситуация казалась ей непростой.

Маяковский и Наташа продолжали встречаться, ходили на прогулки, в кино, смотрели «Октябрь» Эйзенштейна. 28 ноября, в свой день рождения, она получила от находившегося в отъезде Маяковского поздравительную телеграмму и почтовый перевод на 500 рублей. Рано утром на следующий день Наташа позво-

нила Лили, чтобы узнать адрес Маяковского и поблагодарить его. Лили спала, но вопросов задавать не стала, а просто сообщила: Ростов, гостиница такая-то. Наташа вела себя так, как, по мнению Лили, должна была вести себя жена Кулешова, — с пониманием и без ревности. Наверное, Лили уже стало ясно, что молодая библиотечка не представляет угрозы для их троицы. Видя в Лили подругу, а не соперницу, Наташа и поступала согласно всем правилам игры. Может быть, она уже тогда догадывалась о том, с чем впоследствии ей придется мириться, — в жизни Маяковского есть только одна женщина, которую он по-настоящему любит.



Любить —
 это с простынь,
 бессонницей рваных,
 срываться,
 ревнуя к Копернику,
 его,
 а не мужа Марьи Ивановны,
 считая
 своим
 соперником.

■ В. Маяковский. *Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви*

Осень и зима 1927 года прошли для Маяковского под знаком революционной поэмы. Сам он считал “Хорошо!” программной вещью, вроде “Облака в штанах” для того времени, но реакция на нее была разной. Для Луначарского это была “Октябрьская революция, отлитая в бронзу”, “великолепная фанфара в честь нашего праздника, где нет ни одной фальшивой ноты <...>”. Противники Маяковского, прежде всего представители РАППа, наоборот, использовали малейшую возможность для того, чтобы накинуться на него. Утверждалось, что Маяковский на самом деле “далек от понимания Октября, его содержания, его сущности”, а то, что он написал, — “дешевая” юбилейная эпика”. Одновременно были и критики, пытавшиеся смотреть глубже, к примеру обозреватель харьковской газеты “Пролетарий”, констатировавший, что эпос не принадлежит к лучшим образцам творчества Маяковского: “Здесь он сплошь и рядом срывается и не возвышается над публицистикой невысокого уровня. Против этого поэт может негодовать, он может бороться с этим, но преодолеть свою лирическую “конституцию” ему, по-видимому, не дано”.

Когда в октябре Маяковский читал поэму членам московской партийной организации, он обратился перед чтением к пуб-

■ Татьяна Яковлева в 1932 г.

лике с просьбой сообщить ему, понятно произведение или нет. В последовавшей дискуссии его — как обычно — критиковали за индивидуализм, за то, что он “рисует отдельных героев, но не показывает массы”, тем не менее большинство слушателей считали, что поэма удачна и по форме и по содержанию. И, к великой радости Маяковского, никто не утверждал, что она “непонятна”. В конце вечера была принята резолюция, в которой говорилось, что “Хорошо!” — “шаг вперед и заслуживает использования ее в практической работе как средства художественной агитации”.

Как бы ни был Маяковский доволен реакцией партийного коллектива, он знал, что она непоказательна. На каждом выступлении противники рьяно пытались его уколоть — и злорадовались, когда, в их понимании, им это удавалось. Среди хулиганствовавших были и литературные противники, и те, кто приходил только для того, чтобы спровоцировать скандал. Маяковский был блестящим эстрадным поэтом, и его выступления зачастую превращались в настоящее шоу, главным образом благодаря его выдающейся способности парировать нападки публики; этому способствовал его мощный бас, заглушавший всё и всех. Вопросы задавались устно или в записках, которые передавались на эстраду. “А вас никто не читает, никто не спрашивает! Вот вам, вот вам!” — ликовала ленинградская библиотечарша, а в Баку Маяковский получил записку следующего содержания: “Когда у человека на душе пустота, то для него есть два пути: или молчать, или кричать. Почему вы выбрали второй путь?” Маяковский ответил со свойственным ему остроумием: “Автор этой записки забыл, что есть и третий путь: это — писать вот такие бездарные записки”. Публика рыдала от смеха.

В большинстве случаев Маяковский своими молниеносными, убийственными ответами мог расположить зал в свою сторону, но порой комментарии были такими подлыми, что ему казалось, будто вся его жизнь поэта ставится под вопрос, — неужели так ему платят за его преданность революции и рабочему классу? Выступления иногда продолжались по несколько часов, и по их окончании Маяковский чувствовал себя совершенно опустошенным, “выдоенным”, как он сказал Наташе Брюханенко. За сотни выступлений он собрал такое количество записок — около



■ Любимой эстрадой Маяковского в Москве был Политехнический музей. 20 октября 1927 г., в преддверии десятилетия Октябрьской революции, он читал здесь поэму “Хорошо!”.

20 тысяч, — что даже хотел написать “универсальный” ответ авторам вопросов. Если бы он был написан, то наверняка содержал бы следующие мысли, сформулированные в первом номере “Нового Лефа” за 1928 год под рубрикой “Вас не понимают рабочие и крестьяне”: “Я еще не видал, чтобы кто-нибудь хвастался так: “Какой я умный — арифметику не понимаю, французский не понимаю, грамматику не понимаю”. Но веселый клич: “Я не понимаю футуристов” — несется пятнадцать лет, затихает и снова гремит возбужденно и радостно. На этом кличе люди строили себе карьеру, делали сборы, становились вождями целых течений”.

Вся жизнь и поэзия Маяковского были связаны с политикой, с коммунистическим строительством и с “местом поэта в рабочем строю”. Но если злободневные вопросы он комментировал охотно, то крупные политические процессы даже не упоминаются в его стихах и письмах — несмотря на то что 1927–1928 годы отличались событиями, в корне изменившими советское общество. Параллельно с празднованием юбилея революции, воспетой Маяковским в поэме “Хорошо!”, Сталин проводил беспощадную

чистку среди своих противников: 14 ноября из партии исключили представителей так называемой левой оппозиции, а через два месяца ее лидер Лев Троцкий и еще тридцать оппозиционеров были сосланы в Алма-Ату. Избавившись от левой оппозиции, Сталин взялся за правую, возглавляемую Николаем Бухариным, который в 1928 году был постепенно обезврежен. Преобразования в экономической области были не менее глубокими. Несмотря на утверждение, что основой построения социализма по-прежнему остается нэп, осуществленная экономическая политика на практике противоречила принципам нэпа: в 1927–1928 годах были сделаны первые шаги по форсированной индустриализации и принудительной коллективизации сельского хозяйства.

■ ШАХТЫ

Радикальные экономические изменения вызывали недоверие и беспокойство на рабочих местах, поскольку люди не были уверены в правилах игры. Недовольство выражалось в бурных дискуссиях, письмах к властям и даже забастовках. Чтобы отвлечь внимание от реальных проблем, руководство партии развернуло кампанию с целью доказать, что трудности являются следствием политического заговора. В марте 1928 года служба госбезопасности (с 1924-го называвшаяся ОГПУ) объявила о разоблачении сговора так называемых буржуазных специалистов в городе Шахты Донецкого бассейна. (“Буржуазными специалистами” называли инженеров и других квалифицированных работников, с которыми после революции сотрудничала коммунистическая власть в отсутствие собственных экспертов — еще в 1927 году только 1% коммунистов имели высшее образование.) Как утверждалось, инженеры и технологи работали на контрреволюционный центр в Париже, и их обвинили в том, что они подрывали шахты в попытках саботировать советскую экономику.

Суд проходил с 18 мая по 6 июля 1928 года в атмосфере политической паранойи: деятельность французских коммунистов привела к дипломатическим осложнениям с Парижем; отношения с Польшей были испорчены после того, как в июне 1927 года в разгар обсуждения пакта о ненападении был убит советский

посол Войков; и в том же году Советский Союз получил жесткий отпор при попытке экспортировать революцию в Китай. Но самым сильным ударом стала облава, проведенная британскими властями 12–15 мая 1927 года в помещениях фирмы Аркос, сотрудников которой подозревали в краже секретного документа из британского министерства воздушных сообщений.

Акция привела к тому, что Великобритания порвала дипломатические отношения с СССР; было затронуто и одно из действующих лиц этой книги — в списке “опасных коммунистов”, которых следовало выслать из Англии, оказалась мать Лили. На допросах в британской службе безопасности Елена Юльевна уверяла, что “не является членом коммунистического кружка Аркоса и совсем не интересуется политикой”, что она “из буржуазной семьи и что ее муж поддерживал царский режим”, что “в результате русской революции она потеряла все достояние, оставленное ее мужем”. Не ясно, что подействовало на следователя — эти аргументы или тот факт, что она “хорошая пианистка и играла на собраниях Клуба Аркоса”, но в итоге Елену Юльевну вычеркнули из списка и позволили остаться в стране.

Эти международные проблемы, по времени совпавшие с шахтинским процессом, послужили материалом для проведения в советской печати пропагандистской кампании, предупреждавшей о грядущей войне; угроза была мнимой, но она укрепляла окружающую процесс атмосферу ксенофобии. На скамье подсудимых сидели пятьдесят три русских и три немецких специалиста. Преступление квалифицировали как *вредительство* — это был первый случай применения данного термина. Прокурором выступал уже проявивший себя в подобном жанре Крыленко, судьей — новичок Андрей Вышинский; и этот процесс положил начало блистательной карьере в сфабрикованных делах тридцатых годов. У суда не было других доказательств, кроме признаний, которые обвиняемые давали под угрозами и пытками. Одиннадцать человек приговорили к смертной казни, а для тех, кто во время процесса доносил на коллег, смерть заменили разными сроками заключения. Дело широко освещалось в печати с целью разжигания ненависти к вредителям — мнимым и истинным, — якобы угрожавшим социалистическому строительству.

■ ИМПЕРАТОРЫ И ВРЕДИТЕЛИ

Маяковский осудил саботажников одним из первых — уже на следующий день после суда он опубликовал стихотворение “Вредитель” в “Комсомольской правде”. Он обвинял инженеров в том, что на щедрость советской власти — хорошие квартиры и лучшие пайки — они ответили саботажем, на который их подвигнул иностранный капитал. Стихотворение примитивно и политически наивно; возможно, Маяковский написал его по заказу — в то время “Комсомольская правда” была его главным работодателем. Но это не оправдание. Не оправдывает его и то, что он был не один в хоре праведных, — были же поэты, уверенные, что стране угрожают не инженеры-шахтеры, а именно сфальсифицированные обвинения, примером которых и было шахтинское дело.

Так считал Борис Пастернак. За неделю до шахтинского процесса в письме к своей кузине Ольге Фрейденберг он констатировал:

А ты знаешь, террор возобновился, без тех нравственных оснований и оправданий, какие для него находили когда-то, в самый разгар торговли, карьеризма, невзрачной “греховности”: это ведь давно уже далеко не те пуританские святые, что выступали в свое время ангелами карающего правосудья. И вообще — страшная путаница, прокатываются какие-то, ко времени не относящиеся волны, ничего не поймешь.

Против усиления роли органов госбезопасности отреагировал и Осип Мандельштам, выступивший в защиту шести высокопоставленных банковских сотрудников, приговоренных к смертной казни. В день начала шахтинского процесса он отправил главному редактору “Правды”, члену политбюро Николаю Бухарину свой поэтический сборник с надписью, смысл которой, по воспоминаниям жены, был следующий: “...в этой книге все протестует против того, что вы хотите делать”. Как ни странно, протест возымел эффект: через некоторое время Бухарин сообщил Мандельштаму, что смертный приговор заменили заключением.

Маяковский не был ни оппортунистом, ни циником, но он был политически наивен и, в своем стремлении участвовать в построении нового и лучшего общества, проявлял слепоту, мешавшую увидеть, что в реальности подобные процессы противодействовали такому развитию; и, в отличие от Пастернака, он не отличался склонностью к философскому анализу. Но он не был кровожадным и где-то понимал то, что понимал Пастернак, — что насилие не выход.

Сложные психологические переживания той поры нашли отзвук в двух стихотворениях, написанных во время четырехдневного пребывания в Свердловске в январе 1928 года. “Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру” повествует о рабочем, который получил от рабочего жилищного кооператива новую светлую квартиру с горячей и холодной водой и чувствует себя так, “как будто / пришел / к социализму в гости”. Стихотворение воспекает советскую власть и ничем не отличается от сотен злободневных текстов, созданных Маяковским в эти годы. Но одновременно он написал стихотворение иного рода — “Император”, которое хотя и публиковалось при жизни поэта, но долго оставалось известным только специалистам.

В Екатеринбурге (в 1924 году переименованном в Свердловск) летом 1918 года казнили царскую семью. Стихотворение начинается с воспоминания: “...то ли пасха, / то ли — / рождество”, на московских улицах полно полицейских, мимо Маяковского проезжает ландо, в котором сидит “военный молодой / в холеной бороде”, перед ним “четыре дочурки”. В следующем фрагменте мы попадаем уже в Свердловск. Вместе с “председателем исполкома” Маяковский ищет шахту, в которую сброшены останки царской семьи. “Вселенную / снегом заволокло”, единственное, что можно разглядеть, — это “следы / от брюха волков / по следу / диких козлов”. Но в конце концов они находят искомое место: “...у корня, / под кедром, / дорога, / а в ней — / император зарыт”. Здесь только “тучи / флагами плавают, / да в тучах / птичье вранье, / крикливое и одноглавое, / ругается воронье” — вместо, подразумевается, двуглавого орла. Картина страшна и впечатляюща. Что она изображает? Крах царизма? Разумеется. Но, может быть, поэт имел в виду и нечто иное? На это намекают строки

из рабочей версии стихотворения: “Я голосую против. / <...> Живые так можно в зверинец их / Промежду гиеной и волком. / И как ни крошечен толк от живых / от мертвого меньше толку. / Мы повернули истории бег. / Старье навсегда провожайте. / Коммунист и человек / Не может быть кровожаден”. Здесь выражается запретная мысль, а именно: убийство царской семьи безнравственно — и безнравственно не вообще, а исходя из норм коммунистической морали.

Что это за “птичье вранье”? Вранье об убийстве? Вранье о том, что казнь императора и его “дочурок” оправданна? Слышим мы здесь голос Маяковского-отца, представлявшего, как падают на пол четыре девочки, подкошенные пулеметной очередью в подвале Ипатьевского дома летом 1918 года? Во время визита в Варшаву весной 1927-го Маяковский встречался с послом Советского Союза в Польше Петром Войковым, убитым в Варшаве в июне того же года. Войков был одним из организаторов убийства царской семьи, именно он достал кислоту, с помощью которой тела были обезображены. Рассказывал ли он Маяковскому о том, как проходила казнь? Указал ли он место, куда были сброшены тела?

Этого мы не знаем, но известно одно: звездными сибирскими ночами Маяковский, погрузившись в созерцательное состояние, помимо многозначного “Императора”, написал следующие элегичные строки — посвятив их, надо полагать, Лили:

Уже второй должно быть ты легла
В ночи Млечпуть серебряной Окою
Я не спешу и молниями телеграмм
Мне незачем тебя будить и беспокоить

■ КАТАЛИЗАТОР ПАСТЕРНАК

В 1927–1928 годах масштабные преобразования происходили не только в политике, но и в области литературы. С начала двадцатых литературная жизнь характеризовалась борьбой между различными писательскими объединениями. Помимо политически ортодоксальных пролетарских писателей РАППа и эстетических догматиков Лефа существовал целый спектр мелких группиро-



- Борис Пастернак, понимавший происходящее в Советском Союзе лучше, чем многие другие. Фото 1926 г.

вок и объединений — а также писатели, не принадлежавшие ни к одной группе. К последним относились “попутчики”, основным защитником которых выступал критик Александр Воронский, главный редактор журнала “Красная новь”. Когда в 1927 году Воронский, перейдя на сторону троцкистской оппозиции, лишился этого поста, “попутчики” получили новый рупор: журнал “Новый мир”, главный редактор которого Вячеслав Полонский с презрением относился к экстремизму РАППа и Лефа, придерживался более “либеральной” линии и с уважением отзывался о классиках.

Основой эстетики Лефа был “социальный заказ”: художник должен выполнять “заказы”, сделанные ему эпохой через посредничество пролетарского государства. Образцом подобного отношения к искусству считались Окна РОСТА Маяковского. Эта мысль легла в фундамент теории о “литературе факта”, согласно которой, говоря словами Асеева, “воображение может обмануть, а действительность, подтвержденная фактами, обязательно оставит след в искусстве”. Вместо романов и рассказов — журналистика, вместо живописи — фотография и документальное кино. Подобный “антиромантизм” был по сути своей романтическим, ибо воплощал в себе поклонение новой социалистической действительности, которую не должна искажать художественная фантазия отдельного писателя, мечта о том, чтобы с помощью чистых фактов передать “действительность в себе”.

Не успели лефовцы представить свою программу в первом номере “Нового Лефа”, как на них обрушился Полонский. Противник любых литературных группировок — литературной “групповщины”, — Полонский считал сектантство и лишнее теоретизирование вредными для литературы: Маяковский, Асеев и Пастернак были замечательны как писатели, но, выступая как члены группы и приверженцы определенной теории, они подавляли в себе индивидуализм — и результат получался соответствующим. В представлении Полонского идея “социального заказа” подразумевала, что художник должен принимать условия и вкусы заказчика (то есть пролетарского государства). “А ведь искусство двигалось вперед не безропотными исполнителями “заказа”, а именно бунтарями, ниспровергателями старых вкусов, разру-

шителями признанных кумиров, отрицателями канонизированных форм”.

“Социальный заказ” был выражением сервилизма, по мнению Полонского, считавшего, что переход к социализму настоящего художника должен быть трудным: “Пролетариату не нужны люди, которые готовы писать то, что хочет пролетариат, и так, как он хочет, — остающиеся в то же время чуждыми пролетариату социально, психологически, идеологически”. Поэтом, который, согласно Полонскому, серьезно старался понять политические процессы, происходившие в Советском Союзе, был Борис Пастернак — он и послужил в некотором смысле катализатором эстетического конфликта с лефовцами. Пастернак участвовал в подготовке “Нового Лефа” и значился среди авторов первого номера, вышедшего в январе 1927 года, где был опубликован отрывок из его поэмы “Лейтенант Шмидт”. Но Полонский считал, что Пастернак никогда не был футуристом и тем более не является им сейчас, когда разлагается “труп футуризма”.

Из всего этого Полонский делал вывод: социализм не нуждается в Лефе. В ответ лефовцы (через Асеева) напомнили Полонскому, что он напечатал в “Новом мире” “Повесть непогашенной луны” “попутчика” Бориса Пильняка, которая в завуалированной форме описывала убийство военного комиссара Михаила Фрунзе, совершенное, судя по всему, по приказу Сталина (см. стр. 349). В политической атмосфере того времени подобное утверждение граничило с доносом. Хотя Пастернак считал, что в этом конфликте лефовцы и Полонский одинаково лицемерны, он склонился на сторону последнего и в июне 1927 года покинул Леф, который “удручал и отталкивал” его “своей избыточной советскостью, т. е. угнетающим сервилизмом, т. е. склонностью к буйствам с официальным мандатом на буйство в руках”. “Мне всегда казалось, что прирожденный талант Маяковского взорвет когда-нибудь, *должен* взорвать те слои химически чистой чепухи, по бессмыслице похожей на сон, которыми он добровольно затягивался и до неузнаваемости затянулся в это десятилетие, — писал он Р.Н. Ломоносовой в мае 1927 года, добавляя: — Я жил, в своих чувствах к нему, только этой надеждой”.

Надежды Пастернака оправдаются, но только через год. Он хотел, чтобы вслед за ним Леф покинул Маяковский, но того опередили двое других. Сергей Эйзенштейн, огорченный и задетый тем, что Маяковский раскритиковал его фильм “Октябрь” за “эстетизм”, вышел из объединения весной 1928 года. В случае со Шкловским непосредственной причиной послужил конфликт с Лили, чья роль в Лефе становилась все более активной. Когда Осип и Жемчужный на редакционном совещании стали критиковать его киносценарий, Шкловский пришел в ярость, а Лили подлила масла в огонь, предложив взять для обсуждения “любой другой плохой сценарий”: Шкловский вскочил, крикнув в адрес Лили, что “хозяйка” — или “хозяйка дома”, версии расходятся — должна знать свое место и не вмешиваться в “разговоры работающих людей”, после чего ушел. На следующий день он письменно попросил прощения, но Лили была непреклонна: “Я была в страшном горе и разочаровалась в людях самых близких. Не хотелось жить. Я почувствовала в первый раз, что решительно никому не нужна. Даже Ося плохо понял меня в этот раз”.

Маяковский при ссоре не присутствовал, но, узнав о произошедшем, пришел в отчаяние и, как всегда, принял сторону Лили. А 26 сентября, спустя всего неделю после конфликта между Лили и Шкловским, во время выступления под названием “Левее Лефа” он объявил, что покидает группу. Решение вызвало шок, так как он ни с кем — за исключением Осипа — не посоветовался. Многие из лефовцев предполагали, что этот резкий шаг обусловлен личными причинами: для Асеева было очевидно, что, разрывая с Лефом, Маяковский мстил за Лили, и Шкловский объяснял, что “Леф раскололся или растолокся на невозможности для Ляли [sic] сидеть в одной комнате со мной”. Сама Лили не сомневалась в том, что причиной ухода Маяковского была она: “<...> ни одна женщина не может отказаться, когда ей говорят: расшибусь, но отомшу за тебя...”

- Обложка Александра Родченко к девятому номеру “Нового Лефа” за 1928 г., редактором которого был уже не Маяковский; последний номер, выпущенный под его руководством, был седьмой.





- Осенью 1927 г. в связи с десятилетним юбилеем "Известий" был опубликован этот шарж на сотрудников газеты. Самый высокий и громкий — Маяковский, но он идет не первым. Тон задает Демьян Бедный, любимец партии, проживавший в кремлевской квартире и поддерживавший постоянные отношения со Сталиным. Несмотря на то что Бедный был второразрядным поэтом, Маяковский завидовал его положению и популярности у власти.

Бурные дискуссии были частью левовской культуры, поэтому может показаться странным, что слова Шкловского вызвали у Лили столь острую реакцию. Причина заключалась в следующем: они прозвучали в период, когда Лили была крайне разочарована тем, что ее вклад в дело Лефа не оценен по заслугам и даже ставится под вопрос. Однажды, когда они с Кулешовым в очередной раз выясняли отношения и он крикнул ей: "Тебя никто



ДРУЖЕСКИЕ ШАРЖИ

Бор. Ефимов

не любит, твои друзья левовцы терпеть тебя не могут!” — она отказывалась в это верить, но выпад Шкловского подтвердил, что Кулешов был прав.

Разве я не правила все володины корректуры? — риторически вопрошала Лили. — Разве я не работала в Росте дни и ночи? Разве не бегала по всем его делам во время его частых разъездов? Я работала в Госиздате, в детском отделе, переделывала книги для взрослых в книги для детей. Я делала это очень хорошо, но должна была подписывать “под редакцией О. Брика” или “Н. Асеева”, хотя они это делать не умели и не хотели, и моей работой Гиз был очень доволен. Но мое имя не внушает доверия.

Когда мы с Жемчужным написали сценарий “Стеклянный глаз” и нам поручили его поставить, меня каждый

день снимали с работы. Посреди репетиции посылали приказы немедленно передать всю работу Жемчужному, т. к. я работаю по протекции, без квалификации. Сценарий пишет за меня Брик, ставит Жемчужный, а монтирует Кулешов. Ужасно трудно было кончить картину. <...> Во время монтажа “Стеклянного глаза” Жемчужному дали следующую картину и монтировала я “Стеклянный глаз” абсолютно самостоятельно <...>.

Каким бы резким ни был — или ни казался — поступок Шкловского, вряд ли он спровоцировал разрыв Маяковского с Лефом; скорее всего это был лишь удобный предлог.

Официально Маяковский объяснил свой уход тем, что “мелкие литературные дробления изжили себя”, и необходимость “отказа от литературного сектантства”. Слова напоминают формулировки Пастернака, но Маяковский преследовал диаметрально противоположные цели: он искал не большей индивидуальной свободы, а сближения с “социальным заказчиком”. “Литература-самоцель должна уступить место работе на социальный заказ, — объяснял он, — не только заказ газет и журналов, но и всех хозяйственных и промышленных учреждений, имеющих потребность в шлифованном слове”. Поэтому он призывал лефовцев продолжать новаторскую работу — но не в “лабораториях”, а на поле — в газетах, кино, на радио. Осудив Леф как группу, Маяковский вместе с тем продолжал пропагандировать его эстетику — в основе своей футуристическую. “Мы действительно разные, — сказал Маяковский Пастернаку в связи с конфликтом вокруг Лефа, — вы любите молнию в небе, а я в электрическом утюге”.

Порвав с Лефом, Маяковский объявил также, что “амнистирует Рембрандта” и что “нужна песня, поэма, а не только газета”. Высказывание это шокировало окружение поэта не менее сильно, чем сам разрыв. Однако амнистия не была результатом изменения позиции, а основывалась на убеждении, что если он хочет по-прежнему играть роль в культурной политике, ему следует — по крайней мере на словах — переместиться ближе к среднему идеологическому руслу. Но какая бы тактика ни скрывалась за

этим шагом, для человека, ранее считавшего Рембрандта и Рафаэля символами устаревшей эстетики, он означал капитуляцию.

Если утверждение об амнистии Рембрандта вряд ли было искренним, то к фразе о “песне и поэме” стоит отнестись серьезно. Даже если Маяковский не хотел в этом признаться открыто, его мучила мысль о том, что постоянное сочинение “злободневных стихов” мешает ему писать “настоящую” поэзию. В личных беседах он иногда позволял себе выразить тревогу по поводу того, что как поэт он себя исчерпал. Когда ранним весенним утром 1927 года в номер “Истрии” к Маяковскому зашел Илья Эренбург, постель была нетронута. Маяковский не спал всю ночь, был очень мрачен и сразу, даже не поздоровавшись, спросил: “Вы тоже думаете, что я раньше писал лучше?”

После поэмы “Про это” Маяковский не написал ни одного лирического произведения, и во второй половине двадцатых в нем видели прежде всего “вестника революции” — в отличие от Пастернака, который, хотя и написал две поэмы на революционную тему — “Девятьсот пятый год” и “Лейтенант Шмидт”, воспринимался главным образом как *поэт*. “О Маяковском с 1922 года никто всерьез и не говорит “кроме, как в Моссельпроме”, между тем как вещи Пастернака, еще не успев появиться в печати, ходят в списках по рукам <... >”, — сообщал зимой 1926 года Бенедикт Лившиц Давиду Бурлюку.

Для Маяковского сочинение злободневных стихов было необходимо по финансовым причинам. В то время он был постоянным сотрудником “Комсомольской правды”, но получал всего 70 копеек за стихотворную строчку. Поэтому иногда ему приходилось сочинять три стихотворения в день — от такого объема может иссякнуть самый богатый лирический источник. Но только ли материальная сторона определяла направление его творчества? Или гражданская поэзия была своего рода убежищем, потому что он не знал, о чем писать, потому что у него не было *темы*? Комментируя же текущие события, он ежедневно получал темы даром. Это было удобно, а возможно, и необходимо в ситуации, когда Лили больше не являлась катализатором для его лирического самовыражения.

“Володька <...> работает без цели, его только и спасает, что он работает по газетам”, — прокомментировал Осип. Маяковский переживал подобный творческий кризис и ранее, в 1919–1921 годах, когда, помимо текстов к плакатам, он сочинил всего два десятка стихотворений. Но после той поэтической засухи он все же нашел силы для создания большой поэзии — поэм “150 000 000” и “Люблю”. “Он, может быть, и еще раз найдет способ выйти из положения”, — надеялся осенью 1928 года Виктор Шкловский, утверждавший, что Маяковский попал в поэтический тупик и что именно это стало одной из причин кризиса Лефа (помимо конфликта Шкловского с Лили). Его надежды оправдались, и скорее, чем он мог предположить; как оказалось, Маяковский уже нашел “выход из положения”.

■ МАЛЕНЬКИЙ РЕНОШКА

Заграничные поездки продолжились и в 1928 году. В середине апреля Лили уехала в Берлин, где встречалась с матерью. О том, что отношения с Еленой Юльевной еще были прохладными, свидетельствует восклицание Лили в первом письме “зверятикам” в Москву: “Вообще хорошо что мама уезжает!!” Однако в Берлин Лили отправилась не только для того, чтобы повидать мать. Вместе с левовцем Виталием Жемчужным, мужем Жени, она работала над фильмом “Стеклянный глаз” (см. выше). Это была пародия на коммерческое игровое кино, которое показывали во всех кинотеатрах, — и одновременно “агитация за кинохронику”. С целью приобрести иностранные киножурналы — их предполагалось вмонтировать в “Стеклянный глаз” — Лили и поехала в Берлин. Фильм снимала студия “Межрабпомфильм”, которая, как надеялась Лили, должна была покрыть расходы. “Ослит! Думай о моих кино-делах!!! — писала она. — Обидно, если ничего не удастся купить! Уж не такие это деньги! Убеди правление”. Судя по всему, деньги киностудия предоставила, ибо фильм снимался в августе, монтировался осенью, а в январе 1929 года состоялась премьера. Хуже обстояло со сценарием Осипа “Клеопатра”, которым Лили безуспешно пыталась заинтересовать немецких режиссеров.

Маяковский лежал в Москве с тяжелым гриппом, но предполагалось, что он приедет в Берлин, как только поправится. В этом случае ему, как писала Лили, нужно было привезти: “1) икры зернистой; 2) 2–3 коробки (квадратные металлические) монпансье; 3) 2 фунта подсолнухов и 4) сотню (4 кор. по 25 шт.) папирос “Моссельпром”. Сама же она послала Осипу шарф, а Кулешову автомобильные перчатки. Однако выздоровление проходило медленно, и Маяковский так и остался в Москве.



■ Подпись Маяковского под письмом к Лили от 28 апреля 1928 г.: “Больной Щен”.

Поэтому Лили поехала дальше, в Париж, где провела десять дней. В это время Эльза жила в крайне стесненных условиях, зарабатывая на жизнь изготовлением бус из искусственного жемчуга, а иногда даже из макарон. Корреспонденция между Москвой и Парижем, как обычно, затрагивает в основном материальные темы, и на этот раз в фокусе находится Эльза. Маяковский шлет ей деньги из Москвы, а Лили дает десять фунтов, чего должно хватить на два месяца. Деньги получает и Елена Юльевна. Но Лили не забывает и о себе: “Я купила дюжину чулков, шесть смен белья (три черных, три розовых), 2 пары плетенных туфель с переплетами, тапочки, носовые платки, сумку”. Откуда появились деньги? В Париже Лили взяла деньги на покупки в долг, который вернула переводом из Берлина на обратном пути в Москву. Возможно, у них были деньги в Берлине? Не поэтому ли Елена Юльевна встречалась с Лили там, а не в Париже, который намного ближе к Лондону?

Лето 1928 года снова прошло в Пушкине, а Маяковский успел совершить трехнедельное турне по Крыму. 11 августа, в день его возвращения в Москву, Лили сообщила Осипу, проводившему отпуск вместе с Женей, что “Володя приехал с твердым решением строить дом и привести автомобиль из-за границы”. В тот же день в письме к Рите она рассказала о его планах: “Через 1 ½ месяца



Несмотря на болезнь, Маяковский 1 мая отправился на Красную площадь, где и был сфотографирован с извечной папиросой в углу рта.

он едет через Японию в Америку. А м.б. не в Америку, а в Европу, но в Японию — непременно”.

В этот раз предпосылки для кругосветного путешествия были как никогда благоприятны. В июне редакция “Комсомольской правды” и ЦК комсомола обратились в различные инстанции со следующей рекомендацией:

Тов. Маяковский командировается ЦК ВЛКСМ и редакцией газеты “Комсомольская правда” в Сибирь — Японию — Аргентину — САСШ — Германию — Францию и Турцию для кругосветных корреспонденций и для освещения в газете быта и жизни молодежи. Придавая исключительное значение этой поездке, просим оказать т. Маяковскому всемерное содействие в деле организации путешествия.

Несмотря на мощную поддержку, кругосветное путешествие опять не состоялось. Когда 8 октября Маяковский отправился в Париж, от летних планов осталось только

решение приобрести автомобиль. Каждый раз, отправляясь за границу, он получал от Лили подробный перечень того, что необходимо купить, и сейчас список выглядел так:

В Берлине:

Вязаный костюм № 44 темно-синий (не через голову). К нему шерстяной шарф на шею и джемпер, носить с галстуком.

Чулки очень тонкие, не слишком светлые (по образцу).

Дрппр... — 2 коротких и один длинный.

Синий и красный люстрин.

В Париже:

2 забавных шерстяных платья из очень мягкой материи.

Одно очень элегантное, эксцентричное из креп-жоржета на чехле. Хорошо бы цветастое, пестрое. Лучше бы с длинным рукавом, но можно и голое. Для встречи Нового года.

Чулки. Бусы (если еще носят, то голубые). Перчатки.

Очень модные мелочи. Носовые платки.

Сумку (можно в Берлине дешевую, в K.D.W.).

Духи: Rue de la Paix, Mon Boudoir и что Эля скажет. Побольше и разных. 2 кор. пудры Arax. Карандаши Brun для глаз, карандаши Houbigant для глаз.

Машина:

Лучше закрытая — conduite intérieure * — со всеми запасными частями, с двумя запасными колесами, сзади чехомодан.

Если не Renault, то на пробку [нарисована фигурка].

Игрушку для заднего окошка.

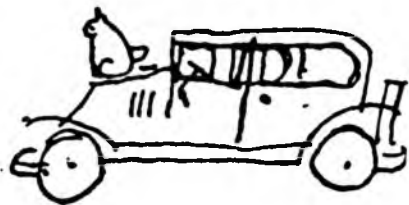
Часы с заводом на неделю.

Автомобильные перчатки.

* Внутреннее управление (фр.).



“Машин симпатичный ты сама должно быть знаешь какой, — писал Маяковский Лили 12 ноября 1928 г. — Рисунок конечно корявый но карточку из каталожицы я отдал вместе с заказом а другой пока нет. Я просил сделать серенький сказали если успеют а то темносиний”.



Заказ на “дррр” — ономатопоэтическое обозначение застегивания молнии — Маяковский выполнил уже в Берлине и без промедления отправил с оказией в Москву. Но важнее всего был, разумеется, автомобиль, разрешения на ввоз которого Маяковский добился еще до отъезда. Устроив Кулешову “форд”, Лили теперь хотела иметь собственную машину. Финансировать покупку предполагалось из средств от продажи прав на все еще не изданные произведения берлинскому издательству “Малик” — четыре года назад оно опубликовало на немецком поэму “150 000 000”. Издательство проявило интерес, но хотело подождать, пока Маяковский закончит новую пьесу, над которой он тогда работал. Поэтому получить деньги в Берлине не удалось.

Едва прибыв в Париж, Маяковский получил письмо от Лили: она повторила все подробности списка с некоторыми дополнениями: предохранители спереди и сзади, добавочный прожектор сбоку, электрическая прочищалка для переднего стекла, фонарик сзади с надписью *stop*, стрелки электрические, показывающие, куда поворачивает машина, теплую попону, чтобы не замерзала вода... “Цвет и форму (закрытую... открытую...) на твой и Эличкин вкус. Только чтобы не была похожа на такси. Лучше всего Buick eller Renault только не Amilcar! Завтра утром начинаю учиться управлять”. “Вся надежда на Малик, — ответил Маяковский, — хочет подписать со мной договор — в зависимости от качества пьесы”. Он “усиленно” дописывает ее и на машины пока только “облизывается” — “смотрел специально автосалон”.

Лили разочарована. “Щеник! У-УУ-УУУ-УУУУ!...!...! Волосит! Уууууу-у-у!!! — отвечает она 28 октября. — Неужели не будет автомобильчита! А я так замечательно научилась ездить!!! Пожалуйста!” Маяковский делал все возможное, чтобы удовлетворить желания Лили, и в поисках денег он пытается заинтересовать режиссера Рене Клера киносценарием, над которым работает. “Что с Рене Клером? — обеспокоенно спрашивает Лили. — Если не хватит денег, то пошли хоть (через Амторг) 450 долларов на Фордик без запасных частей”. Несмотря на то что кинопроект не осуществился, 10 ноября Маяковский смог телеграфировать Лили: “Покупаю рено. Красавец серой масти 6 сил 4 цилиндра кондуит интерьер”. Через несколько дней он сообщил, что “денежков с помощью добрых душ на свете я наскребу и назаработаю”. Он прилагает рисунок машины, сообщая, что пробудет еще какое-то время в Париже, “чтоб самому принять машинку с завода упаковать и послать, а то закантителится на месяцы”. А пока он “раздраконивает пьесу и сценарий это первый бензин который пытается сожрать реношка”.

Маяковский купил самую дешевую модель. Стоила она 20 тысяч франков, что сегодня соответствует приблизительно 10 тысячам евро. Машину доставили в Москву в январе 1929 года.

■ ИДЕАЛ И ОДЕЯЛО

Сценарий, которым Маяковский пытался заинтересовать Рене Клера, назывался “Идеал и одеяло”; он сохранился в виде эскиза сценария на французском языке:

Маяковский любит женщин. Маяковского любят женщины. Человек с возвышенными чувствами, он ищет идеальную женщину. Он даже принялся читать Толстого. Он мысленно создает идеальные существа, он обещает себе связать судьбу только с женщиной, которая будет отвечать его идеалу, — но всегда наталкивается на других женщин.

Такая “другая женщина” однажды выходила из своего “роллса” и упала бы. Если бы идеалист не под-

держал ее. Связь с ней — пошлая, чувственная и бурная — оказалась как раз такой связью, которой Маяковский хотел избежать. Эта связь тяготила его, тем более что вызвав по телефону чей-то номер, указанный в письме, которое случайно попало ему в руки, он пленился женским голосом, глубоко человеческим и волнующим. Но знакомство не пошло дальше разговоров, писем, и лишь однажды ему привиделся ускользающий образ с письмом в протянутой руке. С тем большей яростью возвращался он к неотвратимой любовнице, не теряя надежды освободиться от нее и мечтая о любимой незнакомке.

Годы поисков, которым любовница препятствовала всеми средствами, наконец поколебали упорство незнакомки. Она сказала, что будет ему принадлежать, и он очищается, порывая со своей земной любовью. Окруженная тайнами, незнакомка увезена к месту великолепной встречи. Преисполненный счастливого предчувствия, Маяковский идет навстречу началу и концу своей жизни.

Первый поворот головы — и его незнакомка — это та женщина, с которой он провел все эти годы и которую он только что покинул.

Поэт разрывается между плотской любовью (“одеялом”) и чистой любовью (“идеалом”) — он мечтает о совершенной любви, а этот мотив характерен и для любовной лирики Маяковского, который “навек / любовью ранен”. Но даже если главное действующее лицо носит имя автора, нельзя проводить слишком прямые параллели с его жизнью. Маяковский жил “все эти годы” с Лили, Лили хотела машину — пусть не “роллс-ройс”, — но их отношения не были “вульгарными”, напротив. Любовница из сценария — не конкретная женщина, а метафора *эроса*, плотской любви, которой, как это часто бывает у Маяковского, противопоставляется идеальная любовь, *агапе*. Но в определенном смысле сценарий “Идеал и одеяло” действительно автобиографичен: он отражает тоску Маяковского по новой любви именно в это время, осенью 1928 года.

■ ДВЕ ЭЛЛИ

Маяковский подробно информировал Лили о покупке автомобиля, но были вещи, о которых он молчал. *“Поезжай куда нибудь отдохнуть!* — призывала его Лили в первом письме в Париж. — *Поцелуй Эличку, скажи чтобы послала тебя отдохнуть и чтобы написала*”. “К сожалению я в Париже который мне надоел до бесчувствия тошноты и отвращения, — ответил Маяковский. — Сегодня еду на пару дней в Ниццу (навернулись знакомицы) и выберу где отдыхать. Или обоснуюсь на 4 недели в Ницце или вернусь в Германию. Без отдыха работать не могу совершенно!”

“Знакомицами” Маяковского были две говорящие по-французски молодые женщины, которых Маяковский взял с собой для того, чтобы скрыть настоящую цель поездки — встречу с Элли Джонс и их дочерью, проводившими лето в Ницце. Поездка заранее не планировалась — о том, что обе Элли находятся во Франции, Маяковский узнал, случайно встретив в Париже общую нью-йоркскую знакомую.

Визит в Ниццу получился коротким: из Парижа Маяковский уехал 20 октября, а вернулся уже 25-го. Об этой встрече известно только то, что Элли рассказывала Патриции через пятьдесят лет. На ее вопрос, почему он не приехал один, он ответил, по словам Элли: “Я не хотел смущать тебя”. Они долго стояли, обнявшись, а потом пошли в номер к Маяковскому, где из-за проливного дождя Элли пришлось переночевать. Они проговорили всю ночь в слезах и уснули в объятьях друг друга только под утро. Но близости между ними не было. Элли было трудно противостоять Маяковскому, но она боялась снова забеременеть. Оба понимали, что никогда не смогут создать семью, ни в США, ни в СССР, и что их отношения лишены перспективы.

На следующий день после возвращения в Париж Маяковский написал письмо “двум милым, двум родным Элли”, единственное сохранившееся:

Я по Вас уже весь изсоскучился.

Мечтаю приехать к Вам еще хотя б на неделю. Примите? Обласкаете?

Ответьте пожалуйста.

Paris 29 Rue Campagne Première Hotel Istria. (Боюсь только не осталось бы и это мечтанием. Если смогу — выведу Ниццу среду-четверг.)

Я жалею что быстрота и случайность приезда не дала мне возможность раздуть себе щеки здоровьем, как это вам бы нравилось. Надеюсь в Ницце выловниться и предстать Вам во всей улыбающейся красе.

Напишите пожалуйста быстро-быстро.

Целую Вам все восемь лап.

Почти одновременно, 27 октября, Элли написала Маяковскому письмо, от которого сохранился только конверт. Получив через два дня ответ от Маяковского, она снова написала ему:

Конечно, уродище, Вам будут рады! <...> Немедленно телеграфируйте о Вашем решении. Мы Вас встретим! <...> Четыре лапы спят! Поцеловали в правую щеку за или для Володи, в левую для мамы. Потом объясняли долго, чтобы не перепутать, что именно на правой Володин поцелуй. <...> Если не сможете приехать — знайте, что в Ницце будут две очень огорченные Элли — и пишите нам часто. Пришлите комочек снега из Москвы. Я думаю, что помешалась бы от радости, если бы очутилась там. Вы мне опять снитесь все время!

В Ниццу Маяковский не вернулся; похоже, что без ответа осталось и письмо Элли, чье следующее письмо (первая страница которого не сохранилась) — смесь нежностей и упреков ему. Оно датировано 8 ноября:

Вы сказали: “Мы так долго лгали, лгите еще”. Теперь говорю — если все Вами сказанное здесь, было из *вежливости* — будьте еще вежливы, если это Вам не страшно

■ Маяковский впервые увидел свою дочь в октябре 1928 г. в Ницце.



просим так немного. Ведь мы тоже звери, с ногами, глазами! Уверю, незаурядные. Только что не в клетке. И страшно нужно для нашего спокойствия, чтобы мы знали, что о нас думают. Ну раз в месяц (пятнадцатого день рождения девочки) подумайте о нас! Напишите — и если некогда, вырежьте из журнала, газеты что-нибудь свое и пришлите. Книжки, обещались! <... >

Берегите себя, да? Попросите человека, которого любите, чтобы она запретила Вам жечь свечу с обоих концов! К чему? Не делайте этого.

Приезжайте! Только без переводчиков! Ваша каждая минута и так будет если не полна — то во всяком случае занята!!!!

Из предпоследней фразы письма понятно, что Маяковский не скрывал от Элли, что единственной женщиной, которую он действительно любил, была Лили. Какой бы мазохистской ни казалась его любовь к ней, особенно в тот период, но всем женщинам, за которыми он ухаживал, пришлось мириться с этим фактом. Разрыв отношений с Наташей Брюханенко произошел весной 1928 года после следующего разговора:

— Вот вы считаете, что я хорошая, красивая, нужная вам. Говорите даже, что ноги у меня красивые. Так почему вы мне не говорите, что вы меня любите?

— Я люблю только Лилю. Ко всем остальным я могу относиться хорошо или очень хорошо, но любить я уж могу только на втором месте. Хотите — буду вас любить на втором месте?

— Нет! Не любите лучше меня совсем. Лучше относитесь ко мне хорошо.

Наташа продолжала общаться с Маяковским и подружилась с Лили и Осипом. Все получилось именно так, как хотела Лили и как случалось уже не раз: подруги Маяковского становились ее подругами. В случае же с Элли подобный вариант был исключен.

■ ВХОДИТ КРАСАВИЦА В ЗАЛ

Письмо Элли было отправлено не в Париж, а по московскому адресу в Лубянской проезд. Это говорит о том, что Маяковский не намеревался задерживаться во французской столице, планируя вернуться в Москву. Почему? Не мог совладать с ситуацией эмоционально и практически? Хотел убежать от неразрешимого уравнения?

Но в Москву, как он сказал Элли, он не поехал. 25 октября, в день его возвращения в Париж, Эльза собиралась к доктору Сержу Симону и попросила Маяковского сопровождать ее. Пока они ждали, появилась молодая женщина. “Войдя к нему в гостиную, — рассказывала она позднее, — я увидела хозяина, Эльзу Триоле и высокого, большого господина, одетого с исключительной элегантностью в добротный костюм, хорошие ботинки и с несколько скучающим видом сидящего в кресле. При моем появлении он сразу устремил на меня внимательные, серьезные глаза. Его короткий бобрик и крупные черты красивого лица я узнала сразу — это был Маяковский”. Услышав ее имя — Татьяна, — Маяковский сразу догадался, кто она: девушка, о которой ему рассказывали его парижские друзья и кому он, не будучи с ней знаком, передавал приветы...

Молодая женщина сильно кашляла, но, вопреки своей мнительности, он предложил проводить ее домой. В такси было холодно, и он снял с себя пальто и укрыл ей ноги. “С этого момента я почувствовала к себе такую нежность и бережность, не ответить на которую было невозможно”, — вспоминала Татьяна.

Встреча у доктора Симона не была случайной: Эльза дружила с русской женой доктора Надеждой и рассказывала ей о том, что Маяковскому в Париже скучно и ему нужен кто-то, с кем бы он мог проводить время. Татьяна, с которой она познакомилась незадолго до этого, полностью соответствовала его вкусам: красавица, говорит по-русски и к тому же интересуется поэзией. Когда Татьяна позвонила доктору Симону с жалобами на тяжелый бронхит, он велел ей прийти немедленно, а его жена тут же связалась с Эльзой и пригласила их с Маяковским... Эльза и раньше выступала в роли “свахи”, но это был первый раз, когда избранница полностью отвечала всем установленным критериям.

Объяснение Эльзы, почему она хотела познакомить Маяковского с Татьяной, вполне правдоподобно. Но почему она так торопилась, почему это должно было случиться в тот же день, когда он вернулся из Ниццы? Татьяна вращалась в русских кругах Парижа, и встречу можно было устроить когда угодно, в каком-нибудь кафе на Монпарнасе... Или у Эльзы имелись иные мотивы? Может быть, Эльза, — а значит, и Лили — узнала о встрече в Ницце? И Татьяна нужна была для того, чтобы отвлечь его от мыслей о “двух Элли”? Лили боялась, что Маяковский уедет в США вместе со своей дочерью и ее матерью? И попросила Эльзу — в неведомом письме или телефонном разговоре — найти Маяковскому женщину? Если так, то эта просьба совпадала и с интересами самой Эльзы, которой было выгодно, чтобы Маяковский остался в Париже, где ей жилось бедно, а его кошелек облегчал ее существование. В таком случае Эльза должна была впасть в панику, услышав, как Маяковский, едва сойдя с поезда из Ниццы, сообщает, что возвращается в Москву.



■ Татьяна Яковлева, приблизительно 1928 г.

К моменту знакомства с Маяковским Татьяне Яковлевой было двадцать два года; по словам Эльзы, “в ней была молодая удаль” и “бьющая через край жизнеутвержденность, разговаривала она захлебываясь, плавала, играла в теннис, вела счет поклонникам”. Она родилась в 1906 году в Петербурге, но в 1913-м переехала в Пензу, где ее отцу, архитектору Алексею Яковлеву, поручили проектирование нового городского театра. В семье была еще одна дочь, на два года моложе Татьяны, — Людмила, или Лила. В 1915 году родители разошлись, и отец уехал в США. Вскоре после этого мать вышла замуж за богатого антрепренера,

который потерял все свое состояние в годы революции. В 1921 году, во время голода на юге России, муж умер от истощения и туберкулеза, после чего мать вышла замуж в третий раз.

В 1922 году Татьяна тоже заболела туберкулезом, вероятно заразившись от отчима, и ее дядя, Александр Яковлев, проживавший в Париже, при содействии промышленника Андре Ситроена устроил ей возможность приехать во Францию. Летом 1925 года, когда Татьяне едва исполнилось девятнадцать, она прибыла в Париж, где уже несколько лет жили ее бабушка и тетушка Сандра, оперная певица, часто выступавшая вместе с Шаляпиным.

Первые годы Татьяна заботилась о своем здоровье и в свет не выходила, но появившись наконец в высших кругах Парижа, сразу произвела фурор. Высокая, ростом около ста восьмидесяти сантиметров, с длинными ногами, она отличалась необыкновенной привлекательностью и была постоянно окружена вниманием мужчин, среди которых был нефтяной магнат Манташев. Благодаря своей внешности она вскоре начала работать статисткой в кино и манекенщицей у Шанель, кроме того, рекламировала чулки на афишах, которые висели по всему Парижу. Она также зарабатывала, изготавливая шляпки, что впоследствии станет ее профессией. Ее дядя Александр был известным путешественником и успешным художником, и он познакомил Татьяну с людьми искусства — писателем Жаном Кокто и композитором Сергеем Прокофьевым (с которым накануне первой встречи с Маяковским она играла в четыре руки Брамса).

Какие бы мотивы Эльза ни преследовала, знакомя Маяковского с Татьяной, ее надежды на легкий флирт не оправдались: они полюбили друг друга с первого взгляда и стали ежедневно встречаться. После знакомства с Татьяной Маяковский больше двух недель не писал в Москву, — когда же наконец он послал Лили телеграмму, в ней сообщалось о предстоящей покупке “рено”. Это была радостная новость; однако о том, что выбрать цвет ему помогала его новая возлюбленная, он умолчал. Но если Лили ничего не знала о Татьяне, то Татьяна знала о Лили все. Так же, как и в случае с Эли, он все время говорил с Татьяной о Лили, которую, по словам Татьяны, “обожал, как друга”, хотя не жил с ней уже несколько лет.

“Это была замечательная пара, — вспоминал один знакомый, видевший их часто вместе. — Маяковский очень красивый, большой. Таня тоже красавица — высокая, стройная, под стать ему. Маяковский производил впечатление тихого, влюбленного. Она восхищалась и явно любовалась им, гордилась его талантом”. Однако ни Маяковский, ни Татьяна не хотели афишировать свои отношения: она — потому что ее семья, с таким трудом вызволив ее из Советского Союза, была настроена крайне антисоветски; Маяковский — потому что пролетарскому поэту не следовало общаться с русской эмигранткой. Но политика, судя по всему, в их общении особой роли не играла — зато они много говорили о поэзии. На Маяковского производила впечатление не только внешность Татьяны, но и феноменальная память на стихи, которые она могла цитировать наизусть часами. Она и сама писала стихи, но признаться ему в этом не решилась.

Иногда они встречались в больших компаниях в известных кафе, но чаще всего ходили в менее дорогие заведения, где можно было сохранять анонимность. Маяковский обычно звонил Татьяне утром, когда к телефону подходила не бабушка, чтобы договориться, где и когда они увидятся вечером. Иногда он ждал в такси у ее дома, и они ехали в театр, в гости к Эльзе или к кому-нибудь из тех друзей, кто знал об их отношениях. “Бабушка и тетка — классики, — писала Татьяна матери в Пензу, — и, конечно, этого сорта людей не понимают, и стихи его им непонятны”. Когда же Маяковский несколько раз приходил к Татьяне домой, он был “любезен с ними невероятно”, и “это их немного покорило”.

“Это первый человек, сумевший оставить в моей душе след, — признавалась Татьяна матери. — Это самый талантливый человек, которого я встречала, и, главное, в самой для меня интересной области”. Несмотря на то что Татьяна из осторожности не произносила слово “любовь”, не подлежит сомнению, что она испытывала к Маяковскому сильные чувства. Но когда, через две недели после первого знакомства, он предложил ей выйти за него замуж и уехать с ним в Москву, она ответила уклончиво. Ее нерешительность пробудила у Маяковского дремавшие лирические силы, и за ночь он написал стихотворение, которое прочитал ей на следующий день, когда они встретились в ресторане, и которое кончается ответом на ее колебания:

Не хочешь?
 Оставайся и зимуй,
 и это
 оскорбление
 на общий счет нанижем.
 Я все равно
 тебя
 когда-нибудь возьму —
 одну
 или вдвоем с Парижем.

Шкловский оказался прав в своих предсказаниях: Маяковский нашел “способ выйти из положения”. “Письмо Татьяне Яковлевой” было одним из двух лирических стихотворений, написанных Маяковским во время парижской осени. Вторым было “Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви”, законченное позднее, перед возвращением домой. В поэме “Про это” Маяковский риторически спрашивал Лили: “Но где, любимая, / где, моя милая, / где / — в песне! / любви моей изменил я?” Он никогда раньше этого не делал, все его стихи посвящались ей, а первый том Собрания сочинений, который вышел, пока он был в Париже, открывался посвящением “Л.Ю.Б.” — таким образом, Лили посвящалось все его творчество. Но стихотворением “Письмо Татьяне Яковлевой” Маяковский впервые “изменил” Лили “в песне”. Это было первое после 1915 года любовное стихотворение, лирическим объектом которого не была Лили, — и одно из его лучших любовных посланий вообще:

Ты одна мне
 ростом вровень,
 стань же рядом
 с бровью брови,
 дай
 про этот
 важный вечер
 рассказать
 по-человечьи.

“Длинноногие”, как Татьяна, нужны бедной и страдающей России:

Не тебе,
 в снега
 и в тиф
шедшей
 этими ногами,
здесь
 на ласки
 выдать их
в ужины
 с нефтяниками.
Ты не думай,
 щурясь просто
из-под выпрямленных дуг.
Иди сюда,
 иди на перекресток
моих больших
 и неуклюжих рук.

Несмотря на нежелание афишировать отношения с Татьяной, Маяковский прочитал стихотворение не только Эльзе, но и в русских кругах Парижа. Татьяна по естественным причинам смущалась, но одновременно была польщена тем, что любовь к ней стала поэзией, и, судя по всему, Маяковскому почти удалось уговорить ее вернуться с ним в Москву: “Он всколыхнул во мне тоску по России и по всем вам, — писала она матери. — Буквально, я чуть не вернулась”. Она этого не сделала — зато они условились как можно скорее встретиться снова. До того как покинуть Париж, Маяковский оставил у флориста заказ на букет роз, который нужно было доставлять Татьяне Яковлевой каждым воскресным утром, пока он не вернется. К каждому букету прилагалась визитная карточка со стихами и рисунками на обратной стороне.

Маяковский покинул Париж 3 декабря и уже следующим утром, приехав в Берлин, отправил Татьяне телеграмму и позвонил. В письме к матери Татьяна описывала разговор как “сплош-

ной вопль”. 8 декабря он вернулся в Москву, откуда через два дня отправил Татьяне первый том своего Собрания сочинений с посвящением: “Дарю / моей / мои тома я / им / заменять / меня / до мая. / А почему бы не до марта? / Мешают календарь и карта?” Уже в первый день в Москве он нашел сестру Татьяны Людмилу, которая хотела эмигрировать в Париж, — Татьяна просила его помочь ей с получением заграничного паспорта.

Пока Маяковский был в Париже, Лили ничего не знала о Татьяне. 12 ноября в единственном письме к ней Маяковский отчитывался: “Моя жизнь какая то странная, без событий но с многочисленными подробностями это для письма не материал а только можно рассказывать перебирая чемоданы что я и буду делать не позднее 8–10 [декабря]”. Если эта фраза не вызвала у Лили особого беспокойства, то просьба Маяковского “перевести телеграфно тридцать рублей — Пенза Красная улица 52 квартира 3 Людмиле Алексеевне Яковлевой” — должна была пробудить тревогу. Ни о какой Яковлевой она раньше не слышала!

Обычно Эльза держала Лили в курсе всего происходящего, но в этот раз все было иначе. То, что задумывалось как развлечение, превратилось в серьезные отношения, и виновницей случившегося была Эльза. Если Эльза не решалась проинформировать сестру о разыгравшейся в Париже любовной драме, то Маяковский рассказал Лили о Татьяне, как только приехал, — так же, как и в других случаях. “Он приехал <... > восторженный и влюбленный, — вспоминала Лили. — Красавица девушка, талантливая, чистая, своя, советская. Предпочла его всем нефтяникам, отдалась ему — первому. Любит. Ждет. Ни от кого не зависит. Работает”. Но реакция Лили его разочаровала. Ей скоро стало понятно, что Татьяна — не мимолетное увлечение, что Маяковский любит ее и действительно хочет, чтобы она вернулась в Москву. 17 декабря в письме к Эльзе Лили била тревогу: “Элик! Напиши мне, пожалуйста, что это за женщина, по которой Володя сходит с ума, которую он собирается выписать в Москву, которой он пишет стихи (!!) и которая, прожив столько лет в Париже, падает в обморок от слова *merde*!? Что-то не верю в невинность русской шляпницы в Париже! <... > НЕ РАС-

СКАЗЫВАЙ НИКОМУ что я прошу Тебя об этом и напиши мне обо всем подробно. Мои письма никто не читает”^{*}.

Сомнение Лили в “невинности” Татьяны говорит о том, что она воспринимала ее как авантюристку, но это было не так; Маяковский действительно отличался от других ее поклонников, и она им восхищалась. “Я до сих пор очень по нему скучаю, — писала Татьяна матери на Рождество 1928-го. — Главное, люди, с которыми я встречаюсь, большей частью “светские”, без всякого желания шевелить мозгами или же с какими-то, мухами засиженными, мыслями и чувствами”. В тот же день Маяковский написал Татьяне, что он несет ее имя “как праздничный флаг над городским зданием” и не опустит его ни на миллиметр. А еще через неделю он сообщил:

Твои строки — это добрая половина моей жизни вообще и вся моя личная.

Я не растекаюсь по бумаге (профессиональная ненависть к писанию) но если бы дать запись всех, моих со мной же, разговоров о тебе, ненаписанных писем, невыговоренных ласковостей то мои собрания сочинений сразу бы вспухли и все сплошной лирикой!

Милый!

Мне без тебя совсем не нравится. Обдумай и пособери мысли (а потом и вещи) и примерься сердцем своим, к моей надежде взять тебя на лапы и привезть к нам, к себе в Москву. <...>

Сделаем нашу разлуку — проверкой.

Если любим — то хорошо ли тратить сердце и время на изнурительное шагание по телеграфным столбам?

В канун Нового года настроение в Гендриковом было подавленным. Маяковский беспрерывно думал о Татьяне, и когда в полночь он “промок тоской”, Лили, не справившись с ревностью, закричала на него: “Если ты настолько грустишь чего же не бросаешься к ней сейчас же?” Осип тоже был мрачным, вся их совместная жизнь вдруг покачнулась.

* Первая часть цитаты приводится по русскому оригиналу (архив В.В. Катаняна), последнее предложение доступно только в переводе на французский.

Маяковский с радостью бы уехал к Татьяне, но он не мог. Пьеса, над которой он работал в Париже, была закончена и готовилась к постановке в театре Мейерхольда. Уехать он планировал сразу после окончания репетиций “Клопа”. А пока, уверял он Татьяну, работа и мысли о ней — это “единственная моя радость”.

■ ПИСЬМО ТОВАРИЩУ КОСТРОВУ ИЗ ПАРИЖА О СУЩНОСТИ ЛЮБВИ

“Письмо Татьяне Яковлевой” при жизни Маяковского не печаталось, судя по всему, по просьбе Татьяны, которой не нравилось, что он декламирует стихотворение в русских кругах Парижа. Но второе парижское стихотворение, “Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви”, было опубликовано во втором номере журнала “Молодая гвардия”, главным редактором которого был Тарас Костров, заказавший Маяковскому парижские стихи. “Письмо” стало бомбой и вызвало мощные протесты пролетарских писателей РАППа — для них писатель, который считал себя коммунистом, не должен писать на подобные темы. Лили не могла протестовать публично, но была глубоко задета “изменой” Маяковского — особенно строками “опять / в работу пущен / сердца /выстывший мотор”, которые являлись мощным ударом по ее положению музы поэта. Досадным был сам факт написания этого стихотворения, а публикация подтвердила, что раньше было известно лишь по слухам — что поставщицей горячего для поэтического мотора была теперь не Лили.

Описав первую встречу у доктора Симона — “входит / красавица в зал, /в меха / и бусы оправленная”, Маяковский дает определение любви, которое может считаться одним из наиболее сильных в истории русской лирики:

Любить —

это значит:

в глубь двора

вбежать

и до ночи грачьею,

блестя топором,
 рубить дрова,
 силой
 своей
 играючи.
 Любить —
 это с простынь,
 бессонницей рваных,
 срываться,
 ревнуя к Копернику,
 его,
 а не мужа Марьи Ивановны,
 считая
 своим
 соперником.

Публикуя этот гимн силе любви, Маяковский рисковал репутацией пролетарского поэта, в чем он, естественно, отдавал себе отчет. Он всегда болезненно реагировал на намеки о том, что он живет не так, как — по мнению критиков — должен; а любовная связь с “белой” эмигранткой и вовсе превращала его в открытую мишень для нападок. Покупка машины тоже была щекотливым делом в стране, где личные автомобили можно было пересчитать на пальцах одной руки. Понимая, что “рено” зачтут ему в минус, Маяковский защитился стихотворением “Ответ на будущие сплетни”, объясняя, что он заплатил за машину своим пером: “Две тыщи шестьсот / бессоннейших строк / в руле, / в рессорах / и в спицах”; “Не избежать мне / сплетни дрянной. / Ну что ж, / простите, пожалуйста, / что я / из Парижа / привез Рено, / а не духи / и не галстук”. Стихотворение было написано до того, как машину доставили в Москву, и напечатано в январском номере газеты “За рулем”.

■ ОБЫВАТЕЛИ УС ВУЛЬГАРИС

Одновременно с этой высокой лирикой Маяковский работал над самым антилирическим произведением своей жизни. Завер-

шенная в конце декабря пьеса “Клоп” была с энтузиазмом встречена Всеволодом Мейерхольдом, который десять лет назад ставил “Мистерию-буфф”. Постановочные работы — декорации, костюмы, репетиции — были выполнены в рекордный срок — меньше месяца; музыку к спектаклю написал молодой композитор Дмитрий Шостакович.

Во второй версии автобиографии, которая была подготовлена в апреле 1928 года, Маяковский сообщил, что за прославляющей революцию поэмой “Хорошо!” последует поэма под названием “Плохо!”. Она не была написана, вместо нее Маяковский задумал пьесу “Клоп”, главный герой которой — любитель выпить и побренчать на гитаре, слезливый обладатель партбилета Присыпкин представляет собой вульгаризованный вариант советского гражданина, пародированного Маяковским в поэме “Про это”. Присыпкин, чтобы жениться на маникюрге и кассирше Эльзевире Ренессанс, бросает свою старую любовь, работницу Зою Березкину, и та в отчаянии пытается покончить жизнь самоубийством. На свадьбе, которую празднуют в парикмахерской, вспыхивает пожар, и все погибают. Через пятьдесят лет в подвале дома находят замороженного Присыпкина, утонувшего при тушении пожара, и Институт человеческих воскрешений получает задание разморозить его. Вместе с Присыпkinsким воскрешается и клоп — “редчайший экземпляр вымершего и популярнейшего в начале столетия насекомого”, распространяющего заразные явления, которые в 1979 году давно исчезли и остались лишь в словарях: влюбленность, романсы, самоубийство, танцы, табак, водка... Когда молодая девушка начинает танцевать чарльстон и бормотать стихи, профессора объясняют, что “это приступы острой “влюбленности”, — так называлась древняя болезнь, когда человечья половая энергия, разумно распределяемая на всю жизнь, вдруг скоротечно конденсируется в неделю в одном воспалительном процессе, ведя к безрассудным и невероятным поступкам”. А когда ассистентка профессора, не кто иная, как постаревшая Зоя Березкина, признается, что пятьдесят лет назад она пыталась покончить с собой из-за любви, профессор восклицает: “Чушь... От любви надо мосты строить и детей рожать...” Реплики явно автобиографичны, здесь слышатся

намеки и на самоубийство Антонины Гумилиной, и на рождение дочери Элли-Патриции.

Когда клопа в конце концов ловят, его вместе с Присыпкиным отправляют в зоопарк. Их двое — разных размеров, но одинаковых по существу: это знаменитые “клопус нормалис” и... “обывателиус вульгарис”. Оба водятся в затхлых матрацах времени”. Запертого в клетку вместе с гитарой, водкой и папиросами Присыпкина — “существо”, как его называет директор зоопарка, — показывают любопытной публике. Специальные фильтры “задерживают выражения”, его вульгарные речи доходят до слушателей в отцензурированном виде. Иногда он курит, иногда “вдохновляется” с помощью водки. Директор призывает его сказать “что-нибудь коротенькое”, и Присыпкин, обращаясь к театральной публике, кричит: “Граждане! Братцы! Свои! Родные! Откуда? Сколько вас?! Когда же вас всех разморозили? Чего ж я один в клетке? Родимые, братцы, пожалте ко мне! За что ж я страдаю?! Граждане!..”

Если клоп — метафора Присыпкина, то Присыпкин — карикатура на Маяковского — поэта, который из-за своих мечтаний о “немыслимой любви” страдает за все человечество. Чтобы подчеркнуть эту параллель, Маяковский настоял, чтобы исполнитель главной роли научился подражать его манерам. “Клоп” — сведение счетов с мечтами молодости о светлом будущем и спасительной любви. Коммунистическое будущее в пьесе — бездуховное, механизированное общество, в котором любовь редуцирована до чистой физиологии, до полового влечения. Мечта о воскрешении в поэме “Про это”, где Маяковский в будущем встречает свою любовь “дорогой зоологических аллей”, жестко пародируется в “Клопе”, где воскрешенное alter ego поэта держат в клетке вместе с вредным насекомым. В поэме “Человек” Маяковский заявляет, что он “для сердца”, но в обществе будущего никто не знает, что такое сердце. И если в “150 000 000” он верил, что “в новом свете раскроются / поэтом опоганенные розы и грезы, / все на радость / нашим / глазам больших детей!”, то в 1979 году действительность выглядит иначе: “Есть про розы только в учебниках садоводства, есть грезы только в медицине, в отделе сновидений”.

Работа над “Клопом” была изнурительной, Маяковский трудился круглые сутки и почти не спал. Но работа изматывала его не только физически, но и потому, что пьеса была вариацией главной темы его творчества — и теперь эта тема в первый раз за многие годы проявилась в полную силу. Татьяна постоянно присутствовала в его мыслях, и пьесу он дописывал ручкой Waterman, которую она ему подарила. “НАДЕЮСЬ ЕХАТЬ ЛЕЧИТЬСЯ ОТДЫХАТЬ НЕОБХОДИМО РИВИЕРУ ПРОШУ ПОХЛОПОТАТЬ ВМЕСТЕ ЭЛЬЗОЙ ТЕЛЕГРАФИРУЙ ПИШИ ЛЮБЛЮ СКУЧАЮ ЦЕЛЮЮ ТВОЙ ВОЛ”, — телеграфировал он 13 января. Наташе Брюханенко, навестившей Маяковского в январе, он с “большим дружеским доверием” сообщил, что застрелится, если не встретится с женщиной, которую любит. Но Наташа доверия не оправдала: опасаясь за его жизнь, она немедленно позвонила и обо всем рассказала Лили...

Маяковский не мог уехать до премьеры “Клопа”, которая состоялась 13 февраля и, за редкими исключениями, была принята критикой благожелательно. Но уже на следующий день он покинул Москву. С российской границы он послал Татьяне телеграмму: “ЕДУ СЕГОДНЯ ОТАНОВЛЮСЬ ПРАГЕ БЕРЛИНЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ”. Причиной, по которой Маяковский, несмотря на тоску по Татьяне, ехал через Прагу и Берлин, были деньги. 1 февраля он подписал с Госиздатом генеральный договор, отдав ему права на публикацию “всех произведений, как издававшихся, так и еще неизданных, а также тех, которые будут созданы автором в течение срока действия договора (4-х лет)”. В ответ на это издательство обязалось выплачивать ему ежемесячную зарплату около 1000 рублей, что дало бы ему “возможность работать без спешки, не теряя время на разную договорную волокиту”. Но, учитывая его планы на будущее, договора с Госиздатом было недостаточно, и Маяковский крайне нуждался в дополнительных источниках дохода.

Поэтому Маяковский поехал в Прагу, где к “Клопу” проявили интерес. Роман Якобсон организовал ему встречу с заведующим репертуаром Виноградского театра, и Маяковский прочитал ему пьесу; но, несмотря на то что новаторская драматургия и мастерское чтение произвели сильное впечатление, контракт



- Маяковский со Всеволодом Мейерхольдом и молодым Дмитрием Шостаковичем во время репетиции “Клопа”. Рядом с Маяковским стоит Александр Родченко, который рисовал костюмы для второй части пьесы, где действие происходит в 1979 г.

не состоялся, и Маяковский покинул Прагу уже на следующий день; по словам Якобсона, он “рвался во-всю в Париж” и открыто говорил о своей любви к Татьяне: “Вот, полюбил, и тут же все отбрасываю в сторону”.

Во время этого пражского визита Маяковскому был оказан гораздо более прохладный прием в советской миссии, чем два года назад. “Из-за него или из-за меня, я не знаю”, — вспоминал Якобсон, который, однако, слышал от приезжих из Москвы, что “считалось уже выгодным и шиком [Маяковского] шпынять, что нападал на него каждый, кому не лень”.

Если Прага принесла разочарование, то в Берлине обстоятельства сложились лучше. Там он подписал с издательством “Малик” договор, который надеялся заключить еще прошлой осенью, — это был немецкий вариант генерального договора с Госиз-

датом. Поставив подпись, он смог поехать дальше, в Париж: “ПРИЕДУ ЗАВТРА ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО ДВА ЧАСА ГОЛУБЫМ ЭКСПРЕССОМ”, — телеграфировал он Татьяне 21 февраля.

■ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ПРОШУ ИЗВЕСТИТЬ...

“Он вернулся еще более влюбленным, чем уехал”, — вспоминала Татьяна, получившая в подарок рукопись “Клопа”. Во время двухмесячного пребывания Маяковского во Франции они виделись ежедневно. “В.В. забирает у меня все свободное время”, — сообщала Татьяна матери, объясняя, почему пишет так редко. Их излюбленными местами были “Куполь” и маленький ресторанчик “Гранд шомьер” на Монпарнасе. Поскольку последних американских и французских фильмов в Советском Союзе не показывали, они часто ходили в кино, и свой первый звуковой фильм Маяковский посмотрел вместе с Татьяной в кинотеатре *News*.

Как и прежде, он поддерживал контакты с Эльзой, но теперь они встречались реже и общение стало менее доверительным. Эльза больше не жила в “Истрии”, 6 ноября 1928 года, вскоре после того, как Маяковский познакомился с Татьяной, Эльза встретила французского поэта-сюрреалиста Луи Арагона, и они мгновенно полюбили друг друга. Знакомство с Арагоном произошло в период, когда Эльза стояла на распутье. Брак с Триоле изжил себя давно, ее личная жизнь складывалась неудачно, у нее не было денег, и как писатель она была известна только в СССР. Осенью 1928 года положение стало настолько отчаянным, что Эльза попросила Маяковского помочь ей вернуться на родину. И вот после пары неудачных романов она знакомится с Арагоном, к которому переезжает уже через два месяца! Новая любовь единым махом изменила ее жизненную ситуацию и, кроме того, принесла равновесие в вечное соперничество со старшей сестрой: теперь рядом с Эльзой тоже был великий поэт...

Маяковский и Татьяна проводили выходные в Ле-Туке или Довиле на Атлантическом побережье Франции, где их никто не

тревожил и где находились казино, привлекавшие возможностью пополнить дорожную кассу. Маяковский был щедрым, даже расточительным кавалером, и кошелек с каждым днем становился тоньше. Он надеялся на деньги от Госиздата, но 20 марта Лили сообщила, что ей отказали в переводе валюты в Париж. Эту неудачу Маяковский попытался компенсировать за игорным столом, но ему не везло. Он так проигрался в рулетку, что им пришлось добираться до Парижа автостопом. “Он великолепно играл во все игры, — вспоминала Татьяна, — но там были люди, которые играли лучше него”.

Через два дня после того, как он узнал о замороженном денежном переводе, Маяковский уехал в Ниццу “на сколько хватит, — сообщал он Лили в единственном из сохранившихся писем этого периода, — хватит очевидно только на самую капелюку”. Поездка в Ниццу преследовала две цели: с одной стороны, он хотел попытать счастья в казино Монте-Карло, с другой — встретиться с американскими подругами.

Его ждала двойная неудача. В Монте-Карло Маяковский проиграл свои последние франки и, голодный, был вынужден взять займы у Юрия Анненкова, который уже несколько лет жил во Франции и с которым он случайно встретился в Ницце. На вопрос Маяковского, когда он планирует вернуться в Москву, Анненков ответил, что даже не думает об этом, потому что хочет остаться художником. “Маяковский хлопнул меня по плечу, — вспоминал Анненков, — и, сразу помрачнев, произнес хриплым голосом: “А я — возвращаюсь... так как я уже перестал быть поэтом”. Затем произошла поистине драматическая сцена: Маяковский разрыдался и прошептал едва слышно: “Теперь я... чиновник...”

Что касается двух Элли, то они уже месяц жили у подруги в Милане. Когда же в середине апреля они вернулись в Ниццу, чтобы девочка получила немного солнца перед возвращением в США, Маяковский уже уехал. “Она Вас еще не забыла, хотя я никогда о Вас не говорю, — писала Элли в ответ на несохранившееся письмо Маяковского. — На днях мы гуляли в Милане и она вдруг говорит: “Der große Mann heisst Володя”^{*}. Вы мне как-то

* “Большого человека зовут Володя” (нем.).

давно сказали, что никогда ни одна женщина не устояла Вашему charm'у. Очевидно, Вы правы!” Если раньше Элли надеялась на будущую жизнь с Маяковским, то теперь она оставила эти мысли. Она сообщила свой новый адрес в Нью-Йорке, в конце зловеще добавив: “А знаете, запишите этот адрес в записной книжке — под заглавием “В случае смерти, в числе других, прошу известить” и — нас — Берегите себя”.

Маяковский послушался и записал текст в записную книжку. Что же заставило ее подумать, что он скоро уйдет из жизни? Ему было всего тридцать пять лет. В одном из писем Элли говорит о своей подруге, что она “*тоже* кандидат на самоубийство” (курсив мой. — Б.Я.), из чего можно сделать вывод, что суицидальные наклонности Маяковского не были для нее тайной: видимо, он рассказал ей о своих попытках самоубийства и постоянных мыслях об этом. Но есть и другое объяснение ее тревоге — Маяковский боялся, что его убьют. Двадцатые годы были эпохой беззакония и бандитизма, и в Сокольниках, и в Гендриковом переулке их неоднократно пытались ограбить, Маяковский постоянно носил с собой кастет и заряженный пистолет. Своими стихами и вызывающими манерами он будил в людях сильные реакции, и однажды один сумасшедший пытался его убить.

В последнее время в связи с обострением политической борьбы в СССР появились и новые обстоятельства: в январе Троцкого выслали из Казахстана в Турцию, а в апреле Бухарин был смещен с поста главного редактора газеты “Правда”. Консолидации внутри партийно-правительственного аппарата соответствовала централизация экономической власти: с нэпом было покончено, проводилась коллективизация сельского хозяйства и национализация промышленности. Атмосфера в стране становилась все более клаустрофобичной, власть видела врагов повсюду, процветало доноительство, и газетные колонки пестрели заметками о детях, отказавшихся от своих — подразумевалось, контрреволюционных — родителей. Маяковский и Татьяна, разумеется, находились под надзором парижских агентов ОГПУ, и трудно себе представить, чтобы Маяковский не знал — или по крайней мере не догадывался, — что соотечественники следят за

каждым его шагом. Его старания помочь сестре Татьяны уехать из Советского Союза также привлекли к себе внимание. Первый поэт советской России вступил в сговор с известной эмигрантской семьей!

Письмо Элли всколыхнуло мысли о самоубийстве, а разговор с Анненковым обнажил расколотость Маяковского и неоднозначность той поэтической и политической роли, которую он на себя взял. Из немногочисленной и скудной корреспонденции этого периода ясно, что отношения с Лили были достаточно прохладными. На этом фоне было просто *необходимо*, чтобы связь с Татьяной была удачной! *Необходимо*, чтобы она стала его женой и уехала с ним в Советский Союз! Но Татьяна сомневалась, а ее мать в Пензе была глубоко встревожена: “Я совсем не решила ехать или, как ты говоришь, “бросаться” за М., — успокаивает ее Татьяна в письме незадолго до того, как Маяковский вернулся в Париж в феврале, — и он совсем *не за мной* едет, а *ко мне* и ненадолго”. Она не хочет замуж сейчас, но если бы она вышла замуж, то за Маяковского. Он так “умен”, что все прочие ее кавалеры — ничего не стоят по сравнению с ним. В пользу брака с Маяковским говорило и то, что в этом случае она снова увидела бы мать.

Маяковский засыпал Татьяну признаниями в любви и предложениями руки и сердца, но Татьяну ли он любил — или саму любовь? “Володя написал красивое стихотворение Татьяне. Бедная, бедная Татьяна! — записала Эльза в дневнике 3 декабря 1928 года, в день отъезда Маяковского из Парижа. — Об этом можно было бы написать роман. По сути об этом нельзя сказать лучше, чем это делает Володя в своих стихах. Но как ужасно знать человека так, как я — когда, что, как — все это я знаю о нем, не обменявшись ни единым словом, мне достаточно видеть, в каком он состоянии. Его хитрость и звероподобные нападки, это либо бильярд, либо любовь. А теперь Тата, молодая, красивая, нежно любимая всеми и каждым”.

Для Эльзы отношения Маяковского с Татьяной были вариацией темы, с которой они с Лили были прекрасно знакомы: эмоциональная буря, требовавшая немедленной и стопроцентной взаимности. Понимала ли это Татьяна? И понимала ли она, что

была предметом не столько его любви, сколько его *потребности в любви*? Едва ли. Ошеломленная его напором и польщенная вниманием одного из лучших русских поэтов, она не могла знать, что все женщины, за которыми ухаживал Маяковский, подвергались такому же эмоциональному штурму. И насколько близкими были их отношения? Маяковский рассказывал Лили, что он был первым мужчиной, которому Татьяна “отдалась”, во что Лили отказывалась верить. Такая красивая женщина, с множеством поклонников, к тому же с репутацией *femme fatale*?! Подобное проявление целомудрия, если не сказать — чопорности, Лили было трудно понять... По словам Татьяны, они не были близки во время его первого визита. “Он был охотник, настоящий охотник, он любил побеждать, ему это было нужно, — рассказывала она в интервью много лет спустя. — Если бы я с ним переспала в первый раз, то он, м.б., и не вернулся”.

Независимо от степени близости между ними, Татьяну раздрали противоречивые чувства, когда весной 1929 года Маяковский усилил давление и “стал отчаянно уговаривать [ее] вернуться в Россию”. Одновременно он объяснил ей, как и Анненкову, что на родине его многое “разочаровало”. Но и в этот раз Татьяна не смогла принять решение. Может быть, ее смущало то, что Маяковский относился к событиям на родине с растущим скепсисом? О том, чтобы он остался во Франции, не могло быть и речи. Покинув СССР, он бы умер как поэт. Без советской атмосферы он не мог дышать, а без Лили и Осипа не смог творить — ведь никто не понимал его личность и не ценил его поэзию так, как они; и какими бы сложными ни были отношения с Лили, ближе ее у него никого не было. Может быть, понимание этого и удерживало Татьяну.

Маяковский уехал из Парижа в последние дни апреля. Прощанье устроили в его любимом ресторане “Гранд шумьер”. На ужине — кроме Татьяны — присутствовали Эльза и Арагон и несколько других людей, в том числе советский писатель Лев Никулин и один знакомый “автомобилист”, который после ужина отвез компанию на Северный вокзал к берлинскому поезду. “Владимир Владимирович и его спутница, провожавшая его, ходили под руку по платформе, пока не пришло время войти

в вагон”, — вспоминал Никулин. В октябре он намеревался вернуться в Париж, чтобы жениться на Татьяне.

Перед тем как уехать из Парижа, Маяковский телеграфировал Лили и попросил ее перевести 100 рублей в Негорелое, железнодорожную станцию на границе с Польшей. У него деньги кончились, и ему нужна была помощь, чтобы добраться домой.



У нас сейчас лучше чем когда нибудь такого размаха общей работищи не знала никакая история.

■ Из письма Маяковского к Татьяне летом 1929 г.

“Я” огорчилась, когда Володя прочел мне “Письмо из Парижа о сущности любви”, — призналась Лили впоследствии. Это был эвфемизм — она испытала не огорчение, а разочарование и обиду. Подтвердив чувства Маяковского к Татьяне, стихотворение нанесло страшный удар по ее самолюбию; впервые ее место в жизни и поэзии Маяковского оспаривалось, и это стало для нее потрясением. Зимой 1928–1929 годов психическое состояние Лили явно ухудшилось, чему способствовали разрыв с Кулешовым и отсутствие ему до поры до времени достойной замены. В свои тридцать семь она утратила привлекательность? Пока Маяковский был в Париже, Лили страстно влюбилась в другого кинорежиссера, Всеволода Пудовкина, прославившегося в 1926 году экранизацией романа Горького “Мать”, а два года спустя снявшего фильм “Потомок Чингис-хана” (по сценарию Осипа), который принес ему международную известность.

Пудовкин тоже соответствовал вкусам Лили: светский, в совершенстве владевший французским, отличный теннисист. Он был женат, но жил отдельно от жены-актрисы, так что имелись все условия для романа без мук ревности, по схеме Лили. Не соответствовало только одно: в отличие от большинства мужчин, Пудовкин не поддавался обаянию Лили, в результате чего она попыталась

■ Вероника Полонская, последняя любовь Маяковского.

покончить с собой. Лили выпила большую дозу снотворного, ее спасли, но выздоровление заняло несколько месяцев. Когда Маяковский вернулся из Парижа, она обо всем ему рассказала. Примечательна не ее откровенность — они ведь договорились ничего не скрывать друг от друга, — а реакция Маяковского. “Он дернулся как-то, — вспоминала Лили, — и ушел из комнаты не дослушав”. Любое упоминание о самоубийстве будило в нем мрачные мысли.

Таким образом, когда Маяковский 2 мая вернулся из Парижа в твердом намерении снова уехать туда в октябре, чтобы жениться на Татьяне, отношения в “семье” были напряжены до предела. За обеденным столом в Гендриковом переулке велись долгие и отчаянные разговоры. Судя по записям Лили, она пыталась убедить Маяковского в том, что Татьяна не такая, как ему кажется, что у нее есть другие любовники и что, даже если она выйдет за него замуж, она никогда не последует за ним в Москву... Но его чувства к Татьяне были глубже симпатии к Наташе Брюханенко, и аргументы не действовали. 8 мая, с опозданием в один день, он поздравил Татьяну с двадцатитрехлетием, а 15 мая отправил ей и письмо и телеграмму. Это был ответ на несохранившееся письмо Татьяны, в котором она, по-видимому, упрекала его за то, что он не пишет. “Только сейчас голова немного раскрутилась можно немножко подумать и немного пописать. Пожалуйста не ропщи на меня и не крой — столько было неприятностей [так!] от самых мушинных до слонячих размеров что право на меня нельзя злоститься”. Далее он так описывает свое положение:

1) Я совершенно и очень *люблю* Таника.

2) Работать только что начинаю буду выписывать свою “Баню”.

3) Лиличка [сестра Татьяны] взорвалась и рассердилась что я ее не транспортирую немедленно на Эйфелову башню но теперь успокоилась и временно помирилась на поездке в Сочи, куда она и отбывает дня через два. Надеюсь уговорить поехать и твою маму буду опираться на твой ей приказ отдыхать. Кстати, там и увидимся.

4) Вчера получил письмо от твоей мамы спрашивает о тебе — сегодня буду отвечать

5) Книги шлю тебе сегодня 4 том и два номера Молодой гвардии с Клопом.

6) Еду из Москвы около 15–25 июня по Кавказу и Крыму — читать.

7) Пиши мне *всегда и обязательно* и телеграфируй без твоих писем мне просто никак нельзя.

8) Тоскую по тебе совсем небывало

9, 10, 11, 12 и т. д. Люблю тебя всегда и всю очень и совершенно

Ответ Татьяны не сохранился, но о ее чувствах можно судить по письму, которое она отправила в эти же дни сестре: “Напиши, какое у него настроение и как он выглядит. Я без него очень скучаю. Здесь мало людей его масштаба”. Татьяна посылает ей три пары тонких чулок, пару бежево-серых туфель и платье фисташкового цвета, которые Маяковский обещает помочь оформить на таможне; его забота о матери и сестре Татьяны была поистине трогательной. Людмила, судя по всему, в Крым поехала, а мать нет. “Очень меня расстроило, что ты не хотела ехать в Крым, — пишет ей Татьяна. — В.В. тоже написал мне расстроенное письмо. Ему хотелось это устроить. Ведь все, что он может сделать мне приятного (в таком долгом отсутствии), — это забота о тебе и Лилишке. И именно это я в нем ценю. Бесконечная доброта и заботливость”. (Неблагодарная реакция Людмилы, вызванная тем, что Маяковский не устроил ей немедленную доставку в Париж, позволяет подозревать, что она использовала его “доброту” главным образом в собственных интересах...)

Они договорились писать друг другу часто, раз в три дня, но так не получалось. После письма Маяковского от 15 мая наступил трехнедельный перерыв. Либо они не писали, либо не работала почта, либо письма задерживала цензура, либо они не сохранились*. Однако молчанию есть еще одно объяснение, и имя ему — Вероника Полонская, молодая актриса МХАТа.

* После смерти Маяковского Лили уничтожила все письма Татьяны. Татьяна сохранила письма и телеграммы Маяковского, но часть их пропала при бегстве в США во время Второй мировой войны.

■ НОРА

Вероника, или, как ее называли друзья, Нора, исполняла одну из главных ролей в фильме Лили и Жемчужного “Стеклянный глаз”, премьера которого состоялась в январе 1929-го. Несмотря на молодость — она родилась в 1908 году, — красавица Нора уже четыре года была замужем за коллегой-актером МХАТа Михаилом Яншиным; но брак был неудачным, и каждый из них жил своей жизнью. Лили, которая познакомилась с ней на съемках, Нора показала потенциальным объектом для неугасимой потребности Маяковского в женской красоте и заботе. Маяковский легко влюблялся, и Лили надеялась, что Нора заставит его забыть о Татьяне; оставалось только найти подходящий случай и познакомиться их. Таковой представился 13 мая, когда Лили и Осип устроили встречу на московском ипподроме. “Обратите внимание, какое несоответствие фигуры у Володи, — заметил Осип, обращаясь к Норе. — Он такой большой — на коротких ногах”. Маяковский ростом был почти метр девяносто, а из-за крупной верхней части тела воспринимался многими как великан. Таким же он показался Норе, которая на первый взгляд нашла его “каким-то большим и нелепым в белом плаще, в шляпе, нахлобученной на лоб, с палкой, которой он очень энергично управлял”. Пугали его “шумливость” и “разговор, присущий только ему”.

На скачках также присутствовали муж Норы, Юрий Олеша, Борис Пильняк и Валентин Катаев, у которого компания договорилась встретиться вечером. Маяковский пообещал забрать Нору после спектакля на автомобиле, но его задержала бильярдная партия в гостинице “Селект”, и Нора поехала к Катаеву вместе с мужем. Оказавшись на месте, она узнала, что Маяковский несколько раз звонил и спрашивал ее. Еще один телефонный разговор, и наконец он появился сам. На вопрос, почему он так и не заехал за ней, Маяковский ответил: “Бывают в жизни человека такие обстоятельства, против которых не попрешь... Поэтому вы не должны меня ругать”.

Как и всегда, влюбленному Маяковскому нужно было немедленно удостовериться в своей привлекательности, и он назначил Норе свидание уже на следующий день. Встретившись во второй половине дня, они пошли на прогулку. “На этот раз Маяковский произвел на меня совсем другое впечатление, чем



■ Вероника Полонская в фильме Л.Ю. Брик “Стеклянный глаз”.

накануне, — вспоминала Нора. — Он был совсем не похож на вчерашнего Маяковского — резкого, шумного, беспокойного в литературном обществе”. Теперь он был “обыкновенно мягок и деликатен, говорил о самых простых, обыденных вещах”. После нескольких дней бесед и прогулок Маяковский пригласил Нору в комнату в Лубянском проезде, где “сильным, низким голосом, которым он великолепно управлял”, читал свои стихи — “необыкновенно выразительно, с самыми неожиданными интонациями”. Далее Маяковский действовал в привычном ключе. Когда Нора на вопрос: “Нравятся мои стихи, Вероника Витольдовна?” — ответила “да”, он начал “неожиданно и настойчиво” обнимать ее, а встретив сопротивление, “страшно удивился, по-детски обиделся”. Он “надулся, замрачнел” и сказал: “Ну ладно, дайте копыто, больше не буду. Вот недотрога”. Однако Нора уже поняла, что если Маяковский захочет, он, по ее выражению, “войдет в ее жизнь”, и через несколько дней они впервые стали близки. Провожая ее потом домой, он посреди Лубянской площади вдруг



■ Маяковский с актрисой Анель Судакевич в Хосте в августе 1929 г.

начал танцевать мазурку — “такой большой и неуклюжий, а танцевал очень легко и комично в то же время”.

Маяковский, который никогда не танцевал, внезапно исполняет мазурку в центре Москвы! Это многое говорит о его душевном состоянии, но свидетельствует и об отсутствии в нем “стыдливости”. Будучи инфантильно эгоцентричным, он всегда вел себя так, словно рядом с ним никого нет. Он никогда не смущался, мог посреди улицы снять ботинок, в который попал камешек, и громко обсуждал по телефону самые интимные вопросы, не обращая внимания на то, что его слышат посторонние. В этом проявлялась важная черта характера Маяковского: его неспособность к лицемерию, хитрости, фальши, интригам; он категорически не умел притворяться.

Как и других, Нору поразили перепады настроения Маяковского: “Я не помню Маяковского ровным, спокойным: или он искрящийся, шумный, веселый, удивительно обаятельный, все время повторяющий отдельные строки стихов, поющий эти стихи на сочиненные им же своеобразные мотивы, — или мрачный, и тогда молчащий подряд несколько часов”.

Несмотря на трудности, вызванные характером Маяковского, за лето их отношения стали более серьезными. В июле Маяковский отправился в ежегодное турне в Крым, где Нора проводила отпуск в компании мхатовских подруг. Они пробыли вместе несколько дней в Сочи и Хосте и собирались через неделю снова встретиться в Ялте, однако Нора заболела и приехать не смогла. Маяковский был вне себя от волнения, бомбардировал ее телеграммами-молниями, одна из них была такой длинной, что телеграфистка не знала, как реагировать. Он умолял Нору приехать, в противном случае намеревался отправиться к ней в Сочи сам — Нора же в ответ предлагала увидеться уже в Москве; об их отношениях и так уже много сплетничали, и она опасалась, как бы слухи не дошли до ее мужа — единственного человека, который, по-видимому, ничего не знал. 22 августа Маяковский вернулся домой. Когда через шесть дней в Москву приехала Нора, он встретил ее на вокзале “взволнованный” и “ласковый, как никогда”. В руках Маяковский держал две розы — вместо огромного букета, который на самом деле хотел бы ей вручить, но побоялся выглядеть как “влюбленный гимназист”, как он объяснил матери Норы.

Нора не сомневалась в чувствах Маяковского и к этому времени была уже готова разделить с ним жизнь. Но, несмотря на то что она “была бы счастлива”, если бы он “тогда предложил [ей] быть с ним совсем”, Маяковский, к ее огорчению, не говорил “о дальнейшей форме” их отношений. Сдерживающим фактором была, разумеется, Татьяна, о чьем существовании Нора должна была знать, поскольку посвященное той стихотворение “Письмо товарищу Кострову...” уже было опубликовано. Лгать о ней Маяковский, таким образом, не мог. Чтобы сохранить отношения с Норой, ему нужно было убедить ее, что связь с Татьяной уже в прошлом. Однако Татьяна принадлежала не прошлому, а будущему. “Не грусти детка не может быть такого случая чтоб мы с тобой не оказывались во все времена вместе, — писал ей Маяковский 8 июня, как раз тогда, когда активно ухаживал за Норой. — Ты спрашиваешь меня о подробностях моей жизни. Подробностей нет”. Слово “подробности” у Маяковского часто обозначало нечто такое, о чем он не хотел или не мог рассказать. В данном случае несуществующей “подробностью” была Нора. Письма Маяковского никогда не отличались особой содержательностью, и любопытство Татьяны могло быть вызвано общим интересом к его жизни. Но скорее всего до Татьяны дошли слухи о его романе с Норой — от Эльзы, которую в свою очередь проинформировала Лили, чью заинтересованность в том, чтобы чувства Маяковского к Татьяне остыли, нельзя недооценивать.

На протяжении лета Маяковский интенсивно работал над новой пьесой “Баня”, продолжением “Клопа”. Но лирику он почти не писал, по крайней мере такую, какой мог бы гордиться. “Не написал ни одной стихотворной строки, — жаловался он Татьяне в том же письме. — После твоих стихов прочие кажутся пресными. На работу бросаюсь помня что до октября не так много времени <...>. Милый мой родной и любимый Таник Не забывай меня пожалуйста Я тебя так же *люблю* и рвусь тебя видеть”. Через месяц, 12 июля, он упрекает ее за то, что она почти ничего не пишет, и продолжает: “Дальше октября (назначенного нами) мне совсем никак без тебя не представляется. С сентября начну себе приделывать крылышки для налета на тебя”. Объяснения в любви продолжают в письме, написанном спустя четыре

дня: “У меня всегда мысль о тебе когда я думаю о приятнейших и роднейших мне людях. Детка — люби меня пожалуйста. Это мне прямо необходимо”. Он скучает по ней, как пишет, “регулярно”, а “в последние дни даже не регулярно а еще чаще”. И он перечисляет аргументы в пользу того, чтобы она вышла за него замуж и вернулась в СССР:

У нас сейчас лучше чем когда нибудь такого размаха общей работищи не знала никакая история.

Радуюсь как огромному подарку тому что я впряжен в это напряжение.

Таник! Ты способнейшая девушка. Стань инженером. Ты право можешь. Не траться целиком на шляпья.

Прости за несвойственную мне педагогику.

Но так бы этого хотелось!

Танька инженерица где нибудь на Алтае!

Давай, а!

Как бы Татьяна ни относилась к этому предложению и какие бы слухи о Норе до нее ни дошли, она очень ждала приезда Маяковского. “С большой радостью жду его приезда осенью, — писала она матери. — Здесь нет людей его масштаба. В его отношениях к женщинам вообще (и ко мне в частности) он абсолютный джентльмен”.

Утверждение Маяковского о том, что он не написал “ни одной стихотворной строчки”, уже через месяц утратило актуальность. В Крыму он написал “Стихи о советском паспорте”, которые начинались неистовой атакой на бюрократизм:

Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.

К мандатам
почтения нету.

К любым
чертям с матерями
катись

любая бумажка.

Есть, однако, одно исключение: советский паспорт. С помощью головокружительных гипербола Маяковский описывает проверку паспортов: у англичан, американцев, поляков, датчан “и разных / прочих / шведов” документы берут спокойно, в то время как “краснокожую паспортину” из рук Маяковского таможенный чиновник

Берет —
как бомбу,
берет —
как ежа,
как бритву
обоюдоострую,
берет,
как гремучую
змею
в 20 жал
двухметроворостую.

<...>

К любимым
чертям с матерями
любая бумажка. Катись
Но эту...

Я
достаю
из широких штанин
дубликатом
бесценного груза.
Читайте,
завидуйте,
я —
гражданин
Советского Союза.



■ В июне 1929 г. Лили — одна из первых женщин в Советском Союзе — получила водительские права. Однажды она сшибла девочку. Дело передали в нарсуд, который ее оправдал. "Мне позвонил лирически один из членов суда! Я даже растерялась от неожиданности, — записала Лили в дневнике, добавив: — Володя позавидовал мне". Как-то Лили условилась с Родченко, что тот сфотографирует ее за рулем во время поездки в Ленинград: "Мы фотографировались в Москве, я была в одном платье, потом переоделась, заехали на заправку бензина к Земляному валу, он снимал с заднего сиденья, как-то еще... Мы условились, что отъедем верст двадцать, он поснимает, а потом вернется домой, я же поеду дальше. Но дальше я не поехала, выяснилось, что дорога ужасна, и машина начала чихать, и вообще одной ехать так далеко скучно и опасно".



Лето 1929 года прошло в томительном ожидании возможности еще раз напугать французских пограничников, но 28 августа, согласно дневнику Лили, у нее и Осипа состоялся “с Володиёв разговор о том, что его в Париже подменили”. Весть пришла, скорее всего, от Эльзы, которая держала Лили в курсе парижских новостей, так же как Лили рассказывала ей обо всем, что происходило в Москве. Информация о жизни Татьяны наверняка поступала и от советских агентов в Париже, передававших ее через сотрудников ОГПУ, с которыми дружили Лили и Маяковский. А рассказывать было о чем. Если Маяковскому удавалось одновременно ухаживать за двумя женщинами, то в резервном списке поклонников Татьяны числились по крайней мере трое. Одним из них был внук русского лауреата Нобелевской премии по медицине Ильи Мечникова, носивший то же имя. “У меня сейчас масса драм, — сообщала Татьяна матери в феврале 1929 года. — Если бы я даже захотела быть с М., то что стало бы с Илей [sic], кроме него есть еще 2-ое. Заколдованный круг!” Другим запасным кавалером был Бертран дю Плесси, француз-



ский виконг, служивший атташе при французском посольстве в Варшаве.

Разговор о том, что “в Париже Володю подменили”, сводился именно к тому, чтобы убедить его в вероломстве Татьяны и в том, что нет смысла ехать в Париж. По всей вероятности, Маяковского пытались уговорить вместо этого остаться с Норой, которая искренне любила его. Но разговор не принес желаемого результата, и на следующий день Маяковский телеграфировал Татьяне: **“ОЧЕНЬ ЗАТОСКОВАЛ ПИШИ БОЛЬШЕ ЧАЩЕ ЦЕЛЮЮ ВСЕГДА ЛЮБЛЮ ТВОЙ ВОЛ”**.

Двойная эмоциональная бухгалтерия, которую вел Маяковский летом 1929 года, свидетельствует о глубокой растерянности и отчаянии — особенно учитывая, что, помимо Татьяны и Норы, существовала еще одна графа — Лили. Какой будет его жизнь, его будущее? Удастся ли ему создать семью более традиционного типа? Многие говорят о том, что он к этому стремился. Или он останется в “супружеском картеле”, в котором жил с 1918 года? Вопреки всему, больше всех он любил Лили, а Осип

был его лучшим другом и советчиком. Ответы на все эти вопросы с трудом нашел бы даже человек, находящийся в более стабильном психическом состоянии, чем Маяковский.

■ ПРИМАТ ЦЕЛИ И БОРЬБА С АПОЛИТИЗМОМ

Конфликты усложняли не только личную жизнь Маяковского, они также были присущи его литературной и общественной деятельности. Прошлой осенью он вышел из Лефа, потому что “мелкие литературные дробления изжили себя”. Иначе говоря, зимой 1929-го Маяковский впервые с 1912 года оказался вне литературного объединения, что для такого прирожденного борца было нелегко. Поэтому, несмотря на утверждение, что “литературные дробления” ушли в прошлое, он сразу же после возвращения из Парижа организовал новую группу — Реф: Левый фронт искусства превратился в Революционный фронт искусства. Различие между старой и новой организациями заключалось, однако, не только в смене согласной — новой была вся установка. Старые вопросы “Что делать?” и “Как делать?” заменил новый вопрос-лозунг — “Для чего делать?”. “То есть, — объяснял Маяковский, — мы устанавливаем *примат цели и над содержанием и над формой*”. Искусство — орудие классовой борьбы и “*только те литературные средства хороши, которые ведут к цели*”. Начиная с этого момента отвергается “голый факт”, а от искусства требуется “тенденциозность и направленность”. Целью Рефа объявлялась “борьба с аполитизмом и сознательная ставка на установку искусства как агитпропа социалистического строительства”. Несмотря на то что рефовцы (примерно те же, что и лефовцы, за исключением Шкловского, Сергея Третьякова и еще некоторых) не являлись членами партии, они теперь утверждали, что будут “безоговорочно [идти] за партией”.

В отличие от Лефа, Реф никакой литературно-политической роли не играл, тем более что запланированный альманах Рефа так и не увидел света. Возможно, был прав Петр Незнамов, один из его основателей, утверждавший: группа возникла “по инерции”, потому что у Маяковского “не хватало выдержки не отвечать на злораство мелких привередников молчанием”.

Как бы ни звучали объяснения, но теории Рефа отражали общую советизацию общества. Когда Маяковский писал Татьяне о том, что “никакая история” не знала “такого размаха”, как в СССР, он имел на то все основания. 1929-й был, по выражению Сталина, “годом великого перелома” — годом, во многом более переломным, чем 1917-й. Для индустриализации страны были разработаны пятилетние планы, а сельское хозяйство подверглось принудительной коллективизации. Вслед за этим ввели непрерывную пятидневную рабочую неделю, после чего следовал выходной, который мог выпасть на любой день, не обязательно на воскресенье. Целью “реформы” было не только повышение продуктивности труда, но и ужесточившаяся в этот период борьба с религией: церкви повсеместно сносились, а на Пасху 1929 года церковные колокола прозвонили в последний раз. Летосчисление стали вести не от Рождества Христова, а с 1917 года.

В 1929-м один за другим печатались восторженные отчеты об экономических достижениях и успехах советского народа. Идеологический аппарат работал на полную мощность, страна с энтузиазмом строила коммунизм. То, что коллективизация была жестокой и кровавой, а индустриализация — плохо спланированной, понимали, или позволяли себе признать, лишь немногие. А для тех, кто верил в социалистическую революцию, такие преобразования действительно означали “размах”. Не в меньшей степени это касалось и Маяковского, который, радуясь тому, что и он “впряжен в это напряжение”, внес свой стихотворный вклад в борьбу с религией и установление пятидневной рабочей недели.

Очередным этапом процесса советизации страны в 1929–1930 годах стала массированная “проверка и чистка советского аппарата”, то есть устранение “чуждых элементов” в комиссариатах и общественных институтах. Так же как и в шахтинском деле, чистка была направлена против “специалистов” сомнительного социального происхождения и/или тех, кто придерживался подозрительных политических взглядов. Самым важным критерием стал не профессионализм, а степень политической преданности государству (то есть партии). Подобную же чистку провели в области культуры и науки. Весной 1929 года была

развернута кампания против Академии наук, якобы проповедовавшей “аполитизм”, многих выдающихся ученых обвинили во “вредительстве”, а академия подверглась реорганизации. Подобные меры применили и к Институту истории искусств, одному из последних бастионов “формалистов”. Руководство МХАТа заменили, директора Пушкинского дома уволили и выслали за границу. Еще одним звеном политики закручивания гаек стал (секретный для того времени) запрет Комиссариата внутренних дел на формирование новых литературных, художественных и научных объединений. Наиболее примечательным проявлением тогдашнего политического климата было снятие с должности комиссара народного образования Анатолия Луначарского. Официально он сдал полномочия 13 сентября, но решение политбюро было принято еще 15 июля, а всего через две недели был назначен его преемник — Андрей Бубнов, верный соратник Сталина.

Когда в августе идеологическая чистка достигла кульминации в форме кампании против Бориса Пильняка и Евгения Замятина, “либеральный” Луначарский был уже уволен и не мог вмешаться. Писателей обвиняли и осуждали за то, что они опубликовали свои произведения за границей: Пильняк свою повесть “Красное дерево” в — просоветском! — издательстве в Берлине, Замятин главы антиутопии “Мы” — в русском эмигрантском журнале в Праге. Кампания была скоординирована и велась в нескольких газетах одновременно, официально за ней стоял РАПП, но инициатором было высшее партийное руководство (деятельностью РАППа, в отличие от других литературных группировок, управлял непосредственно ЦК партии).

По принципу *guilt by association** атаки на Пильняка и Замятина бросали тень на всю группу “попутчиков”, и вскоре в дискуссиях начали фигурировать имена Михаила Булгакова, Андрея Платонова, Ильи Эренбурга, Всеволода Иванова и других. Однако главными представителями “попутничества” не случайно выбрали именно Замятина и Пильняка — у обоих имелся идеологический багаж, который делал их особенно уязвимыми. Евгений

*

Виновен по ассоциации (англ.).

Замятин еще в 1921 году в статье “Я боюсь” (см. эпиграф на стр. 175) выражал сомнения относительно будущего русской литературы в условиях новой советской ортодоксальности, и через год его арестовали с намерением выслать из страны вместе с другими представителями интеллигенции на “философском корабле” — этой участи он избежал благодаря вмешательству коллег-писателей. В 1924 году цензура запретила роман “Мы”, в котором описывался коммунизм XXVI столетия, Замятин потерял надежду напечатать его на родине, а в 1927 году роман был опубликован — не без содействия Романа Якобсона — на чешском и русском в Праге.

Именно этот перевод теперь, через два с половиной года, вменили Замятину в вину. В случае с Пильняком есть основания полагать, что плохую службу ему сослужила не повесть “Красное дерево” (в ней описывается безрадостная жизнь российской провинции), а напечатанная в 1926 году в “Новом мире” “Повесть непогашенной луны”, в которой более или менее открыто утверждалось, что в убийстве Михаила Фрунзе виноват Сталин. Повесть была посвящена критику Александру Воронскому — он обеспечивал Пильняка фактическим материалом. Когда через год Воронского арестовали по обвинению в троцкизме, имя Пильняка автоматически стало ассоциироваться с троцкистской оппозицией.

Тогда, в 1926 году, после нескольких унижительных отречений, Пильняку удалось вернуться в литературу — не пришло еще время для кампаний вроде той, какая развернулась летом 1929-го. Новым в ней было, с одной стороны, то, что инициатива принадлежала высшему партийному руководству, а с другой — собственно пункт обвинения: никогда ранее писателя не осуждали за публикацию своих произведений за границей. Новым было и следующее: писательские организации поддержали не жертв, а преследователей. Замятин был председателем Ленинградского отделения Всероссийского союза писателей, Пильняк — Московского, но оба покинули посты: первый — по требованию правления, второй — по собственной инициативе и в знак протеста. “Впервые с самого начала русской письменности русские писатели не только признали полезным существование цензуры, но осу-



- Евгений Замятин в 1921 г. утверждал, что “у русской литературы одно только будущее: ее прошлое”. Рисунок Юрия Анненкова.

дили попытку уклонения от нее путем заграничных изданий, — утверждал критик в парижской эмигрантской газете “Последние известия”, добавляя: — То, чего не могли добиться в течение сотен лет представители императорской власти, то, о чем не помышляли самые свирепые “гасители духа” времен реакции, было достиг-



Борис Пильняк

■ “Попутчик” Борис Пильняк. Рисунок Юрия Анненкова.

нуто большевиками в кратчайший период и самым простейшим путем: объявлением как бы круговой поруки писателей. Цензурное нововведение большевиков немаловажное: *право на книгу заменено правом на ее автора*”.

Чтобы заручиться поддержкой писательского коллектива, РАПП обратился “ко всем писательским организациям и оди-

ночкам с предложением определить свое отношение к поступкам Е. Замятина и Б. Пильняка”. Среди откликнувшихся был и Маяковский, который от лица Рефа выступил с заявлением, чей заголовок — “Наше отношение” — звучал прямым ответом на обращение РАППа. После беспечного признания, что он не читал “Красное дерево” Пильняка “и другие повести его и многих других”, он аргументировал собственную позицию следующим образом: “К сделанному литературному произведению отношусь как к оружию. Если даже это оружие надклассовое (такого нет, но, может быть, за такое считает его Пильняк), то все же сдача этого оружия в белую прессу усиливает арсенал врагов. В сегодняшние дни густеющих туч это равно фронтовой измене”. Когда тем же вечером Маяковский обсуждал вопрос с Лили и Осипом, то за собой он признал право, в котором отказал Пильняку: “Ему не страшно было бы печататься в белом издательстве, потому что не его скомпрометирует издательство, а наоборот”, — записала Лили в дневнике.

Таким образом, то, что запрещено “попутчику”, дозволено такому революционному писателю, как Маяковский, — его позиция показывает, что он уже забрел на ту территорию, куда не должен ступать ни один писатель. Когда-то Маяковский защищал писателей от государственной власти, теперь же он принял сторону противника. И то, что он посчитал себя вправе сделать это, даже не прочитав повесть Пильняка, говорит о его отчаянной потребности дистанцироваться от “попутничества”, которое все более прочно ассоциировалось с политической оппозицией, а также о том, что не только советское общество, но и Маяковский переживали в этот период моральную девальвацию.

■ СЛОМАННЫЕ КРЫЛЫШКИ

Позиция Маяковского в полемике с Пильняком непростительна, даже учитывая то, что в это время многие советские граждане начали утрачивать политические и моральные ориентиры. Возможно, на его отношение повлияло также расстроенное душевное состояние, в котором он пребывал в конце лета 1929 года и которое было вызвано нестабильностью в личной жизни. За

весь сентябрь он не получил от Татьяны ни одного письма, на что жаловался ей в бесконечных телеграммах. Последняя из них вернулась с пометкой, что адресат неизвестен, однако спустя месяц с лишним Татьяна все же дала о себе знать. “Неужели ты не пишешь только потому что я “скуплюсь” словами, — спрашивает Маяковский в ответном письме 5 октября, на самом деле подозревая, что Татьяна, как и предсказывала Лили, его бросила. — Или, скорей всего, французские поэты (или даже люди более часто встречающихся профессий) тебе теперь симпатичнее. Но *если и так* то ведь никто никто и никогда не убедит меня что ты стала от этого менее роднее и можно не писать и пытаться другими способами”. Она должна помнить, что она его “родная” “лет 55 обязательно” и что он отказывается верить в то, что она “наплюнула” на него.

В письме нет намеков на поездку в Париж. 8 сентября Лили записывает в дневнике: “Володя меня тронул: не хочет в этом году за границу. Хочет 3 месяца ездить по Союзу. Это влияние нашего с ним жестокого разговора [28 августа]”. Но через одиннадцать дней, 19-го, согласно этому же дневнику, Маяковский “уже не говорит о 3-х месяцах по союзу, а собирается весной в Бразилию (т. е. в Париж)”.

Что произошло? В своем письме от 12 июля Маяковский уверял, что не представляет себе жизни без Татьяны дальше октября и что начнет “приделывать крылышки” — то есть оформлять документы — в сентябре.

Может быть, он просто стал с сомнением относиться к своим планам, по мере того как Татьяна отвечала на его письма и телеграммы все более спорадически. Может быть, на него также повлияли сведения о парижской жизни Татьяны, которыми щедро делилась с сестрой Эльза. Подобная “информация” была к тому же небезосновательной: “Обрастаю друзьями, как снежный ком”, — писала Татьяна матери 13 июля. Она была популярна, как никогда, и все время развлекалась. Каждые выходные выезжала на Атлантическое побережье, как с Маяковским, но теперь на автомобиле — и планы на лето были грандиозными: “Буду ездить по всей Франции на автомобиле и, может быть, по Средиземному морю на яхте с парусом”. Разумеется, путешествовать она собиралась не одна.

Если эти или подобные новости дошли до Маяковского, ему не стоило тешить себя надеждой, что Татьяна станет его женой, — тем более что в глубине души он, наверное, понимал, что не сможет уговорить ее вернуться с ним в Советский Союз. К тому же отношения с Норой — о которых теперь уже наверняка знали в Париже, вряд ли могли помочь уговорить и без того колеблющуюся Татьяну, это Маяковский тоже понимал.

Это правдоподобно. Маяковский по-прежнему утверждал, что любит Татьяну, но проблем было слишком много, все слишком запуталось и как-то само собой сходило на нет. “Я думала, что он не хочет брать на себя ответственность, сажать себе на шею девушку, — вспоминала Татьяна впоследствии. — Если бы я согласилась ехать, он должен был бы жениться, у него не было бы выбора. Я думала, может быть, он просто испугался...”

Такому толкованию ситуации противоречат слова Лили о том, что Маяковский намеревался в следующем году поехать “в Бразилию (т. е. в Париж)”. Если он оставил надежду жениться на Татьяне, то у него не было причин планировать поездку в Париж. Но почему он не поехал осенью 1929 года? Почему он не упоминает “крылышки” в октябрьском письме, которое вместо этого содержит следующую загадочную фразу: “Нельзя пересказать и переписать всех грустностей, делающих меня еще молчаливее”. Его “молчаливость” замечала и Нора, и по ее словам, Маяковский вернулся с Кавказа в крайне дурном настроении: “Он был чем-то очень озабочен, много молчал. На мои вопросы о причинах такого настроения он отшучивался”.

Что это были за “грустности”, сделавшие его “еще молчаливее” и о которых нельзя было упоминать? Из всех неясных моментов биографии Маяковского самые загадочные обстоятельства связаны с его несостоявшейся поездкой в Париж.

Несомненно одно: Лили не хотела, чтобы Маяковский женился на Татьяне, и делала все возможное для того, чтобы этому помешать. Но что именно она предпринимала? Ограничивалось ли ее противодействие “жестокими разговорами” и распространением “сведений” о том, что Татьяна бросила его ради другого? Или, желая его остановить, она решила на более серьезные меры?

Долго бытовало мнение, что Маяковский не поехал в Париж, потому что ему отказали в заграничном паспорте. Но, чтобы получить отказ, надо сначала подать заявление, а такой документ в советских архивах не сохранился. Лили была готова отдать “руку на отсечение”, что “никогда не было отказа” — по той простой причине, что он никогда не подавал прошения. По ее утверждению, о том, чтобы Маяковскому отказали в оформлении выездных документов, не могло быть и речи: “Он в любой момент мог поехать, куда он хочет, в любую часть земного шара”. (Лили имела в виду, что Маяковский мог получить советский заграничный паспорт, — однако “поехать, куда он хочет”, поэт не мог, поскольку некоторые страны, например Великобритания, его не впускали.)

Таким образом, многое говорит в пользу того, что Маяковский не подавал заявления на заграничный паспорт, потому что решил не ехать в Париж. Но почему в таком случае он так решил? И по собственной ли воле? Разумеется, нет. Скорее всего, Маяковскому действительно отказали в выездной визе, но это было сделано *в устной форме* — ему дали понять, что подавать документы бессмысленно. “Отказ в заграничной визе был сделан издевательски, — вспоминала Галина Катанян. — Его заставили походить. И отказали так же, как остальным гражданам Советского Союза, — без объяснения причин”.

Историю о мытарствах Маяковского Галине Катанян рассказал человек, который случайно встретился с Маяковским, когда тот выходил из здания ОГПУ на Лубянке: у поэта было “страшное лицо”, и он не поздоровался, хотя они были знакомы. В послужном списке Михаила Горба значилось не только знакомство с Маяковским, но и многолетняя работа в ОГПУ. Возможно, он познакомился с Маяковским и Бриками, когда в 1926–1928 годах был советским агентом в Берлине. Осенью 1929-го он исполнял обязанности заместителя начальника иностранного отдела ОГПУ и отвечал за советскую агентуру во Франции — если кому-либо и были известны обстоятельства несостоявшейся поездки Маяковского в Париж, то именно ему. В любом случае, если мы хотим найти ответы на вопросы, связанные с ней, то искать их надо на Лубянке.



■ Маяковский с чекистом Валерием Горожаниным.
Лето 1927 г.

■ СНОБ, ЯНЯ И ЗОРЯ

Маяковский мог поехать “куда он хочет” главным образом потому, что пользовался защитой ОГПУ. Для левовцев и им симпатизирующих общение с представителями службы безопасности не было постыдным, напротив: чекистов считали героями в общей борьбе за победу коммунизма. Оценивать отношение советских людей к ОГПУ исходя из сегодняшних знаний о чистках тридцатых годов крайне неисторично.

Осип не работал в ГПУ с конца декабря 1923 года, но контакты, разумеется, сохранились. Кроме Льва Эльберта, Сноба, который в 1921-м ехал в Ригу в одном поезде с Лили (см. главу “Тоска по Западу”), в биографии Маяковского чекисты официально не встречаются до 1926-го, когда в Харькове он знакомится с Валерием Горожаниным, одним из руководителей ОГПУ Украины. Они быстро подружились и в следующем году в Ялте вместе написали киносценарий “Инженер д’Арси”, основанный на идее Горожанина и повествующий о том, как британцы в начале века брали под свой контроль персидскую нефть. Однако роль Горожанина в жизни Маяковского не ограничивается этим сценарием (который так и не был экранизирован): Горожанин подарил поэту маузер, а Маяковский в ответ посвятил ему стихотворение “Солдаты Дзержинского”, написанное осенью 1927 года к десятилетию Чеки.

Даже учитывая, что стихотворение было создано в 1927-м, когда на СССР оказывалось сильное внешнее давление (см. предыдущую главу), неоспоримо и другое: Маяковский этим восхвалением госбезопасности и ее контрразведки осваивал новые поэтические территории. Не случайно это произошло именно сейчас. Публикация “Солдат Дзержинского” совпала по времени со все более тесным сближением Маяковского и Бриков с ведущими представителями этих органов. Хотя естественно видеть в такой “дружбе” попытку проникновения в их круг со стороны ОГПУ, интерес был не односторонним: в стихотворении “Дачный случай”, написанном летом 1928 года, чекисты фигурируют как гости на даче в Пушкине, где они вместе с Маяковским стреляют в пни из своих браунингов и маузеров.

Ключевой фигурой здесь стал Яков (Яня) Агранов, который еще с революционных лет тесно сотрудничал и с Лениным и со Сталиным и занимал видные посты в органах безопасности. Его специальностью был надзор за интеллигенцией. Мы помним это имя в связи с допросами лидеров Петроградской боевой организации в 1921-м, в том же году он руководил расследованием обстоятельств Кронштадтского мятежа (см. главу “Нэп и закручивание гаек”). Именно Агранов в 1922 году готовил процесс против правых эсеров и составлял списки писателей, философов



- Единственный известный снимок, на котором Яков Агранов запечатлен вместе с Маяковским, сделан на дачной веранде в Пушкине. Среди гостей в нижнем ряду слева: Александр Родченко, Луэлла, Агранов (в костюме с галстуком), Кирсанов, Маяковский (с Булькой на руках), Василий Катанян, Осип и его Женья, сестра Маяковского Ольга (опирается о перила веранды) и муж Жени Виталий Жемчужный.

и ученых, которые осенью того же года были высланы из СССР (см. главу “Тоска по Западу”).

Личные сведения об Агранове, как и о большинстве людей его профессии, крайне скудны. Он был маленького роста и непримечательной внешности, его “тонкие и красивые губы змеились не то насмешливой, не то вопрошающей улыбкой”, но одновременно его называют “умным”. Какими бы качествами ни обладал Агранов, ему с успехом удалось внедриться в московские литературные круги. Он общался не только с Маяковским и лефовцами, но и с лидером РАППа Леопольдом Авербахом, заклятым врагом Маяковского, и с “попутчиком” Борисом Пильняком. Агранов также был членом художественного совета театра Мейерхольда

и вместе с другими высокопоставленными деятелями часто посещал “пятничный салон” режиссера.

Несмотря на то что Агранов держал под надзором не только квартиру Бриков, именно их контакты вызывают особый интерес — частично из-за несостоявшейся поездки Маяковского в Париж, частично из-за упорных слухов о том, что Лили снабжала Агранова сведениями о настроениях интеллигенции и в какой-то период находилась с ним в близких отношениях. О последнем ничего не известно, но от слухов о близости Лили к органам безопасности отмахиваться нельзя. Многое говорит о том, что Лили действительно передавала сотрудникам органов безопасности информацию, которая, в ее понимании, должна была их интересовать. Позднее Пастернак говорил о квартире Бриков как об “отделении московской милиции”, а Рита Райт рассказывала, как Лили однажды пыталась ее завербовать в качестве осведомителя в русских эмигрантских кругах Берлина. Рита не отказалась, но во время первой беседы так нервничала, что ее признали непригодной для такой работы. Означало ли это, что Лили была сотрудницей Чека, или она просто помогала из идеологических соображений? Ведь она, как и Маяковский, считала чекистов солдатами революции, воевавшими на переднем крае. На этот во-прос ответа нет.

Дату первого появления Агранова в “семье” Бриков и Маяковского назвать трудно; по одной из гипотез, их познакомил Горожанин. В любом случае имена Агранова и Маяковского впервые упоминаются вместе в 1928 году, когда Маяковский на еженедельном совещании Лефа представил его как “товарища”, который “в органах госбезопасности занимается литературными вопросами”. “Никого не удивило это, — вспоминала лефовская художница Елена Семенова. — В то время советские люди и, конечно, лефовцы с полным доверием и уважением относились к органам безопасности”. Начиная с того дня Агранов присутствовал на всех совещаниях Лефа, всегда вместе с молодой женой Валентиной, иногда в гимнастерке, иногда в гражданском. Несмотря на то что он вел себя скромно и, по словам Семеновой, никогда не вмешивался в дискуссии, вскоре он стал играть важную закулисную роль. Согласно дневниковой записи Варвары Степановой, он советовал Маяковскому опубликовать открытое

письмо перед разрывом с Лефом в сентябре 1928 года. Маяковский советом пренебрег, но сам факт, что высокопоставленный представитель ОГПУ позволил себе — и ему позволили — высказать свое мнение по этому вопросу, свидетельствует о наступлении новой эпохи. Однако присутствие Агранова в Гендриковом переулке было полезно не только ему, но и лефовцам, которые через него могли надеяться на определенную политическую защиту.

Если Яня держал руку на пульсе литературной Москвы, в Париже подобную роль играл Зоря. Захар Волович в феврале 1928 года занял должность секретаря советского генерального консульства в Париже, но через месяц был переведен в дипломатическую миссию. В действительности Волович являлся начальником парижского отдела ОГПУ, который размещался в том же здании. Во Франции Зоря был известен не под своим настоящим именем, а как Владимир Янович. В качестве главной задачи ему вменялось наблюдение за политическим развитием страны. Вместе с ним работала его жена Фаина — специалист по шифровке и начальница фотоотдела. В Москве их непосредственным начальником был не кто иной, как Михаил Горб.

Маяковский общался с четой Волович в Париже осенью 1928 года и весной 1929-го, и когда в сентябре 1929-го Зоря и Фаня посетили Москву, они встретились снова. Их часто видели среди гостей в Гендриковом, и благодаря им Лили могла пользоваться курьерской почтой для связи с Эльзой.

Иными словами, отношения Маяковского с Татьяной не были секретом для ОГПУ: в Париже за их действиями следили советские агенты, на родине в курсе всех подробностей был Яня. Многие письма Маяковского и Татьяны Наверное потому и не дошли до адресата, что их задержала цензура. Таким образом, для того чтобы узнать о намерениях Маяковского в связи с его поездкой в Париж в октябре 1929 года, “компетентным органам” не нужно было расспрашивать Лили. У советской власти имелись веские причины не позволить Маяковскому поехать в Париж. Главная из них — опасение, что он останется за границей, если Татьяна откажется вернуться в Советский Союз, а этого ни в коем случае нельзя было допустить: Маяковский считался государственным достоянием.

Недоверие со стороны властей воспринималось поэтом как прямое оскорбление, ведь он считал себя слугой революции и тем же летом с гордостью описывал, как иностранный чиновник в страхе берет в руки “молоткастый, / серпастый / советский паспорт”. Хотя Маяковский отправил “Стихи о советском паспорте” в журнал “Огонек” еще в июле 1929 года, стихотворение было напечатано только после его смерти, что дает повод увидеть взаимосвязь между отказом в публикации и несостоявшейся поездкой в Париж. Напечатать стихотворение, в котором Маяковский поет хвалу советскому паспорту, одновременно отказав ему в получении этого паспорта, — до такого цинизма не дошла даже власть, с каждым днем становившаяся все более беспощадной.

■ МАДАМ ДЮ ПЛЕССИ

Если для Маяковского известие о том, что он не поедет в Париж, было ударом, то что должна была думать Татьяна? Мало того, что он не появился — она не знала почему! Сообщить о настоящей причине Маяковский не мог, с одной стороны, потому что ему было стыдно признавать, что ему отказали в визе, с другой — потому что не хотел, чтобы отказ использовали в эмигрантских кругах Парижа. Кроме того, он наверняка догадывался, что его письма к Татьяне читает не только их адресат.

По словам Татьяны, она узнала об истинной причине, не позволившей Маяковскому приехать в Париж, от Эльзы, а та наверняка не скупилась на информацию о красавице, в компании которой Маяковского часто видят в Москве. Поэтому, когда ее старый кавалер Бертран дю Плесси предложил Татьяне руку и сердце, она “себя почувствовала свободной” и согласилась: “Он бывал у нас в доме открыто — мне нечего было его скрывать, он был француз, одинокий, это не Маяковский”.

Предложение было сделано в начале октября, после того как Татьяна узнала, что Маяковский не приедет. С дю Плесси она познакомилась годом раньше — он был, как мы помним, одним из поклонников резервного списка, но, поскольку он работал в Варшаве, часто видеться они не могли. Маловероятно, однако, чтобы она согласилась выйти замуж за человека, с которым была едва



■
Татьяна с мужем во французском посольстве в Варшаве в 1931 г.

знакома. Поэтому можно предположить, что они как-то общались в тот год — скорее всего именно дю Плесси сидел за рулем во время летних путешествий. Эльза не может считаться достоверным источником в вопросах, касающихся Татьяны, но когда она пишет, что та “во время романа с Маяковским продолжала поддерживать отношения со своим будущим мужем”, ей можно верить. Сама Татьяна, однако, это никогда не признавала — ни тогда, ни впоследствии.

Бракосочетание состоялось в Париже 23 декабря, после чего молодожены отправились в свадебное путешествие в Италию: Флоренцию, Неаполь, на Капри. “Я его не любила, — сказала она потом о дю Плесси. — В каком-то смысле это было бегство от Маяковского”^{*}.

Эльза сообщила Татьяне о том, что Маяковский не приедет в Париж, она же известила Лили о предстоящей свадьбе Татьяны. “Письмо от Эли о Татьяне: разумеется, она выходит замуж за французского виконта, — записала Лили в дневнике 11 октября и продолжила: — Надя [Штеренберг] говорит, что я побледнела а со мной это никогда не бывает. Представляю себе Володину ярость и как ему стыдно. Сегодня он уехал в Питер выступать”. Позднее она описала эту сцену следующим образом:

* В ходе моих бесед с Татьяной Яковлевой в Нью-Йорке зимой 1982 г. стало ясно, что Маяковский был великой любовью ее жизни, а также что она не знала о том, что у Маяковского есть дочь в Америке, о чем ей рассказал я.

<...> нас было несколько человек, и мы мирно сидели в столовой Гендрикова переулка. Володя ждал машину, он ехал в Ленинград на множество выступлений. На полу стоял упакованный запертый чемодан.

В это время принесли письмо от Эльзы. Я разорвала конверт и стала, как всегда, читать вслух. Вслед за разными новостями Эльза писала, что Т. Яковлева <...> выходит замуж за какого-то, кажется, виконта, что венчается с ним в церкви, в белом платье, с флердоранжем, что она вне себя от беспокойства, как бы Володя не узнал об этом и не учинил скандала, который может ей повредить и даже расстроить брак. В конце письма Эльза просит посему-поэтому ничего не говорить Володе. Но письмо уже прочитано. Володя помрачнел. Встал и сказал: “Что ж, я пойду”. Куда ты? Рано, машина еще не пришла. Но он взял чемодан, поцеловал меня и ушел. Когда вернулся шофер, он рассказал, что встретил Владимира Владимировича на Воронцовской, что он с грохотом бросил чемодан в машину и изругал шофера последним словом, чего с ним никогда не бывало. Потом всю дорогу молчал. А когда доехали до вокзала, сказал: “Простите, не сердитесь на меня, товарищ Гамазин, пожалуйста, у меня сердце болит”.

По словам Лили, на следующий день она позвонила Маяковскому в Ленинград в гостиницу “Европейская” и сказала, что тревожится за него. В ответ он произнес фразу из старого еврейского анекдота (“Эта лошадь кончилась, пересел на другую”) и заверил, что беспокоиться не нужно. Когда она спросила, хочет ли он, чтобы она приехала в Ленинград, он обрадовался, и Лили в тот же вечер покинула Москву. У Маяковского было много выступлений, иногда два-три в день, и почти всегда он приправлял их комментариями о виконтах или баронах. “Мы работаем, мы не французские виконты” и т. п.

Это — “официальная” версия из мемуаров Лили. Но согласно ее дневниковым записям, телефонный разговор состоялся только через шесть дней, 17 октября: “Беспокоюсь о Володе. Утром позвонила ему в Ленинград. Рад, что хочу приехать. Спро-

сила не пустит ли он себе пулю в лоб из-за Татьяны — в Париже тревожатся. Говорит — “передай этим дуракам, что эта лошадь кончилась, пересел на другую”. Вечером выехала в Питер”. И из того же дневника следует, что письмо, в котором Эльза сообщает, что Татьяна “венчается в белом муаровом платье с fleur d’oranges”, получено только 1 декабря.

Разночтения и неясности могут показаться несущественными, однако это не так. Среди “нескольких человек”, которые, по словам Лили, присутствовали при чтении письма 11 октября, находились, по некоторым сведениям, Нора и ее муж. Таким образом, Маяковский узнал о бракосочетании Татьяны в присутствии женщины, за которой уже полгода ухаживал. Нетрудно представить себе, каким ударом по его самолюбию был такой позор! А что подумала Нора?

В 1600-страничном французском издании переписки между Лили и Эльзой нет ни единого письма за период с 19 июня 1929 года до 15 апреля 1930-го — отсутствуют даже те письма, на которые Лили ссылается в дневнике, из чего можно сделать вывод, что в них затрагивались такие щекотливые темы (касавшиеся главным образом несостоявшейся поездки Маяковского в Париж), что были все основания их уничтожить. В том, что позднее Лили перепутала два письма — первое, о предстоящей свадьбе Татьяны, и второе, о ее свадебном платье, — нет ничего странного или значимого; это вполне могло бы быть ошибкой памяти. Однако утверждение, что она немедленно помчалась вслед за Маяковским в Ленинград, объясняется, пожалуй, не плохой памятью (ведь сочиняя мемуары, Лили могла бы пользоваться дневником), а тем, что действительность выглядела иначе. Если Лили позвонила Маяковскому через шесть дней, это предполагает, что его реакция была намного сильнее, чем Лили хотела признать. Содержало ли письмо сведения, намекающие на то, что Лили имела отношение к несостоявшейся поездке и — пусть косвенно — к решению Татьяны выйти замуж за дю Плесси? Если бы дневник Лили сохранился полностью, возможно, мы бы нашли ответы на эти вопросы, но он существует лишь в отредактированном виде: в связи с московскими процессами конца тридцатых годов Лили устранила из него любую информацию, которая могла повредить ей и другим.

Несмотря на имеющиеся лакуны, дневник проливает некоторый свет на события осени 1929 года: в то время, когда Маяковский узнал, что от запланированной поездки придется отказаться, Лили и Осип собирались в Лондон навестить Елену Юльевну. Это значит, что они воспринимали проблемы с паспортом Маяковского как частный случай, а не как проявление общего политического ожесточения, из-за которого и у них могут возникнуть трудности. 19 сентября они получили анкеты для советского заграничного паспорта, а 27-го подали заявление на получение британской въездной визы, но поскольку Великобритания возобновит дипломатические отношения с Советским Союзом только неделю спустя, заявление было подано через норвежскую дипломатическую миссию. Заявление, однако, отклонили со ссылкой на все еще действующий циркуляр В.795 и на то, что “г-жа Брик является дочерью г-жи Елены Каган, которая числилась в черном списке М.И.5 во время облавы в Аркосе”. Как видно, против Лили работал не только циркуляр 1923 года, но и тот факт, что ее мать фигурировала как “опасный” коммунист в связи с делом Аркоса. Но об этом она, разумеется, ничего не знала, когда 10 октября записала в дневнике: “Нам отказали в англ. визах”. В еще меньшей степени она могла догадаться, что трудности, с которыми столкнулся Маяковский, встанут и у них на пути, о чем будет рассказано в следующей главе.

■ ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

23 октября, через два дня после возвращения Маяковского и Лили из Ленинграда, группа Реф приняла решение о проведении ретроспективной выставки Маяковского. Выставка была ответом Маяковского на недоверие властей, выразившееся в том, что его не выпустили в Париж. Показав свои достижения, Маяковский хотел продемонстрировать все, что он сделал и значил для революции и советского общества. Открытие выставки “20 лет работы” наметили на конец 1929 года. Но дело продвигалось медленнее, чем предполагалось, в частности потому, что весь обширный материал было трудно собрать, вследствие чего открытие отодвинулось на месяц.

Запланированный юбилей, однако, провели 30 декабря 1929 года, за день до новогоднего праздника, — шутовское, но намеренное нарушение традиции. “Купила 2 тюфяка — сидеть на Володином юбилее”, — записала Лили в дневнике 28 декабря. И на следующий день продолжила: “Покупала стаканы и фрукты на завтра. Куда я вмести 42 человека?!” Каждого попросили принести шампанское, не по бутылке на пару, а по бутылке на человека.

“Крученых ужасно не хочет покупать [шампанское] Абрау — говорит: боюсь напиться и сказать лишнее”, — записала Лили. Его опасения подтвердились: в наполненной снегом ванне охлаждалось сорок бутылок шампанского, праздник длился всю ночь, многие — вопреки аскетичным традициям Лефа — опьянели, кто-то уснул, кто-то ушел домой на четвереньках в холодной ночи.

Поскольку столовая в Гендриковом была всего четырнадцать квадратных метров, стол вынесли, а на полу вдоль стен разместили тюфяки и подушки. На стенах развесили фотографии и плакаты Маяковского, а с потолка свисал длинный плакат, на котором большими буквами была написана фамилия виновника торжества: М-А-Я-К-О-В-С-К-И-Й. Мейерхольд привез с собой костюмы: жилетки, парики, шляпы, шали, накладные бороды, маски и прочую театральную бутафорию — и взял на себя обязанности костюмера.

Среди гостей были в основном коллеги-лефовцы, представители “компетентных органов”, в их числе Горб, Сноб, Горожанин и Яня с женами, а также люди, с которыми Маяковского объединяли более сложные эмоциональные связи: Наташа Брюханенко, Нора Полонская (с мужем), Лев Кулешов и его жена Александра Хохлова. Присутствовала и дочь Краснощекова Луэлла К разряду неожиданных гостей принадлежали молодой турецкий поэт Назым Хикмет и высокопоставленный партийный деятель Юсуп Абрахманов.

Праздник был задуман как сюрприз для Маяковского, который не принимал участия в подготовке, а провел день в Лубянском проезде. Когда он, нарядный, свежевыбритый, улыбающийся, появился вечером, гости встали и под гармошечный аккомпанемент Василия Каменского исполнили кантату, написанную Семёном Кирсановым. Припев пели хором:

Владимир Маяковский,
тебя воспеть пора.
От всех друзей московских
Ура! Ура! Ура!

Куплеты исполняла певица Галина Катанян:

Кантаты нашей строен крик,
Кантаты нашей строен крик,
Наш запевало Ося Брик,
наш запевало Ося Брик!

И Лиля Юрьевна у нас,
И Лиля Юрьевна у нас,
Одновременно бас и альт!
Одновременно бас и альт!

Здесь Мейерхольд, и не один,
Здесь Мейерхольд, и не один,
С ним костюмерный магазин!
С ним костюмерный магазин!

По завершении кантаты Маяковскому предлагают стул, он садится, развернув стул спинкой вперед, и надевает огромную козлиную голову из папье-маше. Кантата исполняется снова, далее идут новые чествования в форме выдуманных речей — Асеев, например, изображает враждебного критика, изрыгающего всевозможные банальности, но в конце признающего, что ошибся юбиляром. В ответ на каждую речь Маяковский блеет из-под козлиной маски. Настроение превосходное, танцуют во всех комнатах и даже на лестничной площадке, Каменский играет на гармошке, идет игра в шарады, в которой Маяковский должен угадать, какое из его стихотворений изображается, в частности так: один из гостей садится за стол, другой дает ему бумагу и ручку и уходит. Маяковский правильно угадывает сцену из “Разговора с фининспектором о поэзии”: “... вот вам, / товарищи, / мое стило, / и можете / писать / сами!”

Праздник был устроен в его честь, и Маяковский старался подыгрывать, но, по единодушным свидетельствам, он выглядел очень подавленным. “Лицо его мрачно, даже когда он танцует с ослепительной Полонской в красном платье, с Наташей, со мною”, — заметила Галина Катанян, которая также вспоминала, что Лили прокомментировала его угрюмость французским выражением “il a le vin triste”, что в буквальном переводе значит “грустный во хмелю”. Нора же постоянно была рядом с Маяковским, разговаривала с ним, объяснялась в любви так, что это слышали другие. “Я не понимаю, отчего Володя был так мрачен, — сказал Лев Гринкрут Норе. — Даже если у него неприятности, то его должно обрадовать, что женщина, которую он любит, так гласно объясняется ему в любви”.

В предрассветный час многие уже пьяны, Маяковский в одиночестве пьет вино за столом, на котором лежат подарки, и у Галины Катанян “возникает ощущение, что он какой-то одинокий, отдельный от всех, что все мы ему чужие”. Его просят почитать стихи, он отказывается, но его уговаривают. И он выбирает “Хорошее отношение к лошадям” — о лошади, издыхающей в голодном Петрограде 1918 года. Вокруг упавшего животного собираются смеющиеся зеваки, и только Маяковский, узнавший в лошади самого себя, над ней не потешается:

Подошел и вижу —
за каплицей каплица
по морде катится,
прячется в шерсти...

И какая-то общая
звериная тоска
плеща вылилась из меня
и расплылась в шелесте.
“Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь”.

“Оно прозвучало более мрачно, чем обычно”, — вспоминал организатор турне Маяковского Павел Лавут, а по словам Льва Кассиля, Маяковский, без вдохновения прочитав еще одно стихотворение, вышел в соседнюю комнату, где долго стоял, опершись о бюро и держа в руке стакан с чаем. “Что-то беспомощное, одинокое, щемящее, никем тогда еще не понятое проступает в нем”, — заметил Кассиль.

Маяковский был одинок, как никогда, — Татьяна его бросила (не без помощи советских властей), Нора не хотела оставлять мужа, а в США росла девочка, чья мать написала ему еще в октябре — письмо не сохранилось, но о чем бы ни шла в нем речь, это было напоминание о том, что у него есть дочь, которую он никогда не увидит. “Я никогда не думал, что может быть такое сильное чувство к ребенку, — объяснял он Соне Шамардиной, одной из немногих, кому он доверил свою тайну. — Я все думаю о ней”. И он страдал от того, что не мог ей помочь. “Денег нет. Понимаешь — не хватает. Две семьи у меня: мать — сестры и моя семья. Поэтому и дочке не могу помогать. Да если б и мог, то все равно этого нельзя было бы сделать”.

Что же касается Лили, женщины, которую Маяковский любил больше всех, она на протяжении вечера беззастенчиво флиртowała с высокопоставленным партийцем, последним ее завоеванием. Из всех поклонников Лили Юсуп Абрахманов (1901–1938) — фигура наиболее загадочная. С 1927 года он был председателем Совнаркома в только что созданной Киргизской Советской Республике и членом Центрального исполнительного комитета СССР. Во время одного из визитов в Москву он познакомился с Маяковским и Лили, но когда именно он попал под ее обаяние, неизвестно. Из письма Осипа Жене ясно, что Юсуп провел несколько дней вместе с Лили в Ленинграде в конце июня 1929 года. В остальном он упоминается только в связи с этим праздником и только как один из гостей.

Молчание вокруг его имени не означает, что его присутствие осталось незамеченным, — напротив, экзотическая внешность, тубетейка — все это резко выделяло его из сплоченного круга писателей и художников. Замалчивание скорее

объясняется тем, что сам факт его приглашения воспринимался как неловкость — и для Лили, чьи кавалеры обычно были другого уровня, и для Маяковского, который был вынужден на собственном юбилее наблюдать, как неотступно находившаяся рядом с Юсупом Лили периодически берет трубку у него изо рта, вытирает ее носовым платком и делает несколько затяжек сама. Реакция Маяковского на подарок Юсупа — деревянная овечка с запиской на шее, в которой содержалась просьба написать что-нибудь о разводимых в Киргизии овцах, — говорит сама за себя: вместо того чтобы поместить овечку на отведенный для подарков стол, Маяковский отложил ее в сторону, даже не взглянув.

“До трамваев играли в карты, а я вежливо ждала пока уйдут” — такими словами Лили закончила дневниковую запись о юбилее. Тем не менее она не упоминает в дневнике об инциденте, произошедшем, когда праздник близился к концу и большинство гостей уже ушло. В квартире внезапно появился Борис Пастернак вместе со Шкловским. Ни того, ни другого не приглашали — наоборот, организаторы изначально хотели подшутить над Пастернаком, попросив одного из выступающих спародировать его весьма специфическую манеру говорить. Этот пункт, однако, вычеркнули, и вот теперь Пастернак приходит сам для того, чтобы поздравить Маяковского и помириться с ним. “Я соскучился по тебе, Володя, — сказал он. — Я пришел не спорить, я просто хочу вас обнять и поздравить. Вы знаете сами, как вы мне дороги”. Но Маяковский отвернулся и произнес, не глядя на Пастернака: “Ничего не понял. Пусть он уйдет. Так ничего и не понял. Думает, что это как пуговица: сегодня оторвал — завтра пришить можно обратно... От меня людей отрывают с мясом!.. Пусть он уйдет”. Пастернак бросился прочь из квартиры, даже не взяв свою шапку. “В столовой была странная тишина, все молчат, — вспоминала проснувшаяся от происходившего Галина Катанян. — Володя стоит в воинственной позе, наклонившись вперед, засунув руки в карманы, с закушенным окурком”.

Юбилей 30 декабря во многом был повторением новогоднего праздника 1915 года, тогда тоже был маскарад в малень-

кой квартире, частично с теми же гостями (см. главу “Облако в штанах”). Но если тот праздник отличался радостью молодости и футуристическими ожиданиями, то задуманное триумфальное подведение итогов работы Маяковского обернулось безрадостным представлением, где большинство присутствующих грустили во хмелю. Былую дружбу и общность, которые в последние годы подверглись большому испытанию, вернуть не удалось, и новогодний праздник 1929 года превратился в последнюю вечерю.



Мой стих дойдет
через хребты веков
и через головы
поэтов и правительств.

■ Владимир Маяковский. *Во весь голос*

Друзья, и в первую очередь Лили, устраивали праздник, чтобы порадовать Маяковского, отвлечь его от мыслей о Татьяне, о неприятностях и неудачах осени. Но кончился он разочарованием и душевным похмельем. 3 января Лили записала в дневнике: “Володя почти не бывает дома”. И спустя четыре дня: “Долго разговаривала с Володей”. О чем был разговор, не указывается, но можно предположить, что речь шла о Татьяне, которая вышла замуж 23 декабря, но в замужество которой Маяковский, по словам Василия Каменского, “долго не хотел верить”. То, что тема сохраняла актуальность не только для Маяковского и Лили, но и для “компетентных органов”, явствует из письма о Татьяне, которое Сноб показал Лили 9 января и которое она цитирует в своем дневнике: “Т. вышла замуж за виконта с какой-то виллой на каком-то озере. <...> Явилась ко мне и хвасталась, что муж ее коммерческий атташе при франц. посольстве в Польше. Я сказал, что должность самая низкая — просто мелкий шпик. Она ушла и в справедливом негодовании забыла отдать мне 300 франков долгу. Что ж, придется утешиться тем, что в числе моих кредиторов виконт какой-то...” Письмо пришло из Парижа. Кто его написал, неизвестно, возможно — Захар Волович.

■ Маяковский. Фото А. Теремина, 1929 г.

■ ПОЕЗДКА НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЧЕТ?

В тот же день, когда Эльберт показал Лили письмо о Татьяне, Маяковский отлучился на пару дней в Ленинград. Поэтому он пропустил заметку, опубликованную в “Комсомольской правде” 10 января и ставшую жестоким напоминанием о несостоявшейся поездке в Париж: “О. Брик и его жена Л. Брик собираются в заграничную командировку. Обоих их командирует одна и та же организация. Спрашивается, почему не командировать кого-нибудь одного из двух Бриков? И если обязательно нужен второй работник, то почему его функцию должна выполнить именно Л. Брик, а не кто-либо из других специалистов в вопросах, которые служат предметом командировки”.

Препоны, с которыми столкнулся Маяковский, теперь встали на пути его ближайших друзей. Получив отказ во въездной английской визе, Лили и Осип подали заявление на получение заграничного паспорта для поездки в Германию, куда они много раз без проблем ездили. “Командировавшей” организацией был Реф. Заявление было подано через Наркомпрос после 23 декабря, когда Маяковский, согласно записи в дневнике Лили, “получил наконец наркомпросные бумаги для поездки”. Однако теперь и поездка Бриков оказалась официально поставленной под сомнение. Почему?

Заметка об Осипе и Лили “Супружеская поездка на государственный счет” являлась частью более крупной публикации “Берегите валюту. Прекратить заграничные командировки чуждых людей”, которая в свою очередь шла под общим заголовком “Чистка Наркомпроса”. Кампании по чистке советского аппарата, начавшиеся весной 1929 года, теперь дошли до Наркомпроса, и поездка Бриков приводилась в качестве примера того, как (подразумевалось — плохо) работает комиссия Наркомпроса по заграничным командировкам. Заметка заканчивалась следующим выводом: “Надо побольше посылать за границу вузовской молодежи, молодых специалистов из рабочих, всех тех, кто действительно должен получить за рубежом опыт для улучшения и ускорения социалистического строительства в СССР. Чистка Наркомпроса положит предел безалаберности в работе комиссии по заграничным командировкам”.

Атака на Осипа и Лили была следствием внутренней ревизии в Наркомпросе, но ее также следует рассматривать в свете события, произошедшего в конце сентября — начале октября 1929 года, когда Григорий Беседовский, первый советник полпредства СССР, попросил политическое убежище во Франции. Вызвав большой резонанс на Западе, это бегство в одночасье ухудшило положение советских граждан в плане возможностей ездить за границу и послужило основанием для принятия 21 ноября 1929 года так называемого (на Западе) Lex Беседовского, объявлявшего вне закона “должностных лиц — граждан Союза ССР за границей, перебежавших в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и отказавшихся вернуться в Союз ССР”^{*}.

12 января “Комсомольская правда” была вынуждена признать, что Осип и Лили оплачивали поездки сами, а не из казенных средств, а через два дня, 14 января, в газете напечатали “Письмо в редакцию”, автором которого был спешно вернувшийся из Ленинграда в Москву Маяковский. Он подчеркивал, что “никаких “государственных счетов” и никаких “валют” на поездку тт. Брик не спрашивали и не спрашивают”, поскольку “литературные связи с коммунистическими и левыми издательствами позволят тт. Брик прожить два месяца за границей и выполнить предполагаемую работу без всякой траты валюты государством”. Далее он перечислял вклады Осипа в “левое революционное искусство”, так же как и заслуги Лили: “сорежиссер картины “Стеклянный глаз”, плакатчица “Окон Сатиры РОСТА”, первая переводчица теоретических работ Гросса, Витфогеля, постоянный участник всех выступлений революционного искусства, связанного с Реф”. Только “в порядке полной неосведомленности” можно, заканчивает Маяковский, называть этих товарищей “чуждыми”. К письму прилагалось несколько строк, написанных секретарем Федерации советских писателей Владимиром Сутыриным и секретарем РАППа Михаилом Лузгиным, которые полностью поддерживали “тт. из Рефа”.

* Любопытно, что эта тема затрагивается Маяковским в наброске к киносценарию о любви в чужой стране, написанном приблизительно в это время: “Требуют назад — иначе дезертир”.

Статья Маяковского результата не принесла, и он записался на прием к Лазарю Кагановичу, чтобы изложить ему дело. Будучи секретарем ЦК и кандидатом в члены политбюро, Каганович принадлежал к высшей партийной элите. Маяковский и раньше обращался к высокопоставленным партийцам, например к Луначарскому и Троцкому. Но тогда речь шла о литературе, теперь же — о деле иного рода, с иным политическим подтекстом. Перед встречей он составил шпаргалку, которая позволяет нам проследить за ходом его мыслей:

Решение “реф”а о поездке Л.Ю. и О.М. Брик за границу в связи с предполагаемой антологией классиков мировой революц. литерат. (договор с Гизом). Переводы — Фре[й]леграт, Гервег, Пруц, Потье, Эллиот, Христо Ботев и др.

Поддерживали именно Бриков как знающих немецкий, французск., английский, и итальянск. языки могущие прожить 2 мес. без валюты на заработок сотрудничая в нашей прессе.

Кроме того у т. Л.Ю. Брик мать работает в Аркосе (могла бы оказать некоторую помощь дорога квартира и т. д.)

<...>

Повидимому со ст. Г.П.У. принцип. возраж. не встреч.

Результат. Статьи Комс. Правде

Никто не возражает и никто не разрешает

Помимо устных аргументов в распоряжении Маяковского было не менее семи писем в поддержку поездки Осипа и Лили, в частности от РАППа, Федерации советских писателей, Главискусства, Наркомпроса и Отдела агитации и пропаганды ЦК. В тот же день, 27 января, Лили записала в дневнике: “Володя был сегодня у Кагановича по поводу нашей поездки. Завтра вероятно решится”.

Согласно записям в дневнике Лили, вопрос с паспортами несколько раз был близок к решению (3 февраля: “Володя сказал, что паспорта наши — дело даже не дней, а часов”, и 6 февраля: “Мы получили паспорта”), но здесь желаемое выдавалось

за действительное. Хотя поездку Осипа и Лили поддерживали несколько подчинявшихся Наркомпросу инстанций — Главискусство и собственная комиссия Наркомпроса пограничным командировкам, — путь через Наркомпрос был заказан, и они были вынуждены подать заявление еще раз, теперь через ВОКС (Всесоюзное общество культурных связей с границей): 8 февраля ВОКС обратилось в Комиссариат по иностранным делам, а тот уже на следующий день обратился в германское посольство с просьбой выдать визу Осипу, который отправлялся в Германию “с научной целью”, и его жене. 15 февраля Осип и Лили получили паспорта и в тот же день заказали билеты на поезд до Берлина.

История с визами свидетельствует о том, что общественный климат сильно изменился по сравнению с предыдущим годом. Кампания против Замятина и Пильняка (и признание своих грехов последним), чистки кадров в академиях и начинающийся культ личности Сталина (процесс набрал обороты в связи с его пятидесятилетием 21 декабря 1929 года) были явными свидетельствами усиления политического нажима — теперь чистке подверглись и последние осколки авангарда: в тот же день, когда Маяковский был на приеме у Кагановича, Виктор Шкловский, размышлявший в 1928–1929 годах о возрождении ОПОЯЗа, опубликовал статью “Памятник научной ошибке”, в которой отказывался от формализма и подчеркивал значение “марксистского метода” в литературоведении.

Таким образом, проблемы Лили и Осипа можно рассматривать как следствие общего ожесточения политического климата, в частности чистки кадров в Наркомпросе. Однако тот факт, что их опозорили публично, порождает целый ряд вопросов, и найти ответы на них нелегко: почему Лили и Осип с их связями в органах безопасности получили визы только после того, как их обрутали в “Комсомольской правде”? И неужели Маяковский, которому всего лишь несколько месяцев назад самому отказали в визе, вдруг стал таким влиятельным, что смог помочь Брикам?

Однозначно ответить на первый вопрос невозможно, хотя конспирологически настроенный человек мог бы утверждать, что столь запутанные ходы в связи с заграничной поездкой Бриков были придуманы именно для того, чтобы развеять

подозрения об их связях с ОГПУ. Однако на второй вопрос есть, возможно, менее умозрительный ответ. 21 января в Большом театре отмечалась шестая годовщина смерти Ленина, с концертом и чтением стихов. Это было торжественное мероприятие: в ложе для почетных гостей сидели Сталин с женой и другие члены политбюро. Среди приглашенных фигурировали весьма посредственный пролетарский поэт Александр Безыменский — и Маяковский, который, несмотря на свою “советскость”, никогда ранее на подобные действия не приглашался. Маяковский читал третью часть поэмы “Владимир Ильич Ленин”. Выступление передавалось по радио, и все его друзья слушали трансляцию дома. “Выступал он, как всегда, хорошо, — вспоминала Галина Катанян, — аплодисменты были длинные, но сдержанные, как и полагается на траурном вечере, на официальном выступлении”. Лили, которая не присутствовала на концерте, слышала от знакомых, что Маяковский “читал сногшибательно” и что “в правительственной ложе потрясающее впечатление”. “Регина [Глаз — двоюродная сестра Л.Ю. Брик] говорит, что Надежде Сергеевне [Аллилуевой, жене Сталина] и Сталину страшно понравился Володя, — записала она в дневнике. — Что он замечательно держался и совершенно не смотрел и не раскланивался в их ложу (со слов Н. Серг.)”.

Информация о положительной реакции Сталина поступила из самого достоверного источника: от Регины Глаз, кузины Лили, которая занималась воспитанием детей Сталина. Она ежедневно общалась с женой Сталина Надеждой Аллилуевой. Мать была строга с детьми, так как опасалась, что жизнь в Кремле их избалует, но Регина, будучи приверженкой идей немецкого педагога Фридриха Фребеля (известен главным образом как основатель детских садов), делала ставку не на кнут, а на пряник, и однажды, когда сын Василий вел себя особенно хорошо, его наградили автомобильной прогулкой в компании Лили на ее “рено”...

Сам Маяковский не делал особенного шума по поводу своего успеха — наоборот. “...Разговоров об успехах Маяковский обычно не вел. О неудачах же совсем не говорил, — писал Асеев, — не любил жаловаться”. Вернувшись домой, он вместо этого начал оживленно рассказывать о каких-то начальниках,

которые размахивали удостоверениями, чтобы взять такси без очереди, и которых возмущенный Маяковский высадил из машины. “Этим своим подвигом он гордился куда больше, чем выступлением и успехом на правительственном концерте, — вспоминала Галина Катанян. — Так и не добились от него толку, что же там было в Большом театре”.

И все же можно предположить, что Маяковский остался очень доволен — и самим приглашением, и тем, что выступление прошло так удачно; молчаливая сдержанность выражала его общее нежелание делиться впечатлениями. Слух об успехе быстро распространился, и реакция не заставила себя ждать — с ним связались, в частности, люди из “Правды” с просьбой дать стихи для запланированной литературной страницы. Но, узнав, что в более организованном сотрудничестве газета не заинтересована и что печатать его предполагали на тех же условиях, что и остальных поэтов, Маяковский от предложения отказался. У него было высокое мнение о собственных поэтических заслугах, и он не хотел, чтобы к нему относились как к рядовому рифмоплету. Однако отказ от приглашения печататься в партийном органе был вызывающим жестом, подтвердившим его репутацию принципиального и конфликтного человека.

■ РЕДКИЕ БОРОДЫ

Даже для такого трудоголика, как Маяковский, начало 1930 года было на редкость напряженным периодом. Помимо усилий, направленных на то, чтобы помочь Лили и Осипу получить визы, в январе он был занят тремя крупными проектами: своей выставкой, поэмой “Во весь голос” и пьесой “Баня”, над которой работал с тех пор, как в мае вернулся из Парижа.

“Баня” была своего рода продолжением “Клопа”, но несла в себе более откровенную критику бюрократизации советского общества и нового привилегированного класса высокопоставленных чиновников с партбилетами. Изобретатель Чудаков придумал машину времени, для которой нужно найти финансирование, однако товарища Победоносикова — главного начальника по управлению согласованием, главначпупса, — трудно

убедить в необходимости проекта. Его интересуют только бумаги, заседания, резолюции, командировочные и подотчетные, а также перспектива быть увековеченным на портретах, чтобы потомки могли изучать его величие. Спрятавшийся “за секретарей и бумажки” Победоносиков представляет собой символ бездушного, необразованного, вульгарного властного бюрократа, который после революции “поднялся вверх по умственной, служебной и по квартирной лестнице”.

Однако, вопреки сопротивлению Победоносикова, машина времени приводится в действие, и из будущего появляется “фосфорическая женщина”, чья задача — выбрать тех, кто сядет в “первый поезд времени”, идущий к коммунизму. “Будущее примет всех, у кого найдется хотя бы одна черта, роднящая с коллективом коммуны, — радость работать, жажда жертвовать, неутомимость изобретать, выгода отдавать гордость человечностью. <...>. Летящее время сметет и срежет балласт, отягченный хламом, балласт опустошенных неверием”. Победоносиков и его секретарь Оптимистенко очень хотят отправиться в будущее, но их не берут. “Хорошо, хорошо, пускай попробуют, поплавают без вождя и без ветрил! — кричит он упрямо, но упрямство вскоре переходит в отчаяние. И он обращается к публике с риторическим вопросом, которым, собственно, и заканчивается пьеса: — Что вы этим хотели сказать, — что я и вроде не нужны для коммунизма?!?”

Ни структурно, ни тематически “Баня” не содержит в себе ничего нового — все пьесы и поэмы Маяковского заканчиваются картиной будущего, положительной или отрицательной. Однако политический сигнал был четче, чем когда-либо. Пьеса названа “Баня”, потому что “Баня” — моет (просто стирает) бюрократов”. Так же однозначно Маяковский высказывался до этого лишь однажды — в наброске к “IV Интернационалу”, где кордон секретарей защищал самого Ленина (см. главу “Нэп и закручивание гаек”).

Когда Маяковский 23 сентября прочитал “Баню” в театре Мейерхольда, тот сравнил ее с произведениями Мольера:

Это крупнейшее событие в истории русского театра, это величайшее событие <...> большое освобождение от тра-

диции, но в то же время [Маяковский] так схватил приемы драматурга, что невольно вспоминается такой мастер, как Мольер. <...> Маяковский начинает собой новую эпоху. <...> Я с ужасом думаю, что мне в качестве режиссера придется коснуться этой вещи. Мы всегда насилуем тех драматургов, пьесы которых мы ставим, мы иногда поправляем что-то, иногда переделываем. В этой вещи ничего переделать нельзя, настолько органично она создана.

Но если Мейерхольд и другие театральные люди, например муж Норы Яншин, горели энтузиазмом, то публика осталась совершенно равнодушной. До премьеры пьесы в театре Мейерхольда в Москве она была поставлена в Ленинграде. “Публика встречала пьесу с убийственной холодностью, — вспоминал Михаил Зощенко, — я не помню ни одного взрыва смеха. Не было даже ни одного хлопка после двух первых актов. Более тяжелого провала мне не приходилось видеть”. Пресса была столь же беспощадна, как и публика: “Баня” бьет — или лучше сказать, хочет бить — по бюрократизму, — писала “Красная газета”, — но острая и жгучая тема <...> трактована статически, крайне поверхностно и односторонне. <...> Спектакль неинтересен настолько, что писать о нем трудно: зритель остается эмоционально не заряженным и с холодным равнодушием следит за действием, самый ход которого местами не ясен”. Тема варьировалась в других газетах: публике скучно, а критика бюрократизма — “примитивна”.

Хотя многие критики относились к Маяковскому заведомо отрицательно, нельзя не признать, что во многом их замечания были справедливы. Пьесе действительно не хватает действия, персонажи клишированы, реплики и шутки порой натянуты. Но, несмотря на определенные формальные недостатки, не подлежит сомнению, что идейное содержание дошло до тех, для кого “Баню” натопили: цензура задержала пьесу на два с половиной месяца и разрешила постановку только после того, как Маяковский смягчил особо критические моменты.

Если многое и удалось оставить, то лишь благодаря особому положению, на котором все еще числился Маяковский, —

ведь уже запретили пьесы Николая Эрдмана и Михаила Булгакова. Но и положение Маяковского стремительно ухудшалось. Провальный ленинградский спектакль состоялся 30 января, за два дня до открытия выставки “20 лет работы” в помещениях Федерации советских писателей в Москве. На выставке предполагалось показать все, что Маяковский сделал за двадцать лет как поэт и художник: книги, рисунки, плакаты, газетные статьи и так далее. (Дебют Маяковского состоялся в 1912 году, но при издании сборника “Все сочиненное Владимиром Маяковским. 1909–1919” он сместил эту дату на четыре года (см. главу “Первая революция и третья”), и выставка, таким образом, охватывала период 1909–1929 годов.

Выставку “20 лет работы” можно рассматривать, подобно “Бане”, как резкий ответ критикам и бюрократам, чье растущее давление Маяковский ощущал и на себе, и в обществе в целом. “Я ее устроил потому, что ввиду моего драчливого характера на меня столько собак вешали и в стольких грехах меня обвиняли, которые есть у меня и которых нет, что иной раз мне кажется, уехать бы куда-нибудь и просидеть года два, чтобы только ругани не слышать”, — объяснял Маяковский формулировкой, не исключавшей его подлинный мотив: показать властям, что они не правы, оспаривая его патриотизм и лояльность по отношению к советскому строю, — возможно, он также таил надежду, что когда-нибудь снимут запрет на выезд.

Этот мотив, однако, нельзя было упоминать вслух. Когда Осип впоследствии пытался объяснить рвение, с которым Маяковский устраивал выставку “20 лет работы”, он указал другую причину — Маяковский, по его словам, “захотел признания”: “Он хотел, чтобы мы, рефовцы, взяли на себя организацию его выставки и чтобы на выставку пришли представители партии и правительства и сказали, что он, Маяковский, хороший поэт. Володя устал от борьбы, от драк, от полемики. Ему захотелось немножко покоя и чуточку творческого комфорта”. Несмотря на бунтарский характер Маяковского, это объяснение не лишено оснований.

Однако рефовцы не взяли на себя организационную работу. Кирсанову и Асееву не нравилась идея представлять Реф пер-

сональной выставкой — они отказались помогать, что привело к открытому разрыву с Маяковским. Выставочный комитет (в состав которого входили Асеев, Жемчужный и Родченко) не провел ни одного заседания, с официальной стороны (от Федерации объединений советских писателей) Маяковский также не получил никакой поддержки. Ему сильно противодействовали, и он был вынужден сам собирать основной материал, который сортировал и готовил в своей маленькой комнатке в Лубянском проезде. Нора помогала ему, когда у нее было время, равно как и Лили. Ему также помогали Наташа Брюханенко и Артемий Бромберг, молодой сотрудник Государственного литературного музея. Но Маяковский все время сталкивался с сопротивлением — типография, к примеру, отказывалась печатать выставочный каталог, который в результате был напечатан в простом гектографированном виде. До последней минуты Маяковский сам занимался развешиванием своих плакатов и рисунков на стенах и ширмах выставочных залов.

За день до открытия Лили записала в дневнике: “Выставка должна была быть образцовой (вот как надо ее сделать!), а получилась интересной только благодаря матерьялу. Я-то уж с самой моей истории с Шкловским знаю цену этим людям, а Володя понял только сегодня — интересно, надолго ли понял”.

Правоту Осипа, предполагавшего, что Маяковский хотел официального признания, подтверждает список приглашенных. В него включены литераторы Юрий Олеша, Илья Сельвинский, Александр Фадеев, Леонид Леонов, Федор Гладков, Александр Безыменский, Михаил Светлов, Всеволод Иванов, Николай Эрдман и другие, а также высокопоставленные сотрудники ОГПУ — помимо Якова Агранова, первый и второй заместители председателя организации Генрих Ягода и Станислав Мессинг, начальник секретно-политического отдела Ефим Евдокимов и один из его ближайших подчиненных Лев Эльберт (Сноб) — так же как высокопоставленные деятели государственного и партийного аппаратов (Молотов, Ворошилов, Каганович). Как ни странно, Сталин персонального приглашения не получил, зато два билета были отправлены в его канцелярию.



■ Усталый Маяковский на выставке "20 лет работы".

Никто из представителей партийной и государственной элиты на открытии выставки не появился. А из приглашенных писателей пришли, похоже, только Безыменский и Шкловский. Но там было много молодежи. "Народу уйма, — записала Лили в дневнике, — одна молодежь". Из друзей Маяковского — помимо, разумеется, Лили и Осипа — пришли Кирсанов и чета Родченко, с которыми Маяковский, однако, отказался здороваться. "Если бы нас с тобой связывал только Реф, я бы и с тобой поссорился, но нас с тобой еще другое связывает", — объяснял он Осипу. "Володя переутомлен, говорил страшно устало", — вспоминала Лили, которая также заметила, что он был "не только усталый, но и мрачный. Он на всех обижался, не хотел разговаривать ни с кем из товарищей".

Бойкот выставки писателями настолько бросался в глаза, что Маяковский не мог не затронуть это в своей приветственной речи: “Я очень рад, что здесь нет всех этих первачей и проплеванных эстетов, которым все равно, куда идти и кого приветствовать, лишь бы был юбилей. Нет писателей! И это хорошо!” А разочарование, вызванное тем, что никто из высокопоставленных партийных функционеров не отозвался на его приглашение, Маяковский превратил в вызов: “Ну что ж, “бороды” не пришли — обойдемся без них”.

■ В СЕГОДНЯШНЕМ ОКАМЕНЕВШЕМ ГОВНЕ

Может быть, хорошо, что “бороды” не явились, иначе им пришлось бы слушать, как в тот же вечер Маяковский впервые публично читал свою последнюю вещь, делая это, по словам Лили, “через силу”. Поэма “Во весь голос” задумывалась как вступление к более длинной поэме о пятилетке и была написана специально к выставке; закончив работу за неделю до открытия, Маяковский прочитал ее Лили и Осипу, которым она очень понравилась. “Последняя из написанных вещей — о выставке, так как это целиком определяет то, что я делаю и для чего я работаю, — объяснял Маяковский. — Очень часто в последнее время вот те, кто раздражен моей литературно-публицистической работой, говорят, что я стихи просто писать разучился и что потомки меня за это взгреют”.

Как уже говорилось, не только противники подозревали, что Маяковский “разучился писать стихи”, — так полагали и многие его друзья. В последние годы его творчество посвящалось исключительно социально-политической воспитательной работе, и желающему найти доказательства того, что Маяковский растратил свой поэтический дар, не надо было долго искать. Примером могло служить стихотворение “Я счастлив!”, в котором описывается радость бросившего курить. Вполне возможно, Маяковский действительно бросил курить (по крайней мере на короткий период) и был этому рад — но как он мог дать стихотворению название, которое вопиюще противоречило его подлинному душевному состоянию? Беловик был закончен 16 октября 1929 года,

менее чем через неделю после того, как он узнал о предстоящем замужестве Татьяны и понял, что никуда не поедет. Если стихотворение о чем-то и свидетельствует, то не о счастье, а о шизофрении.

Поэма “Во весь голос” означала “возвращение” Маяковского в качестве настоящего, полноценного поэта. Теперь, однако, это была не любовная лирика, а подведение итогов его работы и размышления по поводу того, как к его творчеству отнесутся потомки. В поэме “Во весь голос” Маяковский в традициях Горация и Пушкина воздвигает себе памятник; поэма была продолжением других его стихов на эту же тему, но на сей раз памятник сделан из иного материала.

Когда потомки начнут рыться “в сегодняшнем окаменевшем говне”, кто-нибудь спросит о Маяковском, который рассказывал “о времени / и о себе”, “революцией / мобилизованный и призванный”. У него тоже “агитпроп / в зубах навяз”, и он бы хотел “строчить / романсы на вас”, что было бы “доходней” и “прелестней”:

Но я
себя
смирал,
становясь
на горло
собственной песне.
<...>
Заглуша
поэзии потоки,
я шагну
через лирические томики,
как живой
с живыми говоря.
Я к вам приду
в коммунистическое далеко
не так,
как песенно-есененный провитязь.

Мой стих дойдет
 через хребты веков
и через головы
 поэтов и правительств.
Мой стих дойдет,
 но он дойдет не так,—
не как стрела
 в амурно-лировой охоте,
не как доходит
 к нумизмату стершийся пятак
и не как свет умерших звезд доходит.
Мой стих
 трудом
 громаду лет прорвет
и явится
 весомо,
 грубо,
 зримо,
как в наши дни
 вошел водопровод,
сработанный
 еще рабами Рима.

Он “ухо / словом / не привык ласкать”, он “парадом” разворачивает своих “страниц войска”, и “стихи стоят / свинцово-тяжело, / готовые и к смерти / и к бессмертной славе” — “готовая / рвануться в гике, / застыла / кавалерия остро, / поднявши рифм / отточенные пики”:

И все
 поверх зубов вооруженные войска,
что двадцать лет в победах
 пролетали,
до самого
 последнего листка
я отдаю тебе,
 планеты пролетарий.

Стих умирает, как солдат, “как рядовой, / как безымянные / на штурмах мерли наши!”. И памятник, который хочет воздвигнуть Маяковский, — не каменный и не бронзовый памятник во славу его самого или его поэзии, а сам социализм, который он строил вместе с рабочим классом:

Мне наплевать
 на бронзы многопудье,
 мне наплевать
 на мраморную слизь.
 Сочтемся славою —
 ведь мы свои же люди,—
 пускай нам
 общим памятником будет
 построенный
 в боях
 социализм.

Поэма завершается надеждой, что в будущем его произведения будет оценивать ЦКК — Центральная контрольная комиссия:

Явившись
 в Це Ка Ка
 идущих
 светлых лет,
 над бандой
 поэтических
 рвачей и выжиг
 я подыму,
 как большевистский партбилет,
 все сто томов
 моих
 партийных книжек.

Более решительную клятву в лояльности трудно себе представить, особенно учитывая, что Маяковский не был членом пар-

тии. На это обстоятельство охотно указывали его враги, пытались изображать его “попутчиком”, а этот термин имел опасный подтекст. Свое решение не вступать в партию Маяковский защищал разными аргументами, в частности тем, что коммунисты “в искусстве и просвещении пока соглашатели”, что его “послали б ловить рыбу в Астрахань” и что “дисциплина заставляла б [его] что-нибудь “делопроизводить”, а это было бы “все равно, что броненосец на велосипед переделывать”. Так Маяковский писал в своей автобиографии; в таком же духе он ответил на этот вопрос, выступая в Доме комсомола Красной Пресни в связи с выставкой: “беспартийный” он “не напрасно”, поскольку “приобретенные навыки в дореволюционные годы <...> крепко сидят” и их “нельзя связать с организационной работой”. Но, несмотря на боязнь, что партия прикажет ему “поезжай сюда или туда”, он утверждал: “Я от партии не отделяю себя, считаю обязанным выполнять все постановления этой партии, хотя не ношу партийного билета”.

Судя по дневнику Лили, в это время Маяковский думал вступить в партию. То, что он предпочел остаться в стороне, наверное, частично объяснялось его буржуазными “навыками”, но главным образом тем, что он всем своим существом противился любым формам субординации и принуждения. Если бы он действительно хотел вступить в партию, он мог бы это сделать как приверженец того чистого, идеалистического коммунизма, в который верил. Но подобный идеализм партию не интересовал; он приветствовался бы десять лет назад, но не сейчас. Теперь партии нужны были именно те карьеристы, которых Маяковский презирал и бичевал в своих пьесах и стихотворениях.

Маяковский делал все, чтобы убедить власть в том, что он нужен, и упорно приспосабливался к требованиям партии и эпохи. Но это не помогало. Он становился “на горло собственной песне”, а в томе Советской энциклопедии, вышедшем в январе 1930 года, утверждалось, что “бунт Маяковского, анархистический и индивидуалистический, мелкобуржуазный по существу” и что “после Октября Маяковскому чуждо мировоззрение пролетариата”. И в списке шестнадцати наиболее выда-

ющихся произведений о Ленине, опубликованном в журнале “Огонек” 25 января, через четыре дня после успешного выступления Маяковского в Большом театре, поэма “Владимир Ильич Ленин” отсутствовала.

В поэме “Во весь голос” выражены чувства поэта, которого не понимают современники, — чувства одиночества и отчужденности. Как будто автор хотел сказать: “Ладно, не хотите меня понимать, но придет время, когда меня оценят по заслугам, а пока мне на вас плевать”. Отчаяние было результатом конкретных обстоятельств и событий, но и выражением экзистенциальной уязвимости, пронизывающей все творчество Маяковского. Поэма “Во весь голос” представляла собой политический манифест, но в ней звучат те же боль и отчаяние, которые мы встречаем в ранних произведениях — как, например, в “Облаке в штанах”, где поэт, “обсмеянный у сегодняшнего племени, / как длинный / скабресный анекдот”, кричит грядущим столетиям об ином, лучшем будущем. “Мне сегодня показалось, что он очень одинок”, — сказал Луначарский жене после того, как они вернулись с выставки. Он был прав: Маяковский был одинок — “одинок, как последний глаз / у идущего к слепым человека!”, как он написал в стихотворении “Я” за шестнадцать лет до этого.

Вступать в партию для Маяковского было поздно; многое было слишком поздно.

Что делать человеку после того, как написана поэма, подобная “Во весь голос”, в которой он по сути прощался? Читатели Маяковского ответа на этот вопрос не знали, но сам он его знал.

■ КОНСОЛИДАЦИЯ ВСЕХ СИЛ ПРОЛЕТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Всю глубину провала в Ленинграде Маяковский осознал, когда на следующий день после открытия выставки “20 лет работы” до него дошли слухи, что всего после нескольких спектаклей “Баню” намереваются снять с репертуара. Он хотел поехать туда, но не мог оставить выставку, и вместо него поехала Лили. Тревога оказалась ложной, запрещать спектакль никто не собирался, хотя “публика



- Одна из редких общих фотографий Лили, Осипа и Маяковского, сделанная в 1929 г., когда “кисячая-осячая” семья была на грани распада.

не ходит и газеты ругают”. Некоторые цензурные купюры были, однако, сделаны, о чем Лили упомянула в дневнике 3 февраля, в частности реплику “я туда по партийному билету пройду” заменили на “по трамвайному”.

Ситуация в Ленинграде была более или менее под контролем, но в день отъезда Лили Маяковский в Москве сделал шаг, который, подобно разрыву бомбы, поверг в шок как друзей, так и врагов: 3 февраля он написал заявление с просьбой принять его в РАПП. Еще в 1923 году Леф объединился с МАППом (московским отделением организации), главным образом по тактическим причинам: несмотря на различие в эстетических вопросах, политические идеалы у них были общие, а лефовцам этот альянс в определенной степени помогал избавиться от клейма “попутчиков”.

И вот Маяковский вступает в РАПП — организацию, на протяжении лет использовавшую свои более или менее интеллектуальные ресурсы для агрессивных атак на “попутчика” Маяковского и эстетику, которую он проповедовал: “Леф нельзя реформировать — его надо уничтожить”; “Октябрь не раз привлекал внимание Маяковского <...> но во всех этих произведениях Маяковский был далек от понимания Октября, его содержания, его сущности”; “Безвкусным, опустошенным и утомительным выходит мир из-под пера Маяковского”. И так далее.

Зачем он это сделал? Одним из объяснений, несомненно, может служить чувство изолированности, которое охватило Маяковского после того, как “свой” — рефовцы — его оставили. Но это послужило лишь последней каплей. Решение созревало долго и не было совсем уж нелогичным для человека, объявившего осенью 1929 года “примат цели и над содержанием и над формой” и выразившего свою солидарность “по большинству вопросов” с РАППом, на чьи пролетарские кадры “опирается будущая советская литература”. И все же решение мотивировалось в первую очередь не внутренними убеждениями, а было результатом внешнего давления. 4 декабря “Правда” опубликовала передовицу под заголовком “За консолидацию всех сил пролетарской литературы”, в которой РАПП объявлялся орудием партии в области литературы. Статью, которая имела характер директивы, перепечатал ряд литературных журналов, а 31 января 1930 года была опубликована еще одна передовица на ту же тему со следующей грозной формулировкой: “Напряженность ситуации заставляет сделать выбор: либо окончательно перейти в лагерь честных союзников пролетариата, либо быть отброшенными в ряды буржуазных писателей...” То, что именно аргументы “Правды” заставили Маяковского вступить в РАПП, доказывает первая фраза его заявления, напрямую отсылавшая к первой передовице: “В осуществление консолидации всех сил пролетарской литературы прошу принять меня в РАПП”.

Это был старый большевистский прием — сославшись на “напряженность ситуации” и “внешнюю угрозу”, вынудить граждан занять позицию “за” или “против”, и кампания консолидации

1929–1930 годов была прямым отзвуком призыва, с которым партия обращалась к интеллигенции осенью 1918-го: “<...> в такое время, какое мы сейчас переживаем, нейтральность невозможна. <...> Школа не может быть нейтральной, искусство не может быть нейтральным, литература не может быть нейтральной. <...> Товарищи, выбора нет. <...> И я бы советовал вам, вместо того, чтобы спастись под дырявым зонтиком нейтральности, идти под родную Российскую кровлю, идти к рабочему классу” (см. главу “Комфут”). Но была разница: в то время как ситуация 1918 года характеризовалась реальными противоречиями между сторонниками и противниками большевистской революции, “напряженность”, царившая сейчас, являлась результатом интенсивной пропаганды в советской печати, предупреждавшей о скором нападении на Советский Союз со стороны “мировой буржуазии”, что в свою очередь повлечет за собой обострение “классовой борьбы” внутри страны.

В своем заявлении Маяковский утверждал, что полностью разделяет линию партии в литературно-политических вопросах, какой она представлена РАППом; что касается “художественно-методологических разногласий”, то их можно решить “с пользой для пролетарской литературы в пределах ассоциации”. Кроме того, он считал, что “все активные рефовцы” должны сделать такой же вывод и вступить в РАПП. Через три дня заявление Маяковского получило единодушное одобрение, и 8 февраля на конференции МАППа он объявил о том, что стал членом РАППа, поскольку это дает ему “возможность переключить зарядку на работу в организации массового порядка”, и отметил, что “путь массовой работы влечет за собой изменение всех методов поэтической работы”.

Через несколько дней подали заявления и были приняты в РАПП два других писателя — конструктивисты Эдуард Багрицкий и Владимир Луговской. Но рефовцы не прислушались к призыву Маяковского. Осип, изначально намеревавшийся составить Маяковскому компанию, теперь воздерживался, а остальные рефовцы, по словам Лили, после вступления Маяковского в РАПП пребывали “в панике”. Помимо самой сути вопроса, Маяковский опять, так же как в 1928 году, привел дру-

зей и соратников в замешательство неожиданным поступком, не посоветовавшись с ними предварительно! “Нам казалось это недемократичным, самовольным, — вспоминал Асеев, — по правде сказать, мы сочли себя как бы брошенными в лесу противоречий. Куда же идти? Что делать дальше? <... > Идти тоже в РАПП? Но ведь там недружелюбие и подозрительность к непролетарскому происхождению”. Наиболее непримиримо был настроен Семен Кирсанов, который, после того как Маяковский отказался поздороваться с ним, написал стихотворение “Цена руки”, где по сути отказался от дружбы Маяковского: “Пемзой грызть! / Бензином кисть облить, / чтобы все / его рукопожатья / со своей ладони / соскоблить”.

Стихотворение было напечатано в “Комсомольской правде” в тот же день, когда один из лидеров рапповцев, молодой прозаик Александр Фадеев, в газетном интервью утверждал, что тот факт, что “в смысле своих политических взглядов [Маяковский] доказал свою близость пролетариату”, не означает, что его приняли “со всем его теоретическим багажом... Мы будем принимать его в той мере, в какой он будет от этого багажа отказываться, — объяснил он, снисходительно добавив: — Мы ему в этом поможем”. Если Маяковский думал, что, вступив в РАПП, автоматически станет “пролетарским писателем”, то он ошибался, о чем четко заявила передовица в рапповском журнале “На литературном посту”.

Менторский тон рапповцев объяснялся внезапным и непредвиденным поступком злейшего противника, давшим им повод почувствовать себя победителями — если для рефовцев решение Маяковского оказалось неожиданным, то в рядах рапповцев оно вызвало не меньшие переполох и растерянность. Что делать в сложившейся ситуации? Как поступить с таким гигантом, как Маяковский? Вместо того чтобы выбрать его в правление, что было бы естественно, они обращались с ним как с учеником — несмотря на то что лидеры РАППа были намного моложе Маяковского (председателю Леопольду Авербаху было, к примеру, всего двадцать шесть лет). Асеев вспоминал, как Маяковский, “прислонясь к рампе на эстраде, хмуро взирал на пояснявшего ему условия его приема в РАПП, перекатывая из угла в угол рта папиросу”.

Но как бы мрачно ни был настроен Маяковский, он понимал, что членство в РАППе требует пересмотра “всей системы [его] поэтических взглядов”, чем он и обещал заняться. Обещание “переключить зарядку на работу в организации массового порядка” тоже воспринималось серьезно: “Володя собирается взять на себя огромный кружок с 3-х заводов — учить писать стихи”, — читаем мы запись от 8 февраля в дневнике Лили, а через две недели он объявил об этом своем намерении публично. Но это была теория — ни один из проектов не реализовался. На практике Маяковский относился к своим идеям так же вяло, как РАПП — к его “перевоспитанию”. “Он держался бодро и все убеждал и доказывал, что он прав и доволен своим вступлением в члены РАППа, — вспоминала Нора. — Но чувствовалось, что он стыдится этого, не уверен, правильно ли он поступил перед самим собой. И хоть он не сознается даже себе, но что приняли его в РАППе не так, как нужно и должно было принять Маяковского”.

■ ЗВУКОВОЕ КИНО В БЕРЛИНЕ

В тот же день, когда Маяковского приняли в РАПП, Лили и Осип получили паспорта, а 18 февраля они сели в поезд до Берлина. “Мы здесь 3 дня, а ощущение такое, что 3 месяца, — записала Лили в дневнике 22 февраля. — Хоть нигде не были, ничего не видели. Купили Осе пальто и шляпу — уж очень он был страшный в своей шубе. А больше и не хочется и денег нет. Никогда больше не буду стараться ехать за границу”.

Запись дает хорошее представление о капризном характере Лили, но отражает только первые дни пребывания в Берлине. Хотя время от времени Лили снова охватывает тоска, дальнейшие дневниковые записи свидетельствуют о жизни, наполненной событиями. Помимо ресторанов и кабаре Осип обходит букинистические магазины и покупает русских классиков, однажды он посещает рейхстаг — “самый дешевый берлинский театр, хотя здесь ничего особенно не предлагают”, по утверждению сопровождавшего его коммунистического члена рейхстага. Лили в свою очередь несколько раз бывает в зоопарке, где фотографируется



- Фото Лили с львенком, сделанное в берлинском зоопарке, которое она послала Маяковскому. “До чего мне хочется такого львятика! — писала она. — Ты представить себе не можешь, какие у него мягкие лапочки!”

с львенком, которого через несколько дней продадут в мюнхенский зоопарк. “Сторож сказал мне об этом по настоящему грустно: *Alle die kleinen verkauft*. [“Все маленькие проданы”]. Я чуть не расплакалась и после этого страшно жалко было смотреть на зверей”. Переменчивость ее настроения иллюстрируется тем, что дневниковые записи порой оживляются анекдотами, например следующим: “Заведующая в родильном приюте спрашивает женщину с красивыми рыжими волосами: “У вашего ребенка такие же чудесные волосы?” — “Нет, черные”. — “Ваш муж брюнет?” — “Не знаю, он был в шляпе”.

Они общаются с немецкими и советскими кинематографистами (в частности, с Эйзенштейном) и часто ходят в кино. Смотрят фильмы Чарли Чаплина и Греты Гарбо, и *Die weiße*

Hölle vom Piz Palü (в советском прокате “Пленники Белой горы”) с Лени Рифеншталь (“Если грешников в аду мучают такими картинками, то это действительно невыносимо”), но в первую очередь их интересует кинематографическое новшество — звуковое кино: *Liebeswalzer* (“про графьев и князьев — правда, пародийно, но все таки!”), *So ist das Leben, Zwei Herzen i Dreivierteltakt* (чей лейтмотив стал популярным шлягером) и многие другие, в том числе “Дрейфус”, на показе которого они замечают среди зрителей Альберта Эйнштейна.

Если учесть работу Лили и Осипа в советской кинопромышленности, то многочисленные походы в кино вполне соответствовали “научной цели”, которой они мотивировали свою поездку. К серьезной программе относились и переговоры с издательством “Малик” — Лили вела их от имени Маяковского — и совещание (неясно с кем), на котором было принято решение попытаться учредить компанию по производству звуковых фильмов в Советском Союзе. Осип в свою очередь выступил в клубе советского посольства в Берлине и прочел публичную лекцию на немецком о новейшей литературе в Советском Союзе. Говорил он, по словам Лили, “блестяще”, а публика была такой же замечательной, как в Политехническом музее в Москве. Выступление в Берлине прошло с успехом, но у рапповцев в Москве оно вызвало сомнение по поводу правоверности Осипа: на самом ли деле он говорил то, что надо?

Каким бы полезным и продуктивным ни было пребывание Лили и Осипа в Берлине, немецкая столица служила лишь транзитным пунктом путешествия, конечной целью которого являлся Лондон. Официальной целью поездки в Лондон была встреча с матерью Лили, но за этим желанием скрывался еще один мотив: они хотели встретиться с Эльзой и познакомиться с ее мужем Луи Арагоном. Несмотря на то что в октябре им отказали в визе, Лили и Осип не оставляли надежду и 5 марта предприняли новую попытку, теперь через британское посольство в Берлине. На этот раз все прошло успешно, и 17 марта Елена Юльевна телеграфировала им, что визы получены. Об изменении отношения к ним британских властей свидетельствовала инструкция Home Office, согласно которой циркуляр

В.795 аннулировался и “имя [Лили] вычеркивалось из списка подозреваемых лиц”. Хотя Лили ничего не знала о циркуляре, запрещавшем ей и Маяковскому въезд в Англию, она должна была задаться вопросом, почему отношение властей к ней внезапно изменилось. Может быть, Англия просто хотела улучшить отношения с Советским Союзом после двух лет дипломатического холода? Какой бы ни была причина, Лили и Осип покинули Берлин 30 марта, не досмотрев до конца фильм “For the love of Anna” (немую версию “Анны Карениной” 1927 года) с Гретой Гарбо и Джоном Гилбертом — “не досидели, несмотря на весь комизм”. Спальный вагон, который вез их к английскому кораблю в Хук-ван-Холланд, был немецким: “лампочки, крючки и сетки всех систем”.

Перед тем как покинуть Германию, Брики уже неделю общались с Эльзой и Арагоном, которые из опасений, что поездка в Англию не состоится, на всякий случай приехали в Берлин. Короткого времени, проведенного вместе в “Курфюрстенотеле”, оказалось достаточно, чтобы Арагон смог произвести на Лили весьма благоприятное впечатление: “Хорош Арагон, — записала она. — Ужасно обидно, что не умею запомнить то, что он рассказывает”. И в другой дневниковой записи: “[Арагон] не встречается с Эйзенштейном за то, что тот жал руку Маринетти и снимался с ним на фотографии”. Член французской компартии не мог допустить, чтобы видный представитель советской культуры появлялся рядом с фашиствующим итальянским футуристом...

■ БАНЯ В МОСКВЕ

17 марта, в тот же день, когда Лили и Осип в Берлине получили радостное известие от матери, Маяковский в Москве проснулся совсем в другом расположении духа. Накануне в театре Мейерхольда состоялась премьера “Бани”, провалившаяся так же, как и в Ленинграде. Через два дня он написал Лили: “Третьего дня была премьера “Бани” мне за исключением деталей понравилось по моему первая поставленная моя вещь. Прекрасен Штраух (Победоносиков). Зрители до смешного поделились — одни



— Дорогие товарищи! Почему домашним хозяйкам ситцу не дают, только дают од- ним детям 12 лет?



— Остроты натянутые, непонятны. Кто это Микель Анжело? — объясните. Вы пишете для интеллигенции.

— Как по вашему, тов. Маяковский, доступны ли пониманию ваши пьесы рабочему?



— Товарищ! Мне не нравится Ваша пьеса, а нравитесь Вы сами. Люблю Вас давно. Варламова Вера.



— Товарищи, довольно нам забивать головы, они у нас и так уже забиты. Мое мнение — прикончите все ваши сказки.

■ В декабре 1929 г. на обсуждении спектакля "Баня" в рабочем клубе "Пролетарий" публика передавала Маяковскому записки с вопросами. Некоторые из них были опубликованы в журнале "Советский театр" вместе с карикатурами на людей, их задающих.

говорят: никогда так не скучали — другие: никогда так не веселились. Что будут говорить и писать дальше — неведомо”.

Говоря о разделении публики на два лагеря, Маяковский самообольщался. Зал был в лучшем случае “холодноват”, по воспоминаниям Василия Катаняна, что не мог не заметить Маяковский ни во время представления, ни потом, когда он стоял в холле и заглядывал в глаза каждому, кто покидал театр. Впечатление подтвердили убийственные рецензии, которые пошли потоком спустя несколько дней после письма к Лили: отношение Маяковского к советской действительности “издевательское”, персонажи “нежизненные”, сама пьеса “поверхностная” и “плохая”, “как бюрократизм, так и борьба против него лишены конкретного классового содержания”.

Если Маяковский думал, что членство в РАППе обеспечит ему поддержку со стороны рапповцев, он глубоко заблуждался. Еще за неделю до премьеры рапповский критик Владимир Ермилов опубликовал в “Правде” статью под заголовком “О настроениях мелкобуржуазной “левизны” в художественной литературе”, где нападал на Маяковского за то, что в нем звучит “очень фальшивая “левая” нота, уже знакомая нам не по художественной литературе”, таким образом, косвенно связав его с троцкистской оппозицией. Мейерхольд опубликовал статью в защиту Маяковского, который сам ответил на критику тем, что к антибюрократическим плакатам, развешенным в зале театра в день премьеры, добавил еще один, адресованный “критикам вроде Ермилова”, чье перо “помогает бюрократам”. Это привело в ярость руководство РАППа, и оно потребовало, чтобы Маяковский снял плакат, что он и сделал. Сам факт, что такой борец, как Маяковский, сдал оружие столь унижительным образом, говорит о том, что он наступал не только “на горло собственной песне”, а на всю свою личность. Именно к этому и стремилось руководство РАППа — сломать Маяковского. Еще один шаг в том же направлении был предпринят через неделю после премьеры “Бани”, когда расширенный пленум РАППа постановил, что публикация в журнале “Октябрь” фрагментов пьесы, направленной, по мнению пленума, не против бюрократии, а против “пролетарского государства”, была “ошибкой”.

■ В ПРЕДДВЕРИИ МАССОВОГО ТЕРРОРА

В данной ситуации статья Ермилова представляла собой не что иное, как донос — и он и Маяковский прекрасно это понимали. До сих пор борьба партии с “оппозицией” включала главным образом такие меры, как высылка из страны, чистка кадров и запрет на публикации, однако в последнее время характер борьбы изменился, о чем свидетельствуют арест и расстрел Якова Блюмкина осенью 1929 года. Мы помним Блюмкина первых лет революции — театрально размахивающего револьвером чекиста и террориста, завсегдатая литературных кафе, друга многих писателей, в том числе Есенина, Мандельштама — и Маяковского, который дарил ему свои книги с автографом. После убийства немецкого посла фон Мирбаха летом 1918 года Блюмкин сбежал из Москвы, но через год был помилован Дзержинским, после чего в двадцатые годы сделал блестящую карьеру в ЧК. Благодаря знанию языков (помимо иврита, он владел несколькими восточными языками) он часто выполнял поручения за границей, в частности в Палестине, Афганистане, Монголии, Китае и Индии (где пытался настроить население против британских оккупационных властей).

Помимо традиционной деятельности ОГПУ интересовали также возможности массового воздействия на людей, и одно время Блюмкина привлекали для проникновения в оккультные круги Петрограда. К такому же неординарному шпионскому жанру можно отнести две экспедиции в Тибет, организованные ОГПУ в 1926 и 1928 годах с целью найти мифическую Шамбалу, чьи жители, по легенде, обладали способностью к телепатии. Экспедиции формально возглавлял художник и теософ Николай Рерих, но основным действующим лицом был прекрасно ориентировавшийся в восточной мистике Блюмкин, который выступал под видом то монгольского офицера, то ламы — в зависимости от характера выполняемого поручения.

На протяжении всей своей наполненной приключениями карьеры Блюмкин был близок к Троцкому и несколько лет работал его секретарем. В конце 1927 года, во время сталинских атак на оппозицию, он откровенно демонстрировал свою симпатию к последней. Благодаря хорошим контактам в ОГПУ ему,

несмотря на это, поручили руководить всей советской агентурной деятельностью на Ближнем Востоке. Для финансирования шпионской сети он открыл в Константинополе букинистический магазин, специализировавшийся на старых еврейских рукописях (похищенных агентами ОГПУ из Ленинской библиотеки или конфискованных в синагогах и других очагах еврейской культуры). Затем под азербайджанско-еврейским именем Якоб Султанов он ездил по Европе и продавал книги как можно дороже, что полностью соответствовало интересам его работодателей. С гораздо меньшим энтузиазмом они отнеслись к состоявшейся в апреле 1929 года встрече Блюмкина и Троцкого, который в то время жил в Константинополе и который уговорил Блюмкина присоединиться к нему в борьбе против Сталина. Вернувшись в Москву, Блюмкин щедро делился впечатлениями от Константинополя, на него донесли, и он был арестован — по некоторым сведениям, его арестовали дома у только что уволенного наркома Луначарского, где он какое-то время жил. 3 ноября Блюмкина казнили по прямому приказу Сталина.

Расстрел Блюмкина потряс его коллег по партии и органам безопасности. Если казнили человека со столь прочными связями в самых высокопоставленных кругах ОГПУ, то такая участь могла ожидать любого... Так же, как процесс против Краснощекова был первым антикоррупционным делом, в котором обвинялся видный коммунист, казнь Блюмкина стала первым смертным приговором стороннику троцкистской оппозиции. Троцкий призывал своих сторонников на западе выступить с протестом против убийства “пламенного революционера”, но без особого успеха.

Ни Маяковский, ни его друзья не упоминают казнь Блюмкина ни словом, что, с учетом политической взрывоопасности события, неудивительно. Однако трудно поверить, чтобы это событие не вызвало у Маяковского сильных чувств — и воспоминаний: об анархистском периоде первой революционной поры, о времени, когда все казалось возможным. Казнь Блюмкина была не просто смертью отдельного человека, а концом революционной эпохи и мечты о неавторитарном социализме. Начиналась новая эра в истории русской революции — эра террора.

Если смерть Блюмкина напомнила об ушедшей эпохе, об авантюристе и революционном романтике, с которым Маяковский в последнее время встречался довольно редко, то другая казнь, имевшая место два месяца спустя, ударила непосредственно по ядру футуризма. Родившийся в 1901 году Владимир Силлов был членом сибирской футуристической группы “Творчество” и лефовцем, писал статьи о Маяковском и Бурлюке, составлял библиографию произведений Хлебникова и Маяковского (последняя была напечатана в первом томе его Собрания сочинений, вышедшем в ноябре 1928-го). 8 января 1930 года его арестовали и приговорили к расстрелу за “шпионаж и контрреволюционную пропаганду”, а через три дня приговор был приведен в исполнение.

В чем состояло “преступление” беспартийного Силлова, не совсем ясно. По одной версии (троцкиста Виктора Сержа), он оказал услугу сотруднику ОГПУ, поддерживавшему оппозицию, по другой (сына Троцкого) — Силлова казнили “после неудавшейся попытки связать [его] с делом о каком-то заговоре или шпионаже”. Возможно, “доказательства” содержались в дневнике Силлова, который представлял собой “дневник не обывателя, а приверженца революции”. Он “слишком много думал, — написал Пастернак своему отцу, — что и ведет иногда к менингиту в этой форме”.

Весть об аресте и казни Силлова, разумеется, немедленно распространилась среди его друзей и коллег, но так же, как и в случае с Блюмкиным, об их реакции ничего не известно*. Если реакция рефовцев неизвестна, то у Пастернака приговор Силлову вызвал бурю эмоций — так же как двумя годами ранее шахтинское дело. По сравнению с этим

бледнеет и меркнет все, бывшее доселе, — писал он Николаю Чуковскому. — Из Лефовских людей в современном

* По свидетельству Эммы Герштейн, Пастернака поразило равнодушие Кирсанова, когда он рассказал о “расстреле старого знакомого” — “как будто речь шла о женитьбе или получении квартиры”. Было высказано предположение, что свидетельство Герштейн относится к казни Силлова. Но Герштейн не называет имя казненного, “кажется бывшего эсера”, которым вполне мог бы быть малоизвестный Кирсанову Блюмкин.

облике это был единственный честный, живой, укоряюще-благородный пример той нравственной новизны, за которой я никогда не гнался, по ее полной недостижимости и чуждости моему складу, но воплощению которой (безуспешному и лишь словесному) весь Леф служил ценой поспраивания где совести — где дара. Был только один человек, на мгновение придававший вероятность невозможному и принудительному мифу, и это был В[ладимир] С[иллов]. Скажу точнее: в Москве я знал одно лишь место, посещение которого заставляло меня сомневаться в правоте моих представлений. Это была комната Сил[л]овых в пролеткультовском общежитии на Воздвиженке.

Несмотря на то что Пастернак прекрасно знал, где проходит граница дозволенного, он, как всегда, явил собой образец редкой гражданской отваги:

Здесь я прерываю свой рассказ о нем потому, что сказанного достаточно. Если же запрещено и это, т. е. если по утрате близких людей мы обязаны притвориться, будто они живы, и не можем вспомнить их и сказать, что их нет; если мое письмо может навлечь на Вас неприятности, — умоляю Вас, не щадите меня и отправляйте ко мне, как виновнику. Это же будет причиной моей полной подписи (обыкновенно я подписываюсь неразборчиво или одними инициалами).

После смерти Силлова его жена пыталась покончить с собой, выбросившись из окна, несмотря на то что у них был маленький сын, что многое говорит о ее душевном состоянии. Как на смерть Силлова реагировал Маяковский? На попытку самоубийства его жены? Смерть Блюмкина была “понятной” в том смысле, что она настигла политического противника Сталина; Силлов же был писатель, друг, человек “прекрасный, образованный, способный, в высшей степени и в лучшем смысле слова *передовой*”, по определению Пастернака. Могла ли его казнь вызвать у друзей что-либо, кроме страха? Едва ли. Если казнили такого человека, как Силлов,

то разве не мог любой стать жертвой? Молчание, окружавшее эту смерть, свидетельствует об атмосфере страха, которая начала распространяться в советском обществе уже тогда, зимой 1930 года, за шесть лет до большого террора, унесшего жизни миллионов безвинных людей и в их числе сотен писателей*.

После смерти Силлова его имя исчезло и для современников, и для потомков. В книге “Охранная грамота” (1931) Пастернак ссылается на него, используя инициалы его жены О.С., в остальном же его имя не упоминается ни в одном из многочисленных воспоминаний о группе “Творчество” и Лефе; его имя отсутствует даже в мемуарах о жизни в Сибири, написанных его женой (по крайней мере в версии, увидевшей свет в 1980 г.); первые инициалы О.С. были дешифрованы — и тем самым судьба Владимира Силлова освещена — в статье французского слависта М. Окутюрье, опубликованной в 1975 г.



...Я с сердцем ни разу до мая не дожили,
а в прожитой жизни
лишь сотый апрель есть.

■ Владимир Маяковский. *Облако в штанах*

Замужество Татьяны означало, что парижская глава в жизни Маяковского завершилась. Возможно, единственным положительным следствием этого события стало то, что Маяковскому больше не нужно было вести двойную сентиментальную бухгалтерию, на которую его вынуждали параллельные связи с Татьяной и Норой: в начале 1930 года отношения с Норой упрочились, а после отъезда Лили и Осипа в Берлин вступили в решающую фазу.

Брак Нору к этому времени был чисто формальным, а отношения с супругом “хорошие, товарищеские, но не больше”. “Яншин относился ко мне как к девочке, не интересовался ни жизнью моей, ни работой. Да и я тоже не очень вникала в его жизнь и мысли”. Но, несмотря на то что сам Яншин не был образцовым супругом, Нору мучила мысль о том, что она предает его, встречаясь с Маяковским, тем более что они часто проводили время вдвоем: ходили в театр, на скачки, в рестораны, играли в карты. Яншину настолько льстило общество Маяковского, что он закрывал глаза на явно теплые чувства, проявляемые тем по отношению к его жене.

Если Яншин предпочел проглотить досаду, то “семья” Маяковского, которая знакомство с Норой и спровоцировала,

■ Центр Москвы 17 апреля 1930 г.

эти отношения одобряла — при условии, что они не нарушают правило Лили: “внебрачные” связи поддерживаются только вне дома. Поэтому ночевать Нора оставалась только в рабочей комнате Маяковского в Лубянском проезде. Однажды, когда Лили и Осип уехали в Ленинград и Яншин тоже отсутствовал, Маяковский предложил ей остаться на ночь в Гендриковом. Когда Нора поинтересовалась, что скажет Лили, если вернется утром и обнаружит ее в квартире, Маяковский ответил: “Она скажет: Живешь с Норочкой? Ну что ж, одобряю”. Норе показалось, что “ему в какой-то мере грустно то обстоятельство, что Лилия Юрьевна так равнодушно относится к этому факту”, будто “он еще любит ее, и это в свою очередь огорчило меня самое”.

У Лили были любовники, у Осипа — Женя, у Маяковского — Нора. Это считалось нормальным, пока ничего не угрожало основам “семейной жизни”. Когда Лили захотела, чтобы отношения Маяковского с Наташей Брюханенко прервались, она мотивировала это фразой: “Мы все трое женаты друг на друге и нам жениться больше нельзя — грех”, — и данный тезис все еще оставался в силе. “Мне казалось, что Лилия Юрьевна очень легко относилась к его романам и даже им как-то покровительствовала, как, например, в моем случае — в первый период, — комментировала Нора. — Но если кто-нибудь начинал задевать его глубже, это беспокоило ее. Она навсегда хотела остаться для Маяковского единственной, неповторимой”.

Прошло пять лет с тех пор, как Лили прекратила физические отношения с Маяковским, и он по крайней мере дважды был готов оставить свою “кисячью-осячью семью”, чтобы создать собственную. Для Маяковского не было тайной: в обоих случаях — и с Наташей и с Татьяной — ему тем или иным способом помешала Лили, и он понимал, что, пока находится под ее наблюдением, ему не удастся прекратить их совместную жизнь в Гендриковом. Поэтому, когда Брики уехали за границу, Маяковский поспешил сделать Норе предложение; если бы она согласилась, он смог бы через два месяца, к возвращению Бриков, поставить Лили перед свершившимся фактом. Нора в это время забеременела от Маяковского и сделала тяжелый аборт, что, по-видимому, ускорило предложение выйти за него замуж. (Любопытно, что

за несколько месяцев до этого Женя, у которой случилась вне-маточная беременность, тоже сделала аборт, — интересно, как бы реагировала Лили, если бы ее “зверики” одновременно стали отцами...) Но Нора медлила с ответом, ей было трудно решиться на развод с Яншиным; и она пообещала Маяковскому, что станет его женой, “но не теперь”.

Нерешительность Норы объяснялась не только ее молодостью и робостью, но и резкими перепадами настроения Маяковского и его деспотическим желанием владеть ею безраздельно. Она должна была постоянно повторять, что любит его, в противном случае его одолевали страшные приступы ревности. Каждый день он ожидал ее в кафе рядом с театром, и, опаздывая, она видела одну и ту же картину: за столом в широкополой шляпе сидит Маяковский, сложив руки на набалдашнике трости и упреков в них подбородок, в ожидании ее он не сводит взгляда с двери. Нора испытывала неловкость, но ситуация была неловкой и для Маяковского, который стал посмешищем в глазах официанток: хмурый тридцатилетний мужчина часами ждет актрису, которая почти вдвое моложе его. Но когда Нора попросила его не назначать встречу в кафе, потому что она не могла обещать, что придет вовремя, он ответил: “Наплевать на официанток, пусть смеются. Я буду ждать терпеливо, только приходи!”

Наглядным примером эгоцентризма и эгоизма Маяковского было и его нежелание понимать, почему Нора после аборта отказывает ему в близости. Она пыталась объяснять, что это вызвано временной депрессией и что если он на какое-то время оставит ее в покое и не будет реагировать “нетерпимо и нервно” на ее “физическое равнодушие”, то вскоре все будет как и прежде. “А Владимира Владимировича такое мое равнодушие приводило в неистовство. Он часто был настойчив, даже жесток”, — вспоминала Нора. Сексуальная сторона “играла очень большую роль” в их отношениях: “Отсюда — такое болезненное нервное отношение Владимира Владимировича ко мне. Отсюда же мои колебания и оттяжки в решении вопроса развода с Яншиным и совместной жизни с Маяковским”.

В ожидании “решения вопроса” они стали искать жилье, где могли бы жить вместе, — по словам Норы, они хотели две

отдельные квартиры на одной лестничной площадке. “Конечно, это было нелепо — ждать какой-то квартиры, чтобы решать в зависимости от этого, быть ли нам вместе, — вспоминала Нора, — но мне это было нужно, так как я боялась и отодвигала решительный разговор с Яншиным, а Владимира Владимировича это все же успокаивало”. Поскольку Федерация советских писателей строила дом напротив Художественного театра, Маяковский связался с секретарем союза — тем самым Владимиром Сутыриным, который от лица союза подписал статью Маяковского в “Комсомольской правде” в связи с нападениями на Лили и Осипа. Он объяснил, что не может больше жить в Гендриковом, и поэтому ему нужна квартира, желательно до того, как Лили и Осип вернутся из-за границы. Узнав, что ранее осени устроить это невозможно, он ответил: “Ну, что же, я сделаю иначе: я что-нибудь найму, а осенью условимся, что ты мне дашь поселиться в отдельной квартире”.

■ ПОСЛЕДНЯЯ СОЛОМИНКА

В марте Маяковский занялся новым театральным проектом “Москва горит” — “героической меломимой” о революции 1905 года, которая была написана для московского цирка. Поскольку руководство цирка больше интересовалось кассовыми сборами, чем художественными амбициями Маяковского, оно постоянно вмешивалось в репетиционную работу, пытаясь “нормализовать” представление, что возмущало и разочаровывало Маяковского. В личном плане столь же мучительным было одиночество, обрушившееся на него после того, как Лили и Осип уехали, а ближайшие друзья его предали — или он их, в зависимости от перспективы. Верным другом оставался Лев Гринкруг, который навещал Маяковского почти ежедневно и с которым он мог удовлетворять свою страсть к игре.

“Я считаю, что я и наши взаимоотношения являлись для него как бы соломинкой, за которую он хотел ухватиться”, — подвела итог Нора несколько самоуничижительной формулировкой, если вспомнить о чувствах, которые она вызывала у Маяковского. Они проводили вместе все свободное от работы время, часто, ради приличия, вместе с мужем Норы. “Мы встречаемся с ним

ежедневно, иногда несколько раз в день, — вспоминал Яншин, — днем, вечером, ночью”. Однажды после проведенного вместе вечера Маяковский стал умолять их поехать к нему в Гендриков. Поговорили, выпили вина, вышли погулять с Булькой, и Маяковский, крепко схватив Яншина за руку, сказал: “Михаил Михайлович, если бы вы знали, как я вам благодарен, что вы заехали ко мне сейчас. Если бы вы знали, от чего вы меня сейчас избавили”.

В середине марта Маяковский помирился с Кирсановым, но без особого энтузиазма, если судить по письму к Лили, в котором он называет своего старого друга (с женой) “новыми людьми”, которых он “чуть не забыл”. Помимо Бульки компанию Маяковскому в Гендриковом составляют домработница — и агент ОГПУ Лев Эльберг, Сноб, который после отъезда Лили и Осипа короткое время жил в их квартире. Почему? Чтобы Маяковскому не было скучно? Или это присутствие было как-то связано с его профессиональными задачами? “Обязательно скажи снобу что адрес его я оставила, но никто ко мне не пришел и это очень плохо”, — писала Лили Маяковскому из Берлина. Были ли у Лили какие-нибудь “поручения” в немецкой столице? Соблазнительна конспирологическая трактовка этой загадочной фразы, но, может быть, речь шла лишь о подарке, который нужно было передать? (Подобными вопросами окружены также “разные дела и просьбы”, которые опоздавший на вокзал Яня Агранов хотел, но не успел передать Лили и Осипу перед их отъездом в Берлин. Передавал бы профессиональный агент задания на перроне — к тому же опоздав к отходу поезда? Вряд ли. Вероятнее всего, “дела и просьбы” были более прозаическими, сродни тем, которыми Лили обычно обременяла Маяковского.)

Чувство одиночества и изолированности, овладевшее Маяковским зимой 1930 года, усиливалось тяжелым гриппом, которым он заболел в конце февраля и от которого долгое время не мог избавиться. У такого ипохондрика, как Маяковский, самая безобидная простуда вызывала неадекватную реакцию: он пугался и впадал в депрессию. Особую тревогу вызывал голос — его рабочий инструмент и составляющая его творческой индивидуальности: “Для меня потерять голос то же самое, что потерять голос для Шаляпина”. Вследствие курения и многочисленных турне

и выступлений он часто страдал инфекционными заболеваниями горла и, как бы его ни разубеждали врачи, постоянно боялся, что у него рак или какая-нибудь другая смертельная болезнь. В марте 1930 года Маяковскому несколько раз пришлось прерывать выступления из-за проблем с горлом, вызванных простудой в сочетании со стрессом и перенапряжением. Когда 17 марта, во время выступления в Политехническом музее, он читал “Во весь голос”, чтобы доказать, что не “стал газетным поэтом”, закончить чтение он не смог. Каменский вспоминал: “Нервный, серьезный, изработавшийся Маяковский как-то странно, рассеянно блуждал утомленными глазами по аудитории и с каждой новой строкой читал слабее и слабее. И вот внезапно остановился, окинул зал жутким потухшим взором и заявил: “Нет, товарищи, читать стихов я больше не буду. Не могу”. И, резко повернувшись, ушел за кулисы”. Проблемы с горлом преследовали Маяковского, и неделю спустя в Доме комсомола Красной Пресни, где его попросили не комментировать свои стихи, а читать их, Маяковский ответил: “Я сегодня пришел к вам совершенно больной, я не знаю, что делается с моим горлом, может быть, мне придется надолго перестать читать. Может быть, сегодня один из последних вечеров <...>”. Прочитав тем не менее несколько стихотворений, он был вынужден прервать выступление словами: “Товарищи, может быть, здесь кончим? У меня глотка сдала”.

■ КОГДА ЖЕ ВЫ ЗАСТРЕЛИТЕСЬ?

На протяжении всей своей карьеры Маяковский общался с читателями не только на страницах книг, но и с эстрады. Он просто не мог жить без живого общения с публикой. Однако не слишком податливые и зачастую неотесанные советские слушатели существенно отличались от буржуазной публики 1910-х годов, которая позволяла наглому футуристу злословить в свой адрес и чьи нападки он с легкостью парировал. Изменились и поэт и публика, о чем Маяковский говорил на выступлении в Доме комсомола Красной Пресни 25 марта: “Дело <...> в том, что старый чтец, старый слушатель, который был в салонах (преимущественно барышни слушали да молодые люди), этот чтец навсегда



- Маяковский на встрече русских и украинских писателей, где он внезапно стал объектом нападок. Зима 1929 г.

умер, и только рабочая аудитория, только пролетарско-крестьянские массы, те, кто строит социализм и хочет распространять его на весь мир, только они должны стать действительными чтецами, и поэтом этих людей должен быть я”.

Однако “пролетарско-крестьянские массы” было трудно убедить в том, что первым советским поэтом должен быть именно Маяковский, а нападать на него в печати или на выступлениях к концу двадцатых годов стало своего рода спортом. Украинский поэт Павло Тычина приводит в пример дружескую встречу русских и украинских писателей зимой 1929 года, на которой Маяковский не был главным действующим лицом, но тем не менее подвергался атакам со стороны присутствовавших писателей.

Ухудшению ситуации за истекший год способствовала поляризация культурной жизни, чему содействовал и сам Маяковский — ведь устроив ретроспективную выставку, он заставил окружающих определить свое отношение к нему: за или против.

Нейтральная позиция уже вряд ли была возможна. Гегемонические претензии Маяковского на место главного советского поэта легко делали его жертвой издевок и насмешек. Однажды к нему подошел молодой человек и сказал: “Маяковский, из истории известно, что все хорошие поэты скверно кончали: или их убивали, или они сами... Когда же вы застрелитесь?” Маяковский вздрогнул и медленно ответил: “Если дураки будут часто спрашивать об этом, то лучше уж застрелиться...”

Восьмого апреля Маяковский посмотрел новый фильм Александра Довженко “Земля” и после показа пригласил режиссера зайти к нему на следующий день: “Давайте посоветуемся, может быть, удастся создать хоть небольшую группу творцов в защиту искусства, — сказал он, добавив: — Ведь то, что делается вокруг, — нестерпимо, невозможно”. Но встреча с Довженко не состоялась, вместо этого 9 апреля Маяковский принял участие в “разговоре”, лишь подтвердившем правоту его анализа. Участниками дискуссии были студенты Московского института народного хозяйства им. Плеханова, где Маяковский выступал в тот же день, когда должен был встретиться с Довженко.

Маяковский обычно ждал такие встречи с нетерпением, но на этот раз у него был грипп и высокая температура, и когда он приехал в институт, его глаза сияли нездоровым блеском. От привычного боевого настроения не осталось и следа: не успев войти, он сразу спешит к двери в другом конце аудитории, чтобы укрыться от публики. Он пытается отворить дверь, но она не поддается. Стучит тростью. Напрасно. Он опускается на скамью. “Казалось, он хочет спать или его гнетет высокая температура, грипп, — вспоминал Славинский, молодой поклонник Маяковского, сохранивший память об этом выступлении для потомков. — Он сидел, опустив голову, с закрытыми глазами, не снимая шляпы”.

Публика собиралась медленно, привычной для выступления Маяковского давки и переполоха не было и в помине. Возможно, студентов отвлекли другие заботы: часть уехала в деревню помогать колхозникам, часть сдавала экзамены. Это была первая весна первой пятилетки, так называемая “первая большевистская весна”: Пасха уступила место весенней посевной, звон церковных колоколов — грохоту тракторов и сеялок.

В чем бы ни заключалась причина, Маяковскому пришлось начать выступление при неполном зале, и первым делом он сообщил, что его еле-еле уговорили прийти туда: “Мне не хотелось, надоело выступать”. В ответ на его предупреждение: “Когда я умру, вы со слезами умиления будете читать мои стихи”, — некоторые засмеялись. “А теперь, — продолжил он, — пока я жив, обо мне много говорят всякой глупости, меня много ругают. Много всяких сплетен распространяют о поэтах. Но из всех разговоров и писаний о живых поэтах обо мне больше всего распространяются глупости. Я получил обвинение в том, что я — Маяковский — ездил по Москве голый с лозунгом: “Долой стыд!” Но еще больше распространяется литературной глупости”.

Многие слушатели были положительно настроены к Маяковскому, но некоторые пришли только для того, чтобы его шпынять. Когда, читая “Во весь голос”, он дошел до строк: “Неважная честь, / чтоб из этаких роз / мои изваяния высились / по скверам, где / харкает туберкулез, / где блядь с хулиганом / да сифилис”, — его перебивают, протестуя против “грубых слов”, и он вынужден прервать чтение. Вместо этого он читает несколько других стихотворений, после чего просит присутствующих задавать вопросы. Один студент говорит, что не понимает “Облако в штанах”. Маяковский не отвечает. Другой передает на сцену записку: “Верно ли, что Хлебников гениальный поэт, а вы, Маяковский, перед ним мразь?” Маяковский отвечает, что не хочет соревноваться с другими поэтами, но что хороших поэтов в Советском Союзе мало. Уставший, он спускается и садится на лестницу трибуны, прикрывая глаза, часть публики его едва видит. Берет слово студент Зайцев: “Товарищи! Рабочие не понимают Маяковского из-за маяковской манеры разбивать строки”. Маяковский отвечает: “Лет через пятнадцать-двадцать культурный уровень трудящихся повысится, и все мои произведения станут понятны всем”. Студент Михеев добавляет: “Пусть Маяковский докажет, что его через двадцать лет будут читать. — Публике смешно. Он продолжает: — Если товарищ Маяковский не докажет этого, не стоит заниматься писанием”. Настроение в зале становится все более воинствующим. Другой студент, Макаров, объясняет: “Маяковский поэт. А я — люблю

поэзию. Люблю читать стихи, могу читать любого. Маяковского я не мог читать ни в какой аудитории”.

На вопрос, что он написал о Ленине, Маяковский отвечает чтением отрывка из поэмы “Владимир Ильич Ленин” о смерти Ленина. Он читает с колоссальной силой, и публика отвечает громом аплодисментов, что, однако, не мешает одному студенту подняться на трибуну и заявить: “Маяковский говорит, что уже двадцать лет пишет. Но он много говорит о себе, много себя восхваляет. Нужно бросить это дело. Маяковскому нужно заняться настоящей работой”. Вытеснив студента, Маяковский возмущенно отвечает: “Предыдущий оратор говорил глупости: за сорок пять минут я ничего не говорил о себе”. Из зала раздается голос: “Надо доказать”. Маяковский просит поднять руку тех, кто не понимает его поэзию, — отзывается четвертая часть публики. Пьяный студент по фамилии Крикун, взяв слово, заявляет: хотя Маяковский проповедует правильные политические взгляды, он “делает перегибы в своей работе, как партийцы в своей политической деятельности”. В качестве примера он приводит стихотворение, в котором на полтора страницах повторяется слово “тик-так”. Маяковский бросился на трибуну с протестом: “Товарищи! Он врет! У меня нет такого стихотворения! Нет!!” Крикун отказывается покидать трибуну: “Читаемость Маяковского слаба, потому что есть в работе Маяковского перегибы”. Маяковский разъярен: “Я хочу учиться у вас, но оградите меня от лжи... Чтобы не вешали не меня всехдохлых собак, всех этих стихов, которых у меня нет. Таких стихов, которые приводили здесь, у меня нет! Понимаете? — Нет!!”

Атмосфера накалена до предела, Маяковский и его оппоненты не уступают друг другу. Студенты начинают выкрикивать с мест, не прося слова. Одна студентка размахивает руками. Маяковский: “Не машите ручкой, от этого груши с дерева не сыпятся, а здесь человек на трибуне”. Приводя цитаты из выступлений студентов, Маяковский показывает, насколько плохо они разбирались в поэзии: “Я поражен безграмотностью аудитории. Я не ожидал такого низкого уровня культурности студентов высокоуважаемого учреждения”. Студент в очках кричит: “Демагогия!” — “Демагогия?! Товарищи! Это демагогия?!” — спраши-

вает Маяковский у публики. Студент кричит в ответ: “Да, демагогия”. Маяковский, склонившись вниз, приказывает ему с трибуны громогласным голосом: “Сядьте!” Отказавшись садиться, студент продолжает кричать. Все встают. “Сядьте! Я вас заставлю молчать!” Публика успокаивается, все садятся. В очередной раз Маяковский одержал победу в поединке с публикой. Но цена победы велика. Шатаясь, он спускается с трибуны и, опустошенный, садится на ступеньки. Покидая зал, он забыл трость, чего никогда прежде с ним не случалось.

Хотя в конце концов Маяковскому удалось покорить публику, он несколько раз за вечер демонстрировал явную слабость и оказывался в оборонительной позиции, что было для него крайне нетипично. Слабость была вызвана не только гриппом, но и другими причинами. За несколько дней до выступления Маяковский узнал, что журнал “Печать и революция” решил напечатать приветствие: его портрет, к которому прилагался следующий текст: “В.В. Маяковского — великого революционного поэта, замечательного революционера поэтического искусства, неутомимого соратника рабочего класса — горячо приветствует “Печать и революция” по случаю 20-летия его творческой и общественной работы”. Поскольку практически вся пресса бойкотировала выставку, для Маяковского эта инициатива была приятным сюрпризом — особенно с учетом того, что он никогда не сотрудничал в журнале и, соответственно, ни о каком кумовстве речь идти не могла. Приветствие должно было быть напечатано на отдельном листе, предваряющем передовицу, и это добавляло ему лишний вес. Когда сотрудник журнала позвонил Маяковскому и сказал, что хотел бы послать ему несколько экземпляров, тот ответил, что заберет их сам, так как хочет лично поблагодарить редакцию.

Сделать это ему не пришлось, потому что, когда журнал вышел, страница с приветствием оказалась вырезанной. Текст изъяли по прямому приказу Артемия Халатова, главы Госиздата (печатавшего журнал), который в письменном виде яростно обвинил редакцию в том, что она дерзнула назвать “попутчика” Маяковского великим революционным поэтом, и требовал сообщить имя того, кто сочинил это “возмутительное приветствие”; редакции

также было приказано проследить за тем, чтобы соответствующая страница была изъята из всех пяти тысяч уже сброшюрованных экземпляров, — так и было сделано.

Для Маяковского, который немедленно узнал о случившемся, реакция Халатова стала еще одним горьким подтверждением того, что убийственная критика “Бани” и бойкот выставки были не случайностью, а сознательным проявлением отношения к нему властей. Каким бы могущественным ни был глава Госиздата, он никогда не решился бы пойти на такую резкую меру без одобрения высших инстанций, с которыми он, занимая столь ответственный пост, поддерживал постоянные контакты: так, например, именно в это время он переписывался со Сталиным по поводу необходимости очистить только что вновь изданные воспоминания Горького от ссылок на Троцкого...

Если игнорирование выставки “20 лет работы” и критика “Бани” еще не убедили Маяковского в том, что партийные идеологи относятся к нему с сильной подозрительностью, то это сделали слова Ивана Гронского, главного редактора “Известий”, оброненные однажды во время ночной февральской прогулки: “Владимир Владимирович, дело в том, что у вас расхождения с партией по вопросам художественным, точнее говоря, философско-этическим, более глубокие, чем вы думаете”.

Видя, в каком состоянии Маяковский появился в Институте народного хозяйства, Виктор Славинский попытался приободрить его, рассказав, что видел журнал с приветствием в его честь в типографии, в которой работает. Но слова вызвали противоположную реакцию: Маяковский уже знал, что страница изъята, а напоминание лишь раздувало его раздражение и способствовало агрессивному поведению во время дискуссий. Письмо Халатова недвусмысленно подтверждало, что он попал в немилость. Были ли оскорбления со стороны студентов тоже тому подтверждением? Были ли некоторые участники дискуссии направлены туда специально, чтобы спровоцировать его? Если инстинкт самосохранения закрыл Маяковскому глаза на такую возможность, ее не исключал Николай Асеев, намекавший в связи с этим вечером, что “аудиторию тоже можно формировать по тому или иному признаку”.

Публика в Институте народного хозяйства была молодой. Это была публика Маяковского, ведь именно на молодежь он возлагал свои надежды, за ней было будущее. Если старое поколение не понимает его стихов, то следующее их поймет обязательно! Поэтому он пришел в отчаяние от оказанного ему приема, и в его прощальных словах звучали горечь и смирение: “Товарищи! Сегодня наше первое знакомство. Через несколько месяцев мы опять встретимся. Немного покричали, поругались. Но грубость была напрасна. У вас против меня никакой злобы не должно быть”.

Вторая встреча не состоялась. Через пять дней Маяковского не было в живых.

■ СОТЫЙ АПРЕЛЬ

В день, когда Маяковский сражался со студентами Института народного хозяйства, Лили и Осип обедали в британском парламенте, куда их пригласили знакомые политики-лейбористы. “Видели процессию спикера, — записала Лили в дневнике. — Послушали. Хохочут; сидят, развалясь. Палата лордов почти такая же только поменьше и похожа на пульмановский вагон”. Вечером они пошли в кино, где смотрели голливудское ревю с “феноменальными номерами”.

Они жили у Елены Юльевны, которая переехала в небольшую квартиру на Голдерс Грин, с каминами и садом. Время проводили так же, как и в Берлине. Осип покупал букинистические книги, Лили — наряды, чаще всего в “Селфриджес”, в сравнении с которым, по ее словам, меркнут все берлинские универсальные магазины. Они приобрели грампластинки марки *His Master's Voice* и прослушивали их на “грамофоне в чемодане” Елены Юльевны. Так же, как и в Берлине, практически ежедневно посещали кабаре и кинотеатры, где смотрели, в частности, *Love parade* с Морисом Шевалье (у которого “прелестный англ. акцент”) и последний фильм Эйзенштейна “Генеральная линия”. Среди зрителей в советском посольстве был Джордж Бернارد Шоу, и, по словам Лили, он воспринял фильм “как эксцентрику” и “умирал со смеху”. Обедали и ужинали в китайском квартале и в итальян-

В. В. МАЯКОВСКОГО —

великого революционного поэта,
замечательного революционера поэтического искусства,
неутомимого поэтического соратника рабочего класса —



горячо приветствует „Печать и революция“ по случаю
20-летия его творческой и общественной работы.

янских ресторанах в Сохо — в гостинице “Савой” требовался смокинг, и их туда не пустили. Посетили Виндзорский замок и Итон, где “мальчики в цилиндрах” заставили Лили вспомнить Диккенса. Часто сидели у радио, следили за соревнованием по гребле между Оксфордом и Кембриджем и слушали голос дочери Ллойда Джорджа.

О жизни Маяковского в Москве они не знали ничего, поскольку он не писал. После того как 31 марта они прибыли в Лондон, от него и Бульки пришла только одна телеграмма — “ЦЕЛУЕМ ЛЮБИМ СКУЧАЕМ ЖДЕМ”, — датированная 3 апреля и подписанная “Щенки”. “Письменная диета” на этот раз была очень строгой: с тех пор как 18 февраля Брики уехали из Москвы, они получили лишь два письма и четыре — такие же бессодержательные — телеграммы. “Володик, очень удивлена твоим молчанием”, — упрекала Лили и призывала его писать, но у Володика не было ни желания, ни времени, он был занят борьбой за свою творческую и личную жизнь — и ухаживанием за Норой, той “соломинкой, за которую он хотел ухватиться” во все более безнадежной ситуации.

■ 10 АПРЕЛЯ

10 апреля, на следующий день после встречи со студентами, Маяковский получил от Лили и Осипа открытку с изображением палаты общин. Советник посольства Дмитрий Богомолов передавал ему “дружеский привет”, а лейбористы Р. С. Уолхед и В. П. Коутс спрашивали, когда Маяковский собирается в Лондон.

Но Маяковский о Лондоне не думал. В этот день к нему пришла Наташа Брюханенко, которая помогала ему перебелить “Москва горит” и хотела, чтобы он исправил и одобрил текст. “Делайте сами”, — ответил он. Протестуя, она начала вычеркивать и менять слова. На вопрос, что он думает о ее правке, он каждый раз отвечал “можно” или “все равно”. “Я не помню бук-

■ Приветствие в журнале “Печать и революция”, которое вскоре в результате политического нажима было изъято из готовых номеров.

важных выражений, но его настроение, мрачность и безразличие я помню”, — вспоминала Наташа. Когда она собралась уходить, Маяковский спросил: “Вы можете не уходить, а остаться здесь?” Она отказалась. “Я хотел предложить вам даже остаться у нас ночевать”, — произнес Маяковский. Но у Наташи было много дел, и остаться она не могла. Больше она его никогда не видела.

Вечером Маяковский смотрел “Баню” в театре Мейерхольда. “Очень мрачный, он стоял опершись локтем о дверной косяк и курил”, — вспоминал Александр Февральский. Для того чтобы разрядить обстановку, он поздравил Маяковского с тем, что “Правда” напечатала положительную рецензию на пьесу — верным признаком того, что травле пришел конец. “Все равно теперь уже поздно”, — ответил Маяковский.

■ 11 АПРЕЛЯ

Через день после приветов из палаты общин Маяковский получил еще одну открытку от Лили и Осипа, в которой, ссылаясь на текст его обычных телеграмм (“ЦЕЛУЕМ ЛЮБИМ СКУЧАЕМ ЖДЕМ”), они просят его придумать новый: “Этот нам надоел”. Если мнение Лили еще имело значение для Маяковского, то подобная брюзгливость вряд ли подняла ему настроение, а после разрыва с Кирсановым и Асеевым он крайне нуждался в положительных импульсах. Если отношения с первым более или менее наладились еще в марте, то с Асеевым все обстояло сложнее — хотя бы потому, что они знали друг друга дольше и были более близки. Лев Гринкруг, который в отсутствие Лили и Осипа взял на себя роль посредника, рассказывал:

Долгое время никто не хотел сделать первого шага, хотя обоим хотелось примириться. <...> В первых числах апреля я решил во что бы то ни стало помирить Маяковского с Асеевым. 11 апреля я с утра до вечера висел на телефоне и звонил то одному, то другому. <...> Маяковский говорил: “Если Коля позвонит, я немедленно помирюсь и приглашу его к себе”. Когда я об этом говорил Асееву,

тот ответил, что “пусть Володя позвонит”, если Володя позвонит, он тотчас же приедет.

И это продолжалось целый день. Наконец, к семи часам вечера, я сказал Маяковскому, что мне надоело звонить по телефону: “Будь ты выше, позвони Коле и пригласи к себе”. Асеев пришел и вечером мы впятером (Полонская, Яншин, Маяковский, Асеев и я) играли в покер. Маяковский играл небрежно, нервничал, был тихий, непохожий на себя.

Помню, перед игрой он распечатал пачку в 300 рублей, и нельзя сказать даже, что он их проиграл. Он просто безучастно отдавал их. А это для него было совершенно необычно, так как темперамента в игре <...> у него было всегда даже слишком много.

Асеев (который, кстати, утверждает, что телефонный разговор имел место днем раньше) был поражен равнодушием Маяковского во время игры. Обычно он громко разговаривал, шутил и угрожал призывами в духе “Лучше сдайся мне живьем”. Но в этот раз он был “необычайно тих и безынициативен. Он играл вяло, посапывал недовольно и проигрывал без желания изменить невезенье”.

В тот же вечер Женя отправила Осипу в Лондон письмо. “Коля помирился с Володей на почве карточной игры, — писала она, подводя итог. — То, что не смогла сделать долголетняя дружба и совместная работа, сделал покер. Гадость ужасная...”

После карточной партии Маяковскому предстояло выступать в Московском университете — но он там не появился, что случилось с ним крайне редко: он был очень обязательным и пунктуальным. Собралось много народу, и через час ожидания устроитель вечера Маяковского Павел Лавут послал за ним машину, сначала в Лубянский, затем в Гендриков. В то время частные автомобили в Москве были наперечет, и когда посланный Лавутом человек увидел перед собой “рено”, он попросил шофера преградить ему дорогу. Поняв в чем дело, Маяковский сказал, что не знал о выступлении в университете, и после резкого разговора захлопнул дверцу и приказал своему шоферу ехать дальше.

Маяковский прекрасно знал, что у него вечером выступление, но из-за депрессивного состояния он вытеснил эту информацию из сознания. Когда их остановили, Нора находилась в машине, между ними разыгрывалась “очень бурная сцена”, начавшаяся, по ее словам, “из пустяков”: “Он был несправедлив ко мне, очень меня обидел. Мы оба были очень взволнованы и не владели собой. Я почувствовала, что наши отношения дошли до предела. Я просила его оставить меня, и мы на этом расстались во взаимной вражде”.

Под “пустяками” подразумевалась ложь, на которую несколько дней тому назад пошла Нора: устав от настойчивых требований Маяковского, который хотел, чтобы она бросила Яншина, Нора сказала Маяковскому, что у нее репетиция, а сама пошла в кино с мужем. Узнав об этом, Маяковский поздно тем же вечером отправился к дому Норы, где ходил под ее окнами; она пригласила его войти, но он был в таком удрученном настроении, что не смог произнести ни слова. На следующий день он привел Нору в свою комнату в Лубянском проезде, где объяснил, что “не выносит лжи”, никогда не простит ей случившегося и что между ними все кончено. Он вернул полученные от нее кольцо и носовой платок и сказал, что один из двух бокалов, из которых они обычно пили, утром разбился. “Значит, так нужно”, — сказал он и разбил второй бокал о стену. Он грубил. “Я расплакалась, — вспоминала Нора, — Владимир Владимирович подошел ко мне, и мы помирились”. Но примирение было недолгим, “на другой же день были опять ссоры, мучения, обиды”.

После этой лжи Маяковский не верил Норе “ни минуты”. “Без конца звонил в театр, проверяя, что я делаю, ждал у театра и никак, даже при посторонних, не мог скрыть своего настроения. Часто звонил и ко мне домой, мы разговаривали по часу. Телефон был в общей комнате, я могла отвечать только “да” и “нет”. Он говорил много и сбивчиво, ревновал. Много было очень несправедливого, обидного”. Родственники Яншина, с которыми они жили в одной квартире, недоумевали по поводу происходящего, и терпеливый муж Норы начал выражать недовольство ее встречами с Маяковским. Нора жила “в атмосфере постоянных скандалов и упреков со всех сторон”, и 11 апреля наступила развязка в форме “бурной сцены”, закончившейся “во взаимной вражде”.

■ 12 АПРЕЛЯ

Когда следующим утром в половине одиннадцатого Павел Лавут пришел к Маяковскому в Гендриков, чтобы поговорить о несостоявшемся выступлении, тот еще лежал в постели. На стуле рядом с кроватью лежала бумага, на которой Маяковский что-то записывал. Когда Лавут приблизился, Маяковский перевернул бумагу и остановил его. “Не подходите близко, а то можете заразиться, — мрачно произнес он и объяснил: — Выступать не буду. Плохо себя чувствую. Позвоните завтра”. Лавут, работавший с Маяковским много лет, был поражен недружественным приемом и подумал, что это вызвано либо проблемами с пьесой “Москва горит”, либо тем, что Маяковского все еще беспокоила история с приветствием, изъятым из журнала “Печать и революция”.

В то же утро Маяковский позвонил Асееву и настойчиво попросил его устроить партию в покер у того дома в той же компании, что и накануне вечером; согласно Асееву, просьба звучала почти как приказ. Но Асеев не смог найти Яншина, который был занят на репетиции, и план не осуществился. “Обычно невыполнение его просьбы вызывало возмущение и гром в телефонной трубке”, однако на этот раз, как вспоминал Асеев, Маяковский реагировал вяло.

Несмотря на душевное состояние, в первой половине дня Маяковский принимает участие в дискуссии об авторском праве в Федерации советских писателей, где на его угрюмость обращают внимание Шкловский и Лев Никулин. Последний попытался разрядить атмосферу вопросом о том, доволен ли Маяковский своим “рено”. “Мне показалось, что <...> он рассеется, он всегда любил поговорить о технике”, — вспоминал Никулин. Но Маяковский посмотрел на него “удивленным взглядом”, промолчал и ушел. “Я видел в окно, как он уходил в ворота тяжелыми, большими шагами”.

Днем, в антракте утреннего спектакля, он позвонил Норе. Он был возбужден, говорил, что плохо чувствует себя, не только сейчас, а вообще. Нора — единственная, кто может его спасти. Без нее окружающие его предметы — чернильница, лампа, ручки и книги на столе — лишены смысла, только она может даровать им жизнь. Нора успокаивала его, уверяя, что тоже не может жить без

него, и обещала прийти после спектакля. “Да, Нора, — говорит внезапно Маяковский, — я упомянул вас в письме к правительству, так как считаю вас своей семьей. Вы не будете протестовать против этого?” Нора ответила, что не понимает, о чем он говорит, и что он может упоминать ее где угодно.

К их встрече, которая состоялась после спектакля, Маяковский скрупулезно подготовился и даже составил план разговора:

1. Если любят — то разговор приятен
2. Если нет — чем скорей тем лучше
3. Я — первый раз не раскаиваюсь в бывшем еще раз такой случай буду еще раз так же поступать
4. Я не смешон при условии знания наших отношений
5. В чем сущность моего горя
6. *не ревность*
7. Правдивость человечность
8. нельзя быть смешным
9. Разговор — я спокоен
10. Одно только не встретились и в 10 ч.
11. Пошел к трамваю тревога телефон не была и не должна шел наверняка кино если не были Мих. Мих [гулял?] со мной не звонил
12. Зачем под окном разговор
13. Я не кончу жизнь не доставлю такого удовольств[вия] худ[ожественному] театру
14. Сплетня пойдет
15. Игра способ повидаться если я не прав
16. Поездка в авто
17. Что надо прекратить разговоры
18. Расстаться [?] сию же секунду или знать что делается

План содержал прямые ссылки на конкретные события и обиды — свидания в кафе, где над ним смеялись официантки, ложь о походе в кино, хождение под окнами Норы, — но два важных пункта касались будущего: они должны прекратить разговоры и решить, что делать дальше.

После объяснения они оба “смягчились”, по словам Норы: “Владимир Владимирович сделался совсем ласковым. Я просила его не тревожиться из-за меня, сказала, что буду его женой. <...> Но нужно обдумать, сказала я, как лучше, тактичнее, поступить с Яншиным”. Поскольку Маяковский находился в “невменяемом болезненном состоянии”, Нора взяла с него обещание пойти к доктору и поехать отдохнуть хотя бы на пару дней. “Я помню, что отметила эти два дня у него в записной книжке. Эти дни были 13 и 14 апреля”. По пути домой Норе показалось, что она заметила на тротуаре Льва Гринкруга, но Маяковский сомневался. “Хорошо, если это Лева, то ты будешь отдыхать 13-го и 14-го. И мы не будем видеться”, — сказала Нора. Маяковский принял вызов, они вышли из машины и добежали до человека, которого Нора считали Левой и который именно им и оказался. Гринкруг обратил внимание на то, что Маяковский был в чрезмерном возбуждении, и сказал: “Что у тебя такой вид, как будто тебе жизнь не в жизнь”. Криво улыбаясь, тот ответил: “А может быть, мне действительно жизнь не в жизнь”. Но Нора выиграла пари, и он пообещал, что пойдет к врачу и два дня отдохнет; он также обещал оставить ее в покое. Когда он позвонил ей вечером, у них состоялся долгий и хороший разговор. Маяковский рассказал, “что пишет, что у него хорошее настроение, что он понимает теперь: во многом он не прав и даже лучше, пожалуй, отдохнуть друг от друга дня два”.

■ 13 АПРЕЛЯ

Несмотря на то что Нора просила Маяковского не звонить ей, он позвонил уже на следующий день и спросил, не хочет ли она поехать с ним на бег. Нора ответила, что уже договорилась поехать туда с Яншиным и другими актерами МХАТа, и напомнила, что он обещал не видеться с ней два дня. На вопрос, что она делает вечером, Нора ответила, что приглашена домой к Катаеву, но не пойдет.

После обеда Маяковский зашел в цирк, где готовилось представление “Москва горит”. Художником-постановщиком была его подруга Валентина Ходасевич, с которой он общался

в Париже осенью 1924 года. Приближалась премьера, но работа продвигалась плохо, Маяковский был недоволен и нервничал. Четыре часа дня 13 апреля, репетиция закончена. Внезапно Ходасевич услышала ужасный растущий грохот. Это Маяковский, приближаясь, бил по спинкам кресел своей тростью. На нем черное пальто и черная шляпа. “Лицо очень бледное и злое”, — вспоминала она. Он поздоровался, но без “тени улыбки”.

Маяковский пришел узнать, когда будет генеральная репетиция. Но в дирекции никого не было, и ответить никто не смог. Тогда он предложил Валентине прокатиться с ним в его машине. Она ответила, что не может, потому что должна работать с декорациями, а Маяковский, выйдя из себя, закричал: “Нет?! Не можете?! Отказываетесь?” У него, вспоминала она впоследствии, было “совершенно белое, перекошенное лицо, глаза какие-то воспаленные, горячие, белки коричневатые, как у великомучеников на иконах”. Он продолжал ритмически бить тростью по стулу, стоявшему рядом, и повторил вопрос: “Нет?” Она ответила: “Нет”, после чего раздался звук, похожий на “визг или всхлип”: “Нет? Все мне говорят “нет”! Только нет! Везде нет!..”

Он говорил эти слова уже на пути к выходу. Трость била по стульям. “Что-то почти сумасшедшее было во всем этом”, — вспоминала Ходасевич, которая побежала вслед за ним, настигнув Маяковского уже у автомобиля. Она пообещала поехать с ним, но попросила подождать несколько минут, пока она договорится, чтобы монтирование закончили без нее. Вернувшись, она видит словно другого человека — “прекрасный, тихий, бледный, но не злой, скорее мученик”. Валентина не удивилась — она и раньше была свидетельницей перепадов его настроения. Какое-то время они ехали в полном молчании. Потом Маяковский повернулся, посмотрел на нее дружелюбно и с виноватой улыбкой сказал, что будет ночевать в Лубянском проезде, и поэтому просит ее позвонить и разбудить его завтра, чтобы он не пропустил репетицию. Вдруг он попросил шофера остановиться и выпрыгнул из машины практически на ходу. На тротуаре он так грозно размахивал тростью в воздухе, что прохожие отскакивали в стороны. Бросив: “Шофер довезет вас куда хотите! А я пройдуся”, он удалился большими, тяжелыми шагами, и Валентина прокричала ему вслед:

“Какое хамство!”. “Все было противно, совершенно непонятно и поэтому — страшно”, — вспоминала она. На обратном пути в цирк они проезжали мимо Маяковского, который с высоко поднятой головой продолжал быстро размахивать в воздухе тростью, как хлыстом*.

Решение Норы пойти на ипподром с Яншиным и друзьями из театра в очередной раз напомнило Маяковскому о его отчужденности, и это чувство только усилилось, когда позже он позвонил Асееву и от сестры его жены узнал, что тот тоже на ипподроме. Свояченицу удивило, что обычно учтивый Маяковский “как-то странно разговаривал” и спросил “Колю” без каких бы то ни было приветственных фраз. Услышав, что его нет дома, он немного помолчал, а потом сказал со вздохом: “Ну, что ж, значит, ничего не поделаешь”. То, что в последние дни Маяковский так настойчиво искал контакта с Асеевым, с которым не общался несколько месяцев, свидетельствует о его отчаянии.

Он искал Асеева, потому что хотел в тот вечер пригласить его домой на ужин, чтобы не остаться одному. С той же целью днем он искал и Луэллу — так же безрезультатно — и других друзей. Кто-то, очевидно, обещал прийти, потому что, когда муж Луэллы (она вышла замуж в декабре 1929 года), не зная о том, что Маяковский ее искал, в восемь часов заглянул в Гендриков, он обнаружил, что Маяковский сидит за накрытым столом и пьет вино в полном одиночестве. “Я никогда не видел Владимира Владимировича таким мрачным”, — прокомментировал он.

Никто из гостей не пришел, и Маяковский отправился к Катаеву в надежде, что там все же появится Нора. Когда он пришел, хозяин еще не вернулся, но в доме находился художник Владимир Роскин. Они с Маяковским были старыми друзьями, сотрудничали в РОСТА и вместе делали декорации для “Мистерии-буфф”. В ожидании Катаева они затеяли партию в маджонг. Роскин сразу обратил внимание, что Маяковский не похож на себя.

* Василий Каменский пересказывал похожую историю, которая якобы тоже произошла 13 апреля: Маяковский попросил шофера остановиться у клуба писателей, вытащил из заднего кармана пистолет, намереваясь выпрыгнуть из машины, но его остановили; впрочем, это может быть вариант эпизода с Валентиной Ходасевич.

Когда тот зажег папиросу, Роскин высказал удивление, поскольку в стихотворении “Я счастлив!” Маяковский гордо провозглашал, что бросил курить. Маяковский ответил, что его это не касается, что *ему* курить можно. “И тут я понял, что избежал словесной пощечины, что в другое время он уничтожил бы меня меткой остротой за эту иронию”. Потом Маяковский проиграл десять рублей, которые тут же заплатил, сказав, что больше играть не хочет. Роскин, обрадовавшись, сообщил, что не потратит деньги, а оставит их на память обо всех проигрышах и унижениях, которым его подвергал Маяковский на протяжении лет. Маяковский подошел к нему, погладил по щеке и сказал: “Мы с вами оба небриты”, после чего вышел в другую комнату. Роскина, так же как и два дня назад Асеева, поразила его пассивность. “На него это совсем не было похоже, — вспоминал он. — Он ведь никогда не оставлял партнера в покое, если имел возможность отыгаться и играл всегда до тех пор, пока партнер не отказывался сам играть, а когда у него не оставалось денег, он доставал бы их, спешно написал стихи, чтобы иметь возможность отыгаться. Я понял, что он в очень плохом настроении”.

Около половины десятого домой вернулся Катаев в компании Юрия Олеши. Оба писателя представляли так называемую одесскую школу. Олеша приобрел известность в 1927 году, опубликовав роман “Зависть”, к Катаеву слава пришла через год благодаря пьесе “Квадратура круга”. Они и Маяковский принадлежали к разным литературным кругам и редко общались, главным образом потому, что этого не хотела Лили. Причины неясны, но в письме к Маяковскому (находившемуся в то время в Ялте) в июле 1929 года Лили призывает его не встречаться с Катаевым: “Володик, очень прошу тебя не встречаться с Катаевым. У меня есть на это серьезные причины. Я встретила его в Модпике, он едет в Крым и спрашивал твой адрес. Еще раз прошу — *не встречайся с Катаевым*”.

Какие бы причины ни скрывались за этим упорным призывом, Лили была права в своем скепсисе по отношению к Катаеву, который, заметив, что Маяковский удручен, начал над ним издеваться. Но Маяковский, мастер пикировки, был, как вспоминал Роскин, “молчалив, мрачен, лишен остроумия”.

В десять, после бегов, прибыла Нора в обществе Яншина и актера Бориса Ливанова. Маяковский встретил ее словами: “Я был уверен, что вы здесь будете!” Нора вспоминала, что он был очень мрачен и к тому же пьян, никогда прежде она не видела его в таком состоянии. Маяковский пил, правда, каждый день, но вино и шампанское, а не водку, и, по словам Норы, почти никогда не пьянел. Но в этот вечер он выпил еще дома в ожидании гостей, которые так и не пришли.

И Нора и Маяковский чувствовали себя оскорбленными и обиженными: она потому, что Маяковский не оставил ее в покое, как обещал, он потому, что она обманула его, сказав, что не пойдет к Катаеву. Они разговаривали так громко, что остальные гости наострили уши, в том числе и Яншин, который “явно все видел и готовился к скандалу”. В разгар их беседы Маяковский внезапно воскликнул: “О господи!” Нора, удивившись, что Маяковский мог произнести подобную фразу, спросила, верит ли он в Бога, и он ответил: “Ах, я сам ничего не понимаю теперь, во что я верю...” Чтобы не привлекать внимание, через какое-то время Маяковский вытащил записную книжку в красивом переплете, что-то написал в ней, вырвал лист и попросил Роскина передать его Норе, сидевшей через три стула. “Мне показалось странным, — заметил Роскин, — что человек, который так любит и ценит добротные вещи, прочные ботинки, хорошее перо, который становится на коленки, чтобы ему вернули любимую авто-ручку, сейчас рвет не жалея из такой книжки листы”. Нора ответила, и словесная перепалка превратилась в обмен скомканными записками, которые передавались через Роскина. “Много было написано обидного, много оскорбляли друг друга, оскорбляли глупо, досадно, ненужно”, — вспоминала Нора.

Раздражение раздувалось постоянными колкостями со стороны Олеси и Катаева. Когда Маяковский встал из-за стола и вышел в соседнюю комнату, жена Катаева начала беспокоиться из-за его долгого отсутствия. “Что ты беспокоишься, Маяковский не застрелится, — прокомментировал Катаев. — Эти современные любовники не стреляются”. Нора вышла к Маяковскому, который все это должен был слышать. Он пил шампанское, сидя в кресле. Опустившись на подлокотник кресла, она погладила его

по голове, на что он раздраженно отреагировал: “Уберите ваши паршивые ноги” — и начал угрожать, что при всех расскажет Яншину об их отношениях:

Был очень груб, всячески оскорблял меня. Меня же его грубость и оскорбления перестали унижать и обижать, я поняла, что передо мною несчастный, совсем больной человек, который может вот тут сейчас надеть страшных глупостей, что Маяковский может устроить ненужный скандал, вести себя недостойно самого себя, быть смешным в глазах этого случайного для него общества. <... >

Меня охватила такая нежность и любовь к нему. Я уговаривала его, умоляла успокоиться, была ласкова, нежна. Но нежность моя раздражала его и приводила в неистовство, в иступление.

Он вынул револьвер. Заявил, что застрелится. Грозил, что убьет меня. Наводил на меня дуло. Я поняла, что мое присутствие только еще больше нервит его. Больше оставаться я не хотела и стала прощаться.

В половине третьего ночи гости начали расходиться. В прихожей Маяковский внезапно дружелюбно посмотрел на Нору и произнес: “Норочка, погладьте меня по голове. Вы все же очень, очень хорошая...” Компания ушла вместе: Маяковский, Нора с Яншиным, Роскин и журналист Василий Регинин, который явился поздно, в половине первого ночи. Он и Нора идут отдельно, то впереди всех, то позади. Мрачный как туча Маяковский снова угрожает, что расскажет обо всем Яншину, несколько раз зовет его, но на вопрос Яншина, что он хочет, отвечает: “Нет, потом”. Нора предельно напряжена, она плачет и, стоя на коленях, умоляет Маяковского ничего не говорить — он соглашается, при условии, что она встретится с ним следующим утром (то есть позже тем же утром). В половине одиннадцатого у нее репетиция с директором театра Немировичем-Данченко, и они договариваются, что Маяковский заедет за ней в восемь. Прежде чем расстаться, Маяковский все равно говорит Яншину, что должен поговорить с ним завтра.

Пока ночная компания бредет домой по пустынным московским улицам, Лили и Осип спят на корабле между Дувром и Остенде, по пути в Берлин через Амстердам. Каюта люкс, с собственной ванной, стоит на четыре гиней дороже, — записала Лили в дневнике, они же путешествуют самым дешевым классом, но у них отдельная каюта и “совсем не качает”.

■ 14 АПРЕЛЯ

Понедельник 14 апреля был на редкость хорошим, солнечным днем. Он был и первым днем пасхальной недели. В 09:15 Маяковский позвонил Норе и сообщил, что приедет за ней на такси, потому что у шофера выходной. Встретив его у входа, Нора отметила, что он выглядит уставшим, и это было неудивительно, так как он спал всего несколько часов и к тому же много пил. “Смотри, какое солнце”, — произнесла она и спросила, остались ли у него в голове “вчерашние глупые мысли”. Он ответил, что солнце его не интересует, но “глупости” он “бросил”. “Я понял, что не смогу этого сделать из-за матери. А больше до меня никому нет дела. Впрочем, обо всем поговорим дома”.

В десять или за несколько минут до десяти они уже в Лубянском проезде. Нора еще раз объясняет, что в одиннадцать у нее важная репетиция, которую она не может пропустить. Маяковский просит таксиста подождать, и они поднимаются к нему в комнату. “Опять этот театр! — восклицает он. — Я ненавижу его, брось его к чертям! Я не могу так больше, я не пущу тебя на репетицию и вообще не выпущу из этой комнаты!” Он запирает дверь изнутри и кладет ключ в карман, нервничая, он не замечает, что не снял пальто и шляпу. Нора садится на диван, Маяковский рядом на пол и начинает плакать. Она снимает с него пальто и шляпу, гладит его по голове, пытается успокоить.

Через какое-то время раздается стук в дверь — книгоноша из Госиздата приносит два тома Советской энциклопедии. Маяковский просит отдать книги соседке, которой он оставил деньги на случай, если их принесут в то время, когда его не будет дома. Маяковский “очень грубо” с ним обращался, вспоминала соседка, однако когда через две минуты он постучал к ней, чтобы поп-

росить спички, был “очень спокоен”. Его нервы были натянуты до предела, а настроение менялось от одной крайности к другой. “Владимир Владимирович быстро ходил по комнате. Почти бегал”, — вспоминала Нора.

Требовал, чтобы я с этой же минуты, без всяких объяснений с Яншиным, осталась с ним здесь, в этой комнате. Ждать квартиры — нелепость, говорил он. Я должна бросить театр немедленно же. Сегодня на репетицию мне идти не нужно. Он сам зайдет в театр и скажет, что я больше не приду. Театр не погибнет от моего отсутствия. И с Яншиным он объяснится сам, а меня больше к нему не пустит.

Вот он сейчас запрет меня в этой комнате, а сам отправится в театр, потом купит все, что мне нужно для жизни здесь. Я буду иметь все решительно, что имела дома. Я не должна пугаться ухода из театра. Он своим отношением заставит меня забыть театр. Вся моя жизнь, начиная от самых серьезных сторон ее и кончая складкой на чулке, будет для него предметом неустанного внимания.

Пусть меня не пугает разница лет: ведь может же он быть молодым, веселым. Он понимает — то, что было вчера, — отвратительно. Но больше это не повторится никогда. Вчера мы оба вели себя глупо, пошло, недостойно.

Он был безобразно груб и сегодня сам себе мерзок за это. Но об этом мы не будем вспоминать. Вот так, как будто ничего не было. Он уничтожил уже листки записной книжки, на которых шла вчерашняя переписка, наполненная взаимными оскорблениями <...>.

Нора ответила, что любит его, но не может остаться, не поговорив с Яншиным; театр она тоже не может бросить. Неужели он не понимает, что, если она оставит театр, в ее жизни образуется невосполнимая пустота? И что это принесет большие трудности в первую очередь ему самому? Нет, она пойдет на репетицию, а потом вернется домой и расскажет обо всем Яншину, а вечером переедет к нему навсегда. Но Маяковский не соглашался, требовал,

чтобы это произошло сейчас же или никогда. Она повторила, что не может сделать этого, после чего состоялся следующий диалог:

— Значит, пойдешь на репетицию?

— Да, пойду.

— И с Яншиным увидишься?

— Да.

— Ах, так! Ну тогда уходи, уходи немедленно, сию же минуту.

Я сказала, что мне еще рано на репетицию. Я пойду через 20 минут.

— Нет, нет, уходи сейчас же.

Я спросила:

— Но увижу тебя сегодня?

— Не знаю.

— Но ты хотя бы позвонишь мне сегодня в пять?

— Да, да, да.

Потом Маяковский быстрыми шагами подошел к письменному столу. Нора слышала шелест бумаги, но не видела, чем он занят, поскольку он загораживал собой стол. Маяковский открыл ящик стола, потом громко закрыл его и начал снова ходить по комнате.

— Что же, вы не проводите меня даже?

Он подошел ко мне, поцеловал и сказал совершенно спокойно и очень ласково:

— Нет, девочка, иди одна... Будь за меня спокойна...

Улыбнулся и добавил:

— Я позвоню. У тебя есть деньги на такси?

— Нет.

Он дал мне 20 рублей.

— Так ты позвонишь?

— Да, да.

Заручившись этим обещанием, Нора выходит из комнаты. Когда она уже оказывается за дверью, раздается выстрел. Вскрикнув, она бросается назад. На полу, на спине, раскинув руки, головой

к двери лежит Маяковский, рядом с ним маузер. “Что вы сделали? Что вы сделали?” — кричит она, но не получает ответа. Глаза Маяковского открыты, он смотрит прямо на нее и пытается поднять голову. “Казалось, он хотел что-то сказать, но глаза были уже неживые, — вспоминала Нора. — Потом голова упала, и он стал постепенно бледнеть”.

Бросившись прочь из комнаты, Нора зовет на помощь: “Маяковский застрелился!” Из своих комнат выбегают соседи, услышавшие выстрел, но не понявшие, что случилось, вместе с Норой они заходят в комнату Маяковского. Один из них, электрик Кривцов, немедленно звонит в скорую. “Маяковский лежал на полу с огнестрельной раной в груди”, а “Полонская стояла на пороге комнаты, сильно плакала и кричала о помощи”, — рассказал он на допросе в милиции. Другие соседи предложили Норе спуститься во двор и встретить карету “скорой помощи”, которая приехала уже через пять минут; события развивались стремительно — после того как Нора и Маяковский приехали в Лубянский проезд, прошло лишь четверть часа. Уже в комнате врачи констатировали смерть Маяковского. По словам одного из соседей, сына того самого Юлия Бальшина, который в 1919 году сдал комнату Маяковскому, он был жив еще примерно четыре минуты после выстрела.

Когда Нора осознала, что Маяковский мертв, “ей сделалось плохо”, она покинула квартиру и направилась в театр — на том же такси, на каком они приехали. О репетиции речь, разумеется, идти не могла, вместо этого Нора ходила по двору, ожидая Яншина, который должен был появиться в одиннадцать. Когда он пришел, она рассказала ему о случившемся, а потом позвонила своей матери, попросила приехать и забрать ее домой, где ее быстро нашли и привезли обратно в Лубянский проезд для допроса.

На допросе, который вел следователь Иван Сырцов, Нора сказала, что “за все время знакомства с Маяковским в половой связи с ним не была, хотя он настаивал, но этого я не хотела”. Мало того, она утверждала, что сказала ему “я его не люблю, жить с ним не буду также как и мужа бросать не намерена”. На вопрос о возможной причине самоубийства она ответила, что такая ей “неизвестна”, но она может предположить, что причиной

“главным образом послужил [ее] отказ во взаимности, так же как и неуспех его произведения Баня и нервное болезненное состояние”. Эти сведения, как мы видим, в корне отличаются от тех, что она сообщала в воспоминаниях, цитируемых выше. Объяснение этому простое: на допросе Нора лгала ради Яншина, что подтверждает и современный источник, согласно которому она призналась следователю, что жила с Маяковским, но попросила не заносить это в протокол. Когда восемь лет спустя писались ее мемуары, Полонская давно развелась с Яншиным, и причин скрывать связь с Маяковским у нее не было, тем более что воспоминания не предназначались для печати.

■ ГОСУДАРСТВЛЕНИЕ ПОЭТА

Вслед за “скорой помощью” приехал Павел Лавут, договорившийся накануне с Маяковским встретиться в Гендриковом в одиннадцать. Узнав от испуганной домработницы Паши, что Маяковский застрелился в Лубянском, он поспешил туда на такси. Войдя в комнату, он увидел Маяковского, лежащего на полу с полуоткрытыми глазами; лоб был еще теплый, когда он потрогал его. Схватив телефон на письменном столе, он позвонил в ЦК партии, Федерацию советских писателей и сестре Маяковского Людмиле. Разговаривая по телефону, он увидел, как пошатываясь в квартиру вошла Полонская, которую поддерживал помощник директора МХАТа, в соседней комнате ее ждал следователь.

Вскоре “вся Москва” узнала новость, которая многим показалась первоапрельской шуткой, так как 14 апреля — 1-е по старому стилю. Спешно собрались друзья Маяковского: Асеев, Третьяков, Катанян и Пастернак, первой реакцией которого было желание позвать туда вдову казненного Силлова, так как “что-то подсказало мне, что это потрясенье даст выход ее собственному горю”. На лестничной площадке столпились зеваки и газетные репортеры, расспрашивавшие соседей. Очень скоро на месте оказались и представители госбезопасности. Здание ОГПУ находилось напротив, но скорость прибытия определялась не одной территориальной близостью, но и тем, что смерть Маяковского воспринималась как событие государственной важности. Об этом

свидетельствует не только число спешивших туда сотрудников, но и их ранг. Кроме Якова Агранова, который с октября 1929 года занимал пост руководителя секретного отдела ОГПУ, сюда пришли начальник контрразведывательного отдела ОГПУ Семен Гендин и начальники оперативного отдела Алиевский и Рыбкин.

Последний просматривал письма Маяковского, которые потом были помещены в ящик и опечатаны. Маузер был конфискован Гендиным, а деньги в сумме 2500 рублей изъяс следователь. После работы судебных врачей тело Маяковского перенесли на диван и сфотографировали. Посоветовавшись по телефону со Станиславом Мессингом, вторым заместителем председателя ОГПУ, отвечавшим за иностранную разведку, Агранов приказал перевезти тело в квартиру в Гендриковом переулке. С этого момента биография Маяковского оказалась в руках государства в лице ОГПУ, о чем вскоре узнали любопытствующие журналисты: позднее в тот же день всем газетным редакциям было разослано указание, согласно которому информация о смерти Маяковского могла распространяться только через телеграфное агентство РОСТА; лишь ленинградская “Красная газета” успела опубликовать заметку до того, как постановление вступило в силу.

■ 1700 ГРАММОВ ГЕНИАЛЬНОСТИ

Уже через несколько часов после рокового выстрела Маяковский лежал на диване в своей комнате в Гендриковом переулке, одетый в голубую рубашку с открытым воротом; тело частично накрыто пледом. Маленькая квартира была заполнена людьми в состоянии глубокого шока. Асеев бросился к обычно сдержанному, но сейчас рыдающему Льву Гринкругу со словами: “Я никогда не забуду, что ты помирил меня с ним”. Плакал Шкловский, Пастернак бросался ко всем в неудержимом плаче. Когда пришел Кирсанов, он сразу направился в комнату Маяковского — и выбежал оттуда в слезах. Мать Маяковского тихо скорбела, сестра Людмила целовала брата, и ее слезы текли по его мертвому лицу, в то время как Ольга была вне себя. Она пришла сама, после матери и Людмилы. “Явилась требовательно”, как вспоминал Пастернак, и “перед ней в помещение вплыл ее голос”:



■ Этот снимок, сделанный после того, как Маяковского подняли и перенесли на диван, был опубликован только после падения советского режима.

Подымаясь одна по лестнице, она с кем-то громко разговаривала, явно адресуясь к брату. Затем показалась она сама и, пройдя, как по мусору, мимо всех до братиной двери, всплеснула руками и остановилась. “Володя!” — крикнула она на весь дом. Прошло мгновенье. “Молчит! — закричала она того пуще. — Молчит. Не отвечает. Володя. Володя!! Какой ужас!!”

Она стала падать. Ее подхватили и бросились приводить в чувство. Едва придя в себя, она жадно двинулась к телу, сев в ноги, торопливо возобновила свой неутоленный монолог. Я разревелся, как мне давно хотелось.

Разумеется, в Гендриковом присутствовал и Яков Агранов, который по поручению высших политических и чекистских инстанций занимался организацией похорон. Со следующего дня тело Маяковского переместили в Клуб писателей, а траурную церемонию назначили на 17 апреля.

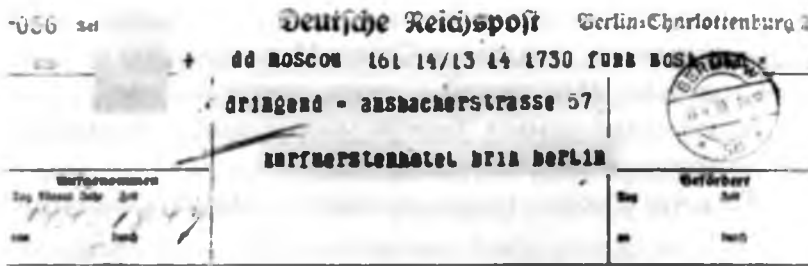
Дата была определена с учетом того, чтобы Лили и Осип успели вернуться в Москву. В этот момент они находятся в Амстердаме, откуда в день смерти Маяковского отправляют ему открытку с цветущими голландскими полями, в счастливом неведении о том, что она никогда не дойдет до адресата: “Волосик! До чего здорово тут цветы растут! Настоящие коврики — тюльпаны, гиацинты и нарциссы. <... > За что ни возьмешься, все голландское — ужасно неприлично. Целуем ваши [т. е. Маяковского и собаки Бульки] мордочки. ЛиляОся”.

Они проводят день, осматривая достопримечательности Амстердама. Бриллиантовая фабрика, которую они хотят посетить, закрыта из-за Пасхи, зато они встречают хасидских евреев, возвращающихся из синагоги в черных шляпах и с молитвенниками под мышкой. На них производят впечатление новые кварталы, застроенные в духе Ле Корбюзье, и бесконечные лавки, торгующие сигарами и трубками. “Купили Володе трость и коробку сигар. Сейчас едем в Берлин”, — записала Лили в дневнике.

“15 апреля утром мы приехали в Берлин на Kurfürstenstrasse в Kurfürstenhötel, как обычно, — вспоминал Осип. — Нас радушно встретила хозяйка и собачка Schneidt. Швейцар передал нам письма и телеграмму из Москвы. “От Володи”, сказал я и положил, не распечатав ее, в карман. Мы поднялись на лифте, разложились, и тут только я распечатал телеграмму”. Она была подписана “Яня” и “Лева” и звучала так: “СЕГОДНЯ УТРОМ ВОЛОДЯ ПОКОНЧИЛ СОБОЙ”.

“В нашем полпредстве все уже было известно, — вспоминал Брик. — Нам немедленно раздобыли все нужные визы, и мы в тот же вечер выехали в Москву”.

Центральная роль, которую сыграл Агранов в организации похорон, была явным выражением огосударствления биографии Маяковского, начавшегося сразу же после его смерти. Другими признаками этого процесса были решение о снятии посмертной маски Маяковского, что выполнил скульптор Константин Луцкий в 18:30, и еще более радикальное посягательство на неприкосновенность мертвого поэта, совершенное через полтора часа, когда приехал директор Института мозга и его сотрудники для того, чтобы извлечь мозг Маяковского.



- segodnia utrom volodia panemitschil skhol levs siania +

- Телеграмма, извещавшая Лили и Осипа о самоубийстве Маяковского, подписаннаялевой (Гринкругом) и Яней (Аграновым).

Институт мозга был создан в 1928 году с целью изучения мозга гениальных людей и определения материальных основ их гениальности. Гордостью собрания института был мозг, извлеченный из черепа Ленина шесть лет назад и собственно послуживший поводом для создания института. Теперь пришел черед Маяковского. “Чашка, черепная крышка, отошла, и в ней был мозг”, — вспоминал художник Николай Денисовский, присутствовавший при операции по причине нехватки персонала. — Ну, вот, положили, значит, мозг и сказали, что очень большой мозг...” Процедура произвела страшное впечатление на всех, кто там был, особенно когда мозг вынесли из комнаты в банке, завернутой белым полотном.

Мозг Маяковского весил 1700 граммов. Он был, таким образом, на 360 граммов тяжелее мозга Ленина, что вызвало некоторое смущение у идеологов Института мозга, ранее уже столкнувшихся с подобной проблемой, когда выяснилось, что мозг вождя был меньше нормы — печальный факт, с которым справились, снизив норму с 1395–1400 до 1300 граммов.

В полночь тело Маяковского перевезли в Клуб писателей. Но до этого сняли еще одну посмертную маску, так как при работе

Луцкого была ободрана кожа на левой щеке, вероятно из-за того, что тот использовал недостаточное количество вазелина. Для этой задачи вызвали того самого Сергея Меркурова, над которым годами издевался Маяковский в своих стихах на тему “памятника”, — тот самый символ “бронзы многопудья” и “мраморной слизи”, которые он так ненавидел.

Если что и можно назвать иронией судьбы, то именно это.

■ В ТОМ ЧТО УМИРАЮ НЕ ВИНите НИКОГО

Как бы власти ни относились к Маяковскому, они встали перед свершившимся и весьма неудобным фактом — главный поэт революции совершил самоубийство во время первой пятилетки и окончательного превращения страны в социалистическое государство. Это было второе громкое самоубийство в Советском Союзе: первое случилось пять лет назад, когда покончил с собой Есенин. Однако в идеологическом плане смерть Маяковского принесла значительно больше проблем властям, которые серьезно беспокоились по поводу того, как она будет воспринята. Через своих агентов ОГПУ пытались зондировать настроения среди населения. Чаще всего смерть поэта объяснялась личными причинами, тем, что “Маяковский застрелился из-за бабы”. Такой “анализ” очень устраивал власть, и когда новость о самоубийстве была обнародована в “Правде” 15 апреля, он стал официальным.

Вчера, 14 апреля, в 10 часов 15 минут утра в своем кабинете (Лубянский проезд, 3) покончил жизнь самоубийством поэт Владимир Маяковский. Как сообщил нашему сотруднику следователь тов. Сырцов, предварительные данные следствия указывают, что самоубийство вызвано причинами чисто личного порядка, не имеющими ничего общего с общественной и литературной деятельностью поэта. Самоубийству предшествовала длительная болезнь, после которой поэт не совсем поправился.

Формулировка “длительная болезнь”, под которой подразумевался грипп, способствовала раздуванию слухов о сифилисе,

преследовавших Маяковского еще с тех пор, когда их в 1918 году распространяли Горький и Чуковский (см. стр. 145). Если версия, согласно которой самоубийство приписывалось личным причинам, устраивала власть, то возможность постыдного заболевания великого пролетарского поэта была для нее гораздо менее привлекательной. Ради пресечения слухов было принято решение о вскрытии тела. Оно было проведено в ночь с 16 на 17 апреля и показало, что слухи беспочвенны, о чем немедленно сообщили близким Маяковского. Однако это не помешало злопамятному Горькому утверждать в газетной заметке, что Маяковский покончил с собой, ибо понимал, что “неизлечимо болен” и что болезнь “унижает его человеческое достоинство”. “Знал я этого человека и — не верил ему”, — на всякий случай добавил он в частном письме Николаю Бухарину.

Каким бы немарксистским ни было отрицание связи между самоубийством и “общественной и литературной деятельностью поэта”, такую версию подкрепляло прощальное письмо Маяковского, конфискованное Аграновым, как только оно попало к нему в руки. 14 апреля он читал его друзьям Маяковского, а на следующий день оно было опубликовано в “Правде” и других газетах:

ВСЕМ

В том что умираю не вините никого и пожалуйста не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил.

Мама, сестры и товарищи простите — это не способ (другим не советую) но у меня выходов нет.

Лиля — люби меня.

Товарищ правительство моя семья это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская.

Если ты устроишь им сносную жизнь — спасибо.

Начатые стихи отдайте Брикам — они разберутся.

Как говорят —

“инцидент исперчен”

Любовная лодка

разбилась о быт.

Я с жизнью в расчете
и не к чему перечень
взаимных болей
бед
и обид
Счастливо оставаться
Владимир Маяковский
12/IV — 30

Товарищи Вапповцы, не считайте меня малодушным, серьезно ничего не поделаешь. Привет.
Ермилову скажите что жаль снял лозунг, надо бы доругаться

ВМ

В столе у меня 2000 руб. внесите в налог. Остальное получите с Гиз

ВМ

Как видно, письмо датировано 12 апреля — именно его прятал Маяковский от Лавута, когда тот его навещал в первой половине дня, оно и было тем самым “письмом правительству”, о котором он в тот же день говорил с Норой. Пуля, пробившая его сердце 14 апреля, должна была, таким образом, сделать свое дело за два дня до этого. Фраза “никого не вините” обычна в подобных письмах, но в случае Маяковского она была и отголоском призыва самоубийцы из написанной семью годами раньше поэмы “Про это” — см. стр. 265.

■ ЛОВКАЯ КОМЕДИЯ ДЛЯ ИДИОТОВ

Личные мотивы подчеркивались и в некрологе “Памяти друга”, опубликованном в том же номере “Правды”, где было напечатано официальное извещение о смерти. Помимо друзей-литераторов, некролог подписали три чекиста: Агранов, Горб и Эльберт. “Для нас, знавших и любивших его, самоубийство и Маяковский несов-

местимы, и если самоубийство вообще не может быть в нашей среде оправдано, то с какими же словами гневного и горького укора должны мы обратиться к Маяковскому!”

Нет, в социалистическом государстве самоубийство недопустимо — это объясняет рвение, с которым власти подчеркивали личные мотивы поступка Маяковского. Однако агентурные данные говорили иное. Из множества рапортов, поступивших на стол к Агранову в первые дни после смерти Маяковского, было ясно, что в “литературно-художественных кругах” в качестве объяснения самоубийства “романическая подкладка совершенно откидывается”. “Говорят здесь более серьезная и глубокая причина, — доложил Агранову на основе “полевых рапортов” начальник 5-го отделения секретного отдела ОГПУ Петров. — В Маяковском произошел уже давно перелом и он сам не верил в то, что писал и ненавидел то, что писал”. Газетные публикации воспринимаются в этих кругах “ловкой комедией для идиотов”. “Нужно было перед лицом заграницы, перед общественным мнением заграницы представить смерть Маяковского, как смерть поэта революционера, погибшего из-за личной драмы”.

В день смерти Маяковского литературовед И. Груздев писал Горькому в Сорренто, что “нельзя объяснить катастрофу личными причинами”, и, согласно Петрову, многие писатели расценивали самоубийство как политический протест; утверждалось, что реакции были одинаковы и в Москве и в Петербурге. “Одним из главных положений этих откликов является утверждение, что смерть Маяковского есть вызов Сов[етской] власти и осуждение ее политики в области художеств[енной] литературы”, — писалось в другом рапорте. — Второе положение: “если даже Маяковский не выдержал, то, значит, положение литературы действительно ужасное”. Согласно Анатолию Мариенгофу, Маяковский на одном из последних выступлений обронил замечание о том, “как трудно жить и творить поэту в наши “безнадежные дни”. Другой писатель, Лев Гумилевский, разделял распространенное мнение о том, что “основные причины гибели поэта лежат в общественно-политических условиях” и что писатели чувствуют себя обязанными писать “на определенные, актуальные темы”. “Ряд лиц (весьма большой) уверен, что за этой смер-

тью кроется политическая подкладка, что здесь не “любовная история”, а разочарование сов[етским] строем”. Время является, утверждал Гумилевский, “весьма тяжелым для честного писателя” и “весьма выгодным — для авантюристов, которые считают себя писателями только потому что их просят в организацию РАПП”. Алексей Толстой, шесть лет назад вернувшийся из Берлина, говорит, что “ему стыдно за то, что он пишет”, другой автор признается, что “заставляет себя писать не то, что он хочет”.

Однако куда большее беспокойство у властей должно было вызвать распространение среди писателей суицидальных настроений. Прозаик Пантелеймон Романов заявил, что “у него не так давно было такое же состояние и он едва не кончил с собой”, а “ряд поэтов (Орешин, Кириллов и др.) б[удто] бы сговаривались покончить самоубийством коллективно, чтобы доказать загранице, что в Сов[етском] Союзе писателям живется плохо и цензура заела”. Наибольшую тревогу вызывали сведения о Михаиле Булгакове, о ком “определенно говорят”, что его самоубийство “теперь на очереди”. “Булгакова не отпускают за границу и его душат, не пропуская его последних вещей, хотя лицемерно говорят, что Булгаков нам нужен, что мы будем ставить Булгакова. А в то же время театры, страшась самой тени Булгакова, избегают его, чтобы не попасть под подозрение”.

■ 17 АПРЕЛЯ

В шесть вечера 16 апреля берлинский поезд прибыл в Негорелое — пограничную станцию между Белоруссией и Польшей, которую много раз проезжал Маяковский во время заграничных поездок. Там Лили и Осипа встретил Василий Катанян — ему выдали особое разрешение на въезд в пограничную зону “для встречи семьи умершего гр-на Маяковского”.

*

28 марта Булгаков написал письмо советскому правительству, в котором жаловался на то, что ему не дают возможности работать. В тот же день, когда поступил рапорт о том, что он “теперь на очереди”, Булгакову позвонил Сталин, который пообещал, что все наладится, что в известной мере и произошло: Булгакова приняли во МХАТ помощником режиссера и разрешили ему ставить свой спектакль о Мольере.



- Гроб с телом Маяковского в Клубе писателей. Справа от Лили и Осипа мать Маяковского, слева от Осипа — Семен Кирсанов, несколько в тени — Рита Райт. За дамой в берете стоит Яков Агранов, но видны только его глаза.

Кроме телеграммы от Левы и Агранова и заметок в немецких газетах, сведений о случившемся у Бриков не было. О том, что Маяковский оставил прощальное письмо, они тоже не знали. Катанян рассказал им все, что ему было известно, и пересказал письмо по памяти, а на вокзале в Минске они нашли вчерашнюю “Правду”, в которой письмо напечатано.

Следующим утром на вокзале в Москве их встретили друзья. Согласно Луэлле, Лили за эти дни так изменилась, что она ее с трудом узнала. Они поехали прямо в Клуб писателей, расположенный в бывшем особняке Соллогубов. В том же зале, где два месяца назад Маяковский читал “Во весь голос”, на красном кубе стоял освещенный софитами гроб, обитый красной тканью и окруженный цветами и венками. Смерть уже оставила свою печать на лице, губы посинели, в волосах видны следы работы над посмертной маской.

“Появление Лили вызывает новую вспышку отчаяния у Ольги Владимировны, — вспоминал Василий Катанян. — Она бросается на колени посередине зала и выкрикивает: “Сегодня к новым ногам лягте! / Тебя покою, / накрашенную, / рыжую...” (из “Флейты-позвоночника”). Мать Маяковского спокойнее, она только говорит Лили: “При вас этого не случилось бы”. Осип, Лили и Луэлла остаются почти целый день, Лили иногда подходит к Маяковскому, чтобы поцеловать его в лоб и призывает Луэллу сделать то же: “Душенька, подойди, поцелуй Володю”.

За три дня, когда тело Маяковского было выставлено для прощания, десятки тысяч прошли мимо гроба, у которого стоял почетный караул, гражданский и военный: Лили и Осип, а также Луэлла, Пастернак, Асеев, Кирсанов, Третьяков, Каменский, Родченко, Катанян и Луначарский, а также коллеги Маяковского по РАППу: Ермилов, Либединский, Фадеев и Авербах. Другим почетным стражем был Артемий Халатов, всего неделю назад приказавший изъять приветствие Маяковскому из “Печати и революции”. Кроме того, в качестве председателя похоронной комиссии Халатов отвечал за первые три дня посмертной жизни Маяковского. Какова степень иронии, которую может позволить себе судьба!

Халатов произнес речь на траурной церемонии, начавшейся в три часа выступлением Сергея Третьякова. Среди ораторов числился руководитель РАППа Леопольд Авербах, но выступили также друзья и сторонники Маяковского. Кирсанов читал “Во весь голос”; глубоко взволнованный Луначарский произнес речь, в которой говорил, что Маяковский был “куском напряженной горящей жизни”, а после того, как он сделал себя “рупором величайшего общественного движения”, стал таким в еще большей спешке. “Прислушайтесь к звуку его песен, — призывал бывший народный комиссар просвещения, — вы нигде не найдете ни малейшей фальши, ни малейшего сомнения, ни малейшего колебания”.

После выступлений “десять товарищей” выносят покрытый красной и черной тканью гроб, среди них Осип, Асеев, Третьяков и рапповцы Авербах, Фадеев и Либединский. Нес гроб и Халатов, отличавшийся тем, что никогда, даже дома, не снимал



- Прощальная церемония во дворе Дома писателей.
Оратор на балконе — бывший нарком просвещения
Анатолий Луначарский.

каракулевою шапку, — деталь, на которую не обратил внимания автор репортажа в “Литературной газете”, описывая, как гроб, “медленно покачиваясь <...> плывет над морем обнаженных голов”. На улице конная милиция пытается сдерживать натиск толпы. Люди облепили подоконники, деревья и фонарные столбы, а крыши черны от любопытствующих. Гроб помещают на грузовик. “Рядом с гробом на стального цвета платформе, — сообщалось далее в газете, — венок из молотков, маховиков и винтов; надпись: “Железному поэту — железный венок”. Грузовик отъезжает, и вслед за ним трогается и плывет вниз, к Арбатской площади, многотысячная, необозримая масса людей. Насколько хватает глаз, весь путь залит густой колонной людей, частью идущих и по боковым параллельным улицам и переулкам.

Грузовик, везший поэта в последний путь, оформили под броневик друзья-художники Маяковского Владимир Татлин, Давид



■ Вынос гроба. Гроб несут: первый слева Артемий Халатов в каракулевой шапке, справа Николай Асеев, за ним Василий Катанян.

Штеренберг и Джон Левин. За грузовиком следовал “рено” Маяковского и другие машины, в которых ехали, среди прочих, мать и сестры Маяковского. Лили и Осип прошли весь путь до крематория Донского монастыря пешком вместе с Луэллой. За грузовиком шло порядка шестидесяти тысяч человек, согласно Олеше, который описывал в письме к Мейерхольду (находящемуся на гастролях в Германии), как милиция стреляла в воздух для того, чтобы гроб могли внести в ворота крематория. Была колоссальная давка. “Мы сели на скамеечку. И тут Лилечка сказала, что мы будем сидеть здесь, пока все кончится, — вспоминала Луэлла. — Александра Алексеевна и сестры Маяковского, приехав на машине, сразу пошли в крематорий. Вдруг конный милиционер кричит: “Брик! Где Брик? Требуют Брик!” — оказывается, Александра Алексеевна не хотела проститься с сыном и допустить кремацию без Лили Юрьевны. Ося и Лиля прошли в крематорий...”

В крематории с Маяковским прощаются друзья. Многие из присутствовавших обращают внимание на металлические подковки на его ботинках, высовывающихся из открытого, слишком маленького гроба и сделанных, по словам Маяковского, “на вечность”. Исполняется “Интернационал”, который тогда был гимном Советского Союза, гроб, качаясь, медленно уплывает в печь крематория. Кто-то спускается по лестнице, чтобы в специальное отверстие смотреть, как гроб и лежащее в нем тело превращаются в пепел — всё, кроме металлических подковок на ботинках, которые действительно оказались прочнее, чем сердце поэта.



И мы виноваты перед ним. Тем, что не писали об его рифмах, не делали поэтического ветра, который держит на себе тонкую паутину полета поэта. Но, авось, с нас не спросится. <...> Он устал 36 лет быть двадцатилетним, он человек одного возраста.

■ Из двух писем В. Шкловского Ю. Тынянову 1930 и 1931 гг.

“Своим письмом Маяковский навсегда соединяет меня с собой”, — писала Нора в своих воспоминаниях. Но письмо не только закрепило за ней место в биографии Маяковского, но и привело к тому, что многие видели в ней прямую причину его смерти — ту “бабу”, из-за которой он застрелился. Может быть, Маяковский включил ее в список родственников, пусть и на последнем месте, после Лили, матери и сестер, именно для того, чтобы защитить от таких обвинений, — но этой канонизацией их отношений был расторгнут ее брак с Яншиным.

Среди десятков тысяч людей, проводивших гроб Маяковского в крематорий Донского монастыря, Нору, однако, не было. Решение не присутствовать она приняла не самостоятельно, а под давлением со стороны Лили, которая в тот же день пригласила ее к себе. “У нас был очень откровенный разговор, — вспоминала Нора. — Я рассказала ей все о наших отношениях с Владимиром Владимировичем, о 14 апреля. Во время моего рассказа она часто повторяла: “Да, как это похоже на Володю”. Рассказала мне о своих с ним отношениях, о разрыве, о том, как он стрелялся из-за нее”. Перед тем как расстаться, Лили подчеркнула, что Норе “категорически не нужно” присутствовать на похоронах, так как “любопыт-

■ Портрет Маяковского с незрячими глазами, сделанный 1975 г. художником Ефимом Рояком, учеником К. Малевича.

ство и интерес обывателей” к ее персоне могли вызвать “ненужные инциденты”. “Нора, не отравляйте своим присутствием последние минуты прощания с Володией его родным”, — призывала Лили.

За отсутствием завещания предсмертное письмо оказалось единственным документом, согласно которому должны были оформляться наследственные дела Маяковского, и так как Нора была названа членом семьи, она в принципе могла считать себя наследницей. Когда месяца через два ее вызвали в Кремль для того, чтобы обсудить этот вопрос, Лили посоветовала ей отказаться от права на наследие. То есть от претензий на гонорары от его произведений. Частично потому, что его мать и сестры считали ее единственной причиной его смерти и не могли слышать этого имени, а частично потому, что в правительственных кругах попросили Лили посоветовать Норе отказаться от своих прав. Нора послушалась и на сей раз, несмотря на то что “этим как бы зачеркну все, что было и что мне так дорого”. Через восемь лет, когда она писала свои воспоминания, она не могла освободиться от подозрения, что Лили руководствовалась другими соображениями, а именно: если бы Нора получила официальный статус подруги Маяковского, это одновременно уменьшило бы роль Лили в его биографии.

Из разговора в Кремле Норе стало ясно, что уважать последнюю волю покойника никто не намеревался. Вместо этого принимавший ее чиновник предложил ей в виде компенсации отпуск за государственный счет — предложение, поразившее ее своим цинизмом. Вопрос остался нерешенным для Норы и после вторичной беседы с тем же чиновником. Решением ВЦИКа и Совнаркома Лили получала половину гонораров от произведений Маяковского, между тем как мать и сестры поделили другую половину пополам. Таким образом Нора была вычеркнута из жизни Маяковского, чтобы воскреснуть спустя полвека с лишним, во время перестройки, когда были опубликованы ее воспоминания; в неподцензурном виде они появились только в 2005 году.

Татьяна, которая жила в Варшаве, узнала о самоубийстве с опозданием на четыре дня. “Я совершенно убита сегодняшними газетами, — писала она матери 18 апреля. — Ради Бога, пришли мне все вырезки за 14-е и т. д. Для меня это страшное потрясение. Сама

понимаешь...” Ее сестра Людмила, находившаяся теперь благодаря усилиям Маяковского в Париже, телеграфировала виконту дю Плесси, чтобы он ни в коем случае не показывал ей русские газеты, — но это не помогло, сообщила Татьяна матери, так как, “кроме русских, существуют и иностранные”. Старания сестры и мужа скрыть трагедию от Татьяны диктовались не только заботой о ее психическом здоровье, но и волнением о ее физическом благополучии: она находилась на четвертом месяце беременности. “Я, конечно, была очень тронута их заботой, — писала она, — [но] физически чувствую себя хорошо все это время”. В следующем письме, от 2 мая, она возвращается к теме самоубийства; она хочет успокоить мать, которая, очевидно, подозревала, что Маяковский покончил с собой из-за нее: “Мамулечка моя родная, я ни одной минуты не думала, что я — причина. Косвенно — да, потому что все это, конечно, расшатало нервы, но не прямая, вообще не было единственной причины, а совокупность многих плюс болезнь”. О степени волнения матери свидетельствует тот факт, что она попросила Василия Каменского объяснить ей причины самоубийства Маяковского, чего он, однако, сделать не смог, так как “до сих пор не в силах отнестись к этому более спокойно”. “Одно ясно, — ответил он ей 13 мая, — Таня несомненно явилась одним из слагаемых общей суммы назревшей трагедии... Это мне было известно от Володи: он долго не хотел верить в ее замужество. Полонская особой роли не играла. За эту зиму (мы постоянно встречались). Володя был одинок как никогда и нигде не находил себе места. Нервничал до крайности, метался, пил”.

■ ЧТО ЗНАЛО И ХОТЕЛО ОГПУ?

Несмотря на то что в записной книжке Маяковский писал, что “в случае его смерти” надо информировать Элли Джонс, она об этом узнала от своего мужа Джорджа Джонса, который однажды пришел домой и сообщил ей: “Твой друг умер”. Много лет спустя на основе информации в записной книжке Лили пыталась найти Элли через советского посла в Вашингтоне, но ее старания результата не принесли.

Неудача объяснялась не только тем, что фамилия Джонс чрезвычайно распространена, но и тем, что к этому времени Элли вышла замуж вторично и носила другую фамилию — Петерс.

Этого Лили не могла знать. Но все же ей было известно, что у Маяковского был роман с русской женщиной в Америке и что та родила от него дочь — ОГПУ эти факты известны не были, в следственном деле о самоубийстве имя Элли Джонс ни разу не упоминается.

Зато имя Татьяны сразу привлекло внимание органов. 15 апреля — в тот же день, когда Агранов получил протокол допроса Норы, — тайный агент по имени “Валентинов” составил отчет, содержащий информацию о Татьяне, ее сестре и матери. Дата говорит о том, что документ был запрошен сразу после самоубийства. По сообщению агента, после знакомства с Татьяной в Париже Маяковский стал говорить своим друзьям, что он “впервые нашел женщину, оказавшуюся ему по плечу”, и “о своей любви к ней”. Но когда он предложил ей стать его женой, она отказалась, так как “не захотела возвращаться в СССР и отказаться от роскоши к которой привыкла в Париже и которой окружил ее муж”. “Быстрый отъезд” сестры был, — говорится в отчете, — результатом стараний Маяковского или, возможно, известного московского “эксперта по старинным вещам”.

Интерес ОГПУ к Татьяне объясняется тем, что роман Маяковского с ней был известен в широких кругах. Помимо писем, которые могли быть найдены во время следствия, в их распоряжении были фотографии ее и ее сестры, а также приглашение на свадьбу Татьяны, скорее всего попавшее в ОГПУ через парижских агентов, возможно — Воловича.

Фотография Татьяны и приглашение на свадьбу 4 мая были переданы Семену Гендину, игравшему в следствии центральную и таинственную роль. Неудивительно, что Агранов быстро оказался на месте самоубийства, — он, в конце концов, принадлежал к ближнему кругу друзей. Но какую функцию выполнял Гендин? Как мы помним, именно он прибрал к рукам пистолет Маяковского. И, посоветовавшись с ним, следователь передал Агранову протокол допроса Полонской. Кем был Гендин? Ему не исполнилось и тридцати, с девятнадцати лет он работал в Чека; в феврале 1930 года его назначили начальником 9-го и 10-го отделов контрразведки, которые следили за контактами советских граждан с иностранцами и “с контрреволюционной белой эмиграцией”.

Именно в этом качестве Гендин и участвовал в обыске комнаты Маяковского. Что же он искал вместе с оперативными начальниками Рыбкиным и Алиевским? Материал, компрометирующий советскую власть? Письма иностранцев — Татьяны и ее семьи, русских писателей-эмигрантов? Или что-то еще опаснее? Что-то такое, что могло бы бросить тень на его и Брика друзей в ОГПУ? Крылся ли под словами о том, что у него “выходов нет”, еще какой-то смысл, помимо ощущения жизненного тупика? Не чувствовал ли поэт себя запутавшимся в сетях органов безопасности? Не знал ли он слишком много, и, если да, может быть, существовали компрометирующие документы, которые следовало убрать?

Что бы ни искали органы государственной безопасности в комнате Маяковского, ясно одно: они подозревали, что за самоубийством стояли еще какие-то причины, помимо личных. Так считал Лев Троцкий, полностью отвергавший официальную версию, по которой самоубийство якобы “не имеет ничего общего с общественной и литературной деятельностью поэта”. “Это значит сказать, что добровольная смерть Маяковского никак не была связана с его жизнью или что его жизнь не имела ничего общего с его революционно-поэтическим творчеством, — комментировал бывший нарком с места своего изгнания в Константинополе. — И неверно, и ненужно, и... неумно! “Лодка разбилась о быт”, — говорит Маяковский в предсмертных записках об интимной своей жизни. Это и значит, что “общественная и литературная деятельность” *перестала достаточно поднимать его над бытом*, чтобы спастись от невыносимых личных толчков”.

■ ВОЛОДЯ ДО СТАРОСТИ? НИКОГДА

На самом же деле самоубийство было результатом множества факторов, личных, профессиональных, литературно-политических — и чисто политических. За последние годы Маяковский постепенно пришел к пониманию того, что его услуги не востребованы, что у него нет естественного, самоочевидного места в строящемся обществе, где в литературе и литературной политике на главные роли выдвинулись люди, не имевшие для этого

никаких данных. Последние полгода отмечены рядом неудач и поражений: насильно прерванный роман с Татьяной, бойкот выставки “20 лет работы”, провал “Бани”, унижительная капитуляция перед РАППом, разрыв с ближайшими друзьями, затяжной грипп и психическое переутомление, отказ Норы оставить мужа, когда Маяковский этого хотел.

Первой реакцией Лили было потрясение и шок. “Сейчас совершенно ничего не понимаю, — писала она Эльзе из Берлина, когда весть дошла до нее. — До чего невыносимо!” Когда через две недели Лили опять писала своей сестре, она объяснила самоубийство тем, что “Володя был чудовищно переутомлен и, один, не сумел с собой справиться”. Если бы они с Осипом Максимовичем были в Москве, “этого бы не случилось”, считала она и эту же фразу повторила две недели спустя, опять в письме к Эльзе, добавив: “Я знаю совершенно точно, как это случилось, но для того, чтобы понять это, надо было знать Володю так, как знала его я. <... > Стрелялся Володя, как игрок, из совершенно нового, ни разу не стреляного револьвера [пистолета. — Б.Я.]; на 50 процентов — осечка. Такая осечка была уже 13 лет назад, в Питере. Он во второй раз испытывал судьбу^{*}. Застрелился он при Норе, но ее можно винить, как апельсиновую корку, об которую поскользнулся, упал и разбился насмерть”.

Убеждение, что Маяковский не застрелился бы, если бы они с Осипом были дома, разделяли многие; помимо матери поэта, так считал и Корней Чуковский, который 15 апреля написал Галине Катанян: “Все эти дни я реву, как дурак. Я уверен, что если бы Лили Юрьевна и Осип Максимович были здесь, в Москве, этого не случилось бы...”

Вывод, что Нора была виновата не больше, чем апельсиновая корка, на которой кто-то поскользнулся, при всей своей поверхностности верен: Нора — последняя капля, только и всего. Лили имела в виду, что к самоубийству Маяковского привели не внешние факторы, а другие, более глубокие причины. Одной из них был страх Маяковского состариться. Его ужасала старость, и он часто возвращался к этой теме в разговорах с Лили. “Володя до ста-

*

Как явствует из приведенной ниже цитаты и сноски на стр. 98, на самом деле речь шла о двух случаях попытки самоубийства.

рости? Никогда! — удивленно воскликнула Лили в ответ на слова Романа Якобсона о том, что он не может себе представить Маяковского старым. — Он уже два раза стрелялся, оставив по одной пуле в револьверной обойме. В конце концов пуля попадет”.

“Смерть не страшна, страшна старость, старому лучше не жить”, — объяснял Маяковский своей подруге Наталье Рябовой, когда ему было тридцать три. На ее вопрос о том, когда же наступает старость, он ответил, что мужчина стар, когда ему тридцать пять, а женщина раньше. “Как часто я слышала от Маяковского слова “застрелюсь, покончу с собой, 35 лет — старость! До тридцати доживу. Дальше не стану”, — писала Лили. Страх состариться был тесно связан с его боязнью потерять притягательную силу как мужчина. “Когда мужчина не старше 25 лет, его любят все женщины, — разъяснял он незадолго до самоубийства двадцатипятилетнему поэту Жарову, — а когда старше 25, то тоже все женщины, за исключением одной, той, которую вы любите и которая вас не любит”.

Если кто и осознавал, что Маяковский, говоря словами Чуковского, “самоубийца по призванию”, то это Лили. Но не нужно было знать его так близко, чтобы понять, что причины самоубийства следует искать во внутренних противоречиях, которые терзали его всегда. Для Марины Цветаевой, с 1921 года жившей в эмиграции, но видевшей в Маяковском брата по духу, его самоубийство было трагическим, но логическим результатом разрушительной внутренней борьбы между лириком и трибуном. “Двенадцать лет подряд человек Маяковский убивал в себе Маяковского поэта, на тринадцатый год поэт встал и человека убил”. К подобному выводу пришел Пастернак — и по его мнению, Маяковский застрелился “из гордости, оттого, что осудил что-то в себе или около себя, с чем не могло смириться его самолюбие”.

Если самоубийство не удивило ближайший круг, то для тех, кто знал только общественную, внешнюю сторону Маяковского — футуристического и коммунистического агитатора, громкого эстрадного поэта, блестящего полемиста, — оно стало настоящей неожиданностью. “Такая смерть никак не вяжется с Маяковским, каким мы его знаем”, — проанализировал самоубийство Халатов, тем самым доказывая, что он его не знал. “Соединить с этим обликом идею самоубийства почти невозможно”, — писал Луначарский,

а в передовой статье “Правды” утверждалось, что смерть Маяковского “до того не вяжется со всей его жизнью, так не мотивирована всем его творчеством”. По словам Михаила Кольцова, пистолет держал не настоящий Маяковский, а “кто-то другой, случайный, временно завладевший ослабленной психикой поэта — общественика и революционера”. “Непонятно, — прокомментировал Демьян Бедный, риторически вопрошая: — Чего ему не доставало?” Как будто речь шла о недостающем внешнем комфорте.

■ ПОКОЛЕНИЕ, РАСТРАТИВШЕЕ СВОИХ ПОЭТОВ

Глубже всех понимал случившееся Роман Якобсон, которого настолько потрясло это самоубийство, что он заперся в своей пражской комнате, чтобы сформулировать мысли о скончавшемся друге. Результатом стала длинная статья “О поколении, растратившем своих поэтов”, написанная в мае—июне 1930 года. Поколение, о котором шла речь, — это их с Маяковским ровесники, кому тогда, в 1930 году, было от тридцати до сорока пяти, “кто вошел в годы революции уже оформленным, уже не безликой глиной, но еще не окостенелым, еще способным переживать и преображаться, еще способным к пониманию окружающего не в его статике, а в становлении”. Это было поколение, которое, подобно романтикам XIX века, сжигалось — или сжигало себя — до времени:

Расстрел Гумилева (1886–1921), длительная духовная агония, невыносимые физические мучения, конец Блока (1880–1921), жестокие лишения и в нечеловеческих страданиях смерть Хлебникова (1885–1922), обдуманные самоубийства Есенина (1895–1925) и Маяковского (1893–1930). Так в течение двадцатых годов века гибнут в возрасте от тридцати до сорока вдохновители поколения, и у каждого из них сознание обреченности, в своей длительности и четкости нестерпимой. Не только те, кто убит или убил себя, но и к ложу болезни прикованные Блок и Хлебников, именно погибли⁶.

⁶ Жена Мейерхольда Зинаида Райх выражала свои соболезнования Лили по поводу смерти Маяковского словами, которые могли бы быть сформулированы Якобсоном: “Я думаю, что некоторым из нас — родившимся всем

Статья Якобсона была первой серьезной попыткой проанализировать поэтический мир Маяковского, и никто с тех пор его не превзошел. По Якобсону, смерть Маяковского так тесно переплетена с его поэзией, что понять его можно только на этом фоне; он с яростью обрушивается на тех, кто этого не понимает. Конечно, это Маяковский стрелял, а не “кто-то другой”, все есть в его творчестве, которое “едино и неделимо”: “Диалектическое развитие единой темы. Необычайное единство символики”.

Между тем как связь между поэзией Маяковского и революцией считается самоочевидной, критика, по мнению Якобсона, проглядела другую неразрывную взаимозависимость в его творчестве — “революция и гибель поэта”. Поэт у Маяковского — искупительная жертва на алтаре будущего воскрешения: когда, “приход его / мятежом оглашая, / выйдете к спасителю — / вам я / душу вытащу, / растопчу, / чтоб большая! — / и окровавленную дам, как знамя”, — пишет он в “Облаке в штанах”, и образ развивается в “Про это”, где “поэтовы клочья / сияли по ветру красным флажком”. У Маяковского была непоколебимая вера в то, что за “горами горя” есть “солнечный край непочатый”, но сам он этой полной, завершенной жизни никогда не увидит, его участь — смерть искупителя.

Тяга к самоубийству — мрачное дно жизни Маяковского, и тема самоубийства пронизывает все его творчество от первой строки до последней: трагедия “Владимир Маяковский”, стихотворение “Дешевая распродажа” (“Через столько-то, столько-то лет — / словом, не выживу — / с голода сдохну ль, стану ль под пистолет — / меня, сегодняшнего рыжего, / профессора разучат до последних йот, / как, когда, где явлен”), “Флейта-позвоночник” (“Все чаще думаю / — не поставить ли лучше / точку пули в своем конце”), “Человек” (“А сердце рвется к выстрелу, / а горло бредит бритвою”), фильм “Не для денег родившийся”, “Про это”, киносценарий “Как поживаете?”, незаконченная пьеса “Комедия с самоубийством”, “Клоп”. Список произведений и цитаты можно было бы продолжать бесконечно.

в одно десятилетие от 1890 до 1900-х гг.— судьба рано состариться, все съесть рано в жизни”. Через несколько лет ее саму убьют при неясных обстоятельствах. Об особенностях этого поколения неоднократно говорила с автором данной книги родившаяся в 1901 г. Нина Берберова.



- Семнадцатилетний ученик Училища живописи, ваяния и зодчества. Шкловский считал, что Маяковский так и не стал намного старше.

“Мысль о самоубийстве была хронической болезнью Маяковского, — объясняла Лили, — и, как каждая хроническая болезнь, она обострялась при неблагоприятных условиях”. За этим стоял не только страх состариться, но и чувство, что его не понимают, что он никому не нужен, что сам он способен любить любую, которая мало кому по силам, но взаимности нет.

Маяковский был максималистом, он давал максимально, но и требовал не меньше. “Не счесть людей, преданных ему, любивших его, — писала Лили, — но все это капля в море для человека, у которого ненасытный вор в душе, которому нужно, чтобы читали его те, кто не читают, чтобы пришел тот, кто не пришел, чтобы любила та, которая, казалось ему, не любит”. Любовь, искусство, революция — все было для Маяковского игрой, где ставка — жизнь, и играл он как подобает азартному игроку: интенсивно, беспощадно. И знал, что, если проиграет, останутся лишь отчаяние и безнадежность.

Через две недели после самоубийства, в письме к Эльзе, Лили с уверенностью заявила о том, что Маяковский не застрелился бы, будь она и Осип Максимович в Москве. Спустя четверть века, в воспоминаниях, она на всякий случай снабдила эту же фразу предупредительным “может быть”: “Если б я в это время была дома, может быть, и в этот раз смерть отодвинулась бы”. И не зря. В глубине души она знала, что рано или поздно Маяковский покончит с собой: вопрос был не *если*, а *когда* и *как*. Это убеждение разделял и Роман Якобсон, который в конце жизни в беседе с автором данной книги подвел итог судьбы Маяковского следующими словами: “То, что он писал в своем прощальном письме — “у меня выходов нет”, — это было правда. Он все равно погиб бы, где бы он ни был, в России, в Швеции или в Америке. Этот человек был абсолютно не приспособлен для жизни”.



Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям — преступление.

■ Иосиф Сталин

В первые годы после самоубийства советское общество относилось к Маяковскому и к его творчеству прохладно. На самом деле, после того как сошел со сцены этот гигант, литературный и политический истеблишмент облегченно вздохнул, и мало кто был заинтересован в том, чтобы сохранить о нем память. Его почти не издавали, а правительственные решения об увековечивании его памяти по большей части игнорировались. С исчезновением частных и кооперативных структур нэпа все издательские решения принимались государственными издательствами, где на своих старых постах остались те, кто при жизни Маяковского ему противодействовал.

Учитывая такое положение, Лили обратилась с письмом к Сталину. В посмертной судьбе поэта этот документ сыграл огромную и роковую роль:

Дорогой товарищ Сталин,

После смерти поэта Маяковского все дела, связанные с изданием его стихов и увековечением его памяти, сосредоточились у меня.

■ Покров падает с памятника Маяковскому на площади его имени в Москве, открытого 29 июля 1958 г. Фото сделано зятем Александром Родченко, фотографом Николаем Лаврентьевым.

У меня весь его архив, черновики, записные книжки, рукописи, все его вещи. Я редактирую его издания. Ко мне обращаются за матерьялами, сведениями, фотографиями.

Я делаю всё, что от меня зависит, для того, чтобы его стихи печатались, чтобы вещи сохранились и чтобы всё растущий интерес к Маяковскому был хоть сколько-нибудь удовлетворен.

А интерес к Маяковскому растет с каждым годом.

Его стихи не только не устарели, но они сегодня абсолютно уникальны и являются сильнейшим революционным оружием.

Прошло почти шесть лет со дня смерти Маяковского, и он еще никем не заменен и как был, так и остался крупнейшим поэтом нашей революции.

Но далеко не все это понимают.

Скоро шесть лет со дня его смерти, а “Полное собрание сочинений” вышло только наполовину, и то — в количестве 10 000 экземпляров!

Уже больше года ведутся разговоры об однотомнике. Матерьял давно сдан, а книга даже еще не набрана.

Детские книги не переиздаются совсем.

Книг Маяковского в магазинах нет. Купить их невозможно.

После смерти Маяковского, в постановлении правительства, было предложено организовать кабинет Маяковского, при Комакадемии, где должны были быть сосредоточены все матерьялы и рукописи. До сих пор этого кабинета нет.

Матерьялы разбросаны. Часть находится в московском Литературном музее, который ими абсолютно не интересуется. Это видно хотя бы из того, что в бюллетене музея имя Маяковского даже не упоминается.

Года три тому назад райсовет Петроградского района предложил мне восстановить последнюю квартиру Маяковского и при ней организовать районную библиотеку имени Маяковского.

Через некоторое время мне сообщили, что Московский Совет отказал в деньгах, а деньги требовались очень небольшие.

Домик маленький, деревянный, из четырёх квартир (Таганка, Гендриков пер. 15). Одна квартира — Маяковского. В остальных должна была разместиться библиотека. Немногочисленных жильцов райсовет брался переселить.

Квартира очень характерная для быта Маяковского — простая, скромная, чистая.

Каждый день домик может оказаться снесенным. Вместо того, чтобы через 50 лет жалеть об этом и по кусочкам собирать предметы быта и рабочей обстановки великого поэта революции, не лучше ли восстановить всё это, пока мы живы.

Благодарны же мы сейчас за ту чернильницу, за тот стол и стул, которые нам показывают в домике Лермонтова в Пятигорске.

Неоднократно поднимался разговор о переименовании Триумфальной площади в Москве и Надеждинской улицы в Ленинграде — в площадь и улицу Маяковского. Но и это не осуществлено.

Это — основное. Не говоря о ряде мелких фактов. Как например: по распоряжению Наркомпроса, из учебника по современной литературе на 1935-ый год выкинули поэмы “Ленин” и “Хорошо!”. О них и не упоминается.

Всё это, вместе взятое, указывает на то, что наши учреждения не понимают огромного значения Маяковского — его агитационной роли, его революционной актуальности. Недооценивают тот исключительный интерес, который имеется к нему у комсомольской и советской молодежи.

Поэтому его так мало и медленно печатают, вместо того, чтобы печатать его избранные стихи в сотнях тысяч экземпляров.

Поэтому не заботятся о том, чтобы, пока они не затеряны, собрать все относящиеся к нему материалы.

Не думают о том, чтобы сохранить память о нём для подрастающих поколений.

Я одна не могу преодолеть эти бюрократические незаинтересованность и сопротивление — и, после шести лет работы, обращаюсь к Вам, так как не вижу иного способа реализовать огромное революционное наследие Маяковского.

Л. Брик

Письмо датировано 24 ноября 1935 года. Через несколько дней Лили вызвали в Кремль, где ее принял Николай Ежов, секретарь ЦК компартии и председатель Рабкрина. Спустя два года тот же Ежов займет пост комиссара внутренних дел и будет руководить партийными чистками, но пока он — обыкновенный, хоть и высокопоставленный, партийный работник: карликоподобный мужчина с большими серыми глазами, одетый в темную гимнастерку. “Он похож на хорошего рабочего из плохого советского фильма, — вспоминала Лили, — а может быть из хорошего...”

Беседа длилась полтора часа. Ежов расспрашивал Лили, записывал и попросил разрешения сохранить шпаргалку, которую она составила и которая содержала разного рода информацию: хронологические данные, издания и так далее. Потом он читал вслух резолюцию Сталина, написанную красным карандашом поперек ее письма:

Товарищ Ежов! Очень прошу Вас обратить внимание на письмо Брик. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям — преступление. Жалобы Брик, по моему, правильны. Свяжитесь с ней (с Брик) или вызовите ее в Москву. Привлекайте к делу Таль и Мехлиса и сделайте, пожалуйста, все, что упущено нами. Если моя помощь понадобится, я готов.

Привет!

И. Сталин

Слова Сталина произвели мгновенный эффект. Уже 5 декабря вторая и третья фразы резолюции были напечатаны в “Правде”, но вместо “лучший, талантливейший” появилось “лучший, талантливый”. Опечатка? Или продолжение того бюрократического сопротивления, о котором писала Лили и которое уже объявлено Сталиным “преступлением”? В любом случае правильная формулировка была опубликована в “Правде” 17 декабря, и в этот же день Триумфальную площадь в Москве переименовали в площадь Маяковского.

По словам Пастернака, этим Маяковского “стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине”. Это стало, прибавил он, “его второй смертью. В ней он неповинен”. Под второй смертью Маяковского Пастернак имел в виду то, что положение первого поэта Советского Союза повлекло за собой обязательное очищение его биографии в соответствии с нормами социалистического реализма; он перестал быть живым поэтом, стал памятником, именем которого называли города, улицы и площади. Канонизация произошла в эпоху, когда большевики вовсю занимались созданием народных кумиров. В каждой области выбирался *один* образец, который должен был служить примером. Рабочий номер один — Стаханов, трактористка с тем же порядковым номером — Ангелина, хлопкороб — Мамлакат, клоун — Карандаш, диктор — Левитан, режиссер — Станиславский, летчик — Чкалов, пограничная собака — Ингус и так далее. Точно так же у советской литературы было два рабочих-ударника: поэт номер один Владимир Маяковский и прозаик номер один Максим Горький.

Канонизация привела к тому, что Маяковского стали печатать массовыми тиражами, но за исключением академических изданий выбор был весьма тенденциозным: главное внимание уделялось политически корректным произведениям, тогда как ранние, футуристические стихи практически не издавались. Его политический профиль тоже пригладили — “Баню”, например, поставили опять только после смерти Сталина. По тем же причинам затушевывалась — а к концу 70-х годов стала совсем замалчиваться — его связь с Бриками: советский поэт не должен был иметь такую сложную семейную жизнь, в особенности с евреями;

логичным результатом этой политики стало закрытие в 1972 году Музея Маяковского в Гендриковом переулке, созданного благодаря письму Лили Сталину. Для того чтобы полностью вытравить Лили из биографии Маяковского, были предприняты серьезные попытки найти ей замену в качестве главной любви его жизни. Выбор пал на Татьяну Яковлеву. Учитывая ее биографию, выбор не идеальный, но тот факт, что она была эмигранткой, компенсировался тем, что в ее жилах не имелось ни капли еврейской крови.

Сложившаяся ко времени падения советской власти ситуация была абсурдной. Все мало-мальски знакомые с биографией Маяковского знали, что большую часть жизни он прожил вместе с Лили, которой посвятил не только отдельные стихотворения, но и свое Собрание сочинений. Тем не менее официально она не существовала. Таким же ложным было представление о Маяковском как поэте. Когда пал Советский Союз, пал и Маяковский — тяжело, как во времена революций падают памятники. Несмотря на то что во многом он сам был жертвой, большинство людей видели в нем представителя ненавистной системы, официозного поэта, чьи стихи их заставляли учить наизусть. О том, что он писал не только дифирамбы Ленину и революции, но и замечательные любовные стихи, знали немногие. Когда после распада СССР была перекроена литературная иерархия, Маяковский исчез из учебных планов и книжных магазинов. Это стало его третьей смертью — и в ней он был не повинен.

■ ПОСТСКРИПТУМ

Несмотря на все нелепые стороны канонизации Маяковского, одно положительное последствие она имела: чистки тридцатых годов обошли большинство людей его ближайшего окружения. Они считались важными свидетелями жизни великого советского поэта, и многие из них были нужны для составления Собрания его сочинений.

По всей вероятности, письмо Лили, соавтором которого, судя по всему, был Осип, попало к Сталину при посредничестве

ключений прошлое — военный советник в армии Сунь Ятсена в 1925–1926 годы, военный атташе (и командир) в Афганистане в 1927-м, военный атташе в Японии в 1929–1930-е, — и этим он отчасти напоминал Краснощекова. В начале тридцатых годов профессия бросала Примакова в различные регионы Советского Союза и за пределы страны, и Лили везде его сопровождала. Весну 1933 года они, например, провели в Берлине, где Примаков изучал современную военную технику в немецкой Военной академии. Но их счастье оказалось кратковременным, в августе 1936-го Примакова арестовали по обвинению в участии в военном заговоре против Сталина и спустя год казнили, после того как он под пытками во всем признался.

После его смерти, которую Лили переживала мучительно, лефовец Василий Катанян переехал к ней в квартиру, где по-прежнему обитал еще один жилец — Осип, с которым Лили так никогда и не рассталась.

В тридцатые годы Осип работал чрезвычайно продуктивно, писал статьи о Маяковском, оперные либретто, киносценарии и перерабатывал романы для театра. Во время войны он сочинял тексты для Окон ТАСС. Он умер от сердечного приступа незадолго до конца войны, в феврале 1945 года. Его Женя умерла почти на сорок лет позже, в 1982-м.

Лили пережила Осипа более чем на тридцать лет. В августе 1978 года она покончила жизнь самоубийством, тем самым выполнив пророчество из сна, который увидела 4 июня 1930 года: “Приснился сон — я сержусь на Володю за то, что он застрелился, а он так ласково вкладывает мне в руку крошечный пистолет и говорит: “все равно ты то же самое сделаешь”. Так и случилось, но с помощью снотворного, а не пули.

Василий Катанян, с которым Лили жила до самой смерти, всю свою жизнь посвятил Маяковскому. Он главным образом известен как автор “Хроники жизни и деятельности” поэта, выпущенной четырьмя изданиями. Он умер через два года после Лили, в 1980-м. Его первая жена Галина, которую он оставил в 1937 году из-за Лили и которая так и не смогла простить ему это, написала очень умные и пронзительные воспоминания о Маяковском и лефовском круге. Их публикация стала возможна только

во время перестройки (хотя не целиком); Галина Катанян умерла в 1991 году.

Елена Юльевна вернулась в Москву через два года после смерти Маяковского. Последнее время она жила у сестры Иды Данциг в Армавире, где зимой 1942 года скончалась от порока сердца.

Младшая сестра Маяковского Ольга умерла в 1949 году, его мать — в 1954-м, в возрасте восьмидесяти семи лет. Старшая сестра Людмила к концу своей жизни была использована в кампании против Бриков, и ее письмо генеральному секретарю партии стало решающим для судьбы музея в Гендриковом переулке: “Брики — антисоциальное явление в общественной жизни и быту и могут служить только разлагающим примером, способствовать антисоветской пропаганде в широком плане за рубежом, — писала она в 1971 году Леониду Брежневу. — Я категорически, принципиально возражаю против оставления каких-либо следов о поэте и моем брате в старом бриковском доме”.

Судьба Вероники Полонской разворачивалась в тени Маяковского, однако, о женщине, которую Маяковский упомянул в предсмертном письме, известно было мало. Ее брак с Яншиным распался, а артистическая карьера сложилась не блестяще. Только после публикации в восьмидесятые годы (а полностью — лишь в 2005-м) воспоминаний (написанных в 1938-м) Вероника Полонская заняла заслуженное место в биографии Маяковского. Она умерла в 1994 году.

Если близость к Маяковскому обеспечила Норе некоторую защиту от сталинской мясорубки, то для Татьяны и Элли та же близость означала, наоборот, значительный риск. Будучи эмигрантками, они портили биографию советского поэта и, не афишируя свои связи с ним, поступали правильно.

Осенью 1930 года Татьяна родила дочь Франсин, но через несколько лет развелась с дю Плесси и вышла замуж за художника мод Алекса Либермана, который тоже был выходцем из России. В 1941 году семья сбежала в Нью-Йорк, где Татьяна быстро сделала себе имя как шляпница в знаменитом универмаге “Закс” на Пятой авеню, Алекс работал художественным редактором в журнале “Vog”. После смерти Сталина Татьяна передала стихотворение



■
Виталий Примаков, сфотографированный за несколько лет до знакомства с Л.Ю. Брик.

“Письмо к Татьяне Яковлевой” и письма Маяковского к ней Роману Якобсону, а он опубликовал их в 1956 году в русском эмигрантском сборнике в Америке. В шестидесятые и семидесятые годы Татьяна держала в своем доме на 73-й улице на Манхэттене салон, напоминавший салон Лили в Москве; среди русских посетителей были писатель Геннадий Шмаков, Михаил Барышников и Иосиф Бродский, чьи стихи она обожала. Татьяна умерла в 1991 году.

Элли после смерти Маяковского получила университетский диплом и всю жизнь преподавала русский, французский и

немецкий языки. Она умерла в Америке в 1985 году. Четыре года спустя, во время перестройки, Элли-младшая впервые публично объявила о том, что она дочь Маяковского. Решилась она на это только тогда, так как после канонизации Маяковского и особенно после убийства Троцкого в 1940 году мать опасалась того, что это станет известно: советский герой Маяковский не должен был иметь свободную любовную жизнь, тем более в Америке, и если Сталин счел возможным послать убийц в Мексику, то вряд ли отказался бы от возможности убрать такое пятно из его биографии. Элли, или Патриция Дж. Томпсон, — профессор Леман-колледжа в Бронксе, специалист по феминизму. В 1993 году она издала маленькую книжку о Маяковском — “Маяковский на Манхэттене”, основанную на магнитофонных записях воспоминаний матери.



- К восьмидесятилетию со дня рождения Маяковского была воссоздана выставка "20 лет работы" в тех же помещениях, что и в 1930 г. И в этот раз организаторы сталкивались с большими трудностями из-за сопротивления, оказанного определенными кругами в партийном руководстве. Так, например, только в самый последний момент разрешили выставить сделанную Родченко обложку книги "Про это" с портретом Л.Ю. Брик, которая в то время была в опале. Подобно тому как Маяковский сам был вынужден выполнить почти всю практическую работу, писатель Константин Симонов, душа этого проекта, в ночь перед открытием лично следил за тем, чтобы все было развешено правильно. Л.Ю. Брик, 19 июля 1973 г., фото автора.

Судьба другой эмигрантки, Эльзы, сложилась иначе. Вместе с Арагоном она играла в тридцатые годы важную роль в коммунистической партии Франции, где пара Эльза—Арагон получила почти такой же мифологический статус, как Лили и Маяковский. Арагон воспел Эльзу в своих стихах, а с годами она и сама стала



■ Дочь Маяковского, сфотографированная автором в Нью-Йорке в мае 2008 г.

успешной французской писательницей — в 1944-м она была удостоена Гонкуровской премии. В 1939-м издала книжку о Маяковском “Maïakovski. Poète russe”. После советской оккупации Чехословакии в 1968 году они с Арагоном стали более критически относиться к СССР, и в своей последней книге “La mise en mots” (1969) Эльза с неожиданной откровенностью призналась, что она была “советским идиотом” и что Арагон стал коммунистом “по ее вине”.

Эльза, у которой было слабое сердце, умер-ла в 1970 году, Арагон — спустя двенадцать лет — в том же году, что и Роман Якобсон, который в тридцатые годы стал профессором славистики в Брненском университете, но которому пришлось бежать из Чехословакии в 1939 году, после начала немецкой оккупации. Несколько лет он провел в Дании, Норвегии и Швеции, а в 1941 году переехал в Америку, где через некоторое время получил профессуру в Гарвардском университете. Покидая Швецию, он оставил там часть своей библиотеки, в том числе Эльзину книжку о Маяковском с надписью “Милому Ромику, о Володе”; сейчас книга хранится в стокгольмской университетской библиотеке.

Спустя два года после Якобсона в Москве скончался Виктор Шкловский. После статьи “Памятник научной ошибке” (1930), в которой он отказался от своих “формалистических” убеждений, Шкловский стал заниматься биографическими исследованиями и написал, в частности, книги о Льве Толстом и Сергее Эйзенштейне; он много писал о кино. Как ни отнесись к тому, что в 1930 году Шкловский сдал позиции, нельзя не признать глубокую оригинальность его мышления и слога. Это касается и его воспоминаний о Маяковском и других, несмотря на весьма вольное обращение автора с фактами; опасения Шкловского, что после возвращения в СССР ему “придется лгать”, подтвердились в высшей степени.

Роман Якобсон спас свою жизнь тем, что остался за границей. Максим Горький, посетивший Советский Союз в 1928-м, 1929-м и 1931 годах, в 1933-м вернулся навсегда. Если Маяковский был советским поэтом номер один, то Горький занимал такое же положение в прозе. В отличие от Маяковского, чей образ после смерти можно было шлифовать в соответствии с необходимостью и желанием, Горький был еще жив. Даже с учетом того, что его возможности маневрирования были значительно урезаны по сравнению с 1919–1921 годами, его моральный авторитет оставался огромным и служил источником постоянного раздражения для Сталина. В 1936 году он умер при невыясненных обстоятельствах, вероятнее всего не без вмешательства последнего.



- Лев Гринкруг, сфотографированный автором в возрасте 91 года со шведским изданием "Про это" в руках. Фото автора

В середине тридцатых годов социалистический реализм был провозглашен единственным дозволенным литературным методом, и образцами этого метода явились произведения Маяковского и Горького. Одно время кандидатом на место образцового поэта был Пастернак. Однако благодаря канонизации Маяковского эта чаша его миновала — за что он лично поблагодарил Сталина.

Большинство других действующих лиц этой книги стали жертвами сталинского террора. Борис Пильняк был казнен в 1938 году, Сергей Третьяков — в 1939-м, в феврале следующего года расстреляли Всеволода Мейерхольда, а через две недели его жену Зинаиду Райх нашли зверски убитой, с выколотыми глазами. Террор не миновал и чекистов. Захар Волович и Моисей Горб были расстреляны весной 1937 года, Яков Агранов (обогативший

свой послужной список подписанием ордера на арест Мандельштама в 1934 году и участием в “допросах” своего друга Примакова два года спустя) и его жена Валентина — в августе 1938 года, Николай Ежов — в 1940 году.

Среди жертв террора был и Александр Краснощеков, женившийся в 1930-м на своей бывшей секретарше Донне Груз. Через четыре года у них родились близнецы Лена и Наташа, сводные сестры Луэллы. В июле 1937 года был арестован по обвинению в контактах с троцкистами Краснощеков, в ноябре — его жена. 26 ноября его казнили, а Донну Груз выслали из Москвы сроком на восемь лет как жену врага народа.

Первая дочь Краснощекова, Луэлла, в 1929 году вышла замуж и получила образование, став зоологом. Она умерла в Санкт-Петербурге в 2002 году, в возрасте девяноста двух лет. Всю свою жизнь она боготворила Лилю — так же, как Лев Грин-круг, верный друг и кавалер Лили в течение шестидесяти пяти лет. Через девять лет после смерти Лили, в 1987 году, в Москве в маленькой квартире около автобусной остановки “Бетонный завод”, не дожив двух лет до ста, скончался и этот кроткий дво-ряннин.

■ ИСТОЧНИКИ И ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Несмотря на более чем полувековую главенствующую позицию Маяковского на советском парнасе и тысячи написанных о нем книг и статей, ситуация в науке о нем далеко не удовлетворительна. Вследствие канонизации поэта в 1935 году его произведения неоднократно переиздавались, однако стихотворения, считавшиеся менее подходящими для образцового советского поэта, не издавались вообще или печатались крайне редко. Таким же образом подвергалась цензуре любая информация о нем, особенно в мемуарной литературе. Все, что усложняло образ Маяковского как великого пролетарского поэта, вычеркивалось из его биографии.

Положение улучшилось после XX съезда партии (1956). Два года спустя вышел том 65 “Литературного наследства” “Новое о Маяковском”. Здесь были напечатаны не только неизвестные доселе тексты поэта и научные статьи о его творчестве, но и 125 из его писем и телеграмм к Лили Брик. Эта публикация заставила Комиссию по вопросам идеологии, культуры и международных партийных связей КПСС принять резолюцию, утверждающую, что напечатанные письма “искажают облик выдающегося советского поэта” и в целом “перекликаются с клеветническими измышлениями зарубежных ревизионистов”. Том был задуман как первый из двух, однако второй, куда планировалось включить воспоминания Лили и Эльзы, так и не вышел.

Вместо этого фрагмент воспоминаний Лили опубликовали в более чем 700-страничном сборнике, изданном в 1963 году: “В. Маяковский в воспоминаниях современников” (15)*. В сборник вошли также воспоминания В. Шкловского, Л. Гринкруга, К. Чуковского, Р. Райт, А. Родченко, С. Эйзенштейна, Вс. Мейерхольда, Н. Асеева, В. Катаняна и других друзей и коллег Маяковского. Однако сборник подвергся значительной цензурной правке. “Сложности” биографии Маяковского затушевывались, и многие люди, сыгравшие в его жизни важную роль, в нем даже не упоминаются: Элли Джонс, Татьяна Яковлева, Вероника Полонская, не говоря о таких политических деятелях, как Лев Троцкий, Николай Бухарин и другие.

Разумеется, этот сборник вызвал сильные чувства у “антибриковской” фаланги маяковедения, которая пять лет спустя выпустила книгу-противоядие: “Маяковский в воспоминаниях родных и друзей” (44). Она содержала, в частности, яростные нападки на Лили и Осипа, которые изображаются злыми гениями Маяковского (38). Издание этого сборника означало эскалацию идеологической борьбы вокруг Маяковского. Попыткой восстановить баланс стал сборник “Majakovskij. Memoirs and Essays”, изданный в 1975 году Стокгольмским университетом (97). Здесь наряду с воспоминаниями Лили Брик и ее мужа В. Катаняна были опубликованы статьи шведских и русских ученых о творчестве Маяковского. В него вошли и воспоминания Эльзы, написанные для второго, не увидевшего свет, тома “Литературного наследства” о Маяковском.

В семидесятые годы ситуация в Советском Союзе настолько ухудшилась, что Лили и Осип были почти что вычеркнуты из биографии Маяковского. Как вклад в борьбу с подобной фальсификацией я составил и издал в 1982 году полную переписку между Маяковским и Лили Брик, 416 писем и телеграмм, с предисловием и подробными комментариями (84). Этот проект обсуждался мною еще с Лили Брик, и материалы были переданы мне В.А. Катаняном после ее смерти. Когда переписка вышла по-русски в Стокгольме, ее встретили полным молчанием в СССР, так как упоминание этой книги было бы равнозначно признанию

* Цифры в скобках отсылают к приведенному ниже списку литературы.

того, что Лили Брик существовала. Шесть лет спустя я издал переписку между Маяковским и Эльзой (85) и в 1992-м по заказу Фонда Якобсона — мои беседы с Якобсоном о Маяковском и футуризме, так же как и его переписку, в том числе с Эльзой (86).

Перестройка и дальнейшие события изменили ситуацию в корне. В 1991 году переписка между Маяковским и Лили вышла в Москве, таким образом став “официальной”. В связи со 100-летием со дня рождения Маяковского в 1993 году были напечатаны ранее не опубликованные воспоминания, в том числе Иды Хвас (73), Веры Шехтель (77), Давида и Маруси Бурлюк (14), так же как и сборник воспоминаний женщин, знавших Маяковского близко: Лили, Эльзы, Сони Шамардиной, Натальи Брюханенко и других (32). В Нью-Йорке дочь Маяковского составила книжку “Маяковский на Манхэттене”, на базе магнитофонных записей воспоминаний матери (65), а в Акмоле Анатолий Валюженич издал сборник материалов об Осипе Бrike (19). В 1999 году вышли воспоминания Василия и Галины Катанян (31) и в 2003 году — сборник, содержащий воспоминания Лили и выдержки из ее писем и дневников (11).

Особое значение имели публикации, касающиеся самоубийства Маяковского. В 1998 году вышла книга В. Скорятина, состоящая из ранее опубликованных журнальных статей, где он пытался доказать, что Маяковский не покончил с собой, а был убит (58). Несмотря на несерьезность этого утверждения, нельзя не признать, что автору удалось выявить ряд документальных материалов, бросающих новый свет на связи Маяковского и Брик с чекистской средой. В 2005 году вышла книга, представляющая самый важный за многие годы вклад в маяковедение, да и не только в маяковедение: том материалов о самоубийстве Маяковского, которые доселе хранились в архиве Ежова (16): 600 страниц доносов, протоколов допросов, воспоминаний и других документов, связанных с самоубийством.

Переписка между Лили и Эльзой в 1921–1970 годы, вышедшая по-русски и по-французски в 2000 году (40, 99), является важным источником, однако она затрагивает Маяковского лишь косвенно, так как очень мало писем (в русском издании даже меньше, чем во французском) относится к периоду до 1930 года

За последние годы было опубликовано много статей и книг о Лили: книга В.В. Катаняна “Лили Брик. Жизнь” (34), сочетание фактических материалов и личных воспоминаний и продолжение более маленькой книжки, вышедшей в 1998 году (33). Однако только 90 страниц посвящены жизни Лили с Маяковским, остальная часть касается ее жизни после 1930 года. Книга А. Ваксберга о Лили (18), в которой тоже описана вся ее жизнь, является ценным вкладом в “чекистковедение” и значительно обогащает наши представления о роли органов безопасности в советском обществе двадцатых годов и их проникновении в литературную и художественную среду.

Основной интерес за последние годы привлекала, несомненно, Лили, а не Маяковский. Причины тут две: отсутствие интереса к нему в сочетании с новообретенной свободой писать о том, что раньше было запрещено. Пестрая биография Лили представляет собой соблазн, которому трудно противиться, — как и вообще тема “женщины Маяковского”. Последние вклады в этот жанр — книжка “Тата”, о Татьяне Яковлевой, изданная Музеем Маяковского (64); книга Ю. Тюрина на ту же тему (69) и книга С. Коваленко о “женщинах в жизни Маяковского” (35). В 2005 году в Нью-Йорке вышла книга дочери Татьяны Яковлевой, Франсин дю Плесси Грей, о ее матери и отчине (92).

У Маяковского, однако, нет настоящей биографии. “Маяковский. Жизнь и творчество” в трех томах В. Перцова (50) отражает официальное отношение к Маяковскому, чья ценность измеряется исключительно степенью лояльности к советской власти. Это же касается и биографии А. Михайлова (46), изданной в 1988 году, хотя и в значительно меньшей мере. Книга Ю. Карабчиевского “Воскресение Маяковского”, вышедшая в 1985 году по-русски в Германии (27), напротив, представляет собой яростную атаку на официальный образ Маяковского — исполненная боли за поэта, книга изобилует меткими наблюдениями и одновременно несправедливыми и неуравновешенными выпадами против разных людей. И не является биографией.

Своего рода биографией можно назвать “Хронику жизни и деятельности” Маяковского В.А. Катаняна (30), вышедшую четырьмя изданиями — последнее в 1985 году. Несмотря на ее

недостатки, обусловленные главным образом вмешательством цензуры, она служила важным источником во время работы над данной биографией.

Если в Советском Союзе желание и возможности написать биографию Маяковского были ограничены цензурой и табу, окружавшими его имя, отсутствие биографий на Западе объясняется в первую очередь отсутствием интереса к нему. Внимание западных славистов по праву было сосредоточено на писателях, которые были запрещенными и преследуемыми в СССР и творчеством которых не могли заниматься советские исследователи.

В 1965 году вышла антология, составленная польским писателем Виктором Ворошильским, “*Zycie Majakowskiego*” (“Жизнь Маяковского”, английский перевод 1972; 111). Книга является собранием воспоминаний, писем и других документов, многосторонне и живо освещающих жизнь и творчество Маяковского. Но это тоже не биография. Книга американского ученого Эдуарда Брауна “*Mayakovsky: A Poet In The Revolution*” (“Маяковский: Поэт в революции”), изданная в 1973 году (89) — литературоведческий анализ произведений поэта с нарочито антибиографическим направлением. Маленькая книга Виктора Терраса “*Vladimir Mayakovsky*”, изданная в 1983 году в биографической серии “*Twayne’s World Authors Series*”, является хорошим, хотя и коротким (150 стр.) введением в творчество Маяковского, но без биографических амбиций (108). Книга Анн и Самюэля Чартерсов “*Love: The Story of Vladimir Mayakovsky and Lili Brik*” (“Люблю: История Владимира Маяковского и Лили Брик”), вышедшая в Нью-Йорке в 1979 году (90), в большой степени основана на интервью с Лили и Ритой Райт (некоторые из них были взяты при моем посредничестве). Авторы ставили своей целью изобразить “любовную связь между Лили Брик и Владимиром Маяковским” и весьма поверхностно касались литературной и политической биографии Маяковского. К сожалению, книга полна неточностей, что объясняется незнанием авторами русского языка — этот недостаток существенно ограничивал и их доступ к источникам.

При том, что ситуация радикально изменилась после падения советской власти, многие источники утрачены навсегда. После

канонизации Маяковского Лили уничтожила письма от Татьяны и Марии Денисовой (но — что странно — не от Элли Джонс). Если это решение было продиктовано ее желанием предстать в роли единственной музы Маяковского (кем она фактически была), меры, предпринятые ею после ареста Примакова в 1936 году, были обусловлены страхом и инстинктом выживания. Воспоминания, начатые ею в 1929 году, объемом в 450 машинописных страниц (как сообщила Лили Брик автору этой книги), были тогда уничтожены — за исключением глав, охватывающих дореволюционные годы и цитируемых в главе “Лили”. Дневник, который она вела с того же года, также подвергся редактированию, и имена и факты, которые могли навредить ей и другим, были вычеркнуты. Текст, которым я пользовался, является, таким образом, отредактированной версией. И воспоминания и дневник были за последние годы опубликованы (11), однако не в полном виде.

Это то, что нам известно от Лили и других. Однако мы не знаем, какие еще документы были уничтожены за пятьдесят лет культа Маяковского. Корреспонденция Маяковского была не такой уж обильной, но он, несомненно, написал — и получил — больше писем, чем их дошло до потомства.

Копии части документов из наследства Лили Брик, в том числе упомянутые выше мемуарные фрагменты и дневники, так же как и некоторые неопубликованные воспоминания других людей о Маяковском, хранятся в моем архиве. Эти материалы перечислены ниже в комментариях к каждой главе.

Опубликованные источники перечислены под заголовком “Текущие ссылки и основная литература по теме”. Ссылки на некоторые из них можно найти в примечаниях к отдельным главам, но не текущие источники (как, например, опубликованные воспоминания Лили, Эльзы и Романа Якобсона, “Хроника” В.А. Катаняна). Тексты Маяковского цитируются по Полному собранию сочинений в 13 томах, Москва, 1955–1961 (43), переписка Лили и Маяковского — по подготовленному мной изданию 1991 года (84).

■ ТЕКУЩИЕ ССЫЛКИ И ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ

1. АЗАРХ-ГРАНОВСКАЯ А. *Воспоминания*. Jerusalem; Москва, 2001.
2. АННЕНКОВ Ю. *Дневник моих встреч*. Т. I–II, New York, 1966.
3. АСЕЕВ Н. *Воспоминания о Маяковском* (15).
4. *Большая цензура. Писатели и журналисты в стране советов 1917–1956* / Под ред. Л.В. Максименкова. Москва, 2005.
5. БРИК Л. *Из воспоминаний // С Маяковским*. Москва, 1934.
6. БРИК Л. *Из воспоминаний о стихах Маяковского // Знамя*. 1941. № 4.
7. БРИК Л. *Щен // Из воспоминаний о Маяковском*. Молотов, 1942.
8. БРИК Л. *Чужие стихи* (15).
9. БРИК Л. *Предложение исследователям // Вопросы литературы*. 1966. № 9.
10. БРИК Л. *Из воспоминаний* (32).
11. БРИК Л. *Пристрастные рассказы* / Под ред. Я.И. Гройсмана, Инны Генс. Нижний Новгород, 2003.
12. БРЮХАНЕНКО Н. *Пережитое* (32).
13. БУРЛЮК Д. *Фрагменты из воспоминаний футуриста*. С. Петербург, 1994.
14. БУРЛЮК Д., БУРЛЮК М. *Маяковский и его современники // Литературное обозрение*. 1993. № 6.
15. *В. Маяковский в воспоминаниях современников*. Москва, 1963.
16. *В том, что умираю, не вините никого?.. Следственное дело В.В. Маяковского*. Москва, 2000.
17. ВАКСБЕРГ А. *Гибель буревестника*. Москва, 1997.
18. ВАКСБЕРГ А. *Загадка и магия Лили Брик*. Москва, 2003.
19. ВАЛЮЖЕНИЧ А. О.М. Брик: *Материалы к биографии*. Акмола, 1993.
20. ВАЛЮЖЕНИЧ А. *Лили Брик — жена командира*. Астана, 2006.
21. ВОЛКОВ-ЛАННИТ Л. *Александр Родченко рисует, фотографирует, спорит*. Москва, 1968.
22. ВОЛКОВ-ЛАННИТ Л. *Вижу Маяковского*. Москва, 1981.

23. ДИНЕРШТЕЙН Е. *Маяковский и книга*. Москва, 1987.
24. ГЛАДКОВ А. *Встречи с Пастернаком*. Париж, 1973.
25. КАЦИС Л. *Владимир Маяковский. Поэт в интеллектуальном контексте эпохи*. Москва, 2004.
26. КАМЕНСКИЙ В. *Жизнь с Маяковским*. Москва, 1940.
27. КАРАБЧИЕВСКИЙ Ю. *Воскресение Маяковского*. Мюнхен, 1985.
28. КАССИЛЬ Л. *Маяковский — сам*. Москва, 1963.
29. КАТАНЯН Г. *“Азорские острова” // Дом Остроухова в Трубниках*. Москва, 1995. Перепеч. с сокращениями в (31).
30. КАТАНЯН В.А. *Маяковский. Хроника жизни и деятельности*. Москва, 1985.
31. КАТАНЯН В.А. *Распечатанная бутылка*. Нижний Новгород, 1999.
32. КАТАНЯН В.В. (ред.). *Имя этой теме: любовь! Современницы о Маяковском*. Москва, 1993.
33. КАТАНЯН В.В. (ред.). *Лиля Брик, Маяковский и другие мужчины*. Москва, 1998.
34. КАТАНЯН В.В. *Лиля Брик: Жизнь*. Москва, 2002.
35. КОВАЛЕНКО С. *“Звездная дань”: Женщины в судьбе Маяковского*. Москва, 2006.
36. КРУСАНОВ А. *Русский авангард 1907–1932. Исторический обзор: В 3 т.* Москва, 2003. Т. II, кн. 1–2: *Футуристическая революция 1917–1921*.
37. КЭМРАД С. *Маяковский в Америке*. Москва, 1970.
38. ЛАВИНСКАЯ Е. *Воспоминания о встречах с Маяковским* (44).
39. ЛАВУТ П. *Маяковский едет по Союзу*. Москва, 1969.
40. *Лиля Брик — Эльза Триоле. Неизданная переписка 1921–1970* / Под ред. В.В. Катаняна. Москва, 2000.
41. *Литературная жизнь России 1920-х годов* / Главн. ред. А. Галушкин. Москва, 2005. Т. I, ч. 1–2.
42. *Литературное наследство: Новое о Маяковском*. Москва, 1958. Т. 65.
43. МАЯКОВСКИЙ В. *Полное собрание сочинений: В 13 т.* Москва, 1955–1961.
44. *Маяковский в воспоминаниях родных и друзей*. Москва, 1968.
45. МАЗАЕВ А. *Искусство и большевизм 1920–1930*. Москва, 2004.
46. МИХАЙЛОВ А. *Маяковский*. Москва, 1988.
47. МУХАЧЕВ Б. Александр Краснощеков. Владивосток, 1999.
48. ПАСТЕРНАК БОРИС. *Собрание сочинений: В 5 т.* Москва, 1989–1992.
49. ПАСТЕРНАК БОРИС. *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Москва, 2000.
50. ПЕРЦОВ В. *Маяковский. Жизнь и творчество: В 3 т.* Москва, 1969–1973.
51. ПОЛОНСКАЯ В. *<Воспоминания>* (16).
52. ПУНИН Н. *Мир светел любовью: Дневники. Письма*. Москва, 2000.
53. РАЙТ Р. *Только воспоминания* (15).
54. РАЙТ Р. *Все лучшие воспоминания...* // Oxford Slavonic Papers. 1967. Vol. 13.
55. РАПОПОРТ А. *Не только о Маяковском*. Запись беседы с Юрием (верно: Юлием) Борисовичем Румером 14 апреля 1978 г. // www.alrapp.narod.ru.
56. РОДЧЕНКО А. *Статьи. Воспоминания*. Москва, 1982.

57. Родченко А. *Опыты для будущего*. Москва, 1996.
58. СКОРЯТИН В. *Тайна гибели Маяковского*. Москва, 1998.
59. СОКОЛОВА ЕВГ. *Двадцать лет рядом* (19).
60. СПАССКИЙ С. *Маяковский и его спутники*. Москва, 1940.
61. СПИВАК М. *Посмертная диагностика гениальности*. Москва, 2001.
62. СТЕПАНОВА В. *Человек не может без чуда*. Москва, 1994.
63. СТРУВЕ Г. *Русская литература в изгнании*. Париж, 1984.
64. *Тата́* (Татьяна Яковлева). Москва, 2003.
65. ТОМПСОН ПАТРИЦИЯ. *Маяковский на Манхэттене*. Москва, 2003.
66. ТРИОЛЕ Э. *Земляничка*. Москва, 1926.
67. ТРИОЛЕ Э. *Заглянуть в прошлое* (32).
68. ТРОЦКИЙ Л. *Литература и революция*. Москва, 1923.
69. ТЮРИН Ю. *Татьяна. Русская муза Парижа*. Москва, 2006.
70. ФЛЕЙШМАН Л. *Борис Пастернак в двадцатые годы*. С.-Петербург, 2003.
71. ФЛЕЙШМАН Л. *Борис Пастернак и литературное движение 30-х годов*. С.-Петербург, 2005.
72. ХАРДЖИЕВ Н. *Статьи об авангарде*: В 2 т. Москва, 1997.
73. ХВАС И. *Воспоминания о Маяковском* // Литературное обозрение. 1993. № 9–10.
74. ХОДАСЕВИЧ ВАЛЕНТИНА. *Портреты словами*. Москва, 1987.
75. ХОДАСЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ. *О Маяковском* // *Избранная проза*. Нью-Йорк, 1982.
76. ЧУКОВСКИЙ К. *Дневник 1901–1929*. Москва, 1991; *Дневник 1931–1969*. Москва, 1994.
77. ШЕХТЕЛЬ В. *Был у нас Маяковский...* // Литературное обозрение. 1993. № 6.
78. ШАМАРДИНА С. *Футуристическая юность* (32).
79. ШКЛОВСКИЙ В. *Третья фабрика*. Москва, 1926.
80. ШКЛОВСКИЙ В. *О Маяковском* // ШКЛОВСКИЙ В. *Собрание сочинений*: В 3 т. Москва, 1974. Т. 3.
81. ШКЛОВСКИЙ В. *Гамбургский счет* / Сост. и комм. А. Галушкина. Москва, 1990.
82. ЯКОБСОН Р. *О поколении, растратившем своих поэтов* // *Смерть Владимира Маяковского*. Берлин, 1931.
83. ЯКОБСОН Р. *Новые строки Маяковского* // Русский литературный архив. Нью-Йорк, 1956.
84. ЯНГФЕЛЬДТ Б. (ред.). *Любовь — это сердце всего. В.В. Маяковский и Л.Ю. Брик: Переписка 1915–1930*. Москва, 1991.
85. ЯНГФЕЛЬДТ Б. (ред.). *“Дорогой дядя Володя...” Переписка Маяковского и Эльзы Триоле 1915–1917*. Стокгольм, 1990.
86. ЯНГФЕЛЬДТ Б. (ред.). *Якобсон-будетлянин*. Сборник материалов. Стокгольм, 1992.
87. BARNES CHRISTOPHER. *Boris Pasternak: A Literary Biography*. Cambridge; New York, 1989–1998. Vol. I–II.

88. BOUCHARDEAU HUGUETTE. *Elsa Triolet. Écrivain*. Paris, 2000.
89. BROWN EDWARD J. *Mayakovsky. A Poet in the Revolution*. Princeton, 1973.
90. CHARTERS ANN & SAMUEL. *I Love. The Story of Vladimir Mayakovsky and Lili Brik*. New York, 1979.
91. DESANTI DOMINIQUE. *Les clés d'Elsa*. Paris, 1983.
92. DU PLESSIX GRAY FRANCINE. *Them. A Memoir of Parents*. New York, 2005.
93. EIMERMACHER KARL (Red.). *Dokumente zur sowjetischen Literaturpolitik 1917–1932*. Stuttgart; Berlin, 1972.
94. ERLICH VICTOR. *Russian Formalism. History, Doctrine*. The Hague-Paris, 1969.
95. FLEISHMAN LAZAR. *Boris Pasternak. The Poet and his Politics*. Cambridge, Mass.; London, 1990.
96. GEIGER KENT. *The Family in Soviet Russia*. Cambridge, Mass, 1968.
97. JANGFELDT BENGT / NILSSON, N.Å. *Vladimir Majakovskij. Memoirs and Essays*. Stockholm, 1975.
98. JANGFELDT BENGT. *Majakovskij and Futurism 1917–1921*. Stockholm, 1976.
99. LILI BRIK—ELSA TRIOLET. *Correspondance 1921–1970* / Préface et notes de LÉON ROBEL. PARIS, 2000.
100. MACKINNON LACHLAN. *The Lives of Elsa Triolet*. London, 1992.
101. *Majakowski in Deutschland. Texte zur Rezeption 1919–1930* / Herausgegeben von Roswitha Loew und Bella Tschistowa. Berlin, 1986.
102. PIPES RICHARD. *The Russian Revolution 1899–1919*. London, 1990.
103. PIPES RICHARD. *Russia under the Bolshevik Regime 1919–1924*. London, 1994.
104. SCHAPIRO LEONARD. *The Communist Party of the Soviet Union*. New York, 1971.
105. STAHLBERGER LAWRENCE L. *The Symbolic System of Majakovskij*. THE Hague-Paris, 1964.
106. STEPHAN HALINA. *“Lef” and the Left Front of the Arts*. München, 1981.
107. STITES RICHARD. *The Women’s Liberation Movement in Russia. Feminism, Nihilism, and Bolshevism 1860–1930*. Princeton, 1978.
108. TERRAS VICTOR. *Vladimir Mayakovsky*. Twayne’s World Authors Series. Boston, 1983.
109. TOMAN JINDRICH. *The Magic of a Common Language. Jakobson, Mathesius, Trubetzkoy, and the Prague Linguistic Circle*. Cambridge, Mass; London, 1995.
110. TRIOLET ELSA. *Écrits intimes 1912–1939* (Édition établie, préfacée et annotée par Marie-Thérèse Eychart). Paris, 1998.
111. WOROSZYLSKI WIKTOR. *Zycie Majakowskiego*. Warszawa, 1965.

ВОЛОДЯ

Литература и опубликованные источники:

Бурлюк Д. *Фрагменты из воспоминаний футуриста* (13).

Бурлюк Д., Бурлюк, М. *Маяковский и его современники* (14).

КАМЕНСКИЙ В. *Жизнь с Маяковским* (26).

Лившиц Б. *Полутораглазый стрелец*. Ленинград, 1933.

МАЯКОВСКАЯ А. *Детство и юность Владимира Маяковского* (15).

МАЯКОВСКАЯ Л. *Пережитое*. Тбилиси, 1957.

Хвас И. *Воспоминания о Маяковском* (73).

ШАМАРДИНА С. *Футуристическая юность* (32).

ШЕХТЕЛЬ В. *Был у нас Маяковский...* (77).

ЛИЛИ

Неопубликованные источники:

В этой главе использованы неопубликованные письма и воспоминания Л.Ю. Брик (частично, но не полностью, вошедшие в сборник “Пристрастные рассказы” [11]), а также магнитофонные записи бесед с ней. Архив автора.

Литература и опубликованные источники:

АЗАРХ-ГРАНОВСКАЯ А. *Воспоминания* (1).

ВАЛЮЖЕНИЧ А. О.М. Брик. *Материалы к биографии* (19).

ЯБЛОНСКАЯ М., ЕВСТАФЬЕВА И. *Генрих (Андрей) Блюменфельд (1893–1920)* // Панорама искусств. М., 1990. Вып. 13.

ЯНГИРОВ Р. *Олег Фрелих и Осип Брик: “Мы с тобой связаны навсегда”* // Шестые Тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига; Москва, 1992.

TRIOLET ELSA. *Le Premier accroc coûte deux cents francs. Paris, 1944.*

TRIOLET ELSA. *Écrits intimes 1912–1939* (110).

ОБЛАКО В ШТАНАХ

Неопубликованные источники:

Брик Л. *Как было дело*. Архив автора.

Литература и опубликованные источники:

АЗАРХ-ГРАНОВСКАЯ А. *Воспоминания* (1).

БОРИС ПАСТЕРНАК И СЕРГЕЙ БОБРОВ. *Письма четырех десятилетий* / Под ред. М. Рашковской. Stanford Slavic Studies, 1996. Vol. 10.

Устные воспоминания Р.О. Якобсона о Маяковском (1967) / Вст. заметка Е. Тоддеса // Седьмые Тыняновские чтения: Материалы для обсуждения. Рига; Москва, 1995–1996.

Хвас И. *Воспоминания о Маяковском* (73).

Шкловский В. *Третья фабрика* (79).
Янгфельдт Б. (ред.). *Якобсон-будетлянин* (86).

ПЕРВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ТРЕТЬЯ

Неопубликованные источники:

Брик Л. *Как было дело*. Архив автора.

Литература и опубликованные источники:

БАРАНОВА-ШЕСТОВА Н. *Жизнь Льва Шестова*. Paris, 1983. Т. 1.
ГРИНКРУГ Л. *Не для денег родившийся* (15).
СМОРОДИН А.А. *Поэзия В.В. Маяковского и публицистика 20-х годов*. Ленинград, 1972.
ЯКОБСОН Р. *Новые строки Маяковского* (83).
ШАМАРДИНА С. *Футуристическая юность* (32).
BOUCHARDEAU HUGUETTE. *Elsa Triolet* (88).
DESANTI DOMINIQUE. *Les clés d'Elsa* (91).
JANGFELDT BENGT. *Notes on "Manifest Letučeј Federacii Futuristov" and the Revolution of the Spirit* (97).
JANGFELDT BENGT. *Majakovskij and Futurism 1917–1921* (38).
JANGFELDT BENGT. *Russian Futurism 1917–1919 // Art, Society, Revolution. Russia 1917–1921*. Stockholm, 1979.

КОМФУТ

Неопубликованные источники:

ТАЛОВА М. *Водопьяный переулочек и его обитатели*. Машинопись. Архив автора.

Литература и опубликованные источники:

АЗАРХ-ГРАНОВСКАЯ А. *Воспоминания* (1).
ЗОЛОТОНОСОВ М. *М/З, или Катаморан*. С.-Петербург, 1996.
ИВАНОВ ВЯЧ. ВС. *Буря над Ньюфаундлендом // Роман Якобсон: Тексты. Документы. Исследования*. Москва, 1999.
КРУСАНОВ А. *Русский авангард* (36).
ПУНИН Н. *Мир светел любовью* (52).
СЕЛЕЗНЕВ Л.А. *Маяковский и итальянские футуристы: Неизвестное интервью поэта // Творчество В.В. Маяковского в начале XXI века*. Москва, 2008.
ТЕРЕХИНА В. *"Двое в одном сердце": Владимир Маяковский и Антонина Гумилина // Человек*. 1999. № 2.
ЧУКОВСКИЙ К. *Дневник 1901–1929* (76).
ЯНГИРОВ Р. *Роман Гринберг и Роман Якобсон // Роман Якобсон: Тексты. Документы. Исследования*. Москва, 1999.

ЯНГФЕЛЬДТ Б. (ред.). *Якобсон-будетлянин* (86).

BARNES CHRISTOPHER. *Boris Pasternak* (87).

ЯКОВСОН РОМАН. *Postscript* // О.М. Брик: *Two Essays on Poetic Language*. Ann Arbor, 1964.

НЭП И ЗАКРУЧИВАНИЕ ГАЕК

Литература и опубликованные источники:

ВАКСБЕРГ А. *Гибель буревестника* (17).

МУХАЧЕВ Б. *Александр Краснощеков* (47).

Неизвестный Горький. Москва, 1994.

ЯНГФЕЛЬДТ Б. *Еще раз о Маяковском и Ленине (Новые материалы)* // Scando-Slavica, 1987. Tomus 33.

JANGFELDT BENGT. *Majakovskij and the Publication of "150.000.000": New Materials* // Scando-Slavica, 1975. Tomus 21.

JANGFELDT BENGT. *Russian Futurism 1917–1919* // *Art, Society, Revolution. Russia 1917–1921*. Stockholm, 1979.

PIPES RICHARD. *The Russian Revolution 1919–1924* (103).

ТОСКА ПО ЗАПАДУ

Неопубликованные источники:

Public Record Office. London. Records of the Security Service (KV). <Досье британской разведки о Е.Ю. Каган, содержащее и документы, связанные с Маяковским, Эльзой, Лили и Осипом Бриками. Рассекречено в 2002 году>.

Литература и опубликованные источники:

Воспоминания об Асееве. Москва, 1980.

В.Б. ШКЛОВСКИЙ. *Письма к М. Горькому* / Публ. А. Галушкина // *De Visu*. 1993. № 1 (2).

ГИНДИН С., ИВАНОВА Е. *Переписка Р.О. Якобсона и Г.О. Винокура* // Новое литературное обозрение. 1996. № 21

ПОГОРЕЛОВА (РУНТ) Б. *Валерий Брюсов и его окружение* // *Воспоминания о серебряном веке*. Москва, 1993.

РАЙТ Р. *Все лучшие воспоминания...* (54).

БОРИС ПАСТЕРНАК И СЕРГЕЙ БОБРОВ. *Письма четырех десятилетий* / Под ред. М. Рашковской. *Stanford Slavic Studies*, 1996. Vol. 10.

ФЛЕЙШМАН Л. *Высылка интеллигенции в русский Берлин в 1922 г.* // *Русский Берлин 1920–1945*. Москва, 2006.

СКОРЯТИН В. *Тайна гибели Маяковского* (58).

ШКЛОВСКИЙ В. *Гамбургский счет* (81).

ЭРЕНБУРГ И. *Люди. Годы. Жизнь*. Москва, 1990. Т. 1.

CHAMBERLAIN LESLEY. *The Philosophy Steamer. Lenin and the Exile of the Intelligentsia*. London, 2006.

PIPES RICHARD. *The Russian Revolution 1919–1924* (103).

TRIOLET ELSA. *Écrits intimes 1912–1939* (110).

ПРО ЭТО

Литература и опубликованные источники:

АСЕЕВ Н. *Работа Маяковского над поэмой “Про это”* // МАЯКОВСКИЙ В.В.

Полное собрание сочинений. Москва, 1934. Т. 5.

БРИК Л. *Предложение исследователям* (9).

РАЙТ Р. *Все лучшие воспоминания...* (54).

ЯНГФЕЛЬДТ Б. *Маяковский и Гете в парке Лили* // *Włodzimierz Majakowski i jego czasu*. Warszawa, 1995.

СТЕРНАН ХАЛИНА. “Lef” and the Left Front of the Arts (106).

СВОБОДЕН ОТ ЛЮБВИ И ОТ ПЛАКАТОВ

Неопубликованные источники:

Воспоминания Л. Варшавской (Краснощековой) о Маяковском. Архив автора.

Public Record Office. London. *Records of the Security Service (KV)*. <Досье британской разведки о Е.Ю. Каган, содержащее и документы, связанные с Маяковским, Эльзой, Лили и Осипом Бриками. Рассекречено в 2002 году>.

Литература и опубликованные источники:

АСЕЕВ Н. *Воспоминания о Маяковском* (15).

ГАЛУШКИН А. *Виктор Шкловский и Роман Якобсон: Переписка (1922–56) // Роман Якобсон. Тексты. Документы. Исследования*. Москва, 1999.

ВАРШАВСКАЯ (КРАСНОЩЕКОВА) Л. *Из воспоминаний об отце и семье* // *Дальний Восток*. 1990. № 4.

МУХАЧЕВ Б. *Александр Краснощеков* (47).

ARGENBRIGHT, ROBERT. *Marking NEP's Slippery Path: The Krasnoshchekov Show Trial*. *The Russian Review* 61, 2002.

GOLDMAN EMMA. *Living my Life*. New York 1931.

KLEBERG LARS. *Notes on the poem “Vladimir Il’ich Lenin”* (97).

СТЕРНАН ХАЛИНА. “Lef” and the Left Front of the Arts (106).

АМЕРИКА

Неопубликованные источники:

Воспоминания Л. Варшавской (Краснощековой) о Маяковском. Архив автора.

Литература и опубликованные источники:

ЕВДАЕВ Н. *Давид Бурлюк в Америке: Материалы к биографии*. Москва, 2002.

- Галушкин А. *Над строкой партийного решения. Неизвестное выступление В.В. Маяковского в ЦК РКП (б)* // Новое литературное обозрение. 2000. № 41.
- КЭМРАД С. *Маяковский в Америке* (37).
- ТОМПСОН ПАТРИЦИЯ. *Маяковский на Манхэттене* (65).
- ТРОЦКИЙ Л. *Литература и революция* (68).
- ФЛЕЙШМАН Л. *Борис Пастернак в двадцатые годы* (70).
- ХОДАСЕВИЧ ВАЛЕНТИНА. *Портреты словами* (74).
- ЯНГИРОВ Р. *Крымский проект и еврей-“землеборы” в дискурсе советской кинематографии* // Параллели. Москва, 2002.
- ЯНГФЕЛЬДТ Б. *Асеев, Маринетти и Маяковский* // Russia/Россия. 1987. Vol. 5.
- ЯНГФЕЛЬДТ Б. *О Маяковском и “двух Элли”* // Литературное обозрение. 1993. № 6.
- MORAND PAUL. *L'Europe galante*. Paris, 1925. (Русский перевод: Золотоносов, М. М/З, или Катаморан. С.-Петербург, 1996).
- POZNER VLADIMIR. *La littérature française jugée par les grands écrivains étrangers* // Le journal littéraire 29.9 1925.

НОВЫЕ ПРАВИЛА

Неопубликованные источники:

- Воспоминания Г. Катанян*. Архив автора.
- БРИК Л. *Неопубликованный мемуарный фрагмент 30-х годов*. Архив автора.

Литература и опубликованные источники:

- БРЮХАНЕНКО Н. *Пережитое* (32).
- ЕФИМОВ Б. *Поэт, каким я его знал лично*. <http://1001.vdv.ru/books/efimov>
(Найти печатный источник! НЕ МОГУ!!!)
- КУЛЕШОВ Л., ХОХЛОВА А. *50 лет в кино*. Москва, 1975.
- ЛАВУТ П. *Маяковский едет по Союзу* (39).
- ЛУНАЧАРСКИЙ А. *О быте*. Москва, 1927.
- РОДЧЕНКО А. *Статьи. Воспоминания*. (56).
- РОДЧЕНКО А. *Опыты для будущего* (57).
- СТЕПАНОВА В. *Человек не может без чуда* (62).
- ФЛЕЙШМАН Л. *Борис Пастернак в двадцатые годы* (70).
- ЯНГФЕЛЬДТ Б. *Асеев, Маринетти и Маяковский* // Russia/Россия. 1987. Vol. 5.
- GEIGER KENT. *The Family in Soviet Russia*. Cambridge, Mass., 1968.
- СТЕРНАН HALINA. *“Lef” and the Left Front of the Arts* (106).

ТАТЬЯНА

Неопубликованные источники:

- Машинопись магнитофонной беседы Г. Шмакова с Т. Яковлевой*. Архив автора.
- Public Record Office. London. *Records of the Security Service (KV)*. <Досье британской разведки о Е.Ю. Каган, содержащее и документы, связанные с Маяковским, Эльзой, Лили и Осипом Бриками. Рассекречено в 2002 году>.

Литература и опубликованные источники:

Анненков Ю. *Дневник моих встреч*. Т. 1. (2).

Брюханенко Н. *Пережитое* (32).

Галушкин А. *“И так, ставши на костях, будем трубить сбор...”*: К истории несостоявшегося возрождения Опояза в 1928–1930 гг. // Новое литературное обозрение. 2000. № 44.

ПАСТЕРНАК Б. *Переписка с Ольгой Фрейденберг* (49).

Письма Бенедикта Лившица к Давиду Бурлюку / Публ. И. Серова // Новое литературное обозрение. 1998. № 31.

Татá (Татьяна Яковлева) (64).

ТОМПСОН ПАТРИЦИЯ. *Маяковский на Манхэттене* (65).

ТОМПСОН ПАТРИЦИЯ ДЖ. *Маяковский в Нице Творчество В.В. Маяковского в начале XXI века*. Москва, 2008.

ФЛЕЙШМАН Л. *Борис Пастернак в двадцатые годы* (65).

ШУХАЕВЫ В. и В. *Три времени* (63).

ЯКОБСОН Р. *Новые строки Маяковского* (83).

ЯНГФЕЛЬДТ Б. *О Маяковском и “двух Эли”* // Литературное обозрение. 1993. № 6.

BARNES CHRISTOPHER. *Boris Pasternak. A Literary Biography* (87).

DU PLESSIX GRAY FRANCINE. *Them* (92).

FLEISHMAN LAZAR. *Boris Pasternak. The Poet and his Politics* (95).

TRIOLET ELSA. *Écrits intimes 1912–1939* (110).

ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА

Неопубликованные источники:

БРИК Л. *Неопубликованный мемуарный фрагмент 30-х годов*. Архив автора.

Дневники Л.Ю Брик. Архив автора.

Public Record Office. London. *Records of the Security Service (KV)*. <Досье британской разведки о Е.Ю. Каган, содержащее и документы, связанные с Маяковским, Эльзой, Лили и Осипом Бриками. Рассекречено в 2002 году>.

Литература и опубликованные источники:

ВАЛЮЖЕНИЧ А. *Лиля Брик и “казах” Юсуп* // Нива. 2002. № 5.

ДУВАКИН В. <Запись беседы с Л.Ю. Брик 1973 г.> // ЛГ — Досье. 1993. № 5.

ГЕРШТЕЙН Э. *О Пастернаке и об Ахматовой* // Литературное обозрение. 1990. № 2.

КАССИЛЬ Л. *Маяковский — сам* (28).

КАТАНЯН Г. *Азорские острова // Дом Остроухова в Трубниках* (29).

ЛАВУТ П. *Маяковский едет по Союзу* (39).

НЕЗНАМОВ П. *Маяковский в двадцатых годах* (15).

ПОЛОНСКАЯ В. <Воспоминания> (16).

- СКОРЯТИН В. *Тайна гибели Маяковского* (58).
 СТЕПАНОВА В. *Человек не может без чуда* (62).
Татá (Татьяна Яковлева) (64).
 ФЛЕЙШМАН Л. *Борис Пастернак в двадцатые годы* (70).
 DU PLESSIX GRAY FRANCINE. *Them* (92).

ВО ВЕСЬ ГОЛОС

Неопубликованные источники:

- Дневники* Л.Ю БРИК. Архив автора.
Шпаргалка Маяковского перед беседой с Л. Кагановичем (РГАЛИ, ф. 2577, оп. 1, ед. хр. 1158).

Литература и опубликованные источники:

- АСЕЕВ Н. *Воспоминания о Маяковском* (15).
 БРОМБЕРГ А. *Выставка "Двадцать лет работы"* (15).
 ЛУНАЧАРСКАЯ-РОЗЕНЕЛЬ Н. *Луначарский и Маяковский* (15).
Маяковский делает выставку. Москва, 1973.
 ОКУТЮРЬЕ М. *Об одном ключе к Охранной грамоте // Boris Pasternak 1890–1960, Paris, 1979.*
 ПАСТЕРНАК БОРИС. *Собрание сочинений: В 5 т.* (48).
 ШЕШУКОВ С. *Неистовые ревнители*. Москва, 1970.
Татá (Татьяна Яковлева) (64).
 ЯКИМЕНКО Ю. *Из истории "чисток аппарата": Академия Художественных наук в 1929–1932 // Новый исторический вестник. 2005. № 1 (12).*

ПЕРВАЯ БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ВЕСНА

Неопубликованные источники:

- Дневники* Л.Ю БРИК. Архив автора.
Воспоминания Л. ГРИНКРУГА. Архив автора.

Литература и опубликованные источники:

- АСЕЕВ Н. *Воспоминания о Маяковском* (15).
 ВАЛЮЖЕНИЧ А. *Лиля Брик — жена командира* (20).
 ГРОНСКИЙ И., ДУВАКИН В. *Накануне трагедии* (16).
 ПАСТЕРНАК Б. *Охранная грамота* (48).
 ПОЛОНСКАЯ В. *<Воспоминания>* (16).
 РОСКИН В. *<Воспоминания>* (16).
 СКОРЯТИН В. *Тайна гибели Маяковского* (58).
 СПИВАК М. *Посмертная диагностика гениальности* (61).
 СУТЫРИН В. *<Воспоминания>*. (16).
 ФЕВРАЛЬСКИЙ А. *Встречи с Маяковским*. Москва, 1971.

СТАВКА — ЖИЗНЬ

Литература и опубликованные источники:

РЯБОВА Н. *Киевские встречи* (32).

Tatá (Татьяна Яковлева) (64).

ЧЕРТОК С. *Последняя любовь Маяковского*. Ann Arbor, 1983.

ЧУКОВСКИЙ К. *Дневник 1931–1969* (99).

ЯКОБСОН Р. *О поколении, растратившем своих поэтов* (82).

ЯКОБСОН Р. *Новые строки Маяковского* (83).

ВТОРАЯ СМЕРТЬ МАЯКОВСКОГО

Литература и опубликованные источники:

ВАКСБЕРГ А. *Загадка и магия Лили Брик* (18).

ВАЛЮЖЕНИЧ А. *Лиля Брик — жена командира* (20).

МУХАЧЕВ Б. *Александр Краснощеков* (47).

“В том, что умираю, не вините никого?..” (16).

ЯНГФЕЛЬДТ Б. *Шведские приключения Романа Якобсона* // Новое литературное обозрение. 1994. № 6.

DU PLESSIX GRAY FRANCINE. *Them* (92).

■ ОТ АВТОРА

В ходе работы над этой книгой мне помогали многие. Хочу в первую очередь поблагодарить Лазаря Флейшмана, Александра Галушкина, Рашита Янгирова, Аркадия Ваксберга, Райнера Кнапаса, Веру Терехину, Евгения Цымбала и Светлану Стрижневу, директора Музея Маяковского, и ее коллег.

Особую благодарность выражаю Анатолию Валюженичу, посвятившему большую часть своей жизни биографии О.М. Брика и снабдившему меня документами и сведениями без которых эта книга была бы значительно беднее.

Хочу также поблагодарить дочь Александра Родченко и Варвары Степановой Варвару и их внука, Александра Лаврентьева, разрешивших мне воспроизвести фотографии Родченко безвозмездно. То же самое касается Инны Генс, вдовы Василия Катаняна младшего, на таких же щедрых условиях предоставившей мне возможность пользоваться своим фотоархивом.

Б. Янгфельдт, 5 августа 2008 г.

■ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- АБРАХМАНОВ ЮСУП 498–502
АВЕРБАХ Л.Л. 490, 526, 580
АВЕТОВ В. 184
АГРАНОВ Я. С. (Яня) 192, 193, 489, 492, 498, 515, 543, 570–578, 579, 588, 610
АГРАНОВА В.А. 491
АЗАРХ-ГРАНОВСКАЯ А. 56, 95
АЛИЕВСКИЙ, сотрудник ОГПУ 570, 589
АЛЛЕН Вуди 133
АЛЛИЛУЕВА Н.С. 510
АЛЬБРЕХТ, семья 62
АЛЬТЕР М. 223, 328, 389
АЛЬТМАН Н. И. 151, 154, 224
АМАРИ А. (ЦЕТЛИН М.О.) 119
АНДРЕЕВА М.Ф. 374
АННЕНКОВ Ю.П. 147, 155, 195, 227, 336, 459, 482, 483
АННУШКА, домработница 170, 219, 220, 256
АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО В.А. 396
АРАГОН Луи 458, 462, 529, 530, 607–609
АРАКЧЕЕВ А.А. 64
АРВАТОВ Б.И. 277
АРХИПЕНКО А.П. 224
АРЦЫБАШЕВ М.П. 67
АСЕЕВ Н.Н. 24, 26, 85, 111, 182, 184, 217–219, 256, 277, 287, 290, 320, 394, 397, 400, 424, 429, 499, 510, 514, 526, 527, 550, 554, 557, 561, 562, 569, 570, 580, 582
АХМАТОВА А.А. 100, 164, 193, 194–196, 245, 312, 374
БАБЕЛЬ И.Э. 335
БАГРИЦКИЙ Э.Г. 525
БАЖАНОВ Б. 351
БАЙРОН ДЖОРДЖ НОЭЛ ГОРДОН 265
БАЛТРУШАЙТИС Ю.К. 120
БАЛЬМОНТ К.Д. 19, 80, 120, 245
БАЛЬШИН Ю.Я. 160, 568
БАРЫШНИКОВ М.Н. 606
БЕГЛЯРОВА Т. 139
БЕДНЫЙ ДЕМЬЯН (ПРИДВОРОВ Е. А.) 428–429, 592
БЕЗЫМЕНСКИЙ А. И. 510, 515, 516
БЕЛЫЙ АНДРЕЙ (БУГАЕВ Б.Н.) 19, 119, 120, 176, 224, 245
БЕРБЕРОВА Н.Н. 162, 203, 592
БЕРДЯЕВ Н.А. 244
БЕРМАН ЛЕО 143, 145, 206
БЕСЕДОВСКИЙ Г. 507
БЕСКИН О.М. 368, 370

- БЕТХОВЕН Людвиг ван 49
 Блок А.А. 113, 195, 196–199, 202, 206, 380, 592
 БЛУМЕНФЕЛЬД Г. (ГАРРИ) 51, 52, 53, 54, 68, 81, 404
 Блюмкин Я.Г. 148, 149, 533–536
 Бобров С.П. 231
 Богатырев П.Г. 391
 Богомолов Д. 553
 Ботев Христо 508
 Брак Жорж 236
 Брауде И., врач 331
 Брежнев Л.И. 605
 Брик В.М. 63
 Брик Л.Ю. 38, 41, 45, 47, 57, 58, 83, 84, 90, 91, 108, 126, 130, 131, 132, 139, 159, 208, 221, 250, 256, 270, 276, 278, 294, 296, 305, 311, 320, 368, 375, 386, 387, 390, 405, 475, 476, 477, 523, 528, 573, 579, 603, 607
 Брик М.П. 42, 43, 44, 54
 Брик О.М. 43, 57, 58, 62, 63, 282, 294, 368, 405, 490, 523, 573, 579,
 Брик П.Ю. 43, 54, 83
 Бродский И.А. 606
 Бромберг А.Г. 515
 Брюсов В.Я. 246
 Брюханенко Н.А. 286, 408, 409, 410–413, 416, 443, 456, 498, 500, 515, 540, 553, 554
 Бубнов А.С. 480
 Будберг М.И. 374
 Булгаков М.А. 480, 514, 578
 Бунин И.А. 86, 244
 Бурлюк В.Д. 29
 Бурлюк Д.Д. 20–37, 23, 27, 29, 35, 85, 97, 117, 118, 119, 120, 151, 182, 183, 231, 297, 334, 345, 346, 347, 353, 354–359, 363, 367, 431, 535
 Бурлюк М.Н. 20
 Бурлюк Н.Д. 23
 Бухарин Н.А. 337, 338, 418, 420, 460, 575
 ВАГНЕР РИХАРД 40
 ВАКСБЕРГ А.И. 203
 ВЕРЛЕН ПОЛЬ 323
 ВЕРТОВ ДЗИГА 277, 400
 ВИНОКУР Г.О. 211, 228, 230
 ВИТФОГЕЛЬ К. 275, 507
 ВОЗНЕСЕНСКИЙ А. 311
 ВОЙКОВ П.Л. 422
 ВОЛК О. 51, 53
 ВОЛОВИЧ З. (ЗОРЯ) 492, 505, 588, 610
 ВОЛОВИЧ Ф. 492
 ВОЛОДАРСКИЙ В. (ГОЛЬД-ШТЕЙН М. М.) 152
 ВОЛЬПЕРТ, семья 102
 ВОРОНСКИЙ А.К. 424, 481
 ВОРОШИЛОВ К.Е. 515
 ВЫШИНСКИЙ А.Я. 419
 ГАБО НАУМ 224
 ГАРБО ГРЕТА 528, 530
 ГЕЙНЕ ГЕНРИХ 295
 ГЕЛЬЦЕР Е.В. 85
 ГЕНДИН С.Г. 570, 588
 ГЕРЦЕН А.И. 44
 ГЕРЦМАН Л. 223
 ГЕРЦФЕЛЬДЕ ВИЛАНД 234
 ГЕРШТЕЙН Э.Г. 376, 535
 ГЕРЬЕ В. 46, 51
 ГЁТЕ ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ 39, 265
 ГИЛЛЕРСОН С., врач 226
 ГИНЗБУРГ 210
 ГИППИУС З. Н. 245
 ГИРШБЕРГ Э. 206
 ГЛАДКОВ Ф.В. 515
 ГЛАЗ Р. 510
 ГОЛД МАЙКЛ 348, 354
 ГОЛЛЬ ИВАН 343
 ГОЛЛЬ КЛЭР 343
 ГОЛСУОРСИ ДЖОН 202
 ГОЛЬДМАН Э. 291
 ГОЛЬЦШМИДТ В. Р. 117
 ГОНЧАРОВА Н. С. 204, 236
 ГОРАЦИЙ 518

- ГОРЬ М. 487, 492, 498, 576, 610
 ГОРОЖАНИН В. М. 488, 489, 498
 ГОРЬКИЙ А. М. 67, 74, 79, 80, 82, 87, 111, 113, 145, 146–149, 151–154, 193, 198–203, 207, 225, 226, 237, 244, 248, 374, 395–397, 550, 575, 601, 609
 ГРАНОВСКИЙ А. 53
 ГРИГОРЬЕВ Б.Д. 72, 83
 ГРИНБЕРГ Н. 169
 ГРИНКРУГ Л.А. 7, 63, 94, 97, 116, 119, 126, 139, 159, 211, 219, 220, 298, 368, 500, 542, 554, 555, 557, 570, 573, 609, 610
 ГРОНСКИЙ И.М. 550
 ГРОСС ГЕОРГ 234, 251, 275, 334, 507
 ГРУЗ Д. 300, 331, 610
 ГРУЗДЕВ И.А. 577
 ГУВЕР ГЕРБЕРТ КЛАРК 202, 352
 ГУМИЛЕВ Л.Н. 193
 ГУМИЛЕВ Н.С. 192, 193, 194–196, 199, 203, 226, 230, 380, 592
 ГУМИЛЕВСКИЙ Л.И. 577
 ГУМИЛИНА А. 160, 400, 455
 ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ 61, 62
 ДАНЦИГ А. 41, 605
 ДВОРЖАК АНТОНИН 229
 ДЕ АМИЧИС ЭДМОНДО 129
 ДЕБЮССИ КЛОД 40
 ДЕЛОНЕ РОБЕР 236, 324, 343
 ДЕНИСОВА М.А. 35, 37, 75, 353
 ДЕНИСОВСКИЙ Н.Ф. 573
 ДЖОНС ДЖОРДЖ 352–355, 391, 587
 ДЖОНС ЭЛЛИ 352, 353, 354–361, 363, 389–391, 439, 441, 442–444, 459–461, 587, 588, 605, 606
 ДЖОНС ЭЛЛИ (ХЕЛЕН-ПАТРИЦИЯ, ДОЧЬ МАЯКОВСКОГО) 389, 439–442, 455, 459, 606, 608
 ДЗЕРЖИНСКИЙ Ф.Э. 225, 329, 533
 ДИККЕНС ЧАРЛЬЗ 553
 ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ, великий князь 62, 106
 ДОБРЫЙ Я. 84
 ДОБЫЧИНА Н.Е. 31
 ДОВЖЕНКО А.П. 546
 ДОЛИДЗЕ Ф.Я. 252
 ДОЛИНСКИЙ С.Д. 23
 ДОРИНСКАЯ А. 84, 85, 125
 ДОСТОЕВСКИЙ Ф.М. 13, 28, 79, 120, 217, 268
 ДУНКАН АЙСЕДОРА 356, 379
 ДЮШАН МАРСЕЛЬ 324
 ДЯГИЛЕВ С.П. 10, 84, 236
 ЕВДОКИМОВ И.В. 515
 ЕЖОВ Н.И. 600, 610
 ЕРМИЛОВ В.В. 532, 533, 576, 580
 ЕСЕНИН С.А. 168, 224, 245, 312, 335, 356, 378–383, 385, 395, 533, 574, 592
 ЖАРОВ А.А. 591
 ЖЕМЧУЖНЫЙ В.Л. 370, 397, 404, 426, 429, 432, 467, 490, 515
 ЗАЙЦЕВ Б.К. 201, 244
 ЗАМЯТИН Е.И. 335, 481, 482, 483, 509
 ЗИБЕРТ ПЕТЕР ГЕНРИХ 352
 ЗИБЕРТ ХЕЛЕН 352
 ЗИВ В. 212, 219
 ЗИНОВЬЕВ Г. Е. 153
 ЗОЩЕНКО М. М. 335, 513
 ИВАНОВ ВС.В. 335, 480, 515
 ИВАНОВ ВЯЧ. ВС. 120
 ИГНАТЬЕВ, ПИСАРЬ 64, 87
 ИЗРАИЛЕВИЧ Я. (ЖАК) 145
 ИЛЬИН И.А. 244
 КАГАН Е.Ю. 40, 45, 51, 70, 137, 139, 140–142, 207–209, 221, 222, 295, 296, 301, 344, 350, 419, 432, 433, 497, 529, 551, 605
 КАГАН Л.Ю. — см. БРИК Л. Ю.
 КАГАН Э.Ю. — см. ТРИОЛЕ Э. Ю.
 КАГАН Ю.А. 40, 43, 45, 71

- КАГАНОВИЧ Л.М. 508, 509, 515
КАМЕНЕВ Л.Б. 202, 203
КАМЕНЕВА О.Д. 331
КАМЕНСКИЙ В.В. 27, 30, 35, 36, 85, 96, 112, 117–120, 151, 213, 498, 499, 544, 561, 580, 587
КАНДИНСКИЙ В.В. 10, 154, 231
КАПЛАН Ф.Е. 152
КАРСАВИН Л.П. 244
КАССИЛЬ Л.А. 501
КАТАЕВ В.П. 468, 561–563
КАТАНЯН В.А. 7, 402, 404, 406, 451, 490, 532, 569, 579–580, 582, 604
КАТАНЯН Г.Д. 7, 402, 404, 406, 487, 499, 500, 502, 510, 511, 590, 604
КЕЛИН П.И. 20
КЕРЗОН ДЖОРДЖ НАТАНИЕЛ 238
КИКИ, НАТУРЩИЦА 324
КИРИЛЛОВ В.Т. 578
КИРКЕГОР СЁРЕН 61
КИРСАНОВ С.И. 397, 490, 498, 514, 516, 535, 543, 554, 570, 579, 580
КИШКИН Н. 202
КЛЕР РЕНЕ 437
КЛЮЕВ Н.А. 245
КОЗЛИНСКИЙ В.И. 99
КОКТО ЖАН 236, 446
КОЛЛОНТАЙ А.М. 377
КОЛЬЦОВ М.Е. 592
КОСТРОВ ТАРАС (МАРТЫНОВСКИЙ А.С.) 415, 452
КРАСИН Л. Б. 207, 208, 350
КРАСНОЩЕКОВ А.М. 182, 183, 185, 288, 289, 290–293, 296, 297–301, 304, 316, 319, 327–329, 331, 389, 534, 610
КРАСНОЩЕКОВ Е. 320
КРАСНОЩЕКОВ Я.М. 297–301, 328
КРАСНОЩЕКОВА ГЕРТРУДА 320
КРАСНОЩЕКОВА Л.А. 7, 320, 321, 387, 389, 490, 498, 561, 580–583, 604, 610
КРЕЙН Г. 41, 49, 51
КРИВЦОВ Н.Я. 568
КРУПСКАЯ Н.К. 213
КРУЧЕНЫХ А.Е. 28, 29, 101, 103, 213, 498
КРЫЛЕНКО Н.Е. 298, 419
КУЗНЕЦОВ П.В. 154
КУЗЬМИН Г.Л. 23
КУЙБЫШЕВ В.В. 298
КУЛЕШОВ Л.В. 397, 400, 401, 404–408, 411, 413, 428, 429, 433, 436, 465, 498
КУЛЬБИН Н.И. 85
КУПРИН А.И. 244
КУСКОВА Е.Д. 202
КУШНЕР Б.А. 157, 277, 320
КУШНЕР Р. 296, 368
ЛАВИНСКИЙ А.М. 277
ЛАВРЕНТЬЕВ Н. 596
ЛАВУТ П.И. 501, 555, 557, 569, 576
ЛАМАНОВА Н.П. 300, 301
ЛАНГ Е. 126
ЛАРИОНОВ М.Ф. 10, 171, 204, 236
ЛЕ КОРБЮЗЬЕ ШАРЛЬ ЭДУАР 572
ЛЕВИДОВ М.Ю. 207
ЛЕВИН А.С. (ДЖОН) 583
ЛЕЖЕ ФЕРНАН 236, 300, 324, 334, 339
ЛЕЛЕВИЧ Г. (КАЛМАНСОН Л.Г.) 308, 309
ЛЕНИН В.И. 112, 152, 157, 169, 179–181, 185, 188, 189–191, 197–203, 214, 216–219, 225, 243, 244, 284, 291, 292, 298, 304–312, 365, 489, 510, 548, 573, 602
ЛЕОНОВ Л.М. 515
ЛЕРМОНТОВ М.Ю. 16, 271, 599
ЛИБЕДИНСКИЙ Ю.Н. 580
ЛИБЕРМАН АЛЕКС 605
ЛИВАНОВ Б.Н. 563
ЛИВШИЦ Б.К. 31, 211, 431
ЛИПСКЕРОВ К.А. 58, 59
ЛИСИЦКИЙ ЭЛЬ (Л.М.) 224, 231, 234, 334
ЛЛОЙД ДЖОРДЖ ДЭВИД 175, 553
ЛОМОНОСОВА Р.Н. 425
ЛОНДОН ДЖЕК 128
ЛОССКИЙ Н.О. 244

- Луговской В.А. 525
 Лузгин М. 507
 Луначарский А.В. 113–115, 145, 146, 151, 155, 157, 177–181, 187, 194, 197, 198, 212, 213, 218, 219, 275, 286, 297, 312, 313, 319, 322, 338, 344, 376, 377, 415, 480, 508, 522, 580, 581, 591
 Лундберг Е. 152
 Луцкий К.Л. 572, 573

 Макдональд Джемс Рамсей 238
 Малевич К.С. 10, 101, 154, 175, 231, 584
 Мандельштам Н.Я. 374
 Мандельштам О.Э. 148, 217, 218, 245, 304, 331, 420, 533
 Манташев Л. 446
 Мариенгоф А.Б. 380, 577
 Маринетти Филиппо Томмазо 10, 31, 339, 341, 530
 Маркс Карл 188, 267, 280, 307, 309
 Машков И.И. 68, 154
 Маяковская А.А. 13, 14, 15, 18, 570, 575, 580, 583, 579
 Маяковская Л.В. 13–18, 569, 571, 605, 15
 Маяковская О.В. 13–18, 490, 570, 571, 580, 605, 15
 Маяковский В.В. 12, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 72, 83, 108, 118, 122, 126, 127, 128, 131, 171, 180, 204, 235, 256, 265, 270, 287, 294, 296, 302, 305, 311, 318, 320, 330, 340, 343, 345, 358, 362, 368, 384, 385, 390, 417, 427, 428–429, 433, 434, 436, 457, 470, 488, 500, 504, 516, 523, 531, 545, 552, 571, 579, 584, 594, 596
 Маяковский В.К. 13–17
 Маяковский К.В. 13, 14
 Мейерхольд В.Э. 113, 175, 397, 454, 457, 490, 498, 499, 512, 530, 532, 582, 610
 Мельников К.Г. 333
 Менжинский В.Р. 198
 Мережковский Д.С. 244
 Меркуров С.Д. 286, 310, 574
 Мессинг С.А. 515, 570
 Мечников И.И. 476
 Мжедлов П. 56
 Мирбах Вильгельм фон 148, 533
 Молотов В.М. 518
 Мольер Жан-Батист 512, 513, 578
 Моран Адольф 331–333
 Моран Поль 330, 331–333
 Моргунов А. 154

 Набоков В.В. 244
 Наито Тамидзи 311
 Нансен Фритъоф 202
 Незнамов П.В. 184, 368, 478
 Некрасов Н.А. 16, 374
 Немирович-Данченко Вл.И. 564
 Нижинский В.Ф. 85
 Николай I 64
 Николай II 106, 109
 Никулин Л.В. 462, 557
 Ницше Фридрих 61, 125, 183

 Окутюрье Мишель 537
 Олеша Ю.К. 468, 515, 562, 563, 583
 Ольденбург С.Ф. 201
 Орешин П.В. 578
 Пальмов В. 184
 Пастернак Б.Л. 10, 22, 79, 85, 87, 120, 141, 166, 168, 212, 213, 217, 219, 224, 245, 246, 275, 304, 311, 312, 334, 368, 394, 395, 397, 420, 422, 423, 424–431, 491, 502, 535–537, 569, 570, 580, 591, 601, 610
 Пастернак Е.Б. 368
 Паша, домработница 569
 Петерс Э. 587
 Петров, сотрудник ОГПУ 577
 Петровых М.С. 374
 Пикабия Франсис 324
 Пикассо Пабло 30, 236, 251, 324
 Пильняк Б. А. 425, 468, 480–482, 483, 484, 490, 509, 610

- Платонов А.П. 480
 Плесси БЕРТРАН дю 476, 493, 494
 Плесси ГРЕЙ ФРАНСИН дю 605
 Познер В. 323
 Поливанов Е.Д. 101
 Полонская В.В. (НОРА) 464, 469,
 471, 485, 486, 496, 498, 500, 501, 515,
 527, 539–542, 553, 555–569, 575, 576,
 585–587, 590, 605
 Полонский В.П. 7, 424, 425
 Потье Э. 508
 Примаков В.М. 602–604, 606, 610
 Пришвин М.М. 395
 Прокопович С.Н. 201
 Прокофьев С.С. 444
 Пруст МАРСЕЛЬ 236
 Пудовкин В.И. 400, 465
 Пунин Н.Н. 154, 162–164, 165, 172, 173,
 177, 194, 246, 374
 Пушкин А.С. 13, 16, 28, 195, 197, 198,
 313–317, 518
 Райт РИТА (РАЙТ-КОВАЛЕВА Р.Я.)
 219, 220, 223, 231, 253, 261, 275, 293,
 491, 579
 Райх З.Н. 380, 592, 610
 Распутин Г.Е. 65, 106
 Ребикова А.В. 127
 Регинин В.А. 564
 Рейнхард МАКС 53
 Рейснер Л.М. 173
 Рембо АРТЮР 238
 Рембрандт ХАРМЕНС ван РЕЙН 431
 Ремизов А.М. 244
 Репин И.Е. 74, 82, 103
 Рерих Н.К. 533
 Рехт ЧАРЛЬЗ 351, 352, 354, 391
 Рифеншталь ЛЕНИ 529
 Родченко А.М. 231, 250, 263, 270, 275,
 277, 278, 282, 287, 288, 305, 320, 333,
 334, 340, 362, 371, 374, 385, 387, 401,
 404, 405, 406, 427, 457, 475, 490, 515,
 516, 580, 596, 607
 Розанова О.В. 154
 Романов П.С. 578
 Ромашов Б. 331
 Роскин В.О. 561–564
 Рояк Е. 584
 Румер Ю. 44, 138
 Рунт Б. 246
 Рыбкин, сотрудник ОГПУ 570, 589
 Рэй МЭН 324
 Рябова Н.Ф. 591
 Светлов М.А. 515
 Северянин ИГОРЬ (ЛОТАРЕВ И.В.)
 30, 34, 224, 245
 Сезанн ПОЛЬ 51, 323
 Селин Луи ФЕРДИНАН 332
 Сельвинский И.Л. 394, 515
 Семенов Г.М. 225
 Семенова Е.В. 491
 Серж ВИКТОР 535
 Силлов В.А. 183, 184, 535–536, 569
 Силлова О.Г. 184, 536, 569
 Симон НАДЕЖДА 444
 Симон СЕРЖ 444
 Симонов К.М. 607
 Синклер ЭПТОН 202
 Ситроен АНДРЕ 446
 Склянский Э. 351
 Скобелев М.Д. 86
 Славинский В.И. 546, 550
 Смородин А.А. 116
 Собинов Л.В. 63
 Соколова Е. 371, 389, 404, 433, 490,
 501, 540, 541, 555, 604
 Сосновский Л.С. 179
 Стайтс РИЧАРД 67
 Сталин В.И. 510
 Сталин И.В. 244, 351, 365, 417, 425, 428,
 478, 481, 489, 509, 510, 515, 534, 536,
 550, 597–602, 603, 604–609
 Степанова В.Ф. 288, 362, 371, 404,
 405, 406, 491
 Стравинский И.Ф. 10, 236

- СУДАКЕВИЧ А. 470
 СУТЫРИН В.А. 507, 542
 СЫРЦОВ И., следователь 568, 574

 ТАГАНЦЕВ В.Н. 192
 ТАТЛИН В.Е. 10, 231, 581
 ТЕРЁМИН А. 504
 ТОБИНСОН — см. КРАСНОЩЕ-
 ков А.М.
 ТОЛСТОЙ А.Н. 201, 224, 578
 ТОЛСТОЙ Л.Н. 13, 19, 28, 437, 609
 ТОМАШЕВСКИЙ Б.В. 310
 ТОМСОН ПАТРИЦИЯ (ДЖОНС) — см.
 ДЖОНС ЭЛЛИ
 ТРЕТЬЯКОВ С.М. 182, 183, 184, 277, 290,
 311, 368, 397, 478, 569, 580, 610
 ТРЕТЬЯКОВА О.В. 311, 368, 311
 ТРИОЛЕ (КАГАН) Э.Ю. 41, 45, 57, 69,
 102, 126, 139, 142, 143, 221, 239, 343,
 368, 386
 ТРИОЛЕ АНДРЕ 138, 139, 143, 144, 325
 ТРОЦКИЙ Л.Д. 190, 299, 312, 331, 335,
 336, 338, 351, 394, 418, 460, 508, 533,
 550, 589, 606
 ТРУБЕЦКОЙ С.Н. 244
 ТУРГЕНЕВ И.С. 66, 374
 ТЦАРА ТРИСТАН 334
 ТЫНЯНОВ Ю.Н. 310, 314, 585
 ТЫЧИНА П.Г. 545

 УАЙЛЬД ОСКАР 256, 265
 УИТМЕН УОЛТ 166, 319
 УРИЦКИЙ М.С. 152
 УЭЛЛС ГЕРБЕРТ ДЖОРДЖ 202

 ФАДЕЕВ А.А. 515, 526, 580
 ФАЛЬК Р.Р. 154
 ФЕВРАЛЬСКИЙ А.В. 554
 ФЕДОРОВ Н.Ф. 273
 ФЕЛЬДМАН С. 238
 ФИЛОНОВ П.Н. 85
 ФРАНК С.Л. 244
 ФРАНС АНАТОЛЬ 202

 ФРЕБЕЛЬ ФРИДРИХ 510
 ФРЕЙД ЗИГМУНД 391
 ФРЕЙДЕНБЕРГ О.М. 420
 ФРЕЙЛИГРАТ ФЕРДИНАНД 508
 ФРЕЛИХ О. 44, 56, 65, 80
 ФРУНЗЕ М.В. 351, 425, 481

 ХАЛАТОВ А.Б. 549, 551, 580, 582, 591
 ХАРДЖИЕВ Н.И. 116
 ХАРТФИЛЬД ДЖОН 234
 ХВАС И. 70, 86, 97
 ХИКМЕТ НАЗЫМ 498
 ХЛЕБНИКОВ В.В. 23, 28, 29, 85, 87, 101,
 103, 213, 219, 229, 238, 380, 535, 547,
 592
 ХОДАСЕВИЧ В.М. 343, 559, 560, 561
 ХОДАСЕВИЧ В.Ф. 86, 120, 203, 245
 ХОФМЕЙСТЕР АДОЛЬФ 411
 ХОХЛОВА А.С. 400, 404, 498
 ХУРГИН И.Я. 349–351

 ЦВЕТАЕВА М.И. 120, 245, 591

 ЧАЙКОВСКИЙ П.И. 40, 49
 ЧАПЛИН ЧАРЛЗ СПЕНСЕР 341, 528
 ЧЕКРЫГИН В.Н. 32, 33
 ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Н.Г. 67, 374
 ЧЕХОВ А.П. 214
 ЧУЖАК Н.Ф. 183, 184, 205, 277, 280, 283,
 290, 335
 ЧУКОВСКИЙ К.И. 74, 80, 82, 100, 103,
 146, 172, 173, 195, 198, 275, 575, 590,
 591
 ЧУКОВСКИЙ Н.К. 535

 ШАГАЛ МАРК 154, 231
 ШАЛЯПИН Ф.И. 200, 446, 543
 ШАМАРДИНА С.С. 34, 36, 84, 146, 501
 ШАТОВ В. (БИЛЛЬ) 182
 ШЕВАЛЬЕ МОРИС 551
 ШЕКСПИР УИЛЬЯМ 19
 ШЕНЕМАН ЛИЛИ 39
 ШЕСТОВ Л.И. 110, 125

- ШЕХТЕЛЬ (ЖЕГИН) Л.Ф. 32, 33
 ШЕХТЕЛЬ В.Ф. 32, 33, 34
 ШЕХТЕЛЬ Ф.О. 33
 ШИМАН Э.Г. 161
 ШКЛОВСКИЙ В.Б. 85, 87, 96, 101, 103, 104, 105, 146, 147, 154, 162, 172, 173, 225, 226, 227, 230, 237–242, 248, 249, 275, 295, 310, 317, 320, 362, 368, 386, 392, 397, 426–429, 432, 448, 478, 502, 509, 515, 516, 557, 570, 585, 609
 ШМАКОВ Г.Г. 606
 ШОСТАКОВИЧ Д.Д. 457
 ШОУ ДЖОРДЖ БЕРНАРД 551
 ШТЕРЕНБЕРГ А. 270
 ШТЕРЕНБЕРГ Д.П. 151, 158, 270, 583
 ШТЕРЕНБЕРГ Н. 494
 ШТИЛЬМАН З. 62
 ШТРАУХ М.М. 530
 ШУБЕРТ ФРАНЦ 49
 ШУМАН РОБЕРТ 40
 ШУМОВ П., ФОТОГРАФ 340
 ЭЙЗЕНШТЕЙН С.М. 277, 311, 397, 400, 412, 426, 529, 551, 609
 ЭЙНШТЕЙН АЛЬБЕРТ 273, 529
 ЭЙХЕНБАУМ Б.М. 101, 310
 ЭЛИОТ ТОМАС СТЕРНЗ 508
 ЭЛЬБЕРТ Л.Г. (СНОБ) 248, 489, 505, 506, 515, 543, 576
 ЭНГЕЛЬС ФРИДРИХ 188, 376
 ЭРДМАН Н.Р. 514, 515
 ЭРЕНБУРГ И.Г. 224, 334, 431, 480
 ЯГОДА Г.Г. 515
 ЯКОВСОН Р.О. 7, 95, 99, 100, 101, 102, 104, 109, 112, 137, 138, 141, 145–149, 159–162, 165–168, 171, 177, 181, 205, 211, 225–230, 237–242, 247, 249, 273, 288, 294, 317, 334, 386, 391, 396, 456, 457, 481, 590, 592–595, 606, 609
 ЯКОВСОН С.О. 141
 ЯКОВЛЕВ А. 446
 ЯКОВЛЕВ А.Е. 445
 ЯКОВЛЕВА А. (САНДРА) 446
 ЯКОВЛЕВА Л.А. (ЛИЛА) 445, 450, 467, 586
 ЯКОВЛЕВА Т.А. 7, 414, 444, 445, 446–453, 456, 458–462, 465–467, 472, 473, 476, 479, 485, 486, 492, 493, 494, 495, 496, 501, 506, 518, 539, 540, 586, 587–590, 602, 605, 606
 ЯКУБИНСКИЙ Л.П. 101
 ЯНОВИЧ В. — см. ВОЛОВИЧ З.
 ЯНШИН М.М. 468, 513, 539–543, 555–559, 561, 564–569, 585, 605

■ ИСТОЧНИКИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Архив автора (Стокгольм)

12, 15, 19, 21, 23, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 41, 47, 57, 58, 59, 62, 69, 83, 84, 90, 97, 102, 108, 118, 122, 126, 127, 128, 137, 139, 142, 143, 159, 169, 204, 208, 221, 232–233, 235, 239, 250, 256, 261, 263, 265, 276, 278, 282, 289, 294, 296, 305, 318, 320, 330, 340, 362, 368, 384 (обе), 385, 387, 390, 402 (обе), 405, 414, 423, 427, 428–429, 433, 436, 469, 470, 490, 504, 523, 528, 531, 545, 573, 579, 584, 594, 607, 608, 609

Архив А. Валюженича (Астана) 42, 43, 52, 63, 180

Архив Брик/Катаняна (Москва) 38, 45, 91, 130, 131, 132, 301, 311, 386, 409, 464, 475, 476, 477, 516, 538, 581, 582, 606

Архив Патриции Дж. Томпсон (Нью-Йорк) 358

Архив Родченко/Степановой (Москва) 270, 370, 375, 401, 434, 457, 596

Государственный Литературный музей (Москва) 35 (обе), 353 (верхняя)

Государственный музей В.В. Маяковского (Москва) 343, 417, 445, 488, 494, 552, 571, 603

Собрание Д. Кинга (Лондон) 243

Рисунки Ю. Анненкова (145, 155, 195, 227, 336, 482, 483) взяты из его книг воспоминаний «Дневник моих встреч»

Public Record Office (Лондон) 302

Прочие иллюстрации — из книг и журналов, находящихся в библиотеке автора
98, 153, 170, 171, 175, 181, 227, 267, 281, 284, 322, 329, 348, 352, 381, 409, 413, 423

БЕНГТ ЯНГФЕЛЬДТ
СТАВКА-ЖИЗНЬ
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ
И ЕГО КРУГ

Редактор Н. Богомолова

Художественное оформление А. Бондаренко

Технический редактор Л. Сеницына

Корректор Н. Усольцева

Компьютерная верстка Т. Коровенкова

ООО "Издательская Группа Атиккус" —
обладатель товарного знака "Издательство Колибри"
119991, Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4

Подписано в печать 15.11.2008. Формат 70х100^{1/16} /
Бумага писчая. Гарнитура "OriginalGaramond".
Печать офсетная. Усл. печ. л. 51,6.
Тираж 10 000 экз. Заказ № 823.

Отпечатано в ОАО "ИПП "Уральский рабочий"
620041, ГСП-148, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ:

В Москве: ООО "Издательская Группа Атиккус"

тел. (495) 933-76-00, факс (495) 933-76-19

e-mail: sales@atticus-group.ru

В Санкт-Петербурге: "Атиккус-СПб"

тел./факс (812) 783-52-84

e-mail: machaon-spb@mail.ru

В Киеве: "Махаон-Украина"

тел. (044) 490-99-01

e-mail: sale@machaon.kiev.ua